



ЧАРЛЬЗ
ДИККЕНС

КРОШКА
ДОРРИТ

— — — — —
РОМАН В ДВУХ КНИГАХ

Ленинградское
газетно - журнальное и книжное
издательство

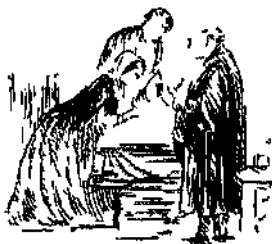
1951

Б И Б Л И О Т Е К А Ш К О Л Ь Н И К А

ЧАРЛЬЗ
ДИККЕНС

КРОШКА ДОРРИТ

КНИГА ВТОРАЯ



БОГАТСТВО

*Ленинградское
газетно-журнальное и книжное
издательство*

1951

ГЛАВА I

Попутчики

Была осень Тьма и ночь медленно всползали на высочайшие вершины Альп.

Было время уборки винограда в долинах на швейцарской стороне Большого Сен-Бернарского прохода и по берегам Женевского озера. Воздух был напоен ароматом спелых гроздьев. Корзины, корыта и ведра с виноградом стояли в дверях деревенских домиков, загораживали крутые и узкие деревенские улицы и целый день двигались по дорогам и тропинкам. То и дело попадались случайно просыпанные и раздавленные ягоды. Плачущим ребятишкам, на руках у матерей, возвращавшихся домой с тяжелой ношей на спине, затыкали рты ягодами, кретин, гревший на солнышке свой огромный зоб, под навесом деревянного шале¹ по дороге к водопаду, жевал виноград; дыхание коров и коз отзывалось виноградными листьями и стеблями; в каждом кабачке ели виноград, говорили о винограде, пили виноградное вино. Правда, вино было грубое, терпкое, жесткое!

Воздух был чист и прозрачен весь день. Шпили и купола церквей, разбросанные там и сям, горели на солнце, снежные вершины рисовались так отчетливо, что неопытный путешественник обманывался насчет расстояния и, воображая, что до них рукой подать, начинал считать баснями рассказы о колоссальной высоте этих гор. Знаменитые пики, которых по месяцам не было видно из этих долин, с самого утра отчетливо вырисовывались на

¹ Шале — небольшой сельский домик в Альпах.

голубом небе. И теперь, когда долины оделись мглой и последний румянец заката угас на вершинах, эти белые громады, отступавшие, подобно призракам, готовым исчезнуть, всё еще возвышались над туманом и мглой.

С этих одиноких высот и с Большого Сен-Бернара, принадлежавшего к их числу, ночь, взбиравшаяся на высоты, казалась подступающим морским приливом. Когда, наконец, она добралась до стен монастыря св. Бернара, его древняя постройка точно поплыла по темным волнам.

Темнота, обогнавшая партию туристов на мулах, добралась к монастырским степам, когда путешественники еще поднимались на гору. Как теплота знойного дня, заставлявшая их утолять жажду из ледяных ключей, уступила место пронизывающему холоду разреженного горного воздуха, так и веселая прелесть долины сменилась угрюмым и пустынным ландшафтом. Теперь они шли по обрывистой тропинке, где мулы, вытянувшись длинной вереницей, взбирались с камня на камень, точно по разрушенной лестнице какой-то гигантской руины. Ни деревьев, ни других растений, кроме мелкого бурого мха, мерзнувшего в трещинах скал, не было видно. Почерневшие столбы на дороге указывали своими деревянными руками путь к монастырю, точно призраки прежних путешественников, занесенных снегом и вздумавших посетить места своей гибели. Оледенелые пещеры и ниши, вырубленные в скалах для путников, достигнутых неожиданной метелью, точно нашептывали об опасности; не знающие покоя волны тумана мчались, гонимые воющим ветром, и снег, страшнейшая опасность гор, поднимался и летел вниз сухой пылью.

Вереница мулов, утомленных долгим путешествием, медленно извивалась по крутому склону. Переднего вел под уздцы проводник в широкополой шляпе и короткой куртке, с горной палкой на плече, разговаривавший с другим проводником. Путешественники ехали молча. Пронизывающий холод, усталость и новое ощущение, когда захватывает дыхание, напоминавшее отчасти ощущение, которое испытываешь, вынырнув из холодной воды, или же судорожное сжатие горла при всхлипывании, отбивали охоту разговаривать.

Наконец сквозь туман и снег мелькнул огонек на вершине скалистой лестницы. Проводники закричали

на мулов, мулы подняли опущенные головы, у путешественников развязались языки, и среди внезапного оживления — криков, звона колокольчиков, топота, говора — они добрались до монастырских ворог.

Незадолго до них явилась другая партия мулов, частью с седоками-крестьянами, частью с поклажей, и превратила снег на площадке у ворот в грязную лужу. Седла и уздечки, вьюки и бубенчики, мулы и люди, фонари, факелы, мешки, вязанки сена, бочонки, круги сыра, кадочки с медом и маслом, всевозможная поклажа скопились в беспорядке среди этого тающего болота и на ступеньках. Под покровом тумана всё исчезло, и всё расплылось в этом тумане. Дыхание людей и животных превращалось в туман, огни были окружены туманным ореолом, говоривший за два шага от вас исчезал в тумане, хотя голоса и все другие звуки раздавались поразительно ясно. В туманной линии мулов, которых торопливо привязывали к кольцам в стенах, происходил иногда переполох: один мул кусал или лягал другого, и тогда вся эта туманная масса начинала волноваться; мелькали фигуры людей, пырявших в тумане, слышались голоса людей и животных, и никто не мог разобрать, что тут такое творится. В довершение всей этой суматохи большая монастырская конюшня, устроенная в первом этаже, со своей стороны выпускала клубы тумана, как будто во всем этом ветхом здании не было ничего другого, так что, выпустив весь туман, она должна была рассыпаться в прах, оставив после себя лишь голую снежную вершину.

Пока весь этот шум и суматоха происходили среди живых путешественников, в нескольких шагах от них, в домике с решетками, тоже утопавшем в тумане и осыпаемом снежными хлопьями, безмолвно стояли мертвые путешественники, найденные в горах. Мать, погибшая в метель несколько лет тому назад, до сих пор стояла в углу с ребенком на руках; человек, замерзший, стиснув рукой рот от страха или голода, до сих пор, после многих, многих лет, прижимал руку к окоченевшим губам. Зловещая компания, сведенная вместе таинственной судьбой! Могла ли эта мать предвидеть свою страшную участь, могла ли она сказать себе: «Окруженные толпою товарищей, которых мы никогда не видели и никогда не увидим, я и мой ребенок будем стоять вместе и нераз-

лучно на Сен-Бернаре, переживая поколения, которые будут смотреть на пас, но никогда не узнают наших имен, никогда ничего не узнают из нашей истории, кроме ее последней главы».

Живым путешественникам было теперь не до мертвых. Они думали только, как бы поскорее пробраться в монастырские двери и погреться у монастырского огня. Выбравшись из суматохи, которая, впрочем, начинала стихать, так как большая часть мулов была поставлена в конюшню, они спешили, дрожа от холода, по лестнице в монастырскую гостиницу. В гостинице стоял запах конюшни, поднимавшийся из нижнего этажа и напоминавший запах зверинца. Здесь были крепкие сводчатые коридоры, массивные каменные столбы, большие лестницы и толстые стены, прорезанные маленькими окошечками, — укрепления против горных бурь, точно против вражеских армий. Здесь были мрачные сводчатые спальни, холодные, но чистые и прибранные в ожидании гостей. Здесь была, наконец, приемная, она же и столовая для гостей, где уже был накрыт стол и пылал яркий огонь в камине.

В этой комнате вокруг камина собрались путешественники, после того как два молодых монаха показали им отведенные для них комнаты. Всего оказалось три партии; первую, самую многочисленную и потому самую медлительную, перегнала по дороге одна из двух остальных. Эта первая партия состояла из пожилой леди, двух седовласых джентльменов, двух молодых девушек и их брата. Их сопровождали пять проводников, два лакея и две горничные; всю эту неудобную свиту пришлось поместить под той же кровлей. Перегнавшая их партия состояла всего только из одной дамы и двух джентльменов. Третья, с итальянской стороны прохода, явилась раньше всех и состояла из четырех человек: полнокровного, голодного и молчаливого немца-гувернера в очках и трех молодых людей, его питомцев, тоже полнокровных, голодных и в очках.

Эти три группы расселись вокруг камина, недоброжелательно поглядывая друг на друга, в ожидании ужина. Только один джентльмен, принадлежавший к партии из трех лиц, сделал попытку завести разговор. Закидывая удочку руководителю главной партии, но делая вид, что обращается к своим спутникам, он за-

метил тоном, который показывал, что его замечание относится ко всему обществу, если оно пожелает принять его на свой счет, что денек выдался трудный и что он сочувствует дамам. Он опасается, что одна из молодых леди слишком слаба или непривычна к путешествиям и чересчур утомилась. Он заметил, когда ехал позади нее, что она едва держалась в седле от усталости. Он два или три раза справлялся потом у проводника, как она себя чувствует, и с восторгом узнал, что молодая леди оправилась и что недомогание было временное. Он надеется (в эту минуту он поймал взгляд руководителя и обратился к нему), что с его стороны не будет дерзостью выразить надежду, что она теперь чувствует себя хорошо и не раскаивается в своей поездке.

— Благодарю вас, сэр, — отвечал руководитель, — моя дочь совершенно оправилась и чрезвычайно интересуется этим путешествием.

— Быть может, впервые в горах? — спросил вкрадчивый путешественник.

— Впервые... кха... в горах, — подтвердил руководитель.

— Но вы хорошо знакомы с ними, сэр? — продолжал вкрадчивый путешественник.

— Да... хм... довольно хорошо. Не в последние годы, не в последние годы, — отвечал руководитель, сопровождая свои слова величественным мановением руки.

Вкрадчивый путешественник, ответив на этот жест наклоном головы, перешел от руководителя к другой девушке, к которой до сих пор обращался лишь в общем замечании о своем сочувствии дамам.

Он выразил надежду, что путешествие не показалось ей слишком неудобным и утомительным.

— Неудобным, да, — отвечала она, — но вовсе не утомительным.

Вкрадчивый путешественник восхитился меткостью ее ответа. Он именно это самое хотел сказать. Без сомнения, дамы должны находить неудобным путешествие на муле.

— Пришлось оставить экипажи и фургон в Мартины, — продолжала девушка, державшая себя довольно надменно и сдержанно, — и, разумеется, невозможность захватить с собой всё необходимое в это неприступное место представляет большое неудобство.

— Да, дикое место, — заметил вкрадчивый путешественник.

Пожилая дама, представлявшая собой образец приличного туалета и манер, которые сделали бы честь любому автомату, вставила со своей стороны замечание мягким, ровным голосом:

— Но его следует посетить, как и многие другие неудобные места, — сказала она. — Место, о котором столько говорят, необходимо посетить.

— О, я ничего не имею против посещения, могу вас уверить, миссис Дженераль, — отвечала барышня небрежным тоном.

— Вы уже бывали здесь, сударыня? — спросил вкрадчивый путешественник.

— Да, — отвечала миссис Дженераль, — я уже бывала здесь раньше... Позвольте мне посоветовать вам, душа моя, — прибавила она, обращаясь к барышне, — заслониться, защитить ваше лицо от огня, после холодного горного воздуха и снега жар может вредно отозваться на коже. Я и вам посоветую то же, душа моя, — сказала она другой барышне помоложе, которая тотчас же исполнила ее совет. Напротив, старшая ограничилась ответом:

— Благодарю вас, миссис Дженераль, я удобно устроилась и предпочитаю оставаться в той же позе.

Ее брат встал со стула, открыл фортепиано, стоявшее в комнате, свистнул в него и снова закрыл, затем подошел к камину и расположился спиной к огню, вставив в глаз стеклышко. Он был одет в полный дорожный костюм. Казалось, в мире нехватит места для путешествий в таком количестве, какого требует этот костюм.

— Однако эти молодцы ужасно копаются с ужином, — промямлил он. — Любопытно знать, чем они угощают нас. Никто не знает, господа?

— Надеюсь, не жареным человеком, — отвечал голос другого джентльмена из второй партии.

— Разумеется, нет. Что вы хотите сказать? — возразил первый.

— То, что если вы не будете поданы к общему ужину, то, может быть, сообразоволюте не поджаривать себя у общего огня.

Молодой человек, расположившийся в очень удобной позе, спиной к огню, поглядывая на компанию в монокль

и подобрав фалды сюртука, и действительно напоминавший ощищенного цыпленка, рассердился при этом замечании и хотел потребовать дальнейших объяснений, как вдруг обнаружилось, так как глаза всех обратились на джентльмена из второй партии, что его спутница, молодая и красивая дама, лишилась чувств, опустив голову на его плечо.

— Я отнесу ее в комнату, — сказал он вполголоса и, обращаясь к своему спутнику, заметил: — Будьте добры, позовите кого-нибудь посветить и проводить нас. Я боюсь заблудиться в этой трущобе.

— Позвольте, я позову мою горничную, — воскликнула одна из барышень, повыше ростом.

— Позвольте, я дам ей воды, — сказала барышня поменьше, до сих пор не открывавшая рта.

Обе поспешили привести в исполнение свои слова, так что в помощи не было недостатка. Когда же явились две горничные (в сопровождении проводника, дабы никто не поставил их в затруднение, обратившись к ним на иностранном языке), помощников оказалось даже слишком много. Заметив это и сказав по этому поводу несколько слов младшей и меньшей ростом барышне, муж дамы, лишившейся чувств, закинул ее руки себе на шею, поднял ее и унес из общей залы.

Его друг, оставшийся с другими путешественниками, принялся расхаживать взад и вперед по комнате, задумчиво покручивая свои усы и как будто сознавая себя участником недавнего столкновения. Между тем как жертва этого столкновения кипела негодованием в уголке, руководитель большой группы высокомерно обратился к оставшемуся джентльмену.

— Ваш друг, сэ, — сказал он, — немножко .. кха... нетерпелив; и в своем нетерпении, быть может, несколько забывает обязанности.. хм... по отношению... Впрочем, оставим это, оставим это. Ваш друг немножко нетерпелив, сэ.

— Может быть, сэ, — отвечал тот. — Но, имев честь познакомиться с моим другом в Женеве, где мы жили в одном отеле, и продолжив это знакомство в дальнейших экскурсиях» я не считаю себя вправе выслушивать даже от человека вашей наружности и вашего положения, сэ, что-либо, клонящееся к осуждению этого джентльмена.

— Вам не придется выслушивать от меня, сэр, ничего подобного. Заметив, что ваш друг проявил некоторое нетерпение, я не высказал ничего подобного. Я сделал это замечание, так как не сомневаюсь, что мой сын, будучи по рождению и по... кха... по воспитанию... хм... джентльменом, охотно подчинился бы всякому деликатно выраженному желанию насчет камина, которым все члены настоящего кружка, без сомнения, вправе пользоваться в одинаковой степени. В принципе я совершенно... кха... согласен с этим, так как все здесь... хм... равноправны.

— Прекрасно! — ответил тот. — На этом можно и закончить. Я покорнейший слуга вашего сына. Прошу вашего сына принять уверение в моем глубоком уважении. Вместе с тем я соглашаюсь, охотно соглашаюсь, что мой друг бывает иногда несколько саркастичен.

— Молодая дама — жена вашего друга?

— Молодая дама — жена моего друга.

— Она очень хороша собой.

— Сэр, несравненно хороша! Они только недавно обвенчались. Это их свадебная поездка, отчасти, впрочем, и с художественными целями.

— Ваш друг художник, сэр?

Джентльмен вместо ответа поцеловал кончики пальцев и поднял руку, посылая поцелуй к небу, точно хотел сказать: «Поручаю силам небесным этого бессмертного художника!».

— Но он из хорошей семьи — прибавил он. — С большими связями. Он более чем художник: он с большими связями. Он может отрекаться от этих связей — гордо, нетерпеливо, саркастично (допуская эти выражения); но он их имеет. Я убедился в этом по искрам скрытого огня в его разговоре.

— Да...а! Надеюсь, — сказал высокомерный джентльмен, давая понять всем своим видом, что он считает этот вопрос исчерпанным, — надеюсь, что нездоровье молодой леди не представляет серьезной опасности.

— Я тоже надеюсь, сэр.

— Простая усталость, полагаю.

— Не совсем простая усталость, сэр: ее мул споткнулся, и она свалилась с седла. Она поднялась и вскочила на седло без посторонней помощи, но к вечеру стала жаловаться на легкую боль в боку. Она несколько

раз говорила о ней, пока мы поднимались в гору вслед за вами.

Предводитель большой партии, державший себя милостиво, но без фамильярности, нашел, повидимому, что слишком далеко простер свою снисходительность. Он не сказал ни слова больше, и в течение четверти часа, пока не подали ужин, молчание не нарушалось.

К ужину явился молодой монах (тут, кажется, вовсе не было старых монахов) и занял хозяйское место. Ужин ничем не отличался от обыкновенного ужина в швейцарских гостиницах; не было недостатка в хорошем красном вине из монастырских виноградников, находившихся в более мягком климате. Художник явился, когда все уселись за стол, и спокойно занял свое место, повидимому совершенно забыв о недавнем столкновении с господином в полном дорожном костюме.

— Скажите, — спросил он хозяина, принимаясь за суп, — много у вас осталось знаменитых собак?

— Три штуки, сударь.

— Я видел внизу трех собак, вероятно тех самых.

Хозяин, стройный, смуглый монах с блестящими глазами и учтивыми манерами, в черной рясе с белыми нашивками от пояса до плеч, не более походил на условный тип сен-бернарского монаха, чем на условный тип сен-бернарской собаки. Он отвечал, что, без сомнения, мсье видел тех самых собак.

— Мне кажется, — продолжал художник, — будто я уже видел одну из них раньше.

— Весьма возможно. Это известная собака. Мсье мог видеть ее в долине или где-нибудь на берегу озера, когда она ходила с кем-нибудь из братьев собирать пожертвования на монастырь.

— Это делается регулярно в известное время года, если не ошибаюсь?

— Мсье не ошибается.

— И эти сборы никогда не производятся без собаки. Собака играет очень важную роль.

— И в этом отношении мсье совершенно прав. Собака играет очень важную роль. Все интересуются этой собакой. Она пользуется громкой славой; быть может, и вы, мадмуазель, слышали о ней?

Мадмуазель не торопилась ответить на этот вопрос, как будто еще не вполне освоилась с французским язы-

ком. Впрочем, миссис Дженераль ответила за нее утвердительно.

— Спросите, много ли людей она спасла? — сказал ей по-английски молодой человек, имевший столкновение с художником.

Монах не нуждался в переводе этого вопроса; он тотчас ответил по-французски:

— Ни одного.

— Почему? — спросил тот же молодой человек.

— Что прикажете делать, — отвечал хозяин спокойно. — Доставьте ей случаи, и она, без сомнения, им воспользуется. Например, я убежден, — прибавил он с улыбкой, передавая гостям нарезанную телятину, — что если бы вы доставили ей случай, она с величайшей охотой исполнила бы свой долг.

Художник засмеялся. Вкрадчивый путешественник (который обнаружил очень предусмотрительную заботливость о размерах своей порции ужина), отерев кусочком хлеба капли вина, повисшие на его усах, вмешался в разговор.

— Для туристов теперь уже позднее время года, — сказал он, — не правда ли, отец мой?

— Да, позднее. Еще две-три недели — и мы останемся одни с зимними вьюгами.

— И тогда, — продолжал вкрадчивый путешественник, — наступит время для откапывания собаками занесенных снегом детей, как это рисуют на картинках?

— Виноват, — сказал хозяин, не поняв намека, — как это — для откапывания собаками занесенных снегом детей, как это рисуют на картинках?

Художник вмешался в разговор, не дав ответить своему спутнику.

— Разве вы не знаете, — холодно спросил он, обращаясь к нему через стол, — что зимой сюда заглядывают только контрабандисты?

— Святые небеса! Нет, в первый раз слышу.

— Я полагаю, что это так. А так как они хорошо знают признаки погоды, то доставляют очень мало работы собакам, которые постепенно вымирают, хотя у них здесь хороший приют. Детей же своих контрабандисты, насколько мне известно, оставляют дома. Но какая грандиозная идея! — воскликнул он с неожиданным пафосом. — Великолепная идея! Прекраснейшая идея в мире,

способная вызвать слезы на глаза человека, клянусь Юпитером!

Сказав это, он спокойно принялся за свою телятину.

Какая-то насмешливая непоследовательность этой речи производила довольно неприятное впечатление, хотя манеры путешественника отличались изяществом, наружность — привлекательностью, а ирония была замаскирована так ловко и голос звучал так просто и непринужденно, что человеку, не вполне освоившемуся с английским языком, трудно было понять насмешку или, даже поняв, найти повод к обиде. Покончив с телятиной среди общего молчания, оратор снова обратился к своему другу.

— Взгляните, — сказал он тем же тоном, — на этого джентльмена, нашего хозяина, который так юн и тем не менее так изящен и с таким скромным достоинством, с такой чисто придворной вежливостью выполняет обязанности хозяина. Просто королевские манеры! Поезжайте на обед к лорду-мэру в Лондоне (если удастся получить приглашение), — вы не встретите там ничего подобного. Этот милый человек с прекраснейшими чертами лица, какие мне только случалось видеть, — истинной находкой для художника, — бросает свою трудовую жизнь и забирается не знаю на сколько футов высоты над уровнем моря, с единственной целью (исключая удовольствие, которое может доставить ему самому роскошная трапеза) угощать таких праздных бедняков, как мы с вами, предоставляя плату на нашу совесть. Какая высокая жертва! Неужели она не тронет нас? Неужели мы станем говорить с пренебрежением об этом месте только потому, что умнейшие из собак с деревянными фляжками на шее не приносят в течение восьми или девяти месяцев в году интересных путников, спасенных от гибели? Нет. Благословим это учреждение! Великое учреждение, славное учреждение!

Грудь седовласого господина, предводителя большой партии, вздымалась, точно протестуя против причисления ее обладателя к праздным беднякам. Как только художник замолчал, он заговорил с большим достоинством, как человек, привыкший руководить обществом и только на минуту забывший о своей обязанности.

Он с важностью заметил хозяину, что зимой, должно быть, скучно жить в этом месте

Хозяин ответил, что действительно жизнь здесь страдает некоторым однообразием. Трудно дышать разреженным воздухом, холод жестокий. Нужно быть молодым и здоровым, чтобы выносить эту жизнь. Но, обладая молодостью и здоровьем, он с божьей помощью...

— Да, да, конечно. Но жизнь в заточении? — сказал седовласый господин.

— Очень часто выдаются дни даже при дурной погоде, когда можно выходить на прогулку. Зимой монахи прокапывают тропинки в снегу и пользуются ими для прогулок.

— Но пространство? — настаивал седовласый джентльмен. — Такое тесное, такое... кха... ограниченное пространство!

— Мсьё, быть может, не знает, что мы посещаем зимой убежища и прокладываем к ним дорожки.

Мсьё всё-таки настаивал, что, с другой стороны, пространство так... кха... хм... ограничено. Мало того — вечно одно и то же, вечно одно и то же.

Хозяин слегка улыбнулся и слегка пожал плечами.

Это правда, — заметил он, — но почти всякую вещь можно рассматривать с различных точек зрения. Он и мсьё, очевидно, смотрят на эту однообразную жизнь не с одинаковой точки зрения. Мсьё не привык жить в заточении.

— Я... кха... да, разумеется, — отвечал седовласый господин. Казалось, этот аргумент поразил его как ударом по голове.

— Мсьё в качестве англичанина-туриста пользуется всеми средствами, которые могут сделать путешествие приятным; без сомнения, обладает состоянием, экипажами, слугами...

— Конечно, конечно, без сомнения, — подтвердил седовласый господин.

— Мсьё, конечно, не может представить себя в положении человека, для которого нет выбора, который не может сказать себе: завтра я отправлюсь туда-то, а послезавтра — туда-то, перейду эту преграду, расширю эти пределы. Мсьё вряд ли может представить себе, до чего дух способен приспособляться к обстоятельствам в силу необходимости.

— Вы правы, — сказал мсьё. — Мы... кха... оставим

эту тему. Вы... хм... без сомнения, совершенно правы. Не будем больше говорить об этом.

Ужин в это время кончился; мсье встал из-за стола и вернулся к своему прежнему месту у огня. Так как было холодно, то и другие гости вернулись на прежние места перед камином, чтобы хорошенько погреться, прежде чем лечь спать. Хозяин поклонился гостям, пожелал им спокойной ночи и ушел. Но сначала вкрадчивый путешественник спросил его, нельзя ли им получить теплого вина, и когда хозяин отвечал утвердительно и вскоре затем прислал вино, путешественник, сидевший как раз перед камином, в центре группы, принялся угощать остальных.

В это время младшая из двух девушек, молчаливо сидевшая в своем темном уголке (комната освещалась, главным образом, камином, потому что лампа дымила и чуть мерцала), незаметно выскользнула из комнаты. Тихонько затворив за собой дверь, она остановилась в нерешительности; но после некоторого колебания, какую дорогу выбрать в лабиринте коридоров, пробралась в угловую комнату главной галереи, где собрались за ужином слуги. Тут ей дали лампу и указали, как пройти в комнату заболевшей леди.

Комната выходила на большую лестницу в верхнем этаже. В голых белых стенах виднелись местами железные решетки, так что в общем здание производило на нее впечатление тюрьмы. Полукруглая дверь в комнату или келью больной была приотворена. Постучав раза два или три и не получив ответа, она тихонько отворила ее и заглянула в комнату.

Леди лежала с закрытыми глазами на постели, укутанная одеялами и пледами, которыми накрыли ее, когда она очнулась от обморока. Тусклый ночник в глубокой нише окна слабо освещал комнату. Посетительница робко подошла к кровати и шепнула чуть слышно:

— Как вы себя чувствуете?

Леди спала, и едва слышный шёпот не разбудил ее. Посетительница внимательно смотрела на нее.

— Очень хороша, — сказала она почти про себя. — Я еще не встречала такого прекрасного лица. О, совсем не похожа на меня!

В этих странных словах был какой-то скрытый смысл, потому что глаза ее наполнились слезами.

— Я знаю, что это она. Я знаю, что он говорил о ней в тот вечер. Я могла бы ошибиться во всем остальном, но не в этом, не в этом.

Она тихонько и нежно поправила разметавшиеся волосы спавшей и прикоснулась к руке, лежавшей на одеяле.

— Мне приятно смотреть на нее, — продолжала она едва слышно. — Мне приятно смотреть на ту, которая так поразила его сердце.

Она не отняла руки, когда больная открыла глаза и слегка вздрогнула.

— Пожалуйста, не тревожьтесь. Я одна из ваших спутниц по путешествию и зашла спросить, как вы себя чувствуете и не могу ли я сделать что-нибудь для вас?

— Вы, кажется, уже были так любезны, что прислали мне свою горничную.

— Нет, это моя сестра. Лучше ли вам?

— Гораздо лучше. Я только слегка ушиблась, но теперь почти совершенно оправилась. У меня как-то сразу закружилась голова. Сначала я переносила боль легко, но потом сразу лишилась чувств.

— Могу я остаться с вами, пока кто-нибудь не придет? Хотите?

— Я была бы очень рада, так как чувствую себя здесь одинокой; но вы озябнете.

— Я не боюсь холода. Я гораздо выносливее, чем кажусь.

Она быстро пододвинула к кровати стул и села. Больная так же быстро накинула на нее плед и, придерживая его, обвила рукой ее шею.

— Вы так похожи на добрую, ласковую няню, — сказала она с улыбкой, — что мне всё кажется, будто вы приехали со мной из дома.

— Мне очень приятно слышать это.

— Я сейчас видела во сне мой дом. Мой старый дом, где я жила до замужества.

— И откуда раньше не уезжали так далеко?

— Мне случалось уезжать из него гораздо дальше, чем теперь; но со мной были мои родные. Теперь, лежа здесь, я чувствовала себя одинокой и, когда заснула, перенеслась к ним.

Голос ее звучал какой-то грустной нежностью и рас-

каанием, так что гостья старалась не смотреть на нее в эту минуту.

— Странно, что судьба свела нас вместе, да еще так тесно, под одним пледом, — сказала она, помолчав, — ведь я уже давно ищу случая увидеть вас.

— Ищете случая увидеть меня?

— Да, у меня есть письмо, которое я должна была передать вам в случае встречи. Вот оно. Или я очень ошибаюсь, или оно адресовано вам. Не правда ли?

Молодая дама взяла его, сказала «да» и прочла. Гостья следила за ней во время чтения. Письмо было очень коротенькое. Прочитав, она слегка покраснела и, прикоснувшись губами к щеке гостьи, пожала ей руку.

— В письме сказано, что милая молодая подруга, которую оно мне рекомендует, может оказаться для меня истинным утешением. Она с первой же встречи оказывается для меня утешением.

— Может быть, вы не знаете, — сказала гостья нерешительно, — может быть, вы не знаете моей истории? Может быть, вам никогда не рассказывали моей истории?

— Нет.

— Конечно, он не рассказывал. Я не знаю, вправе ли я сама рассказать ее, так как меня просили не делать этого. Это очень простая история, но, может быть, она объяснит вам, почему я буду просить вас не рассказывать здесь об этом письме. Не знаю, обратили ли вы внимание на то, что я здесь с родными. Некоторые из них немножко горды, немножко высокомерны.

— Возьмите его обратно, — сказала дама, — и тогда мой муж, конечно, не увидит его. Иначе оно может попасться ему как-нибудь случайно, и он, пожалуй, проговорится. Возьмите его, спрячьте у себя.

Гостья заботливо спрятала его на груди. Ее маленькая, тоненькая рука еще держала письмо, когда за дверью в галлерею послышались шаги.

— Я обещала, — сказала гостья, вставая, — написать ему, когда увижу вас (я непременно должна была встретиться с вами рано или поздно), и сообщить ему, здоровы ли вы и счастливы ли. Я напишу, что вы счастливы и здоровы.

— Да, да, да. Напишите, что я совершенно здорова и очень счастлива. И что я благодарю его от души и никогда не забуду его.

— Я еще увижусь с вами утром. И мы, наверно, еще будем встречаться. Покойной ночи,

— Покойной ночи. Благодарю, благодарю вас. Покойной ночи, милочка.

Они торопливо простились, и гостья вышла из комнаты. В галлерее она ожидала встретить мужа молодой дамы, но вместо него оказался тот самый путешественник, который вытирал капли вина с усов кусочком хлеба. Услышав за собой шаги, он круто повернулся. Изысканная вежливость этого господина заставила его предложить девушке свои услуги. Он взял у нее лампу и, стараясь освещать перед ней ступеньки, проводил ее до общей залы. Она шла, тщетно стараясь скрыть смущение и робость, так как его наружность производила на нее крайне неприятное впечатление. Перед ужином, сидя в своем темном уголке, она невольно думала о нем, воображая его в своей прежней знакомой обстановке, среди знакомых сцен и людей, и в конце концов почувствовала к нему отвращение, доходившее до ужаса.

Он со своей сладкой улыбкой проводил ее по лестнице в залу и уселся попрежнему на лучшем месте, против камина. Догоравшие дрова то озаряли, вспыхивая, его лицо, то снова гасли, между тем как он грелся, вытянув ноги к огню, попивая теплое вино и отбрасывая на стену зловещую черную тень, которая передразнивала все его движения.

Усталая компания разошлась, остались только он да седовласый джентльмен с дочерью. Последний дремал в кресле у камина. Вкрадчивый путешественник отправился наверх в свою спальню и принес оттуда фляжку с водкой. Вылив ее в вино, он выпил эту смесь с особенным удовольствием.

— Смею спросить, сэр, вы едете в Италию?

Седовласый джентльмен в это время встал, собираясь уходить. Он отвечал утвердительно.

— Я тоже, — сказал путешественник. — Не теряю надежды, что удостоюсь чести засвидетельствовать вам свое почтение в более приятной местности, чем эта угрюмая гора.

Джентльмен поклонился довольно надменно и поблагодарил за любезность.

— Мы, бедные джентльмены, сэр, — сказал путешественник, вытирая пальцами усы, мокрые от водки и

вина, — мы, бедные джентльмены, не можем путешествовать как принцы, но это не мешает нам ценить изящество и утонченность. Ваше здоровье, сэр!

— Сэр, благодарю вас.

— Здоровье вашего почтенного семейства — прекрасных леди, ваших дочерей!

— Сэр, еще раз благодарю вас. Позвольте пожелать вам покойной ночи... Душа моя, дожидаются ли нас наши... кха... наши люди?

— Да, отец.

— Позвольте мне, — сказал путешественник, вставая и распахнув дверь перед седовласым джентльменом, который направлялся к ней под руку с дочерью. — Покойной ночи. До приятного свидания. До завтра!

Он поцеловал кончики пальцев, с изящнейшим жестом и сладчайшей улыбкой, а молодая девушка прижалась поближе к отцу, стараясь не прикоснуться мимоходом к незнакомцу.

— Хм... — сказал вкрадчивый путешественник, изящество которого исчезло и голос потерял нежный оттенок, как только он остался один. — Все отправились спать, неужели и мне отправляться? Они чертовски спешат. В этой ледяной, мрачной пустыне ночь покажется бесконечной, если даже улечься двумя часами позднее.

Допивая стакан, он запрокинул голову и увидел книгу для записывания туристов, лежавшую на фортепиано. Книга была открыта, и около нее находились перья и чернильница, как будто путешественники только что расписались.

Взяв книгу, он прочитал следующие имена:

Вильям Доррит, эсквайр	}	С прислугой. Из Франции в Италию.
Фредерик Доррит, эсквайр		
Эдуард Доррит, эсквайр		
Мисс Фанни Доррит		
Мисс Эми Доррит		
Миссис Джeneral		
Мистер и миссис Гоуэн		Из Франции в Италию.

К этому списку он прибавил мелким витиеватым почерком, с длинным росчерком, который точно аркан охватил все остальные имена:

Бландау Париж

Из Франции в Италию

Нос его опустился над усами, а усы поднялись под носом, после чего он отправился в свой номер.

ГЛАВА II

Миссис Дженераль

Необходимо представить читателям во всех отношениях образцовую леди, которая играла в семействе Доррит достаточно важную роль, чтобы записать свое имя в книге для туристов. Миссис Дженераль была дочерью одной духовной особы в епископальном городе, где фигурировала в качестве законодательницы хорошего тона, пока не приблизилась к сорокапятилетнему возрасту. В это самое время один комиссариатский чиновник, шестидесяти лет, ретивый служака, пленился важностью, с которой она правила четверкой, запряженной в карету общественных приличий, разъезжая по епископальному городу, и просил позволения примоститься на запятках кареты, везомой этой борзой четверкой. Предложение его было принято, комиссариатский чиновник уселся на запятках с великим достоинством, и миссис Дженераль продолжала править до самой его смерти.

Схоронив комиссариатского чиновника с подобающей помпой (полная упряжка в перьях и траурных пополах с гербами покойного везла погребальную колесницу), миссис Дженераль навела справки, много ли праха и пепла отложено покойным в банке. Тут оказалось, что комиссариатский чиновник как нельзя более ловко обошел миссис Дженераль: за несколько лет перед свадьбой он купил пожизненную ренту, но утаил это обстоятельство от супруги, уверив ее, будто живет на проценты с капитала. В результате средства миссис Дженераль уменьшились до такой степени, что только безукоризненно строгий ум не позволил ей усомниться в справедливости того места в заупокойной службе, из которого явствует, что комиссариатский чиновник не может ничего унести с собой в могилу.

При таком положении вещей миссис Дженераль пришло в голову, что она может «образовать ум» и равным образом манеры какой-нибудь девицы хорошей фамилии или запрячь свою четверню в колымагу какой-нибудь сироты — наследницы крупного состояния — или вдовы, дабы благополучно провезти ее сквозь лабиринт общественных приличий в качестве возницы и конвойного. Духовные и комиссариатские родичи миссис Дженераль отнеслись к ее идее так восторженно, что, если б

не бесспорные достоинства этой леди, можно было бы заподозрить их в желании отделаться от нее. Рекомендательные письма со стороны влиятельных лиц, изображавших ее чудом благочестия, образованности, добродетели и изящества, посыпались градом, а один почтенный архидьякон даже прослезился, составляя описание ее совершенств (на основании показаний лиц, заслуживающих доверия), хотя ни разу в жизни не удостоился чести и наслаждения лицезреть миссис Джeneralь.

Получив, таким образом, одобрение церкви и государства, миссис Джeneralь почувствовала себя в силах сохранить высокое положение, которое всегда занимала, и для начала оценила себя по самой высокой таксе. В течение некоторого времени миссис Джeneralь никому не требовалась. В конце концов, однако, нашелся провинциал-вдовец с четырнадцатилетней дочкой, который вступил в переговоры с этой дамой; и так как миссис Джeneralь, по своему ли природному достоинству или в силу дипломатических соображений, всегда повертывала дело так, как будто за ней гоняются, а она никого не ищет, то и вдовцу пришлось погоняться за ней довольно долго, пока он не убедил миссис Джeneralь заняться образованием ума и манер его дочери.

Исполнению этой обязанности миссис Джeneralь посвятила семь лет, в течение которых объездила Европу и пересмотрела почти весь тот винегрет разнообразнейших предметов, которые всем благовоспитанным людям необходимо видеть чужими глазами, а не своими собственными. Когда, наконец, она закончила свою обязанность, состоялись свадьбы не только барышни, но и ее родителя-вдовца. Находя, что при таких обстоятельствах миссис Джeneralь является чересчур дорогой обузой, вдовец внезапно почувствовал умиление перед ее достоинствами и принялся расточать такие похвалы ее неслыханным добродетелям всюду, где, по его расчету, могло понадобиться это сокровище, что имя миссис Джeneralь прогремело с большим, чем когда-либо, треском.

Когда этот феникс¹ собирался вернуться на свой

¹ Феникс — в античной мифологии птица редкой красоты, которая, чувствуя приближение старости, сжигала себя на костре и вновь возрождалась юной из пепла. Диккенс употребляет это слово иронически.

высокий насест, мистер Доррит, только что получивший огромное наследство, заявил своим банкирам, что ему желательно найти леди, благовоспитанную, образованную, с хорошими связями, привыкшую к порядочному обществу, которая согласилась бы взять на себя завершение образования его дочерей и заменить им мать. Банкиры мистера Доррита, так же как и банкиры провинциала-вдовца, в один голос объявили: «Миссис Джeneralь».

Продолжая так счастливо начатые поиски и убедившись, что рекомендации всех знакомых миссис Джeneralь отличаются одинаково патетическим характером, мистер Доррит взял на себя труд съездить к вдовцу посмотреть на миссис Джeneralь. Высокие качества этой леди превзошли все его ожидания.

— Вы меня извините, — сказал мистер Доррит, — если я спрошу насчет... кха... вознаграждения...

— Право, — перебила миссис Джeneralь, — я предпочла бы обойти этот предмет. Я никогда не говорила об этом с моими друзьями, мистер Доррит, и не могу преодолеть неловкость, которую возбуждает во мне подобная тема. Надеюсь, вам известно, что я не гувернантка...

— О, разумеется! — отвечал мистер Доррит. — Пожалуйста, сударыня, не думайте, что я вообразил это. Он даже покраснел при мысли, что его могли заподозрить в этом.

Миссис Джeneralь с важностью наклонила голову.

— Итак, я не могу назначать цену за услуги, оказывать которые безвозмездно для меня было бы истинным удовольствием, хотя, к сожалению, это невозможно. Но знаю, найдете ли вы еще случай, подобный моему. Он совершенно исключителен.

— Без сомнения. Но как же, в таком случае, — заметил мистер Доррит с довольно естественным недоумением, — подойти к этому предмету?

— Я не буду иметь ничего против, — сказала миссис Джeneralь, — хотя и это для меня неприятно, но я не буду иметь ничего против того, чтобы мистер Доррит конфиденциально осведомился у моих друзей, какую сумму они имели обыкновение вносить каждую четверть года моим банкирам.

Мистер Доррит поклонился.

— Позвольте прибавить к этому, — продолжала мис-

сис Дженераль, — что я не стану больше возвращаться к этой теме. Далее, я отнюдь не считаю возможным занять второстепенное или низшее положение. Если мистер Доррит предлагает мне честь познакомиться с его семейством, — если не ошибаюсь, вы упоминали о двух дочерях..

— О двух дочерях.

— ... То я могу принять ее лишь на условиях полного равенства — как товарищ, ментор¹ и друг.

Мистер Доррит, при всем сознании своей важности, чувствовал, что ему положительно оказывают честь, соглашаясь на такие условия. Приблизительно в этом смысле он и высказался.

— Если не ошибаюсь, — повторила миссис Дженераль, — вы упоминали о двух дочерях.

— О двух дочерях, — повторил мистер Доррит.

— В таком случае, — сказала миссис Дженераль, — необходимо увеличить на одну треть сумму (какова бы она ни была), которую мои друзья привыкли вносить моему банкиру.

Мистер Доррит, не теряя времени, обратился за разрешением этого деликатного вопроса к провинциалу-вдовцу и, узнав, что тот имел обыкновение вносить триста фунтов ежегодно банкиру миссис Дженераль, вычислил без особенного напряжения своих арифметических способностей, что ему придется вносить четыреста. Видя, что миссис Дженераль — сокровище, достойное любой цены, мистер Доррит обратился к ней с формальным предложением оказать ему честь и удовольствие, сделавшись членом его семьи. Миссис Дженераль соблаговолила оказать ему эту высокую честь и сделалась членом его семьи.

По внешности миссис Дженераль, считая и юбки, составлявшие весьма важную часть ее особы, производила внушительное впечатление; важная, полная, с шуршащими юбками, объемистая, настоящее воплощение приличий. Если б ее занесло на вершину Альп, — ее в самом деле туда занесло, — или на дно Геркуланума,² ни одна складка ее платья не была бы помята, ни одна

¹ Ментор — наставник, воспитатель (по имени воспитателя Телемаха, сына Одиссея, в поэме Гомера «Одиссея»).

² Геркуланум — город в древней Италии, уничтоженный лавой и засыпанный пеплом вместе с городом Помпея при извержении вулкана Везувий в 79 г. н. э.

булавка не потерялась бы. Если ее лицо и волосы были точно посыпаны мукой, как будто она жила на какой-нибудь мельнице изящнейшего тона, то это зависело скорее от ее лимфатической природы, чем от употребления пудры или от седины. Если глаза ее были лишены всякого выражения, то, по всей вероятности, оттого, что им нечего было выражать. Если у нее было мало морщин, то потому, что никаких душевных движений не отражалось на ее лице. Это была холодная, восковая, угасшая женщина, которая никогда не горела ярко.

У миссис Дженераль не было мнений. Ее метод образовывать ум заключался в том, чтобы не дать ему возможность иметь собственное мнение. Ее мозг был устроен на манер маленьких круглых колея или рельсов, по которым она пускала маленькие поезда чужих мнений, никогда не перегонявшие друг друга и никогда ни куда не приезжавшие. Даже ее благоприличие не могло отвергать того факта, что на свете не всё обстоит благоприлично, но она отделялась от этого факта тем, что не замечала его и внушала другим, что ничего подобного не существует. Это была другая основная черта ее метода—прятать все затруднительные предметы в шкаф, запирать их под замок и говорить, что они не существуют. Бесспорно, это был самый простой и действительный способ.

С миссис Дженераль нельзя было говорить о чем-либо шокирующем. При ней нельзя было упоминать о несчастных случаях, бедствиях, преступлениях. Страсти должны были засыпать в присутствии миссис Дженераль, а кровь — превращаться в молоко и воду. Всё то небольшое, что оставалось в мире после такой очистки, миссис Дженераль тщательно лакировала. Для этого она обмакивала самую маленькую кисточку в самый большой горшок и покрывала лаком поверхность каждого предмета, который попадался на глаза. Чем больше на нем было трещин, тем гуще слой накладывала миссис Дженераль.

Лак слышался в голосе миссис Дженераль, лак чувствовался в ее прикосновении, даже атмосфера, окружавшая ее, была пропитана лаком. Наверно и сны миссис Дженераль были покрыты лаком, если только она видела сны, почивая под кровом св. Бернара, одетым пеленой пушистого снега.

ГЛАВА III

На дороге

Яркое утреннее солнце слепило глаза, метель прекратилась, туман растаял, и горный воздух был так прозрачен и чист, что, казалось, вступаешь в новую жизнь, вдыхая его. В довершение иллюзии твердая почва тоже как будто растаяла, и гора — сверкающая громада гигантских белых вершин и масс — казалась грудой облаков, плавающих между голубым небом и землей.

Черные точки на снегу, точно узелки нити, начинавшейся от монастырских ворот и тянувшейся, извиваясь и иногда прерываясь, вниз по горе, указывали те места, где братья расчищали дорогу. У ворот снег уже начинал утаптываться. Выводили мулов, привязывали к кольцам в стене и навьючивали. Привязывали бубенчики, укладывали багаж; голоса погонщиков и всадников мелодично звучали в чистом воздухе. Некоторые уже тронулись в путь, и на вершине, близ темного пруда, подле монастыря, по склону горы фигуры людей и мулов, казавшиеся миниатюрными в сравнении с окружающими громадами, двигались под ясный звон бубенчиков и гармонический шум голосов.

В комнате, где накануне ужинали, пылал огонь над вчерашним пеплом, озаряя скромный завтрак из хлеба, масла и молока. Он озарял также проводника семьи Доррит, приготавлившего чай для своей партии из собственных запасов, служивших, главным образом, для питания многочисленной прислуги — главной обузы путешественников.

Мистер Гоуэн и Бландуа из Парижа, уже позавтракавшие, прогуливались над озером, покуривая сигары

— А, Гоуэн, — пробормотал Тип, иначе — Эдуард Доррит, эсквайр, перелистывая книгу для туристов. — Значит, Гоуэн — имя молокососа, вот всё, что я могу сказать. Я бы щелкнул его по носу, если бы стоило руки марать. Да не стоит, к счастью для него. Что его жена, Эми? Ты, верно, знаешь, ты всегда знаешь всё такое.

— Ей лучше, Эдуард. Но они не поедут сегодня.

— О, они не поедут сегодня! Счастье для этого молодчика, иначе ему наверно пришлось бы иметь дело со мной.

— Решено было, что лучше ей остаться и отдохнуть до завтра, чтобы не слишком утомляться ездой.

— На здоровье. Но ты так говоришь, будто нянчилась с ней. Надеюсь, ты не вздумала вернуться (миссис Дженераль здесь нет) к своим старым привычкам, Эми?

Он искоса взглянул на мисс Фанни и на отца.

— Я только наведалась к ней узнать, не нужно ли ей чего-нибудь, Тип, — сказала Крошка Доррит.

— Зачем ты называешь меня Типом, Эми? — возразил молодой человек, нахмурившись. — Пора бросить эту старую привычку.

— Я нечаянно, милый Эдуард. Я забылась. Когда-то это было так естественно, что и теперь подвернулось мне само собою.

— О да, — вмешалась мисс Фанни. — Естественно и само собою, когда-то и теперь! Что за бессмыслица! Я-то очень хорошо знаю, почему ты принимаешь такое участие в миссис Гоуэн. Меня не проведешь!

— Я и не собираюсь, Фанни. Не сердись.

— О, не сердись! — вспылила мисс Фанни. — Терпения моего нехватает! — (Это была совершенная правда.)

— Что такое, Фанни? — спросил мистер Доррит, подымая брови. — Что ты хочешь сказать? Объяснись.

— О, пустяки, папа! — возразила мисс Фанни. — Не стоит и говорить. Эми понимает меня и так. Она знает эту миссис Гоуэн или слышала о ней не со вчерашнего дня.

— Дитя мое, — сказал мистер Доррит, обращаясь к младшей дочери, — имеет твоя сестра какое-нибудь кха... основание для такого странного заявления?

— Как мы ни сердобольны, — подхватила мисс Фанни, прежде чем та успела ответить, — мы не стали бы забираться в спальню незнакомой дамы на вершине холодной горы и сидеть с этой дамой, дрожа от холода, если бы не слышали о ней раньше. Нетрудно угадать, с кем дружна эта миссис Гоуэн.

— С кем же? — спросил отец.

— Папа, — отвечала мисс Фанни, которая тем временем успела войти в роль обиженной и гонимой, — мне очень прискорбно говорить это, но я уверена, что друг миссис Гоуэн — тот самый неприятный и грубый господин, который с полным отсутствием деликатности, хотя мы в нашем положении имели право ожидать от него деликатности, публично и умышленно оскорбил и задел

наши чувства при обстоятельствах, которых не стану напоминать, так как между нами решено как можно меньше говорить об этом

— Эми, дитя мое, — сказал мистер Доррит снисходительно-суровым тоном, — правда ли это?

Крошка Доррит отвечала:

— Да, правда.

— Да, правда! — воскликнула мисс Фанни. — Разумеется, я так и знала! После этого, папа, я должна объявить раз навсегда, — (у этой молодой леди была привычка объявлять одно и то же раз навсегда ежедневно или даже по нескольку раз в день), — что это просто позор! Я должна объявить раз навсегда, что этому пора положить предел. Мало того, что мы испытали то, что известно нам одним, нам будет еще напоминать об этом упорно и систематически та, которая, более чем кто-либо, должна щадить наши чувства. Неужели нам придется выносить это противоестественное поведение каждую минуту нашей жизни? Неужели нам никогда не позволят забыть о прошлом? Повторяю, это просто бесстыдно.

— Ну, Эми, — сказал ее брат, покачивая головой, — ты знаешь, я всегда стоял за тебя, в большинстве случаев. Но, ей-богу, я должен сказать, что ты довольно странно выражаешь свою сестринскую любовь, продолжая знакомство с господином, который обошелся со мной так неблагородно. Только низкий плут, — прибавил он убедительным тоном, — мог так обойтись со мной!

— И заметьте, — сказала мисс Фанни, — заметьте, что из этого выходит! Можем ли мы рассчитывать на уважение наших слуг? Никогда! Тут две наши горничные, камердинер папы, лакей, проводник, всевозможная прислуга, а она на глазах у всех бросается за стаканом воды, точно простая служанка! Полицейский на улице, если с каким-нибудь бродягой случится припадок, не бросится за водой так поспешно, как бросилась вчера эта самая Эми в этой самой комнате на наших глазах!

— Этому я не придаю особенного значения, — заметил мистер Эдуард, — но ваш Кленнэм, как ему угодно называть себя, — другое дело.

— Решительно то же самое, — возразила мисс Фанни, — всё это одно к одному. Во-первых, он втерся к нам по своей охоте. Мы никогда не нуждались в нем. Я всегда давала ему понять, что охотно расстанусь с его обще-

ством. Затем он наносит жестокое оскорбление нашим чувствам единственно из желания выставить нас на позор. И после этого мы еще будем ухаживать за его друзьями! Не удивляюсь, что эта миссис Гоуэн так относится к нам. Чего же и ждать, когда она потешается над нашими прошлыми несчастиями, потешается над ними в эту самую минуту.

— Отец... Эдуард... неправда! — взмолилась Крошка Доррит, — Ни мистер, ни миссис Гоуэн никогда не слышали нашего имени. Им совершенно неизвестна наша история.

— Тем хуже, — возразила Фанни, решившись не принимать во внимание никаких смягчающих обстоятельств, — потому что в таком случае для тебя нет никакого извинения. Если бы они знали о нас, тебе бы еще могло прийти в голову попытаться задобрить их. Это была бы жалкая и смешная ошибка, но ошибку я могу простить, а сознательное и обдуманное желание унижить тех, которые должны быть всех ближе и дороже для тебя, — это непростительно. Нет, этого я не могу простить!

— Я никогда не оскорбляю тебя умышленно, Фанни, — сказала Крошка Доррит, — хотя ты так строго относишься ко мне.

— В таком случае нужно быть осмотрительнее, Эми, — отвечала сестра. — Если ты делаешь подобные вещи необдуманно, то нужно быть осмотрительнее. Если бы я родилась в особом месте, при особых обстоятельствах, которые могли бы заглушить во мне чувство приличия, я бы, мне кажется, на каждом шагу спрашивала себя: не скомпрометирую ли я бессознательно кого-нибудь из близких и дорогих родственников? Так бы, мне кажется, поступала я, если бы это случилось со мною.

Мистер Доррит нашел своевременным положить конец этому тяжелому инциденту и вместе с тем подчеркнуть его мораль своим авторитетным и мудрым словом.

— Душа моя, — сказал он младшей дочери, — прошу тебя... кха... ни слова более. Твоя сестра Фанни выражается резко, но в ее словах значительная доля правды. Ты должна стоять на высоте положения, которое... хм... занимаешь теперь. Ты занимаешь это высокое положение не одна, но вместе... кха... со мною и... кха... хм... со всеми нами... со всеми нами! А все, кто занимает высокое положение, в особенности же наше семейство, —

по причинам, о которых я... кха... не стану распространяться, — должны заботиться о том, чтобы их уважали... неусыпно заботиться о том, чтобы их уважали. Низшие будут уважать нас лишь в том случае, если мы... кха... будем держать их на почтительном расстоянии и... хм... относиться к ним свысока... свысока. Ввиду этого весьма важно, дабы не вызвать непочтительных замечаний со стороны прислуги, не подавать ей повода думать, что мы когда-либо... кха... обходились без ее услуг и исполняли их сами.

— Кто же может сомневаться в этом? — воскликнула мисс Фанни. — В этом вся суть.

— Фанни, — возразил отец торжественным тоном, — позволь мне говорить, душа моя. Перейду... кха... к мистеру Кленнэму. Скажу откровенно, Эми, что я не разделяю чувств твоей сестры к мистеру Кленнэму... то есть не разделяю их вполне... хм... вполне. На мой взгляд он... кха... вообще порядочный человек... хм... порядочный человек. Не стану также утверждать, что мистер Кленнэм когда-нибудь втирался... кха... в мое общество. Он знал, что моего общества вообще... хм... искали... кха... и мог считать меня лицом общественным. Но некоторые обстоятельства моего... поверхностного знакомства с мистером Кленнэмом (оно было очень поверхностно) делают, — при этих словах он принял необыкновенно важный вид, — делают в высшей степени деликатными всякие попытки со стороны мистера Кленнэма... кха... возобновлять знакомство со мною или с каким бы то ни было членом моей семьи при существующих обстоятельствах. Если бы у мистера Кленнэма хватило деликатности понять неприличие подобных попыток, я, как джентльмен, счел бы себя обязанным... кха... уважать эту деликатность. Если же у мистера Кленнэма не хватает этой деликатности, я не желаю ни минуты... кха... поддерживать отношения с таким... хм... бестактным и грубым человеком. В том и другом случае мистер Кленнэм не имеет с нами ничего общего, и нам до него или ему до нас решительно нет дела... А... миссис Джернелль!

Появление этой леди к завтраку положило конец препирательствам. Вскоре затем проводник объявил, что камердинер, лакей, обе горничные, четыре погонщика и четырнадцать мулов готовы; при этом известии все встали

и отправились на монастырский двор присоединиться к кавалькаде.

Мистер Гоуэн стоял в стороне с сигарой в зубах, но мистер Бландуа поспешил засвидетельствовать свое почтение дамам. Когда он галантно поднял свою широкополую шляпу перед Крошкой Доррит, ей показалось, что теперь эта смуглая фигура в плаще, резко выделявшаяся на снегу, имеет еще более зловещий вид, чем вчера при свете камина. Но так как ее отец и сестра отвечали на его поклон довольно благосклонно, то она постаралась ничем не выразить своей антипатии, чтобы не навлечь на себя новых упреков в неумении отделаться от тюремного воспитания.

Но пока они спускались по крутой извилистой дороге в виду монастыря, она не раз оглядывалась и всякий раз видела фигуру Бландуа на фоне дыма, поднимавшегося из монастырских труб золотистыми клубами. Он стоял на одном месте и следил за ними. И долго еще, когда он превратился уже в черную точку на снегу, ей казалось, что она видит эту улыбку, этот ястребиный нос и эти глаза. Даже позднее, когда монастырь исчез из виду и легкие утренние облака заволокли горный проход, зловещие деревянные руки придорожных столбов, казалось, указывали на него.

Но по мере того как они спускались в более теплые области, Бландуа из Парижа, — коварнее, холоднее и безжалостнее горных снегов, — мало-помалу исчез из ее памяти. Солнце снова стало пригревать, горные потоки, струившиеся из ледников и снежных пещер, так чудесно утоляли жажду; сосны, зеленеющие пригорки и лощины, деревянные шале и грубые изгороди Швейцарии снова замелькали перед путниками. Местами дорога так расширилась, что Крошка Доррит и ее отец могли ехать рядом. И ей так радостно было видеть его в дорогой шубе и щегольской одежде, богатого, свободного, окруженного многочисленными слугами, любующегося чудесным ландшафтом, которого не загораживает от него мрачная стена с ее зловещей тенью!

Ее дядя настолько отделался от тени прошлого, что носил пальто, которое ему давали, умывался ради семейного достоинства и ехал, куда его везли, с каким-то пассивным животным удовольствием, показывавшим, по видимому, что чистый воздух и перемена места доставляют

ему удовольствие. Во всех других отношениях, за исключением одного, он как будто не имел собственного света, а заимствовал его от брата. Величие, богатство, свобода, пышность брата радовали его без всякого отношения к себе самому. Молчаливый и застенчивый, он не чувствовал потребности говорить, когда мог слышать брата, не нуждался в слугах, раз слуги ухаживали за братом. В нем можно было заметить только одну перемену — в отношениях к младшей племяннице. С каждым днем он относился к ней всё с большей и большей почтительностью, весьма редкой в отношениях старших к младшим и особенно трогательной по своему такту. Всякий раз, когда мисс Фанни «объявляла раз навсегда», он пользовался каждым удобным случаем обнажить свою седую голову перед младшей племянницей, или помочь ей сойти с лестницы, или посадить в экипаж, или чем-нибудь другим выразить свое внимание, всегда с глубокой почтительностью. Но никогда она не казалась неуместной или вынужденной — напротив, всегда отличалась сердечной простотой и непринужденностью. Никогда он не соглашался, даже по приглашению брата, сесть прежде нее или вообще не оказать ей преимущества. Он так ревниво следил за тем, чтобы и другие оказывали ей почтение, что не далее как при описанном выше отъезде из монастыря страшно рассердился на лакея, который не поддержал ей стремени, хотя стоял подле ее мула, и несказанно изумил всю компанию, направив на него своего упрямого мула, загнав его в угол и угрожая раздавить на смерть.

Они представляли собой группу, внушавшую почтение, и содержатели гостиниц чуть ли не молились на них. Куда бы они ни приезжали, всюду их предупреждала слава об их важности в лице проводника, который отправлялся вперед нанять и приготовить лучшее помещение. Он служил герольдом семейной процессии. За ним следовала большая карета в которой помещались: внутри мистер Доррит, мисс Фанни Доррит, мисс Эми Доррит, миссис Джeneralь; снаружи несколько служителей и (в хорошую погоду) Эдуард Доррит, эсквайр, для которого оставлялось место на козлах. За каретой следовала коляска с Фредериком Дорритом, эсквайром, и свободным местом для Эдуарда Доррита, эсквайра, на случай дурной погоды. В заключение тащился фургон с прислу-

той, тяжелым багажом и всей той пылью и грязью, которые доставались ему от передовых экипажей.

Все эти экипажи украшали собою двор отеля в Мартины при возвращении семейства из экскурсии в горы. Много тут было и других экипажей, начиная с заплатанной итальянской веттуры,¹ — напоминающей ящик от качелей с английской ярмарки, поставленный на деревянный поднос на колесах и накрытый другим деревянным подносом без колес, — до шикарной английской коляски. Но в отеле оказалось и другое украшение, которого мистер Доррит вовсе не требовал: двое иностранцев-туристов украшали одну из его комнат.

Хозяин, стоя на дворе, без шляпы, уверял проводника что он вне себя от огорчения, что он в отчаянии, что он несчастнейшая и злополучнейшая тварь, что у него деревянная башка. Он ни за что бы не согласился, но знатная леди так умоляла его уступить ей эту комнату только для обеда на полчаса, что у него нехватило духу отказать. Полчаса уже прошло, леди и джентльмен кушают десерт и кофе, по счету уплачено, лошади поданы, им бы уже следовало уехать, но такое уж его несчастье, видно небо решило покарать его: они до сих пор не уехали.

Невозможно себе представить негодование мистера Доррита, когда он слышал эти оправдания. Семейная честь была поражена в самое сердце кинжалом убийцы. Чувство собственного достоинства у мистера Доррита было необыкновенно щекотливо. Он способен был видеть злой умысел против него там, где другой не подозревал бы и возможности оскорбления. Иго жизнь превратилась в пытку по милости бесчисленных тончайших скальпелей, которые, как ему казалось, ежесекундно крошили на куски его достоинство.

— Как, сэр! — воскликнул мистер Доррит, побагровев.— Вы... кха... у вас хватило наглости поместить в моей комнате посторонних!

Тысяча извинений! Хозяин страшно огорчен, что согласился на просьбу благородной леди. Он умоляет монсиньора не гневаться. Он униженно просит монсиньора о снисхождении. Если монсиньор соизволит занять

¹ Веттура — (итал.) карета, повозка.

другой салон, специально оставленный для него, всё будет улажено через пять минут.

— Нет, сэр! — закричал мистер Доррит. — Я не займу никакого салона. Я не стану ни есть, ни пить в вашем доме; нога моя не вступит в него! Как вы смеете делать такие вещи? Кто я такой, что вы... кха... выделяете меня среди остальных джентльменов?

Увы! Хозяин призывает вселенную в свидетели того, что монсиньор — самый великодушный из всей знати, самый милостивый, самый почтенный, самый достойный. Если он выделяет монсиньора среди остальных, то лишь тем, что считает его более благородным, более уважаемым, более великодушным, более знаменитым.

— Слышать не хочу, сэр, — возразил мистер Доррит в бешенстве. — Вы отнесли ко мне с неуважением! Вы оскорбили меня! Как вы смеете? Объяснитесь!

О праведное небо, как же он может объясниться, когда ему нечего больше объяснять и остается просить извинения, положившись на всем известное великодушие монсиньора!

— Говорят вам, сэр, — сказал мистер Доррит, задыхаясь от гнева, — что вы выделяете меня... кха.. среди остальных джентльменов, что вы делаете различие между мною и другими богатыми и высокопоставленными джентльменами. Спрашиваю вас: почему? На каком... кха... на каком основании? Отвечайте, сэр! Объяснитесь! Говорите: почему?

— Позвольте мне смиренно разъяснить господину проводнику, что монсиньор, обыкновенно такой милостивый, напрасно гневается. Тут нет никакой причины. Господин проводник будет добр доложить монсиньору, что тот ошибается, подозревая здесь какие-либо причины, кроме той, на которую уже имел честь указать его покорный слуга. Знатная леди...

— Молчать! — крикнул мистер Доррит. — Придержите свой язык. Слышать не хочу о знатной леди; слышать не хочу о вас. Взгляните на это семейство, мое семейство, семейство познатнее всех ваших леди. Вы отнесли к этому семейству непочтительно; вы были нахальны с этим семейством. Я вас уничтожу. Эй!.. Запрягать, укладываться, нога моя не ступит больше в доме этого человека!

Никто не вмешивался в этот спор, превышавший

познания во французском разговорном языке Эдуарда Доррита, эсквайра, а может быть и обеих молодых леди. Как бы то ни было, мисс Фанни сочла долгом поддержать отца, с горечью заявив на родном языке, что наглость хозяина, очевидно, имеет другую подкладку и что его следовало бы так или иначе принудить к ответу, как он осмелился делать различие между их семьей и другими богатыми семействами. Какие он имел основания для своего дерзкого поступка — она не знает; но основания, очевидно, были, и надо добиться, чтобы он разъяснил их.

Все проводники, погонщики, зеваки, толпившиеся на дворе, собрались вокруг спорящих и были очень поражены, когда проводник семейства Доррит распорядился выкатывать экипажи из сараев. Благодаря добровольным помощникам, налипшим по дюжине на каждое колесо, это было сделано очень скоро среди страшного шума; затем приступили к погрузке в ожидании лошадей с почтовой станции.

Но, видя, что английская коляска знатной леди стоит у подъезда запряженная, хозяин побежал к ней просить помощи в его критическом положении. Это заметили на дворе, потому что хозяин появился на крыльце в сопровождении джентльмена и леди, указывая на оскорбленное величие мистера Доррита выразительным жестом.

— Прошу прощения, — сказал джентльмен, выходя вперед. — Я не мастер говорить и объясняться, но вот эта леди ужасно беспокоится, чтоб не было ссоры. Леди, — то есть моя мать, говоря попросту, — просит меня передать, что она надеется, что не будет ссоры.

Мистер Доррит, всё еще задыхавшийся от негодования, поклонился джентльмену и леди с самым холодным, сухим и неприступным видом.

— Нет, право же, послушайте, дружище, вы! — с таким возгласом джентльмен обратился к Эдуарду Дорриту, эсквайру, уцепившись за него как за якорь спасения. — Давайте попытаемся уладить это дело. Леди ужасно желает, чтоб без ссоры.

Эдуард Доррит, эсквайр, отведенный к сторонке за пуговицу, ответил с дипломатическим выражением на лице.

— Сознаться, однако, что, раз вы наняли для себя помещение и оно принадлежит вам, для вас неприятно будет найти в нем посторонних.

— Да, — отвечал тот, — я знаю, что это неприятно. Я согласен. Но всё-таки попробуем уладить дело без ссоры. Этот мальй не виноват: всё моя мать. Она замечательная женщина, без всяких этаких благоглупостей.. ну, и хорошего воспитания... где же ему устоять. Она его живо оседлала!

— Если так, — начал Эдуард Доррит, эсквайр.

— Ей-богу, так! Значит, — отвечал джентльмен, возвращаясь к своему главному пункту, — к чему же тут ссоры?

— Эдмунд, — спросила леди с крыльца, — надеюсь, ты объяснил или объясняешь, что любезный хозяин не так виноват перед этим господином и его семейством, как им кажется.

— Объясняю, просто из кожи лезу, чтобы объяснить, — отвечал Эдмунд. Затем он пристально смотрел в течение нескольких секунд на Эдуарда Доррита, эсквайра, и вдруг прибавил в порыве доверчивости: — Голубчик, значит, всё в порядке?

— В конце концов, — сказала леди, приближаясь с любезным видом к мистеру Дорриту, — кажется, лучше будет мне самой объяснить, что я обещала этому доброму человеку взять на себя всю ответственность за вторжение в чужую квартиру. Решившись занять комнату на самое короткое время, только чтобы пообедать, я не думала, что законный владелец вернется так скоро, и не знала, что он уже вернулся, иначе поспешила бы освободить комнату и лично принести мои извинения и объяснения. Говоря это, я надеюсь..

Леди внезапно умолкла и остолбенела, случайно наведя лорнет на обеих мисс Доррит. В то же мгновение мисс Фанни, находившаяся на переднем плане живописной группы, состоявшей из семейства Доррит, семейных экипажей и прислуги, крепко схватила за руку сестру, чтобы удержать ее на месте, а другой рукой принялась обмахиваться веером с самым аристократическим видом, небрежно осматривая леди с ног до головы.

Леди, быстро оправившись, — это была миссис Мердль, которая не так-то легко терялась, — продолжала свое объяснение. Она надеется, что ее извинение будет принят и почтенному хозяину возвращена милость, которую он так высоко ценит. Мистер Доррит, на алтаре величия которого курился этот фимиам, ответил очень

любезно, что он велит своим людям... кха.. отпрячь лошадей и не будет в претензии за то, что... хм... принял сначала за оскорбление, теперь же считает за честь. После этого бюст склонился перед ним, а его обладательница с удивительным присутствием духа послала очаровательную улыбку обеим сестрам, как богатым молодым леди, которые внушали ей искреннюю симпатию и с которыми она ни разу еще не имела удовольствия встретиться.

Не то было с мистером Спарклером. Этот джентльмен, застывший на месте в одно время с леди, своей матерью, решительно не мог вернуть себе способность к движению и стоял, вытаращив глаза на семейную группу с мисс Фанни на переднем плане. На слова своей матери: «Эдмунд, теперь мы можем ехать, дай мне твою руку!» — он пошевелил губами, точно хотел ответить одним из тех замечаний, в которых обнаруживались его блестящие таланты, но язык не повиновался ему. Он так окаменел, что вряд ли бы удалось согнуть его настолько, чтобы вписнуть в каретную дверцу, если бы материнская рука не оказала своевременной помощи изнутри. Лишь только он скрылся за дверью, клапан маленького окошечка позади кареты исчез, а на его месте появился глаз мистера Спарклера. Тут он и оставался, пока можно было его видеть (а вероятно, и дольше), глядя на всех с выражением изумленной трески.

Эта встреча была так приятна для мисс Фанни, что значительно смягчила ее суровость. Когда на другой день процессия снова двинулась в путь, она заняла свое место в самом веселом настроении духа и проявила столько игривого остроумия, что миссис Дженераль была очень изумлена.

Крошка Доррит была рада, что за ней не оказалось новых грехов и что Фанни довольна, но, как всегда, была задумчива и спокойна. Сидя против отца в карете, она вспоминала старую келью в Маршальси, и теперешнее существование казалось ей каким-то сном. Всё, что она видела вокруг себя, было ново и удивительно, но нереально; ей казалось, что эти призраки гор и живописных ландшафтов могут исчезнуть каждую минуту и карета, свернув за угол, подъедет к старым воротам Маршальси. Ей странно было не иметь работы, но еще более странно сидеть в уголке, причем не требовалось думать

о ком-нибудь, хлопотать и устраивать, заботиться о других. И еще более странно было сознавать, что расстояние между ней и отцом увеличилось с тех пор, как другие заботились о нем и он не нуждался в ее попечениях. Сначала это было так ново и непохоже на всё прежнее, что она не могла подчиниться новым отношениям и пыталась удержать за собой свое прежнее место подле него. Но он говорил с ней наедине, объяснил ей, что люди... кха.. люди, занимающие высокое положение, душа моя, должны не подавать никакого повода низшим к непочтительному отношению и что именно ввиду этого ей, дочери, мисс Эми Доррит, отпрыску последней ветви Дорритов из Дорсетшира, не подобает... хм... заниматься исполнением обязанностей... кха... хм... лакея. Поэтому, душа моя, он.. кха... обращается к ней с отеческим увещанием, приглашая ее помнить, что она леди и должна вести себя... хм... с подобающей этому званию гордостью, и следовательно просит ее воздержаться от поступков, которые могут подать повод... кха... к непочтительным и насмешливым замечаниям.

Она безропотно подчинилась. Так и вышло, что она сидела теперь в уголке роскошной кареты, сложив на груди терпеливые руки, совершенно выбитая с последней пункта своей старой жизненной позиции, на котором думала кое-как удержаться.

С этой именно позиции всё казалось ей нереальным, и чем поразительнее были сцены, тем более гармонировали они с ее фантастической внутренней жизнью. Ущелья Симплона, чудовищные пропасти и гремящие водопады, чудесная дорога, опасные крутые повороты, где скользнувшее колесо или ступившаяся лошадь грозили гибелью, спуск в Италию, волшебная панорама этой страны, неожиданно открывшаяся перед их глазами, когда скалистое ущелье раздвинулось и выпустило их из мрачной темницы, — всё это был сон. Только унылая старая Маршалсьи оставалась действительностью. Нет, даже унылая старая Маршалсьи разрушалась до основания, когда она пыталась представить ее себе без отца. Ей трудно было поверить, что арестанты до сих пор бродят по тесному двору, что жалкие комнатки до сих пор заняты постояльцами и тюремщик до сих пор сидит в сторожке, впуская и выпуская посетителей, — совершенно так, как было раньше.

Воспоминание о прежней тюремной жизни отца, как неотвязный напев жалобной мелодии, не оставляло ее и в те минуты, когда она пробуждалась от снов прошлого к снам ее настоящей жизни, — пробуждалась в какой-нибудь расписной комнате, часто парадной зале разрушающегося дворца с красными осенними виноградными листьями, свешивавшимися над окном, с апельсинными деревьями на потрескавшейся белой террасе, с группами монахов и прохожих на улице внизу, с нищетой и пышностью, так странно переплетавшимися на каждом клочке земного пространства, и вечной борьбой между ними, и вечной победой нищеты над пышностью. Затем следовал лабиринт пустынных коридоров и галлерей с колоннами, семейная процессия, собиравшаяся на четырехугольном дворе внизу, экипажи и укладка багажа для предстоящего отъезда. Затем завтрак в другой расписной зале с подернутыми плесенью стенами, наводящей уныние своими колоссальными размерами, затем отъезд — самая неприятная минута для нее, застенчивой и не чувствовавшей в себе достаточно важности для своего места в церемонии. Прежде всего являлся проводник (который сам сошел бы за знатного иностранца в Маршалси) с известием, что всё готово; за ним — камердинер отца, с тем чтобы торжественно облачить своего барина в дорожный плащ; за ним — горничная Фанни, ее горничная (вечная тяжесть на душе Крошки Доррит, из-за которой она даже плакала в первое время, так как решительно не знала, что с ней делать) и слуга ее брата; затем ее отец предлагал руку миссис Джeneralь, а дядя — ей самой, и в сопровождении хозяина и служителей гостиницы они спускались с лестницы. Собравшаяся на дворе толпа смотрела, как они усаживались в экипажи среди поклонов, просьб, хлопания кнутов, топота и гама, и, наконец, лошади бешено мчали их по узким зловонным улицам и выносили за городские ворота

Грезы сменялись грезами: дороги, усаженные деревьями, обвитыми яркочерными гирляндами виноградных листьев, рощи олив; белые деревушки и городки на склонах холмов, миловидные снаружи, но страшные внутри своей грязью и нищетой; кресты вдоль дороги; глубокие синие озера и на них волшебные островки и лодки с разноцветными тентами и красивыми парусами;

громады разрушающихся в прах зданий, висячие сады, где растения впивались в каменные стены и своды, разрушая их своими корнями; каменные террасы, населенные ящерицами, выскакивавшими из каждой щелки; всевозможные нищие повсюду — жалкие, живописные, голодные, веселые, — нищие дети, нищие старики. Часто у почтовых станций и в других местах остановок эти жалкие создания казались ей единственными реальными явлениями из всего, что она видела; и нередко, раздав все свои деньги, она задумчиво смотрела на крошечную девочку, которая вела за руку седого отца, как будто это зрелище напоминало ей что-то знакомое из прошлых дней.

Иногда они останавливались на неделю в великолепных палатах, каждый день устраивали пиры, осматривали всевозможные диковины, бродили по бесконечным анфиладам дворцов, стояли в темных углах громадных церквей, где золотые и серебряные лампы мерцали среди колонн и арок; где толпы молящихся преклоняли колени у исповедален; где расходились волны голубого дыма от каминов и пахло ладаном; где в слабом, мягком свете, проникавшем сквозь цветные стекла и массивные драпировки, неясно обрисовывались картины, фантастические образа, роскошные алтари, грандиозные перспективы. Эти города сменялись дорогами с виноградом и оливами, жалкими деревушками, где не было ни одной лачуги без трещин в стенах, ни одного окна с цельным стеклом; где, повидимому, нечем было поддерживать жизнь, нечего есть, нечего делать, нечему расти, не на что надеяться; где оставалось только умирать.

Снова попадались целые города дворцов, владельцы которых были изгнаны, а сами дворцы превращены в казармы; группы праздных солдат виднелись в великолепных окнах, солдатское платье и белье сушились на мраморных балконах; казалось, полчища крыс подтачивают (к счастью) основание зданий, укрывающих их, и скоро они рухнут и погребут под собой эти полчища солдат, полчища попов, полчища шпионов, — всё отвратительное население, кишашее на улицах.

Среди таких сцен семейная процессия двигалась в Венецию. Здесь она на время рассеялась, так как собиралась пробить в Венеции несколько месяцев во дворце

(вшестеро превосходившем размерами Маршалси) на канале Гранде.

В этом фантастическом городе, венце ее грез, где улицы вымощены водой и мертвая тишина днем и ночью нарушается только мягким звоном колоколов, ропотом воли и криками гондольеров на поворотах струящихся улиц, Крошка Доррит могла предаваться своим думам.

Семья веселилась, разъезжала по городу, превращала ночь в день; но Крошка Доррит была слишком робка, чтобы принимать участие в их развлечениях, и только просила оставить ее в покое.

Иногда она садилась в одну из гондол, которые всегда стояли возле их дома, принизанные к раскрашенным столбикам, — это случалось лишь в тех случаях, когда ей удавалось отделаться от несносной горничной, превратившейся в ее госпожу, и притом очень требовательную, — и каталась по этому странному городу. Встречная публика в других гондолах спрашивала друг у друга, кто эта одинокая девушка, сидящая в своей лодке, скрестив руки на груди, с таким задумчивым и недоумевающим видом. Но Крошка Доррит, которой и в голову не приходило, что кто-нибудь может обратить внимание на нее или ее поступки, продолжала кататься по городу, такая же тихая, запуганная и потерянная.

Но больше всего она любила сидеть на балконе своей комнаты над каналом. Балкон был построен из массивного камня, потемневшего от времени, — дикая восточная фантазия в этом городе — собрании диких фантазий. Крошка Доррит действительно казалась крошкой, когда стояла на нем, опираясь на широкие перила. Здесь она проводила почти все вечера и скоро стала обращать на себя внимание: проезжавшие в гондолах часто поглядывали на нее, говоря: «Вот молоденькая англичанка, которая всегда одна».

Но для молоденькой англичанки эти люди не были реальными существами; она даже не замечала их существования.

Она следила за солнечным закатом, за его длинными золотыми и багряными лучами и пылающим ореолом, озарявшим городские здания таким ослепительным блеском, что их массивные стены точно светились изнутри и казались прозрачными. Она следила за угасанием этого

ореола, а затем, поглядев на черные гондолы, развозившие гостей на музыку и танцы, поднимала взор к сияющим звездам. И ей вспоминалась ее собственная прогулка под теми же звездами. Как странно было думать теперь о тех старых воротах!

Она думала о старых воротах, вспоминая, как она сидела в уголке, прижавшись к ним вместе с Мэгги, положившей голову к ней на колени; думала и о других местах и картинах, связанных с прошлым. Потом наклонялась над балконом и смотрела на темные воды, как будто видела в них всё это, и задумчиво прислушивалась к ропоту воли, точно ожидая, что вода вся утечет и ей откроется на дне канала тюрьма, и она сама, и старая комната, и старые жильцы, и старые посетители, — вся та действительность, которая и до сих пор казалась ей единственной, неизменной действительностью.

ГЛАВА IV

Письмо Крошки Доррит

Дорогой мистер Кленнэм!

«Пишу вам из своей комнаты в Венеции, думая, что нам будет приятно получить весть обо мне. Но во всяком случае вам не так приятно будет получить письмо, как мне писать его: вас окружает всё, к чему вы привыкли, пожалуй, кроме меня, которую вы видели так редко, что мое отсутствие не может быть особенно заметным для вас, тогда как в моей теперешней жизни всё так ново, так странно и мне так многого нехватает.

«Когда мы были в Швейцарии, — мне кажется, с тех пор прошло уже бог знает сколько лет, хотя на самом деле это было всего несколько недель тому назад, — я встретила с молодой миссис Гоуэн на экскурсии в горы. Она сказала мне, что чувствует себя вполне здоровой и счастливой, просила меня передать вам, что благодарит вас от души и никогда не забудет. Она отнеслась ко мне очень дружелюбно, и я полюбила ее с первого взгляда. Но в этом нет ничего удивительного; как не полюбить такое прелестное и очаровательное создание? Не удивляюсь, что и другие ее любят. Ничуть не удивляюсь.

«Надеюсь, вы не будете слишком беспокоиться за миссис Гоуэн, — я помню, вы говорили, что принимаете в ней самое дружеское участие, — если я скажу, что ее муж кажется мне не совсем подходящим для нее. Повидимому, мистер Гоуэн влюблен в нее, а она, без сомнения, влюблена в него, но мне кажется, он недостаточно серьезный человек, — не в этом отношении, нет, а вообще. Мне невольно пришло в голову, что если бы я была миссис Гоуэн (какая невероятная перемена и как бы мне пришлось измениться, чтобы походить на нее), я чувствовала бы себя одинокой и покинутой, чувствовала бы, что рядом со мной нет твердого и надежного человека. Мне показалось даже, что и она чувствует это, сама того не сознавая. Но не огорчайтесь чересчур, потому что она «вполне здорова и очень счастлива». И какая красавица!

«Я надеюсь встретиться с ней опять и скоро; я даже рассчитывала видеть ее на этих днях. Я постараюсь быть ей верным другом, ради вас. Дорогой мистер Кленнэм, вы, верно, не придаете значения тому, что были для меня другом, когда других друзей у меня не было (да и теперь нет, я не приобрела новых друзей), но для меня это очень, очень много значит, и я никогда этого не забуду

«Хотелось бы мне знать (но лучше, если никто не будет писать мне), хорошо ли идет дело мистера и миссис Плорниш, которое устроил им мой дорогой отец, с ними ли дедушка Нэнди, счастлив ли он и распевает ли свои песенки. Я едва удерживаюсь от слёз, когда вспоминаю о моей бедной Мэгги и думаю, какой одинокой она должна себя чувствовать без своей маленькой мамы, хотя бы все относились к ней ласково. Будьте добры, сходите к ней и передайте под строгим секретом, что я люблю ее и жалею о нашей разлуке не меньше, чем она сама. Скажите им всем, что я вспоминаю о них каждый день и что мое сердце всегда неизменно с ними; о, если бы вы знали, как неизменно, вы пожалели бы меня за то, что я так далеко и стала такой важной.

«Вам, конечно, будет приятно услышать, что мой дорогой отец здоров, что перемена очень благоприятно отразилась на нем и что он теперь совсем не такой, каким вы его знали. Дядя, как мне кажется, тоже очень попра-

вился, хотя он не жаловался прежде и не радуется теперь. Фанни очень мила, жива и остроумна. Она рождена быть леди: удивительно легко освоилась она с новым положением. Мне это не дается и, кажется, никогда не дастся. Я неспособна чему-нибудь научиться. Миссис Джeneralь всегда с нами, мы говорим с ней по-французски и по-итальянски, и вообще она очень заботится о нашем образовании. Я сказала: мы говорим по-французски и по-итальянски, но собственно — говорят они; я так глупа, что вряд ли выучусь. Когда я начинаю думать, соображать, рассчитывать, все мои мысли, соображения, расчеты обращаются к прошлому, я снова погружаюсь в заботы о сегодняшнем дне, о моем дорогом отце, о моей работе и вдруг вспоминаю, что никаких забот у меня теперь нет, и это кажется мне настолько странным и невероятным, что я снова задумываюсь о том же. У меня нехватило бы духа признаться в этом никому, кроме вас.

«То же самое со всеми этими новыми странами и чудными видами Они прекрасны и поражают меня, но я недостаточно сосредоточена, недостаточно освоилась сама с собой, — не знаю, поймете ли вы меня, — чтобы наслаждаться всем этим. Всё, что я видела и испытала раньше, так странно переплетается с этими новыми впечатлениями. Например, когда мы были в горах, мне нередко чудилось (я стыжусь писать о таком ребячестве даже вам, дорогой мистер Кленнэм), что за какой-нибудь громадной скалой окажется Маршальси или за снежной вершиной — комната миссис Кленнэм, где я работала столько времени и где впервые увидела вас. Помните тот вечер, когда мы с Мэгги явились к вам в Ковентгарден. Сколько раз мне казалось, что я вижу перед собой эту комнату, когда я смотрела из окна кареты после наступления темноты. В тот вечер мы не попали в тюрьму, так что нам пришлось до самого утра бродить по улицам и сидеть у ворот. Часто, глядя на звезды с балкона здесь, в Венеции, я воображаю себя на улице с Мэгги. То же самое и с другими, кого я оставила на родине.

«Катаясь на лодке, я ловлю себя на том, что заглядываю в другие гондолы, точно ищу там знакомые лица. Я бы ужасно обрадовалась, увидев их, но вряд ли бы удивилась, — по крайней мере, в первую минуту. По временам — в самые фантастические минуты — мне ка-

жется, что они могут встретиться мне везде, и я почти ожидаю увидеть их милые лица на мостах или набережных.

«Есть у меня другая забота, которая покажется вам очень странной. Она должна показаться странной всякому, кроме меня, и даже мне самой: я часто испытываю прежнюю болезненную жалость к... вы знаете, о ком я говорю... к нему. Хотя он сильно изменился и хотя я невыразимо благодарна за эту перемену, но прежнее мучительное чувство сострадания охватывает меня подчас с такой силой, что мне хочется обнять его, сказать, как я люблю его, и плакать на его груди. Это облегчило бы меня, и я была бы снова горда и счастлива. Но я знаю, что этого нельзя делать, что он будет недоволен, Фанни рассердится, а миссис Дженераль удивится, и потому я сдерживаюсь. А вместе с тем у меня является чувство, которого я не в силах побороть, будто я удаляюсь от него, и он среди всех своих слуг и помощников чувствует себя покинутым и нуждается во мне.

«Дорогой мистер Кленнэм, я и без того много написала о себе, но прибавлю еще несколько слов, так как иначе и этом письме не будет упомянуто именно о том, о чем я всего более желала написать. Среди всех этих ребяческих мыслей, в которых я так смело призналась нам, так как знаю, что вы меня поймете скорее, чем кто-либо, и отнесетесь ко мне снисходительнее, чем кто-либо, — среди всех этих мыслей есть одна, которая никогда не оставляет меня: это надежда, что иногда, в спокойные минуты, вы вспоминаете обо мне... Сознаюсь вам, что с самого отъезда меня томит беспокойство по этому поводу, — беспокойство, от которого мне хотелось бы избавиться. Я боюсь, вы думаете, что я переменялась, что я стала другая. Не думайте этого, вы не можете себе представить, как огорчит меня такое предположение; я просто не вынесу его. Вы разобьете мне сердце, если будете считать меня другой, если будете думать, что я отношусь к вам иначе, чем прежде, когда вы были так добры ко мне. Прошу и умоляю вас не думать обо мне как о дочери богатого человека, забыть о том, что я лучше одеваюсь и живу в лучшей обстановке, чем при нашем первом знакомстве. Пусть я останусь для вас бедной девушкой, которой вы покровительствовали с таким нежным участием, чье поношенное платье защищали от

дождя, чьи мокрые ноги сушили у своего огня. Вспомните обо мне (если будете вспоминать) как о вашем бедном, неизменно преданном и благодарном ребенке

Крошке Доррит.

«Р. С. Помните в особенности, что вам не нужно беспокоиться о миссис Гоуэн. Это ее собственные слова: (Вполне здорова и очень счастлива». И какая она красавицу!»

ГЛАВА V

Где-то что-то не клеится

Семья провела в Венеции месяц или два, когда мистер Доррит, вращавшийся в обществе графов и маркизов и не имевший ни одной свободной минутки, решился уделить часок для совещания с миссис Джeneralь.

Когда наступило время, назначенное для этого совещания, он направил мистера Тинклера, своего камердинера, в апартаменты миссис Джeneralь (равные по размерам доброй трети Маршалси) засвидетельствовать этой леди его почтение и передать его покорнейшую просьбу удостоить его аудиенции. Это происходило утром, когда члены семейства пили кофе по своим комнатам, незадолго до завтрака, который подавался в полинявшей зале, когда-то роскошной, теперь же ставшей добычей сырости и вечной меланхолии. Миссис Джeneralь была у себя. Камердинер застал ее в кресле, на маленьком квадратном ковре, таком миниатюрном по сравнению с гигантской площадью мраморного пола, точно она разостлала его для примерки новых башмаков или точно это был ковер-самолет, купленный за сорок кошельков с золотыми принцем из «Тысячи одной ночи»¹ и случайно попавший к миссис Джeneralь, только что прилетевшей на нем в эту палату.

Миссис Джeneralь, поставив на стол пустую чашку, сказала послу, что она сейчас же отправится к мистеру Дорриту и избавит его от беспокойства приходить к ней (как он предложил по своей любезности). Посол распахнул двери и проводил миссис Джeneralь на аудиенцию.

¹ «Тысяча и одна ночь» — сборник старинных арабских сказок.

Надо было совершить целое путешествие по таинственным лестницам и коридорам, чтобы добраться из ее комнаты — довольно темной, благодаря узкому переулку с низеньким мрачным мостом и противоположным зданиям в виде башен с бесчисленными пятнами и подтеками на стенах, точно они целые столетия проливали свои ржавые слезы в Адриатику, — до комнаты мистера Доррита, со множеством окон, которых хватило бы на целый фасад английского дома. Из комнаты открывался прекрасный вид на купола и шпили церквей, которые, казалось, подымались в голубое небо прямо из воды, отражавшей их очертания; в окна доносилось тихое журчание канала Гранде, омывавшего подъезд, где гондольеры со своими гондолами стояли наготове, к услугам знатного путешественника.

Мистер Доррит, в роскошном халате и ермолке (из куколки, так долго таившейся в Маршальси, появилась великолепная бабочка), поднялся навстречу миссис Джeneralь.

— Кресло миссис Джeneralь! Кресло, говорят вам, что вы делаете? О чем вы думаете? Что это значит? Теперь ступайте!

— Миссис Джeneralь, — сказал мистер Доррит, — я взял на себя смелость...

— Ничуть, — возразила миссис Джeneralь. — Я к вашим услугам. Я кончила пить кофе.

— Я взял на себя смелость, — повторил мистер Доррит с великолепным благодушием человека, который не обращает внимания на мелкие поправки, — обратиться к вам с просьбой уделить мне несколько минут для конфиденциальной беседы. Меня несколько беспокоит моя... кха... моя младшая дочь. Быть может, вы обратили внимание, сударыня, на огромную разницу в характере моих двух дочерей?

Миссис Джeneralь, скрестив свои руки в перчатках (она всегда была в перчатках, и никогда на них не было заметно ни единой складки), отвечала:

— Между ними огромная разница.

— Могу я спросить, как вы определяете ее? — спросил мистер Доррит с прежней почтительностью, не лишенной ясного величия.

— Фанни, — отвечала миссис Джeneralь, — обладает силой характера и самостоятельностью. Эми — нет.

Нет? О миссис Дженераль, спросите у камней и решеток Маршалъси! Спросите у портнихи, которая обучала ее шитью, и у балетмейстера, который обучал ее сестру танцам. О миссис Дженераль, миссис Дженераль, спросите у меня, ее отца, чем я обязан ей, и выслушайте из моих уст историю жизни этого хрупкого маленького существа с первых дней ее детства!

Мистеру Дорриту и в голову не пришло разразиться такой тирадой. Он посмотрел на миссис Дженераль, восседавшую в окаменелой позе на колеснице приличий, и глубокомысленно заметил:

— Это правда, сударыня.

— Заметьте, — продолжала миссис Дженераль, — я не хочу сказать, что характер Фанни не нуждается в исправлении. Но в ней есть материал, быть может даже слишком много материала...

— Будьте любезны, сударыня, — сказал мистер Доррит, — потрудитесь... кха... объяснить вашу мысль. Я не совсем понимаю, как это в моей старшей дочери слишком много материала. Какого материала?

— Фанни, — отвечала миссис Дженераль, — высказывает слишком много собственных мнений. Безукоризненное воспитание не допускает высказывания собственных мнений и исключает всякую демонстративность.

Чтобы не обнаружить недостатка безукоризненного воспитания, мистер Доррит поспешил ответить:

— Бесспорно, сударыня, вы правы.

Миссис Дженераль возразила своим бесстрастным и безжизненным тоном:

— Я так полагаю.

— Но вам известно, сударыня, — сказал мистер Доррит, — что мои дочери имели несчастье лишиться своей горько оплакиваемой матери в раннем детстве и с тех пор жили со мной; что я, утвержденный в правах наследства лишь недавно, вел раньше... кха... уединенное существование сравнительно бедного, хотя и гордого джентльмена.

— Я не упускаю из виду этого обстоятельства, — сказала миссис Дженераль.

— Сударыня, — продолжал мистер Доррит, — насчет моей дочери Фанни, пользующейся таким руководством, видящей перед собой такой пример... — (Миссис Дженераль закрыла глаза)... — я не питаю никаких опасений.

Фанни умеет приспособляться к обстоятельствам. Но моя младшая дочь, миссис Дженераль, смущает и тревожит меня. Должен заметить, что она всегда была моей любимицей.

— Нет никакого основания, — заметила миссис Дженераль, — для таких пристрастий.

— Кха... никакого, — согласился мистер Доррит, — никакого. Теперь, сударыня, я с огорчением замечаю, что Эми, если можно так выразиться, — не из нашего круга, она стоит особняком от нас. Она не любит ездить с нами, теряется в обществе наших гостей; наши вкусы, очевидно, не ее вкусы. Иными словами, — заключил мистер Доррит с истинно судейской важностью, — в характере... кха... Эми чего-то нехватает.

— Нельзя ли допустить, — сказала миссис Дженераль, прибегая к своей кисточке с лаком, — что это объясняется новизной ее положения?

— Извините, сударыня, — заметил мистер Доррит с живостью, — для дочери джентльмена, хотя бы... кха... сравнительно небогатого... сравнительно... и хотя бы воспитанной... хм... в уединении, наше положение не может казаться совершенно новым.

— Вы правы, — сказала миссис Дженераль.

— Итак, сударыня, — продолжал мистер Доррит, — я взял на себя смелость, — (он повторил эту фразу с некоторым пафосом, как будто хотел заметить вежливо, но твердо, что не допускает возражений в этом отношении), — я взял на себя смелость побеседовать с вами лично, дабы обсудить этот вопрос и просить вашего совета.

— Мистер Доррит, — отвечала миссис Дженераль, — со времени нашего приезда сюда я не раз беседовала с Эми на тему об умении держать себя вообще. Она заметила, между прочим, что Венеция поражает ее. Я указала ей, что лучше было бы не поражаться. Я указала ей, что знаменитый мистер Юстес,¹ признанный авторитет туристов, невысокого мнения об этом городе, и сравнивая Риальто² с Вестминстерским и Блэкфрайер-

¹ Юстес — автор современного Диккенсу путеводителя по Италии.

² Риальто — небольшой островок в Венеции, центр торговой и финансовой жизни города. Здесь — мост, соединяющий этот остров с городом.

ским мостами, высказывается решительно не в пользу первого. Считаю излишним прибавлять после всего сказанного вами, что мои аргументы до сих пор не произвели желательного действия. Вы делаете мне честь, спрашивая моего совета. Мне всегда казалось (если это неосновательное мнение, то, надеюсь, оно не будет поставлено мне в вину), что мистер Доррит привык оказывать влияние на умы окружающих.

— Хм... сударыня, — сказал мистер Доррит, — я стоял во главе.. кха... большого общества. Вы не ошиблись, предположив, что я привык занимать... влиятельное положение.

— Я рада, — отвечала миссис Джeneralь, — что мое предположение подтвердилось. Тем с большей уверенностью я могу рекомендовать следующее: пусть мистер Доррит сам объяснится с Эми и выскажет ей свои замечания и пожелания. Как его любимица, которая, без сомнения, отвечает ему такой же любовью, она тем легче подчинится его влиянию.

— Я предвидел этот совет, сударыня, — сказал мистер Доррит, — но сомневался... кха... могу ли я... хм... вмешиваться...

— В мою область, мистер Доррит? — сказала миссис Джeneralь с любезной улыбкой. — Пожалуйста, не стесняйтесь!

— В таком случае, с вашего позволения, сударыня, — заключил мистер Доррит, протягивая руку к колокольчику, — я сейчас же пошлю за ней.

— Угодно ли мистеру Дорриту, чтобы я осталась?

— Если вы свободны, то, может быть, не откажетесь уделить минуты две...

— К вашим услугам.

Итак, мистер Тинклер, камердинер, получил инструкцию отыскать горничную мисс Эми и приказать ей сообщить мисс Эми, что мистер Доррит просит дочь к себе. Возлагая это поручение на Тинклера, мистер Доррит сурово взглянул на него и столь же суровым взглядом проводил его до дверей, как бы подозревая, нет ли у того на уме чего-нибудь предосудительного для фамильного достоинства, не слыхал ли он чего-нибудь о Маршальси, еще до поступления к мистеру Дорриту, или какой-нибудь шуточки тамошнего изобретения и не вспоминает ли о ней с насмешкой в эту самую минуту. Если бы мистер

Тинклер улыбнулся, хотя бы самой легкой и невинной улыбкой, мистер Доррит увидел бы в этой улыбке подтверждение своих подозрений и так бы и умер с этим убеждением. Но, к счастью для Тинклера, он был человек серьезный, сдержанный, так что благополучно избежал грозившей ему опасности. Когда же он вернулся (причем мистер Доррит снова уставился на него) и доложил о мисс Эми таким тоном, словно она пришла на похороны, у мистера Доррита даже мелькнула смутная мысль, что его камердинер — порядочный малый, воспитанный в правилах благочестия вдовицей-матерью.

— Эми, — сказал мистер Доррит, — я только что говорил о тебе с миссис Дженераль. Мы оба пришли к заключению, что ты чувствуешь себя как будто среди чужих людей. Кха... почему это?

Пауза.

— Я думаю, отец, потому, что мне трудно привыкнуть так скоро.

— Папа — более подходящая форма обращения, — заметила миссис Дженераль. — Отец — это довольно вульгарно, душа моя. Кроме того, слово папа придает изящную форму губам. Папа, помидор, птица, персики и призмы — прекрасные слова для губ, особенно персики и призмы. Было бы очень полезно, в смысле образования хороших манер, если бы вы время от времени, будучи в гостях или, например, входя в комнату, повторяли про себя: папа, помидор, птица, персики и призмы.

— Пожалуйста, дитя мое, — сказал мистер Доррит, — исполняй... хм... наставления миссис Дженераль.

Бедная Крошка Доррит, растерянно взглянув на эту знаменитую лакировщицу, обещала постараться.

— Ты говоришь, Эми, — продолжал мистер Доррит, — что не успела привыкнуть. К чему привыкнуть?

Снова пауза.

— Привыкнуть к новой для меня жизни — я только это хотела сказать, — отвечала Крошка Доррит, взглянув любящими глазами на отца, которого чуть было не назвала птицей, даже персиком и призмой — в своем желании угодить миссис Дженераль ради его удовольствия.

Мистер Доррит нахмурился, не обнаружив никакого удовольствия.

— Эми, — сказал он, — признаюсь, мне кажется, времени у тебя было довольно, чтобы привыкнуть. Кха... ты

удивляешь меня, ты огорчаешь меня. Фанни справилась с этими маленькими затруднениями, почему же.. хм... ты не можешь справиться?

— Я надеюсь скоро справиться с ними, — сказала Крошка Доррит.

— Я тоже надеюсь, — отвечал отец. — Я... кха... от всего сердца надеюсь на это, Эми. Я послал за тобою, имея в виду сказать... хм... серьезно сказать тебе в присутствии миссис Джeneralь, которой мы все так много обязаны за ее любезное согласие присутствовать среди нас... кха... как в этом, так и в других случаях, — (миссис Джeneralь закрыла глаза), — что я... кха.. хм... недоволен тобой. Ты заставляешь миссис Джeneralь брать на себя неблагоприятную задачу. Ты... кха.. ставишь меня в крайне затруднительное положение. Ты всегда была (как я говорил и миссис Джeneralь) моей любимицей, я всегда был тебе... хм.. другом и товарищем; взамен этого я прошу... я... кха... прошу тебя применяться... хм... к обстоятельствам и поступать соответственно твоему... твоему положению.

Мистер Доррит путался более обыкновенного, так как был крайне взволнован и старался выразиться внушительнее.

— Прошу тебя, — повторил он, — иметь в виду мои слова и сделать над собой серьезное усилие вести себя соответственно своему положению и ожиданиям моим и миссис Джeneralь.

Услышав свою фамилию, эта леди снова закрыла глаза, затем, медленно открывая их и вставая, произнесла следующие слова:

— Если мисс Доррит приложит старание со своей стороны и примет слабую помощь с моей во всем, что касается элегантных манер, то у мистера Доррита не будет поводов к дальнейшему беспокойству. Пользуюсь этим случаем, дабы заметить, в виде примера, относящегося к затронутой нами теме, что молодой девушке вряд ли прилично смотреть на уличных бродяг с тем вниманием, какого удостаивает их мой милый юный друг. Их вовсе не следует замечать. Вообще замечать что-либо неприятное не следует. Помимо того, что это несовместимо с изящным видом равнодушия — первым признаком хорошего воспитания, — подобная привычка вряд ли уживается с утонченностью ума. Истинно утонченный ум как

бы не подозревает о существовании чего-либо, кроме приличного, благопристойного и приятного.

Высказав эти возвышенные мысли, миссис Дженераль церемонно поклонилась и выплыла из комнаты с выражением губ, напоминавшим о персиках и призмах.

До сих пор, говорила ли она или молчала, лицо Крошки Доррит сохраняло выражение серьезного спокойствия и глаза ее смотрели прежним любящим взглядом. До сих пор лицо ее не омрачалось, — разве на мгновение. Но теперь, когда она осталась наедине с отцом, пальцы ее задвигались и на лице появилось выражение подавленного волнения.

Не за себя. Быть может, она чувствовала себя оскорбленной, но она не заботилась о себе. Ее мысли, как всегда, обращались к нему. Смутное подозрение, угнетавшее ее с тех пор, как они разбогатели, — подозрение, что она не увидит его таким, каким он был до заключения в тюрьму, — приняло теперь определенную форму. Она чувствовала в том, что он сейчас говорил ей, и вообще в его отношении к ней, знакомую тень стены Маршалъси. Она приняла новую форму, но это была старая мрачная тень тюремной стены. Неохотно, с горьким изумлением, но она должна была сознаться, что не в силах совладать с опасением, превращавшимся в уверенность, — уверенность, что никакие годы не сгладят четверти века жизни в тюрьме. Она не порицала, не упрекала его, но безграничная жалость и скорбь охватили ее сердце.

Вот почему, хотя он сидел перед ней на диване, в ярком свете лучезарного итальянского дня, в великолепном дворце волшебного города, она видела его попрежнему в знакомой сумрачной келье Маршалъси, и ей хотелось подсесть поближе к нему, приласкать его, быть попрежнему его другом и опорой. Если он угадал ее мысли, то, очевидно, они не гармонировали с его взглядами на этот счет. Беспokoйно поерзав на диване, он встал и принялся расхаживать по комнате с самым недовольным видом.

— Может быть, вы хотите сказать мне еще что-нибудь, дорогой отец?

— Нет, нет, больше ничего.

— Мне очень грустно, что вы недовольны мной, милый отец. Я надеюсь, что у вас не будет больше причин

для недовольства. Я постараюсь примениться к этой обстановке, я и раньше старалась, но знаю, что безуспешно.

— Эми, — сказал он, круто повернувшись к ней, — ты... кха... постоянно оскорбляешь меня.

— Оскорбляю вас, отец! Я!

— Есть... хм... известная тема, — продолжал мистер Доррит, блуждая глазами по комнате, но ни разу не остановив взгляда на внимательном, взволнованном и покорном личике, — мучительная тема, целый ряд событий, которую я желал бы... кха... совершенно вычеркнуть из моей памяти. Твоя сестра, упрекавшая тебя в моем присутствии, понимает это; твой брат понимает это; всякий... кха... хм... деликатный и чуткий человек, понимает это, кроме... кха... мне грустно говорить это... кроме тебя, Эми. Ты, Эми... хм.. ты одна и только ты... постоянно напоминаешь мне об этом, хотя и не словами.

Она положила свою руку на его руку. Она не сделала ничего больше. Она едва прикоснулась к нему. Ее рука могла бы сказать: «Вспомни обо мне, вспомни, как я работала, вспомни о моих заботах!». Но сама она ничего не сказала.

Но в ее прикосновении был упрек, которого она не предвидела; иначе она удержала бы руку. Он начал оправдываться, горячо, бестолково, сердито:

— Я провел там все эти годы. Я был... кха... единодушно признан главой общежития. Я... хм... заставил их уважать тебя, Эми. Я и там... кха... хм... создал для моей семьи положение. Я заслуживаю награды. Я требую награды. Я говорю: сметем это с лица земли и начнем сызнова. Неужели это много? Спрашиваю: неужели это много?

Он ни разу не взглянул на нее во время своей запутанной речи, но жестикулировал и взывал к пустому пространству.

— Я страдал. Кажется, я лучше любого другого знаю, как я страдал... кха... лучше всякого другого! Если я могу отрешиться от прошлого, если я могу вытравить следы моих испытаний и явиться перед светом... незапятнанным, безукоризненным джентльменом, то неужели я требую слишком многого... повторяю, неужели я требую слишком многого, ожидая... что и мои дети... хм... сделают то же самое и сметут с лица земли это проклятое прошлое?

Несмотря на свое волнение, он говорил вполголоса, чтобы его как-нибудь не услышал камердинер

— И они делают это. Твоя сестра делает это. Твой брат делает это. Ты одна, мое любимое дитя, мой друг и товарищ с тех пор, как ты была еще... хм... младенцем, не хочешь сделать этого. Ты одна говоришь: я не могу сделать этого. Я даю тебе достойную помощницу. Я приглашаю для тебя превосходную, высокообразованную леди... кха.. миссис Джeneralь, собственно для того, чтобы она помогла тебе сделать это. И ты удивляешься, что я недоволен? Нужно ли мне оправдываться в том, что я высказал недовольство? Нет!

Тем не менее он продолжал оправдываться с прежним раздражением:

— Прежде чем выразить свое недовольство, я счел нужным поговорить с этой леди. Я.. хм.. по необходимости должен был лишь слегка коснуться этой темы, так как иначе я кха.. выдал бы этой леди то, что желаю скрыть. Разве я руководился себялюбием? Нет и нет. Я беспокоюсь главным образом за... кха.. за тебя, Эми!

Из его последующих слов было ясно, что это соображение только сейчас пришло ему в голову.

— Я сказал, что я оскорблен. Да, я оскорблен. Утверждаю, что я.. кха.. оскорблен, как бы ни старались уверить меня в противном. Я оскорблен тем, что моя дочь, на долю которой выпало... хм... такое счастье, смущается, отнекивается и объявляет, что ей не по плечу это счастье. Я оскорблен тем, что она... кха... систематически воскрешает то, что все мы решили похоронить; и как будто... хм... я чуть не сказал — во что бы то ни стало — желает... сообщить богатому и избранному обществу, что она родилась и воспитывалась... кха, хм... в таком месте, которое я, со своей стороны, не желаю называть. Но, Эми, в том, что я чувствую себя оскорбленным и тем не менее беспокоюсь главным образом за тебя, нет ни малейшей непоследовательности. Да, повторяю, я беспокоюсь за тебя. Ради тебя самой я желаю, чтобы ты приобрела под руководством миссис Джeneralь... хм... элегантные манеры. Ради тебя самой я желаю, чтобы ты приобрела... истинную утонченность ума и (употребляя меткое выражение миссис Джeneralь) не подозревала, что на свете есть что-либо, кроме приличного, пристойного и приятного.

Его речь шла скачками, точно испорченный будильник. Ее рука всё еще лежала на его руке. Он замолчал, посмотрел на потолок, потом взглянул на нее. Она сидела, опустив голову, так что он не мог видеть ее лица, но прикосновение ее руки было спокойно и нежно, и во всем ее грустном облике не было порицания, была только любовь. Он начал хныкать, как в ту ночь в тюрьме, когда она сидела до утра у его постели; воскликнул, что он жалкая развалина, жалкий бедняк при всем своем богатстве, и сжал ее в своих объятьях. «Полно, полно, милый, голубчик! Поцелуйте меня!» — вот всё, что она ему сказала. Слезы его скоро высохли, — скорее, чем в тот раз, — немного погодя он особенно высокомерно отнесся к лакею, точно желая загладить эту слезливость.

За одним замечательным исключением, о котором будет сообщено в своем месте, это был первый случай со времени получения наследства и свободы, когда он заговорил со своей дочерью Эми о старых днях.

Наступило время завтрака, а к завтраку выползли из своих апартаментов мисс Фанни и мистер Эдуард. Эти молодые и благородные особы несколько утратили свою свежесть вследствие поздних вставаний. Мисс Фанни сделалась жертвой ненасытной мании выезжать в свет и готова была посетить пятьдесят вечеров между закатом и восходом солнца, если бы только это оказалось возможным. Мистер Эдуард тоже приобрел обширный круг знакомых и каждую ночь был занят (в кружках, где играли в кости, или в других кружках такого же сорта). Этот джентльмен еще до перемены фортуны подготовился к самому избранному обществу, так что ему не приходилось учиться. Особенно полезным оказался для него практический опыт, извлеченный из знакомства с торговцами лошадьми и игрой на бильярде.

Мистер Фредерик Доррит тоже явился к завтраку. Старик жил на самой вышке дворца, где мог бы практиковаться в стрельбе из пистолета, не рискуя потревожить других жильцов; ввиду этого младшая племянница рискнула предложить вернуть ему кларнет, отобранный у него по приказанию мистера Доррита, но сохраненный ею. Несмотря на возражения мисс Фанни, доказывавшей, что это вульгарный инструмент и что она ненавидит его звук, мистер Доррит уступил. Но оказалось, что старик уже сыт по горло музыкой и не намерен играть, раз это

не нужно для хлеба насущного. Он мало-помалу приобрел новую привычку — бродить по картинным галлереем со своим неизменным пакетиком нюхательного табаку (к великому негодованию мисс Фанни, которая вздумала ради поддержания семейного достоинства купить ему золотую табакерку; но старик наотрез отказался от нее) и проводить целые часы перед портретами знаменитых венецианцев. Что видели в них его тусклые глаза — оставалось тайной: любовался ли он ими как картинами, или они возбуждали в нем смутные представления о славе, угасшей, как и его разум. Но он являлся к ним на поклон очень регулярно и, очевидно, находил в этом удовольствие. Спустя несколько дней по прибытии в Венецию Крошке Доррит случилось сопровождать его во время такого паломничества. Он так был обрадован этим, что с тех пор она не раз сопровождала его. Кажется, со времени своего разорения старик не испытывал такого несомненного удовольствия, как во время этих экскурсий. Он ходил от картины к картине со стулом в руках, усаживал свою спутницу, а сам становился за стулом, несмотря ни на какие возражения с ее стороны, и молча представлял ее благородным венецианцам.

За завтраком, о котором идет речь, он случайно упомянул, что видел накануне в галлерее джентльмена и леди, с которыми они встретились на Большом Сен-бернаре.

— Я забыл их фамилию, — прибавил он. — Ты, верно, помнишь, Вильям? Ты, верно, помнишь, Эдуард?

— Я очень хорошо помню, — отвечал последний.

— Я думаю, — сказала мисс Фанни, тряхнув головой и поглядывая на сестру. — Но вряд ли бы мы вздумали о них вспоминать, если бы дядя не набрел на эту тему.

— Душа моя, какое странное выражение, — заметила миссис Дженераль. — Не лучше ли сказать: «нечаянно упомянув» или «случайно затронул эту тему».

— Благодарю вас, миссис Дженераль, — возразила молодая леди. — Я этого не думаю. Я предпочитаю свое выражение,

Это была обычная манера мисс Фанни отвечать на замечания миссис Дженераль. Но она принимала их к сведению и пускала в ход впоследствии.

— Я бы упомянула о нашей встрече с мистером и миссис Гоуэн, — сказала Крошка Доррит, — если бы этого

не сделал дядя. Но я еще не видела вас с тех пор. Я намеревалась упомянуть об этом за завтраком, так как мне хочется сделать визит миссис Гоуэн и познакомиться с ней поближе, если папа и миссис Дженераль ничего не имеют против этого.

— Ну, Эми, — сказала Фанни, — я очень рада, что ты, наконец, выразила желание познакомиться с кем-нибудь в Венеции. Хотя еще вопрос, следует ли знакомиться с мистером и миссис Гоуэн.

— Я говорю о миссис Гоуэн, милочка.

— Без сомнения, — отвечала Фанни. — Но ведь ты не можешь развести ее с мужем без парламентского акта¹

— Вы имеете что-нибудь против этого визита, папа? — нерешительно спросила Крошка Доррит.

— Право, — отвечал он, — я.. кха... что думает об этом миссис Дженераль?

Миссис Дженераль думала, что, не имея чести быть знакомой с мистером и миссис Гоуэн, она не может навести лак на этот предмет. Она может только заметить, что с точки зрения, принятой в лакировальном деле, весьма важно знать, пользуется ли означенная леди достаточными связями в обществе, чтобы поддерживать знакомство с семейством, занимающим такое высокое место в общественном храме, какое занимает семья мистера Доррита.

При этом заявлении лицо мистера Доррита заметно омрачилось. Он уже хотел (вспомнив по поводу связей в обществе о некоем навязчивом господине, по имени Кленнэм, с которым ему, кажется, приходилось встречаться в прежнее время) подать свой голос против Гоуэнов, когда Эдуард Доррит, эсквайр, вмешался в разговор, вставив стеклышко в глаз и крикнув:

— Эй... вы, ступайте вон! — Это восклицание относилось к двум лакеям, прислуживавшим за столом, и вежливо давало им понять, что господа пока обойдутся без их услуг.

Когда те повиновались приказу, Эдуард Доррит, эсквайр, продолжал:

— Может быть, не лишнее будет сообщить вам, — хотя я отнюдь не питаю расположения к этим господам,

¹ Парламентский акт. — Во времена Диккенса на развод требовалось специальное разрешение парламента

по крайней мере к мужу, — что они люди со связями, если это играет какую-нибудь роль.

— Огромную роль, смею сказать, — заметила велико-лепная лакировщица. — Если вы подразумеваете связи с влиятельными и важными людьми...

— Насчет этого судите сами,—сказал Эдуард Доррит, эсквайр. — Вы, вероятно, слышали о знаменитом Мердле?

— О великом Мердле? — воскликнула миссис Дженераль.

— Именно, — сказал Эдуард Доррит, эсквайр. — Они знакомы с ним. Миссис Гоуэн, — я разумею вдову, мать моего учтивого друга, — приятельница миссис Мердль, и я знаю, что эти двое тоже знакомы с нею.

— Если так, то более веского ручательства нельзя и придумать, — сказала миссис Дженераль, обращаясь к мистеру Дорриту, вознося ввысь свои перчатки и наклоняя голову, точно поклоняясь какому-нибудь боже-ству.

— Я бы желал спросить моего сына из... кха... из чистого любопытства, — сказал мистер Доррит совершенно другим тоном, — откуда он получил эти.. хм... свое-временные сведения.

— Это очень простая история, сэр, — отвечал Эдуард Доррит, эсквайр, — сейчас я вам объясню. Во-первых, миссис Мердль — та самая дама, с которой вы объясня-лись в... как это место...

— В Мартины, — подсказала Фанни с невыразимо томным видом.

— Мартины, — подтвердил брат, подмигивая сестре, которая в ответ на это сделала большие глаза, потом за-смеялась и покраснела.

— Как же это, Эдуард, — сказал мистер Доррит, — ты говорил мне, что фамилия джентльмена, с которым ты объяснялся... кха... Спарклер. Ты еще показывал мне карточку. Хм... Спарклер.

— Без сомнения, отец; но из этого не следует, что его мать носит ту же фамилию. Он ее сын от первого мужа. Теперь она в Риме, где мы, по всей вероятности, познакомимся с ней поближе, так как вы решили про-вести там зиму. Спарклер только что приехал сюда. Я вчера провел с ним вечер в одной компании. Он в сущ-ности славный малый, только слишком уж носится со

своей несчастной страстью к одной молодой девице, в которую врезался по уши. — Тут Эдуард Доррит, эсквайр, направил свой монокль на мисс Фанни. — Мы сравнивали вчера наши путевые заметки, и я получил от самого Спарклера те сведения, которые сообщил вам.

Тут он умолк окончательно, продолжая смотреть в монокль на мисс Фанни, с трудом удерживая стеклышко в глазу и пытаясь изобразить необычайно тонкую улыбку, что отнюдь не украшало его физиономии.

— Если обстоятельства таковы, — сказал мистер Доррит, — то я полагаю, что ни миссис Дженераль, ни я не можем иметь ничего против... скорее, выскажемся за удовлетворение твоего желания, Эми. Надеюсь, я могу усматривать в этом... кха... желании, — продолжал он с видом всепрощения и ободрения, — доброе предзнаменование. С такими людьми следует знакомиться. Мистер Мердль пользуется... кха... всемирной славой. Предприятия мистера Мердля грандиозны. Они приносят ему такие громадные суммы, что считаются.. хм... национальными доходами. Мистер Мердль — герой нашего времени. Имя Мердля — имя века. Прошу тебя засвидетельствовать от моего имени почтение мистеру и миссис Гоуэн, так как мы... кха... мы не упустим их из виду.

Эта великолепная резолюция решила вопрос. Никто не заметил, что дядя оттолкнул от себя тарелку и забыл о завтраке; но на него вообще никто не обращал внимания, кроме Крошки Доррит.. Лакеев снова позвали, и завтрак кончился своим порядком. Миссис Дженераль встала из-за стола и ушла. Крошка Доррит встала из-за стола и ушла. Эдуард и Фанни перешептывались через стол, мистер Доррит доедал винные ягоды, читая французскую газету, как вдруг дядя привлек внимание всех троих, поднявшись со стула, ударив кулаком по столу и воскликнув:

— Брат, я протестую!

Если б он произнес заклинание на неведомом языке и вызвал духа, его слушатели изумились бы не более, чем теперь. Газета выпала из рук мистера Доррита; он окаменел с винной ягодой на полдороге ко рту.

— Брат, — продолжал старик, и удивительная энергия звучала в его дрожащем голосе, — я протестую! Я люблю тебя; ты знаешь, как я люблю тебя. В эти долгие годы я ни разу не изменил тебе даже помышлением.

Я слаб, но я ударил бы человека, который вздумал бы дурно отзываться о тебе. Но, брат, брат, брат, против этого я протестую!

Странно было видеть такой порыв вдохновения в этом дряхлом старике. Глаза его загорелись, седые волосы поднялись дыбом на лбу, и на лице отпечатлелись следы воли, покинувшей его четверть века назад, в энергичных жестах руки чувствовалось одушевление.

— Дорогой Фредерик, — пролепетал мистер Доррит, — что такое? Что случилось?

— Как ты смеешь! — продолжал старик, обращаясь к Фанни. — Или у тебя нет памяти? Или у тебя нет сердца?

— Дядя, — воскликнула испуганная Фанни, заливаясь слезами, — за что вы нападаете на меня так жестоко? Что я сделала?

— Что сделала? — повторил старик, указывая на стул ее сестры. — Где твой нежный, бесценный друг? Где твой верный хранитель? Где та, которая была для тебя больше, чем мать? Как ты смеешь возноситься над той, которая была для тебя всем? Стыдись, неблагодарная девушка, стыдись!

— Я люблю Эми, — говорила Фанни, рыдая и всхлипывая, — как свою жизнь и больше жизни. Я не заслужила такого обращения. Я так благодарна Эми, я так люблю Эми, как только может любить человек. Лучше бы мне умереть. Меня никогда не оскорбляли так жестоко — и только за то, что я дорожу фамильным достоинством.

— К чёрту фамильное достоинство! — крикнул старик, дрожа от гнева и негодования. — Брат, я протестую против гордости! Я протестую против неблагодарности! Я протестую против каждого из нас, кто, зная всё, что мы знаем, и испытав всё, что мы испытали, вздумает выступить с претензиями, которые хоть на ноту роняют Эми, хоть на минуту причиняют ей огорчение! Этого довольно, чтоб признать подобные претензии низкими. Они навлекут на нас кару Божию. Брат, я протестую против них перед лицом Господа!

Рука его поднялась над головой и опустилась на стол, как молот кузнеца. После молчания, длившегося несколько минут, он снова впал в свое обычное состояние. Он подошел к брату, едва волоча ноги, как обычно, положил ему руку на плечо и сказал слабым голосом:

— Вильям, дорогой мой, я должен был высказать это. Прости меня, но я должен был высказать это, — и вышел из роскошной залы, сторбившись, как выходил из кельи Маршалъси.

Все это время Фанни рыдала и всхлипывала. Эдуард сидел, разинув рот от изумления и вытаращив глаза. Мистер Доррит был крайне поражен и совершенно растерялся. Фанни первая нарушила молчание.

— Никогда, никогда, никогда со мной так не обращались! — рыдала она. — Так жестоко и несправедливо, так грубо и свирепо! Милая, добрая, ласковая крошка Эми, что бы она почувствовала, если б узнала, что меня так оскорбили из-за нее. Но я никогда не скажу ей об этом. Нет, я не скажу об этом моей доброй девочке!

Эти слова развязали язык мистеру Дорриту.

— Душа моя, — сказал он, — я... кха... одобряю твое решение. Лучше... кха... хм... не говорить об этом Эми. Это могло бы... хм... могло бы огорчить ее... кха... без сомнения, это жестоко огорчит ее. Желательно избежать этого. Пусть... кха... всё происшедшее останется между нами.

— Но какой жестокий дядя! — воскликнула мисс Фанни. — О, я никогда не прощу ему этой жестокости!

— Душа моя, — сказал мистер Доррит, возвращаясь к своему прежнему тону, хотя лицо его оставалось страшно бледным, — прошу тебя, не говори этого. Ты должна помнить, что твой дядя... кха... не таков, каким он был прежде. Ты должна помнить, что состояние дяди требует... хм... большего снисхождения с нашей стороны, большего снисхождения.

— Я уверена, — жалобно сказала Фанни, — что у него что-нибудь не в порядке, иначе он никогда бы не набросился так именно на меня.

— Фанни, — возразил мистер Доррит тоном глубокой братской привязанности, — ты знаешь, какая... хм... развалина твой дядя при всех его достоинствах, и я прошу тебя именем братской привязанности, которую я всегда питал к нему, верности, которую, как тебе известно, я всегда сохранял к нему, прошу тебя выводить какие угодно заключения, но не оскорблять моих братских чувств.

На этом беседа кончилась. Эдуард Доррит, эсквайр, так и не вставил ни словечка со своей стороны, хотя до

последней минуты казался крайне смущенным и взволнованным. Мисс Фанни весь день повергала в смущение свою сестру, осыпая ее поцелуями и то даря ей брошки, то выражая желание умереть.

ГЛАВА VI

Что-то где-то наладилось

Двусмысленное положение мистера Гоуэна, — положение человека, который рассорился с одной державой, не сумел устроиться при другой и, проклиная обе, бесцельно слоняться на нейтральной почве, — такое положение не благоприятствует душевному спокойствию, и против него бессильно даже время.

Худшие итоги в обыденной жизни достаются на долю тем неудачным математикам, которые привыкли применять правила вычитания к успехам и заслугам ближних и не могут применить правила сложения к своим.

Привычка искать утешения в напускном и хвастливом разочаровании не проходит даром. Результатами ее являются ленивая беспечность и опрометчивая непоследовательность. Унижать достойное, возвышая недостойное, — одно из противоестественных удовольствий, связанных с этой привычкой, а играть с истиной, не стесняясь подтасовками и передержками, значит в любой игре проиграть наверняка.

К художественным произведениям, лишенным всякого достоинства, Гоуэн относился необыкновенно снисходительно. Он всегда готов был объявить, что у такого-то в мизинце больше таланта (если в действительности у него не было никакого), чем у такого-то во всей его личности (если этот последний обладал крупным талантом). Если ему возражали, что картина эта — просто хлам, он отвечал от имени своего искусства: «Милейший мой, а что же мы еще создаем, кроме хлама? Я — ничего другого, сознаюсь откровенно».

Чваниться своей бедностью было другим проявлением его желчного настроения, хотя, быть может, это делалось с целью дать понять, что ему по праву следовало бы быть богатым; точно так же, как, с целью заявить о своем родстве с Полипами, он публично расхваливал и поносил их. Как бы то ни было, он часто распространялся на

эти две темы — и так искусно, что если бы он расхваливал свои достоинства целый месяц без передышки, то и тогда бы не мог выставить себя в более выгодном свете, чем теперь, когда отрицал за собой всякое право на внимание.

С помощью тех же небрежных отзывов о себе самом он умел дать понять везде, где ему случалось быть с женой, что он женился против воли своих высокопоставленных родителей и с большим трудом убедил их признать его жену. Он презрительно относился к их аристократической гордости, но выходило как-то так, что, при всех стараниях унижить себя, он всегда оказывался высшим существом. С первых дней медового месяца Минни Гоуэн чувствовала, что на нее смотрят как на жену человека, который снизошел до брака с нею, но чья рыцарская любовь не признавала этой разницы положений.

Господин Бландуа из Парижа сопровождал их до Венеции, но и в Венеции постоянно вертелся в обществе Гоуэнов. Когда они впервые познакомились в Женеве с этим галантным джентльменом, Гоуэн был в нерешительности — вытолкать его или обласкать — и целые сутки мучился этим вопросом, так что, в конце концов, решился было прибегнуть к пятифранковой монете и положить на решение этого оракула: орел — вытолкать, решетка — обласкать. Но жена его выразила антипатию к очаровательному Бландуа, и население гостиницы было против него. Убедившись в этом, Гоуэн решился обласкать его.

Чем объяснить это своенравие? Великодушным порывом? Но его не было. Зачем Гоуэн, который был гораздо выше Бландуа из Парижа и мог бы разобрать по косточкам этого любезного джентльмена и понять, из какого теста он слеплен, зачем Гоуэн связался с таким человеком? Во-первых, затем, чтобы поступить наперекор жене, впервые выразившей самостоятельное желание, — поступить наперекор именно потому, что ее отец уплатил его долги, и Гоуэн рад был воспользоваться первым удобным случаем проявить свою независимость. Во-вторых, он шел против господствующего мнения, потому что, не лишенный природных способностей, он всё же оказался неудачником. Ему доставляло удовольствие объявлять, что кавалер с такими утонченными манорами, как Бландуа, должен занять выдающееся положение во всякой цивили-

лизованной стране. Ему доставляло удовольствие изображать Бландуа образцом изящества и превозносить его за счет тех, кто кичился своими личными достоинствами. Он серьезно уверял, что поклон Бландуа — совершенство грации, что манеры Бландуа неотразимы, что непринужденное изящество Бландуа стоит сотни тысяч франков (если бы можно было продать этот дар природы). То вечное пересаливание, которое так характеризовало манеры Бландуа и так присуще подобным господам, какое бы воспитание они ни получили, служило Гоуэну карикатурой для высмеивания людей, которые делали то же, что Бландуа, только не хватая при этом через край. Оттого он и связался с ним и мало-помалу, в силу привычки, а отчасти и праздного удовольствия, которое доставляла ему болтовня Бландуа, сошелся с ним по-приятельски. А между тем он догадывался, что Бландуа добывает средства к жизни шулерством и другими плутнями; подозревал его в трусости, будучи сам дерзок и смел; отлично знал, что Минни не любит его, и в сущности так мало дорожил им, что, подай он ей хоть малейший осязательный повод к тому, чтобы она почувствовала себя оскорбленной, не задумался бы выбросить его из самого высокого окна в самый глубокий канал Венеции.

Крошка Доррит предпочла бы отправиться к миссис Гоуэн одна; но так как Фанни, еще не оправившаяся после нападения дяди (хотя с тех пор прошла уже целая вечность: двадцать четыре часа), во что бы то ни стало хотела сопровождать ее, то они и отправились в гондоле с проводником, в полном параде. Сказать по правде, они были даже слишком парадны для квартиры Гоуэнов, которая оказалась, по словам Фанни, в ужасном захолустье и до которой пришлось пробираться по лабиринту узких каналов, «жалких канав» — по презрительному выражению той же барышни.

Дом находился на маленьком пустынном островке и производил такое впечатление, точно оторвался откуда-то, приплыл сюда и случайно остановился здесь на якоре вместе с виноградным кустом, повидимому таким же заброшенным, как жалкие существа, валявшиеся в его тени. По соседству с ним красовались: церковь, обшарпанная и облупленная, обставленная лесами, повидимому лет сто тому назад, так она была ветха; белье, сушившееся на солнце, куча домов, напивавших друг на друга,

покосившихся набок, напоминавших куски сыра доадамовских времен, фантастически искромсанные и переполненные червями, и целый хаос окон с покосившимися решетчатыми ставнями, раскрытыми настежь, и каким-то грязным тряпьем, свисавшим наружу.

В первом этаже дома помещался банк, — поразительное открытие для каждого джентльмена, причастного к коммерции и уверенного, что некий британский город предписывает законы всему человечеству, — где двое поджарых бородатых клерков, в зеленых бархатных шапочках с золотыми кисточками, стояли за маленькой конторкой в маленькой комнатке, не заключавшей в себе никаких видимых предметов, кроме пустого несгораемого шкафа с открытой дверцей, графина с водой и обоев, разрисованных гирляндами роз, что, впрочем, не мешало означенным клеркам по первому законному требованию вытаскивать из какого-то потаенного места горы пятифранковых монет. Под банком находились три или четыре комнаты с железными решетками на окнах, смахивавшие на темницу для преступных крыс. Над банком была резиденция, миссис Гоуэн.

Несмотря на стены, испещренные пятнами и походившие вследствие этого на географические карты, несмотря на полинявшую, выцветшую мебель и специфический венецианский запах стоячей воды и гниющих водорослей, квартира выглядела лучше, чем можно было ожидать. Двери отворил улыбающийся человек с наружностью раскаявшегося убийцы, который проводил барышень в комнату миссис Гоуэн, доложив этой последней, что две прекрасные дамы-англичанки желают ее видеть.

Миссис Гоуэн, сидевшая за шитьем, отложила свою работу при этом известии и довольно торопливо встала навстречу гостям. Мисс Фанни держала себя очень любезно и начала болтать всякий вздор с непринужденностью леди, давно вращающейся в светском обществе.

— Папа очень жалел, — говорила она, — что не мог навестить вас сегодня (он редко бывает свободен, у нас здесь такая бездна знакомых!), и просил меня непременно передать эту карточку мистеру Гоуэну. Чтобы покончить с этим поручением, о котором он повторял мне раз десять, позвольте теперь положить ее хоть здесь на столе.

Она так и сделала с изяществом леди, давно вращающейся в светском обществе.

— Мы были очень рады, — продолжала мисс Фанни, — узнать, что вы знакомы с Мердлями. Мы надеемся, что это даст нам возможность чаще видеться с вами.

— Мердли дружны с семьей мистера Гоуэна, — сказала миссис Гоуэн. — Я еще не имела удовольствия познакомиться с миссис Мердль; по всей вероятности, мы познакомимся в Риме.

— Да, — отвечала Фанни, учтиво стараясь скрыть свое превосходство. — Надеюсь, она вам понравится.

— Вы с нею хорошо знакомы?

— Видите ли, — сказала Фанни, пожимая своими хо-рошенькими плечиками, — в Лондоне всех обычно знаешь. Мы встретились недавно по пути и, по правде сказать, папа немного рассердился на нее за то, что она заняла нашу комнату. Впрочем, всё скоро выяснилось, и мы снова стали друзьями.

Хотя Крошка Доррит еще не успела обменяться с миссис Гоуэн ни единым словом, но между ними установилось полное взаимное понимание. Крошка Доррит вглядывалась в миссис Гоуэн с живым, неослабевающим интересом, волнуясь при звуках ее голоса, не упуская ничего, что окружало ее или касалось ее. Она подмечала здесь малейшую деталь быстрее, чем в каком-либо другом случае, кроме одного.

— Вы были совершенно здоровы с того вечера? — спросила она.

— Совершенно, милочка, А вы?

— О, я всегда здорова! — сказала Крошка Доррит застенчиво. — Я... да, благодарю вас.

Ей не было причины смущаться и запинаться, кроме разве той, что миссис Гоуэн дотронулась до ее руки, и глаза их встретились. Выражение тревоги в больших, кротких, задумчивых глазах поразило Крошку Доррит.

— Знаете, мой муж так восхищается вами, что я почти готова ревновать, — сказала миссис Гоуэн.

Крошка Доррит, краснея, покачала головой.

— Если бы он говорил с вами так же откровенно, как со мной, он сказал бы вам, что не знает никого, кто умел бы так быстро и спокойно, как вы, подать помощь другим незаметно для них самих.

— Он чересчур лестного мнения обо мне, — сказала Крошка Доррит.

— Не думаю, но уверена, что мне пора сообщить ему о вашем посещении. Он никогда не простит мне, если узнает, что вы и мисс Доррит ушли, не повидавшись с ним. Можно ему сказать? Вы извините беспорядок и неуютность студии живописца?

Эти вопросы были обращены к мисс Фанни, которая любезно ответила, что ей, напротив, будет очень интересно взглянуть на мастерскую. Миссис Гоуэн вышла на минуту в соседнюю комнату и тотчас вернулась.

— Войдите, пожалуйста, — сказала она. — Я знала, что Генри будет рад.

Первое, что встретили глаза Крошки Доррит, когда она вошла в комнату, был Бландуа из Парижа, в плаще и широкополой шляпе, надвинутой на глаза, стоявший в углу на возвышении в той самой позе, в какой он стоял на Большом Сен-Бернаре, когда предостерегающие руки придорожных столбов указывали на него. Она отшатнулась при виде этой фигуры, а он приятно улыбнулся ей.

— Не тревожьтесь, — сказал Гоуэн, выходя из-за мольберта, — это только Бландуа. Он служит мне моделью. Я набрасываю с него этюд. Это избавляет меня от лишнего расхода. Нам, бедным художникам, приходится соблюдать экономию.

Бландуа из Парижа сиял свою широкополую шляпу и поклонился дамам, не сходя со своего возвышения.

— Тысяча извинений! — сказал он. — Но мой профессор неумолим, так что я боюсь пошевелиться.

— И не шевелитесь, — холодно сказал Гоуэн, когда сестры подошли к мольберту. — Пусть леди посмотрят на оригинал моей мазни, чтоб лучше понять, что она изображает. Вот он, извольте видеть. Bravo,¹ подстерегающий свою добычу, благородный аристократ, обдумывающий, как ему спасти отечество, враг рода человеческого, подстраивающий кому-нибудь пакость, посланец неба, приносящий кому-нибудь счастье, — на кого он похож, по вашему?

— Скажите, professore mio,² на бедного джентль-

¹ Bravo (итал.) — наемный убийца

² Professore mio (итал.) — мой профессор

мела, ожидающего случая воздать должное изяществу и красоте, — заметил Бландуа.

— Или, вернее, *cattivo soggetto mio*,¹ — возразил Гоуэн, дотрагиваясь кистью до нарисованного лица, — на убийцу после преступления. Покажите-ка вашу белую ручку, Бландуа. Выньте ее из-под плаща. Покажите ее

Рука Бландуа дрожала, по всей вероятности оттого, что он смеялся

— Он боролся с другим убийцей или с жертвой, замечаете, — продолжал Гоуэн, подмалевывая шрамы на руке быстрыми, нетерпеливыми, неумелыми мазками, — вот следы борьбы. Выньте же руку, Бландуа! *Corpo di San Marco*,² что с вами такое сегодня!

Бландуа из Парижа снова засмеялся, отчего рука затряслась еще сильнее; он поднял ее и схватился за усы, потом принял требуемую позу еще развязнее, чем раньше.

Всё это время он смотрел на Крошку Доррит, стоящую около мольберта. Прикованная его странным взглядом, она тоже не могла отвести от него глаз. Вдруг она вздрогнула; Гоуэн заметил это и, думая, что она испугалась огромной собаки, которую гладила и которая заворчала в эту минуту, сказал:

— Не бойтесь, он не укусит, мисс Доррит.

— Я не боюсь, — возразила она, — но взгляните на него.

В ту же минуту Гоуэн бросил кисть и обеими руками схватил собаку за ошейник.

— Бландуа! Что за глупость! Зачем вы его дразните! Клянусь небом и адом, он разорвет вас на клочки Смирно, Лев! Тебе говорят, разбойник!

Огромный пес, налегая всей своей тяжестью на душивший его ошейник, рвался к Бландуа. Он хотел броситься в ту минуту, как Гоуэн схватил его.

— Лев! Лев! — Пес поднялся на задние лапы, вырываясь из рук хозяина. — Назад! На место, Лев! Уходите, Бландуа! Что за чёрт вселился в эту собаку!

— Я ничего ей не сделал.

— Уходите с глаз долой, мне не справиться с этим

¹ *Cattivo soggetto mio (итал)* — мой скверный субъект.

² *Corpo di San Marco (итал)* — восклицание, означающее: «Тело святого Марка!»



Министр славнее, чем дрессировка.

зверем! Уходите из комнаты! Клянусь честью, он растерзает вас!

Собака с бешеным лаем снова рванулась, но, как только Бландуа исчез, успокоилась и покорно подчинилась хозяину, рассвирепевшему не меньше ее самой. Он ударил ее кулаком по голове, повалил на землю и несколько раз ткнул ее каблуком в морду, так что на ней показалась кровь.

— Ступай в угол и лежи смирно, — сказал он, — а не то я застрелю тебя.

Лев послушно исполнил его приказание и улегся, облизывая кровь на морде и на груди. Его хозяин перевел дух, а затем, успокоившись, повернулся к испуганной жене и ее гостям. Всё это происшествие длилось не более двух минут.

— Полно, полно, Минни! Ты знаешь, как он всегда смирен и послушен. Бландуа, наверно, раздражил его, строил ему гримасы. У собак тоже бывают свои симпатии и антипатии. Бландуа не пользуется его расположением; но ты, конечно, подтвердишь, Минни, что это с ним еще никогда не случалось.

Минни была слишком расстроена этим происшествием, чтобы что-нибудь сказать. Крошка Доррит старалась успокоить ее; Фанни, которая уже раза два или три принималась плакать, ухватилась за руку Гоуэна; Лев, страшно сконфуженный своим скандальным поведением, прополз через комнату и улегся у ног госпожи.

— Ты, бешеный! — сказал Гоуэн, снова ткнув его ногою. — Я тебе задам!

Он ткнул собаку еще и еще.

— Ах, не бейте его больше, — сказала Крошка Доррит. — Не обижайте его. Посмотрите, как он ластится.

Гоуэн исполнил ее просьбу. Собака, впрочем, заслуживала ее заступничества, так как всем своим видом выражала покорность, сожаление и раскаяние.

После этого происшествия трудно было бы чувствовать себя непринужденно, даже при отсутствии мисс Фанни, которая обладала способностью стеснять всех своей болтовней. Из дальнейшего разговора Крошка Доррит вывела заключение, что мистер Гоуэн, при всей своей влюбленности, относится к жене как к хорошенькому ребенку. Повидимому, он не подозревал, какое глубокое чувство таилось под этой внешностью, так что Крошка

Доррит усомнилась, есть ли хоть какая-нибудь глубина в его чувстве. Она спрашивала себя, не этим ли объясняется его несерьезное отношение к жене, и не происходит ли с людьми то же, что с кораблями, которые не могут отдать якорь в мелководье с каменистым дном, а беспомощно дрейфуют по течению.

Он проводил их до крыльца, шутливо извиняясь за свою жалкую квартиру, которой поневоле приходится довольствоваться такому бедняку, как он. Когда великие и могущественные Полипы, его родичи, — прибавил он, — которые сгорели бы со стыда, увидев эту квартиру, наймут ему лучшую, он переедет в нее, чтоб не огорчить их. У канала их приветствовал Бландуа, бледный после недавнего приключения, но веселый и засмеявшийся при воспоминании о Льве.

Оставив приятелей под виноградным кустом, с которого Гоуэн лениво обрывал листья, бросая их в воду, в то время как Бландуа покуривал папиросу, сестры отправились домой тем же способом, как и приехали. Спустя несколько минут Крошка Доррит заметила, что Фанни жеманится больше, чем, повидимому, требуют обстоятельства, и, выглянув в окно, потом в открытую дверь, заметила гондолу, которая, очевидно, поджидала их.

Эта гондола пустилась за ними вслед, совершая самые искусные маневры: то обгоняя их и затем пропуская вперед, то двигаясь рядом, когда путь был достаточно широкий, то следуя за кормой. Так как Фанни не скрывала своих заигрываний с пассажиром этой гондолы, хотя и делала вид, что не замечает его присутствия, то Крошка Доррит решила, наконец, спросить, кто это такой.

На это Фанни отвечала лаконически:

— Идиотик!

— Кто? — спросила Крошка Доррит.

— Милочка! — отвечала Фанни (таким тоном, по которому можно было заключить, что до протеста дяди она сказала бы: дурочка). — Как ты недогадлива, — молодой Спарклер.

Она опустила стекло со своей стороны и, опершись локтем на окно, небрежно обмахивалась богатым, черным с золотой отделкой, испанским веером. Когда провожавшая их гондола снова проскользнула вперед, причем

в окне ее мелькнул чей-то глаз, Фанни кокетливо засмеялась и сказала:

— Видала ты когда-нибудь такого болвана, душечка?

— Неужели он будет провожать нас до дому? — спросила Крошка Доррит.

— Бесценная моя девочка, — отвечала Фанни, — я не знаю, что может прийти в голову идиоту в растерзанных чувствах, но считаю это весьма вероятным. Расстояние не бог знает как велико. Да ему и вся Венеция не покажется длинной, если он влюбился в меня до смерти,

— Разве он влюбился? — спросила Крошка Доррит с неподражаемой наивностью.

— Ну, душа моя, мне довольно трудно отвечать на этот вопрос, — сказала Фанни. — Кажется, да. Спроси лучше у Эдуарда. Я знаю, что он потешает всех в казино¹ и тому подобных местах своей страстью ко мне. Но лучше расспроси об этом Эдуарда.

— Удивляюсь, отчего он не является с визитом? — заметила Крошка Доррит, немного подумав.

— Эми, милочка, ты скоро перестанешь удивляться, если я получила верные сведения. Я не удивлюсь, если он явится сегодня. Кажется, это жалкое создание до сих пор не могло набраться храбрости.

— Ты выйдешь к нему?

— Радость моя, весьма возможно. Вот он опять, посмотри. Что за олух!

Бесспорно, мистер Спарклер, прильнувший к окну так крепко, что его глаз казался пузырем на стекле, представлял собой довольно жалкую фигуру.

— Зачем ты спросила меня, выйду ли я к нему, милочка? — сказала Фанни, не уступавшая самой миссис Мердль в самоуверенности и грациозной небрежности.

— Я думала... — отвечала Крошка Доррит. — Я хотела спросить, какие у тебя планы, милая Фанни?

Фанни снова засмеялась снисходительным лукавым и ласковым смехом и сказала, шутливо обнимая сестру:

— Послушай, милочка, когда мы встретились с этой женщиной в Мартиньи, как она отнеслась к этой встрече, какое решение приняла в одну минуту? Догадалась ты?

— Нет, Фанни.

— Ну, так я скажу тебе, Эми. Она сказала самой

¹ К а з и н о — увеселительное заведение с рестораном.

себе: я никогда не упомяну о нашей встрече при совершенно других обстоятельствах и никогда виду не покажу, что это те самые девушки. Это ее манера выходить из затруднений. Что я говорила тебе, когда мы возвращались с Харлей-стрита? Что это — самая дерзкая и фальшивая женщина на свете. Но что касается первого качества, найдутся такие, что потянутся и с нею.

Многозначительное движение испанского веера по направлению к груди Фанни весьма наглядно указало, где следует искать одну из таких женщин.

— Мало того, — продолжала Фанни, — она внушила то же самое юному Спарклеру и не пускала его ко мне, пока не вдолбила в его нелепейшую головушку (не называть же ее головой), что он должен делать вид, будто впервые познакомился с нами в Мартиньи.

— Зачем? — спросила Крошка Доррит.

— Зачем? Господи, душа моя, — (опять тоном, говорившим: нелепое создание), — как ты можешь спрашивать? Неужели ты не понимаешь, что теперь я могу считаться довольно завидной партией для этого дурачка, и неужели ты не понимаешь, что она старается свалить ответственность со своих плеч (очень красивых, надо сознаться, — прибавила мисс Фанни, бросив взгляд на свои собственные плечи) — и, делая вид, что щадит наши чувства, представить дело так, как будто мы избегаем ее.

— Но ведь мы всегда можем восстановить истину.

— Да, но, с вашего позволения, мы этого не сделаем, — возразила Фанни. — Нет, я не намерена делать это, Эми. Она начала кривляться, пусть же кривляется, пока не надоест.

В своем торжествующем настроении мисс Фанни, продолжая обмахиваться испанским веером, обняла другой рукой талию сестры, стиснув ее так крепко, словно это была миссис Мердль, которую она хотела задушить.

— Нет, — повторила она, — я заплачу ей той же монетой. Она начала, а я буду продолжать, и с помощью фортуны я буду оттягивать окончательное знакомство с ней, пока не подарю ее горничной на ее глазах платье от моей порнихи, вдесятеро лучше и дороже того, что она мне подарила. — Крошка Доррит молчала, зная, что ее мнение не будет принято, раз дело идет о семейной чести, и не желая потерять расположение сестры, так неожиданно вернувшей ей свои милости. Она не могла

согласиться с Фанни, но молчала. Фанни очень хорошо знала, о чем она думает, — так хорошо, что даже спросила об этом. Крошка Доррит ответила:

— Ты намерена поощрять мистера Спарклера, Фанни?

— Поощрять его, милочка? — сказала та с презрительной улыбкой. — Это зависит от того, что ты называешь «поощрять». Нет, я не намерена поощрять его, но я сделаю из него своего раба.

Крошка Доррит серьезно и с недоумением взглянула на сестру, которая, однако, ничуть не смутилась. Она свернула свой черный с золотым веер и слегка хлопнула по носу сестру с видом гордой красавицы и умницы, шутливо наставляющей уму-разуму простодушную подругу.

— Он будет у меня на побегушках, милочка, я возьму его в руки, и если не возьму в руки его мать, то это будет не моя вина.

— Подумала ли ты, — пожалуйста, не обижайся, милая Фанни, я так рада, что мы опять подружились, — подумала ли ты, чем это кончится?

— Не могу сказать, чтобы я серьезно думала об этом, — отвечала Фанни с величественным равнодушием, — всему свое время. Так вот какие у меня намерения. Пока я объясняла их, мы успели доехать до дому. А! и Спарклер у подъезда, спрашивает, дома ли. Чистая случайность, разумеется.

В самом деле, влюбленный пастушок стоял в своей гондоле с визитной карточкой в руке, делая вид, что осведомляется у лакея, дома ли господа. Злая судьба захотела представить его барышням в таком положении, которое в древние времена вряд ли было бы сочтено благоприятным предзнаменованием для его надежд. Гондольеры молодых леди, раздосадованные его погоней, так ловко направили свою лодку на его гондолу, что мистер Спарклер опрокинулся, подобно большой кегле, и показал предмету своих воздыханий подошвы, в то время как благороднейшие части его корпуса барахтались в лодке на руках у гондольера.

Однако, когда мисс Фанни с величайшим участием поинтересовалась, не ушибся ли джентльмен, мистер Спарклер оправился гораздо быстрее, чем можно было ожидать, и отвечал, краснея:

— Нисколько.

Мисс Фанни совершенно забыла его физиономию и

прошла было мимо, слегка кивнув головой, когда он назвал свою фамилию. И тут она не могла его вспомнить, пока он не объяснил, что имел честь видеть ее в Мартины. Тогда она вспомнила и осведомилась, как здоровье его матушки.

— Благодарю вас, — пробормотал мистер Спарклер, — она необычайно здорова... то есть ничего, живет кое-как.

— Она в Венеции? — спросила мисс Фанни.

— В Риме, — отвечал мистер Спарклер. — Я здесь сам по себе, сам по себе. Я приехал сам по себе с визитом к мистеру Эдуарду Дорриту, то есть и к мистеру Дорриту, то есть ко всему семейству.

Грациозно повернувшись к слугам, мисс Фанни спросила, дома ли ее отец и брат. Так как оказалось, что оба были дома, то мистер Спарклер рискнул смиренно предложить ей руку. Она приняла ее, и мистер Спарклер, жестоко ошибавшийся, если еще продолжал думать (в чем нет причины сомневаться), что она «без всяких этаких выдумок», повел ее наверх.

Когда они вошли в разрушавшуюся приемную с полинялыми обоями цвета грязной морской воды, до того истлевшими и выцветшими, что они казались сродни водорослям, которые плавали под окнами или взбирались на стены, точно оплакивая своих заточенных родичей, мисс Фанни отправила слугу за отцом и братом. В ожидании их появления она грациозно раскинулась на софе и совсем доконала мистера Спарклера, начав разговор о Данте,¹ о котором этому джентльмену известно было лишь то, что он отличался эксцентричностью, украшал голову листьями и сидел — неизвестно зачем — на кресле перед собором во Флоренции.

Мистер Доррит приветствовал гостя с величайшей любезностью и с самыми аристократическими манерами. Он осведомился с особенным участием о здоровье миссис Мердль. Мистер Спарклер сообщил, или, вернее сказать, выдал из себя по кусочкам, что миссис Мердль надоело их имение, надоел дом в Брайтоне, а оставаться в Лондоне, когда там нет ни души, сами понимаете, скучно, гостить же у знакомых ей в этом году не хоте-

¹ Данте Алигиери (1265—1321), великий итальянский поэт, автор поэмы «Божественная комедия». Данте родился и долгое время жил во Флоренции, где ему поставлен памятник перед собором,

лось, и вот она надумала съездить в Рим, где такая, как она, женщина, невероятно пышной наружности и без всяких этаких выдумок, не может не быть желанным гостем. Что касается мистера Мердля, то он так необходим в Сити и в разных этаких местах, и такое невероятное явление в банковых и торговых и прочих подобных делах, что, по мнению мистера Спарклера, финансовая система страны вряд ли могла бы обойтись без него, хотя мистер Спарклер должен сознаться, что дела совсем доконали его и что небольшой отдых и перемена климата и обстановки были бы ему очень полезны. Что касается самого мистера Спарклера, то он отправляется по своим личным делам туда же, куда едет семейство Доррит.

Этот блестящий разговор потребовал немало времени, но был приведен к благополучному концу. После этого мистер Доррит выразил надежду, что мистер Спарклер не откажется как-нибудь на днях отобедать с ними. Мистер Спарклер с такой готовностью принял это предложение, что мистер Доррит спросил, что он делает сегодня, например. Так как сегодня он ничего не делал (его обычное занятие, к которому он обнаруживал большие способности), то и согласился явиться к обеду, а затем сопровождать дам в Оперу.

С наступлением обеденного времени мистер Спарклер явился из вод морских, подобно сыну Венеры,¹ подражающему своей матери, и, поднявшись по лестнице, предстал перед хозяевами в полном блеске. Утром мисс Фанни была очаровательна, а теперь втрое очаровательнее: ее туалет отличался изяществом, цвета были подобраны как нельзя более к лицу, а небрежная грация ее манер увеличила вдвое тяжесть оков мистера Спарклера.

— Если не ошибаюсь, мистер Спарклер, — заметил хозяин во время обеда, — вы знакомы... кха... с мистером Гоуэном, мистером Генри Гоуэном?

— О да, сэр, — отвечал мистер Спарклер. — Его мать и моя мать очень дружны, честное слово.

— Жалею, что не подумал об этом, Эми, — сказал мистер Доррит величаво-покровительственным тоном, который сделал бы честь самому лорду Децимусу, — я попросил бы тебя написать к ним записку, пригласить их

¹ Сын Венеры — в древнеримской мифологии Амур, бог любви.

обедать сегодня. Кто-нибудь из нашей прислуги мог бы... кха... привезти и отвезти их. Мы могли бы отправить за ними... кха... одну из наших гондол. Жаль, что я забыл об этом. Пожалуйста, напомни мне завтра.

Крошка Доррит не знала, как отнесется мистер Гоуэн к их покровительству, но обещала напомнить.

— Скажите, пожалуйста, рисует ли мистер Генри Гоуэн... кха... портреты? — спросил мистер Доррит.

Мистер Спарклер полагал, что он рисует все, что угодно, если только найдется заказчик.

— Разве у него нет склонности к какому-нибудь особому роду искусства?

Мистер Спарклер, окрыленный любовью, остроумно заметил, что каждый род искусства требует особой обуви, например охота — охотничьих сапог, танцы — бальных башмаков, а мистер Генри Гоуэн, сколько ему известно, не носит особенной обуви.

— Вы тоже не хотите избрать себе специальность?

Это слово было чересчур длинно для мистера Спарклера, и так как весь его порох был растрочен в предыдущем замечании, то он ответил только:

— Нет, благодарствуйте, я ее не ем.

— Видите ли, — продолжал мистер Доррит, — мне было бы очень приятно доставить джентльмену с такими связями какое-нибудь... кха... вещественное доказательство моего желания способствовать его карьере и развитию... хм... зародышей его гения. Я хотел пригласить мистера Гоуэна написать мой портрет. Если обе стороны останутся.. кха... довольны результатом, я приглашу его попробовать свои силы, написав портреты и остальных членов моей семьи.

Мистеру Спарклеру пришла в голову необычайно смелая и оригинальная мысль: сказать, что перед некоторыми (некоторыми — с особенным ударением) членами семьи мистера Доррита искусство остановится в бессилии. Но у него нехватало слов, чтобы выразить эту мысль, которая так и канула в вечность.

Это было тем более достойно сожаления, что мисс Фанни с восторгом ухватилась за мысль о портрете и просила отца действовать, не откладывая. Она догадывалась, по ее словам, что мистер Гоуэн потерял шансы на блестящую карьеру, женившись на своей хорошенькой жене, и любовь в коттедже, рисующая портреты ради

хлеба насущного, казалась ей ужасно интересной. Ввиду этого она просила папу заказать портреты во всяком случае, как бы он ни нарисовал; впрочем, она и Эми могут подтвердить, что он хорошо рисует, так как видели сегодня портрет его работы, поразительно схожий с оригиналом, который присутствовал тут же. Эти слова окончательно сбили с толку мистера Спарклера (быть может, для того они и были высказаны), так как, с одной стороны, они свидетельствовали о способности мисс Фанни оценить нежную страсть, с другой же — указывали на такое ангельское неведение о его поклонении, что у него глаза чуть не выскочили на лоб от ревности к неизвестному сопернику.

Спустившись в гондолу после обеда и выйдя на берег у подъезда Оперы в сопровождении одного из гондольеров, шествовавшего впереди наподобие тритона¹ с большим парусиновым фонарем, они вошли в ложу, и для мистера Спарклера начался вечер, полный адской муки. В театре было темно, а в ложе светло; многие из знакомых заходили в ложу во время представления, и Фанни беседовала с ними так любезно, принимала такие очаровательные позы, так дружески спорила о том, кто сидит в отдаленных ложах, что злополучный Спарклер возненавидел всё человечество. Впрочем, к концу представления выпали и на его долю отрадные минуты. Во-первых, она дала ему подержать свой веер, пока надевала мантилью; во-вторых, доставила несказанное счастье вести ее под руку с лестницы. Эти крохи поощрения послужили поддержкой его угасавшим надеждам, — так, по крайней мере, казалось мистеру Спарклеру; возможно, что и мисс Доррит была того же мнения.

Тритон с фонарем дожидался у дверей ложи, так же как другие тритоны с фонарями — у других лож. Дорритовский тритон опустил фонарь, освещая ступеньки лестницы, и к прежним оковам мистера Спарклера прибавились новые, пока он следил за ее блистающими ножками, мелькавшими около его ног. В числе посетителей театра оказался Бландуа из Парижа. Он шел рядом с Фанни.

Крошка Доррит шла впереди с братом и миссис Джeneralь (мистер Доррит остался дома); но у гондолы

¹ Тритон — в античной мифологии сын бога моря Нептуна, морской бог с человеческим туловищем и рыбьим хвостом.

они сошлись вместе. Она снова вздрогнула, увидев Бландуа, помогавшего Фанни войти в гондолу.

— Гоуэн понес утрату, — сказал он, — сегодня после визита, которым осчастливили его прекрасные леди.

— Утрату? — повторила Фанни, прощаясь с злополучным Спарклером и усаживаясь в гондолу.

— Утрату, — подтвердил Бландуа. — Его собака, Лев ..

В эту минуту рука Крошки Доррит была в его руке.

— Околела, — заключил Бландуа.

— Околела? — повторила Крошка Доррит. — Этот славный пес?

— Именно, дорогие леди, — подтвердил Бландуа, улыбаясь и пожимая плечами. — Кто-то отравил этого пса. Он мертв, как венецианские дожи.

ГЛАВА VII

Главным образом о персиках и призмах

Миссис Дженераль, неизменно восседавшая на своей колеснице, усердно старалась сообщить внешний лоск своему милому юному другу, а милый юный друг миссис Дженераль усердно старался воспринять этот лоск. Много испытаний досталось на ее долю, но, кажется, еще не доставалось такого тяжкого, как теперь, когда миссис Дженераль наводила на нее лак. Ей было очень не по себе от этой операции, но она подчинялась требованиям семьи теперь, в дни ее величия, как подчинялась им раньше, в дни ее падения, жертвуя своими наклонностями, как жертвовала здоровьем в то время, когда голодала, приберегая свой обед и ужин отцу. Одно утешение помогало ей переносить эту пытку, служило для нее поддержкой и отрадой, что, может быть, показалось бы смешным менее преданному и любящему существу, не привыкшему к борьбе и самопожертвованию. В самом деле, в жизни часто приходится наблюдать, что натуры, подобные Крошке Доррит, рассуждают далеко не так благоразумно, как люди, которые ими пользуются. Утешением для Крошки Доррит была непрекращавшаяся нежность сестры. Правда, эта нежность принимала форму снисходительного покровительства, но к этому она привыкла. Правда, она ставила ее в подчиненное положе-

ние, отводила ей служебную роль при триумфальной колеснице, на которой разъезжала мисс Фанни, принимая поклонение; но она и не претендовала на лучшее место. Всегда восхищаясь красотой, грацией и бойкостью Фанни, никогда не задавая себе вопроса, насколько ее привязанность к последней зависит от ее собственного любящего сердца и насколько от самой Фанни, она отдавала сестре всю нежность своей великодушной натуры.

Груда персиков и призм, переполнявших семейную жизнь благодаря миссис Дженераль, в связи с беспрепятственными выездами в свет Фанни, представляла такую смесь, на дне которой едва можно было найти хоть какой-нибудь естественный осадок. От этого дружба с Фанни была вдвойне драгоценна для Крошки Доррит и доставляла ей тем большее утешение.

— Эми, — сказала ей Фанни однажды вечером, после утомительного дня, вконец истерзавшего Крошку Доррит, тогда как Фанни хоть сейчас и с величайшим удовольствием готова была снова нырнуть в общество, — я намерена вложить кое-что в твою маленькую головку. Вряд ли ты догадаешься, что именно.

— Вряд ли, милочка, — сказала Крошка Доррит.

— Ну, вот тебе ключ к разгадке, дитя, — продолжала Фанни, — миссис Дженераль.

Персики и призмы в бесчисленных комбинациях сыпались весь день, лакированная внешность без содержания то и дело выставлялась напоказ. Понятно, после такого хлопотливого дня взгляд Крошки Доррит мог только выразить надежду, что миссис Дженераль благополучно улеглась в постель несколько часов тому назад.

— Теперь догадалась, Эми? — спросила Фанни.

— Нет, милочка. Разве, быть может, я что-нибудь наделала, — отвечала Крошка Доррит с беспокойством, опасаясь, не поцарапала ли она как-нибудь ненароком лак.

Фанни так развеселилась от этой догадки, что схватила свой любимый веер (лежавший на ее туалетном столике с целым арсеналом других смертоносных орудий, большей частью дымившихся кровью сердца мистера Спарклера) и несколько раз хлопнула сестру по носу, заливаясь смехом.

— Ах, Эми, Эми! — воскликнула она. — Что за трусиха наша Эми! Но тут нет ничего смешного, — напротив, я страшно зла, милочка.

— Если не на меня, Фанни, то я не беспокоюсь, — возразила сестра с улыбкой.

— Да я-то беспокоюсь, — сказала Фанни, — и ты будешь беспокоиться, когда узнаешь, в чем дело. Эми, неужели ты не замечала, что один человек чудовищно вежлив с миссис Дженераль?

— Все вежливы с миссис Дженераль, — сказала Крошка Доррит. — Потому что...

— Потому что она всех замораживает, — подхватила Фанни. — Я не об этом говорю, не об этой вежливости. Послушай, неужели тебя никогда не поражало, что папа так чудовищно вежлив с миссис Дженераль?

Эми смутилась и пробормотала:

— Нет.

— Нет. Конечно, нет. А между тем это верно. Это верно, Эми. И заметь мои слова. Миссис Дженераль имеет виды на папу!

— Фанни, милочка, неужели ты считаешь возможным, что миссис Дженераль имеет виды на кого-нибудь?

— Считаю возможным? — возразила Фанни. — Душа моя, я знаю это. Уверяю тебя, она имеет виды на папу. Мало того, папа считает ее таким чудом, таким образом совершенства, таким приобретением для нашей семьи, что готов влюбиться в нее по уши. Подумай только, какая приятная перспектива ожидает нас. Представь себе миссис Дженераль в качестве моей маменьки!

Крошка Доррит не ответила: «Представь себе миссис Дженераль в качестве моей маменьки», — но встревожилась и серьезно спросила, что привело Фанни к подобному заключению.

— Господи, милочка! — ответила Фанни нетерпеливо. — Ты бы еще спросила, почему я знаю, что человек влюблен в меня. Л между тем я знаю. Это случается довольно часто, и я всегда знаю. По всей вероятности, и здесь я узнала таким же путем. Но не в этом дело, а в том, что я знаю.

— Может быть, папа что-нибудь говорил тебе?

— Говорил? — повторила Фанни. — Милое, бесценное дитя, с какой стати папа будет мне говорить об этом теперь?

— А миссис Дженераль?

— Помилуй, Эми, — возразила Фанни, — такая ли она женщина, чтобы проговориться? Разве не ясно и не оче-

видно, что пока ей самое лучшее сидеть как будто она проглотила аршин, поправлять свои несносные перчатки и расхаживать павой. Проговориться? Если ей придет козырный туз в висте, разве она об этом скажет, дитя мое? Кончится игра, тогда все узнают.

— Но, может быть, ты ошибаешься, Фанни? Разве ты не можешь ошибиться?

— О да, может быть, — ответила Фанни, — но я не ошибаюсь. Я, впрочем, рада, что ты можешь утешаться этим предположением, милочка, и потому отнестись хладнокровно к моему сообщению. Это заставляет меня надеяться, что ты примиришься с новой маменькой, а я не примирюсь и пробовать не стану. Лучше выйду за Спарклера.

— О Фанни, ты никогда не выйдешь за него, ни в каком случае!

— Честное слово, милочка, — возразила та с изумительным равнодушием, — я не поручусь за это. Бог знает, что может случиться. Тем более, что это доставит мне возможность рассчитаться с его маменькой ее же монетой. А я решилась не упустить этого случая, Эми.

На этом и кончился разговор между сестрами, но он заставил Крошку Доррит обратить особое внимание на миссис Джeneralь и мистера Спарклера, и с этого времени она постоянно думала о них обоих.

Миссис Джeneralь давно уже отлакировала свою внешность так основательно, что для посторонних глаз она была непроницаема, если даже под ней таилось что-нибудь. Мистер Доррит бесспорно относился к ней очень вежливо и был о ней самого высокого мнения, но Фанни, всегда порывистая, могла истолковать это неправильно. Напротив, вопрос о Спарклере был совершенно ясен; всякий мог видеть, в каком положении дело, и Крошка Доррит видела и думала о том, что видела, с беспокойством и удивлением.

Преданность мистера Спарклера могла сравниться разве только со своенравием и жестокостью его владычицы. Иногда она обращалась с ним так ласково, что он только кудачтал от радости; день спустя или час спустя относилась к нему с таким полным пренебрежением, что он низвергался в мрачную бездну отчаяния и громко стонал, делая вид, будто кашляет. Его постоянство несколько не трогало Фанни, хотя он так прилип к Эдуарду, что

этот последний, желая отделаться от его общества, должен был удирать боковыми коридорами и черным ходом и ездить заговорщиком в крытых гондолах; хотя он так интересовался здоровьем мистера Доррита, что заходил осведомиться каждый день, точно мистер Доррит страдал перемежающейся лихорадкой; хотя он разъезжал под окнами своей владычицы с таким усердием, словно побился об заклад, что сделает тысячу миль в тысячу часов, хотя он являлся откуда ни возмись всюду, где показывалась ее гондола, и пускался за нею в погоню, точно его возлюбленная была прекрасная контрабандистка, а он — таможенный стражник. Вероятно, благодаря этому постоянному пребыванию на чистом воздухе и влиянию морской воды в связи с его природным здоровьем, мистер Спарклер, судя по наружности, вовсе не отощал, напротив, вместо того чтобы тронуть сердце возлюбленной истомленным видом, он толстел со дня на день, и та особая черта его внешности, которая делала его похожим скорее на распухшего мальчика, чем на молодого человека, выступала все резче и резче.

Когда Бландуа явился с визитом, мистер Доррит принял его очень милостиво, как друга мистера Гоуэна, и сообщил ему о своем намерении предложить последнему увековечить его черты для потомства. Бландуа был в восторге, и мистеру Дорриту пришло в голову, что ему, быть может, будет приятно передать другу об этом милостивом предложении. Бландуа взял на себя это поручение со свойственной ему непринужденной грацией и поклялся исполнить его прежде, чем состарится на один час.

Когда он сообщил об этом Гоуэну, последний с величайшей готовностью послал мистера Доррита к чёрту раз десять подряд (маэстро ненавидел протекцию почти так же, как и отсутствие ее) и чуть не поссорился с приятелем за то, что тот взялся передать ему это поручение.

— Может быть, это выше моего ума, Бландуа, — сказал он, — но убей меня бог, если я понимаю, какое вам дело до этого.

— Клянусь жизнью, я так же мало понимаю. Никакого, кроме желания услужить другу.

— Доставив ему случай поживиться насчет выскочки, — заметил Гоуэн, нахмурившись — Вы это хотели сказать? Пусть ваш новый друг закажет какому-

нибудь маляру намалевать его голову для трактирной вывески. Кто он и кто я?

— *Professore*,¹ — возразил посол, — а кто таков Бландуа?

Не интересуясь, повидимому, этим вопросом, мистер Гоуэн сердито свистнул, на чем и кончился разговор. Однако на другой день он вернулся к этой теме, сказав своим обычным небрежным тоном, с легкой усмешкой:

— Ну, Бландуа, когда же мы отправимся к вашему меценату?² Нам, поденщикам, не приходится отказываться от работы. Когда мы пойдем взглянуть на заказчика?

— Когда вам угодно, — сказал обиженный Бландуа — Какое мне дело до этого? При чем тут я?

— Я скажу вам, какое мне дело до него, — отвечал Гоуэн. — Это кусок хлеба. Надо есть. Итак, милейший Бландуа, идем!

Мистер Доррит принял их в присутствии дочерей и мистера Спарклера, который забрел к ним совершенно случайно.

— Как дела, Спарклер? — небрежно спросил Гоуэн. — Если вам придется жить умом вашей матушки, старина, то вы, наверно, устроитесь лучше, чем я.

Мистер Доррит объяснил свои намерения.

— Сэр, — сказал Гоуэн с усмешкой, довольно любезно приняв его предложение, — я новичок в этом ремесле и еще не успел ознакомиться со всеми его тайнами. Кажется, мне следует взглянуть на вас несколько раз при различном освещении, заявить, что вы превосходная натура, и сообразить, когда я буду свободен настолько, чтобы посвятить себя великому произведению с должным энтузиазмом. Уверяю вас, — он снова засмеялся, — я чувствую себя почти изменником милым, одаренным, славным, благородным ребятам, моим братьям художникам, отказываясь от этих фокусов. Но я не подготовлен к ним воспитанием, а теперь поздно учиться. Ну-с, по правде сказать, я плохой живописец, хотя и не хуже большинства. Если вам пришла фантазия выбросить сотню гиней, то я, бедный родственник

¹ *Professore* (итал.) — профессор.

² Меценат — богатый покровитель наук и искусств (по имени римского патриция времен императора Октавиана Августа — 30 г. до н. э. — 14 г. н. э.).

богатых людей, буду очень рад, если вы бросите их мне. За эти деньги я сделаю лучшее, что могу, и если это лучшее окажется плохим, то... то у вас будет плохой портрет с неизвестным именем вместо плохого портрета с известным именем.

Этот тон понравился мистеру Дорриту, хотя и показался ему несколько неожиданным. Во всяком случае, из слов мистера Гоуэна было ясно, что джентльмен с хорошими связями, а не простой ремесленник, считает себя обязанным мистеру Дорриту. Последний выразил свое удовольствие, предоставив себя в распоряжение мистера Гоуэна, и прибавил, что надеется продолжать с ним знакомство независимо от заказов.

— Вы очень добры, — сказал Гоуэн, — я не отрекся от общества, приписавшись к братству вольных художников (превосходнейшие ребята в мире), и непрочь иногда понюхать старого пороху, хоть он и взорвал меня на воздух. Вы не подумаете, мистер Доррит, — тут он снова засмеялся самым непринужденным образом, — что я прибегаю к нашим профессиональным фокусам (это будет ошибкой; я, напротив, всегда выдаю их, хотя люблю и уважаю нашу профессию от всей души), обращаясь к вам с вопросом насчет времени и места?

Кха! Мистер Доррит нимало... хм... не сомневается в искренности мистера Гоуэна.

— Еще раз скажу, вы очень добры, — отвечал Гоуэн. — Мистер Доррит, я слышал, что вы едете в Рим. Я тоже еду в Рим, где у меня друзья. Позвольте же привести в исполнение мой преступный замысел относительно вас там, а не здесь. Здесь мы все будем более или менее суетиться перед отъездом, и хотя вряд ли найдется в Венеции оборванец беднее меня, но всё же во мне еще сидит любитель, — к ущербу для ремесла, как видите, — и я не стану приниматься за работу второпях, единственно из-за денег.

Эти замечания были приняты мистером Дорритом так же милостиво, как предыдущие. Они послужили прелюдией к приглашению мистера и миссис Гоуэн на обед и очень искусно поставили мистера Гоуэна на привычное для него место в кружке новых знакомых.

Миссис Гоуэн они тоже поставили на привычное для нее место. Мисс Фанни поняла как нельзя яснее, что хорошенькие глазки миссис Гоуэн обошлись ее супругу

очень дорого, что из-за нее произошел великий раздор в семье Полипов и что вдовствующая миссис Гоуэн, огорченная до глубины души, решительно противилась этому браку, пока ее материнские чувства не взяли верх. Миссис Джeneralь также очень хорошо поняла, что любовь мистера Гоуэна послужила причиной семейного горя и неурядицы. О честном мистере Мигльсе почти не говорили; замечали только мимоходом, что с его стороны было очень естественно желать возвышения дочери, и, конечно, никто не осудит его за усилия в этом направлении.

Участие Крошки Доррит, проявленное к прекрасному объекту этой принятой на веру басни, было так глубоко и серьезно, что не замедлило открыть ей глаза. Она поняла, что эти рассказы играют не последнюю роль в печали, омрачившей жизнь Милочки, и инстинктивно чувствовала, что в них нет ни слова правды. Но препятствием к их сближению явилась школа персиков и призм, предписывавшая крайнюю учтивость, но отнюдь не дружбу с миссис Гоуэн; и Крошка Доррит, как невольная воспитанница этой школы, должна была подчиниться ее предписаниям.

Тем не менее, между ними уже установились симпатии и взаимное понимание, которые преодолели бы и более трудные препятствия и привели бы к дружбе даже при более редких встречах. Казалось, даже простые случайности были за эту дружбу; так, они сошлись в отращении к Бландуа из Парижа, — отращении, доходившем до ужаса и омерзения, вследствие инстинктивной антипатии к этому отвратительному человеку.

Независимо от этого активного сродства душ было между ними и пассивное. К ним обоим Бландуа относился одинаково, и обе они замечали в его отношении к ним что-то особенное, чего не было в его отношении к другим лицам. Разница эта была слишком тонка, чтобы броситься в глаза другим, но они ее видели. Едва заметное подмигивание его злых глаз, едва заметный жест его гладкой белой руки, едва заметное усиление его характерной гримасы, поднимавшей усы и опускавшей нос, не могли ускользнуть от их внимания. Казалось, он говорил: «Здесь у меня тайная власть; я знаю то, что знаю».

Никогда они не чувствовали этого в такой сильной степени и никогда не сознавали так ясно, что чувствуют

это обе, как в тот день, когда он явился с прощальным визитом перед отъездом из Венеции. Миссис Гоуэн зашла с той же целью, и он застал их двоих; остальных членов семьи не было дома. Они не пробыли вместе и пяти минут, а его странные манеры, казалось, говорили: «Вы собирались побеседовать обо мне! Ха! Позвольте помешать этому».

— Гоуэн будет здесь? — спросил Бландуа со своей характерной улыбкой.

Миссис Гоуэн отвечала, что он не будет.

— Не будет! — сказал Бландуа. — В таком случае позвольте вашему преданному слуге проводить вас, когда вы отправитесь домой.

— Благодарю вас; я не поеду отсюда домой.

— Не поедете домой! — воскликнул Бландуа. — Как это грустно!

Может быть, ему и было грустно, но это не заставило его уйти и оставить их вдвоем. Он сел и принялся занимать дам своими отборнейшими комплиментами и изящнейшими остротами, но всё время его манера говорила им: «Нет, нет, нет, дорогие леди. Незачем вам беседовать обо мне».

Он внушал им это так убедительно и с такой дьявольской настойчивостью, что миссис Гоуэн решила, наконец, уйти. Он было предложил ей руку, чтобы проводить ее с лестницы, но она притянула к себе Крошку Доррит и, тихонько пожав ей руку, сказала:

— Нет, благодарю вас. Но если вы будете любезны узнать, на месте ли мой гондольер, я буду вам обязана.

Ему не оставалось ничего другого, как идти вперед. Когда он ушел со шляпой в руке, миссис Гоуэн прошептала:

— Это он убил собаку.

— Мистер Гоуэн знает об этом? — спросила Крошка Доррит тоже шёпотом.

— Об этом никто не знает. Не смотрите на меня; смотрите на него. Он сейчас повернет голову. Никто не знает, но я уверена, что это он. Вы тоже?

— Я... да, я то же думаю, — отвечала Крошка Доррит.

— Генри любит его и не подозревает за ним ничего дурного; он сам так благороден и искренен. Но мы с вами уверены, что оценили его по достоинству. Он уверял

Генри, будто собака была уже отравлена, когда так неожиданно пришла в бешенство и кинулась на него. Генри верит этому, но я не верю. Я вижу, он подслушивает, только ничего не слышит. Прощайте, милочка! Прощайте!

Последние слова она произнесла громко, так как бдительный Бландуа остановился внизу лестницы и смотрел на них, пока они спускались. Он глядел сладчайшими глазами, но если бы какой-нибудь настоящий филантроп увидел его взгляд в эту минуту, то не задумался бы привязать ему камень на шею и бросить в воду за темной аркой подъезда, в котором тот стоял. Но так как такого благодетеля рода человеческого не оказалось налицо, то он усадил миссис Гоуэн в лодку и следил за ней глазами, пока она не исчезла из виду, а затем и сам уселся в свою гондолу и отправился своим путем.

Крошке Доррит не раз приходило в голову, и теперь пришло снова, что этот господин слишком легко втерся в дом ее отца. Но то же можно было сказать о многих других господах, с тех пор как ее отец разделял пристрастие Фанни к выездам в свет, так что этот случай не представлял ничего исключительного. Стремление завести новые знакомства, чтобы хвастать перед ними своим богатством и важностью, доходило в их семье просто до горячки.

Крошке Доррит казалось, что общество, в котором они вращались, очень смахивало на аристократию Маршалъси. Повидимому, многие попадали за границу почти так же, как другие в тюрьму: из-за долгов, лености, родства, праздного любопытства, вообще неумения устроиться дома. Они являлись в иностранные города под конвоем проводников и местных обывателей, как должники в тюрьму. Они шлялись по церквам и картинным галереям с вялым, сонным, безжизненным видом, как и арестанты по тюремному двору. Они вечно собирались уехать завтра или на будущей неделе, сами не знали своих намерений, редко исполняли то, что намеревались исполнить, и редко отправлялись туда, куда собирались ехать, совершенно так же, как должники в Маршалъси. Они дорого платили за ничтожные удобства, и, делая вид, что расхваливают ту или другую местность, всячески поносили ее: привычка обитателей Маршалъси. Когда они уезжали, то им завидовали те, которые остава-

лись, и притворялись, что не хотят уехать, — и это тоже была черта, свойственная Маршалysi. Условные фразы и термины, неразлучные с туристом (такие, как «коллегия» или «буфетная», с тюрьмой Маршалysi), вечно были у них на языке. Они отличались той же неспособностью довести до конца начатое дело и так же портили друг друга, как арестанты: носили нелепые костюмы и вели беспорядочный образ жизни, совершенно как в Маршалysi.

Срок, определенный для пребывания в Венеции, кончился, и семейство со всей свитой двинулось в Рим. Минуя уже знакомые итальянские картины, принимавшие всё более грязный и нищенский характер, пока наконец самый воздух не сделался зараженным, они добрались в конце концов до места назначения. Для них было приготовлено прекрасное помещение на Корсо, и вот они поселились в городе, где всё имело такой вид, словно решилось вечно стоять на развалинах чего-то другого, — всё, кроме воды, которая, повинувшись вечным законам природы, рвалась и струилась из бесчисленных фонтанов.

Здесь Крошке Доррит показалось, что дух Маршалysi, тяготевший над их компанией, в значительной степени уступил место персикам и призмам. Все разгуливали по собору св. Петра¹ и Ватикану² на чужих ходулях, рассматривая всё, что попадалось, через чужие очки. Никто не выражал своего мнения о данном предмете, а всякий повторял мнение миссис Дженераль, мистера Юстеса или кого-нибудь другого. Туристы казались сборищем добровольных человеческих жертв, связанных по рукам и ногам и отданных в распоряжение мистера Юстеса и компании, по вкусу которых наполнялись идеями их мозги. Развалины храмов, гробниц, дворцов, зал римского сената, театров и амфитеатров были переполнены туристами, вереницы которых, с завязанными глазами и языками, осторожно пробирались, повторяя «персики» и «призмы», чтобы придать губам падле-

¹ Собор святого Петра — находится в Риме, на правом берегу реки Тибр, рядом с Ватиканом. Выдающийся памятник итальянской архитектуры XVI—XVII вв.

² Ватикан — дворец в Риме, резиденция римского папы. В настоящее время является одним из оплотов мировой реакции.

жащий вид. Миссис Дженераль чувствовала себя как рыба в воде. Никто не имел никакого мнения. Лакированная внешность так и сияла вокруг нее, и ни единое честное и откровенное слово не возмушало ее ушей.

Другой вариант персиков и призм появился перед Крошкой Доррит вскоре после их приезда. Однажды утром им сделала визит миссис Мердль, задававшая в эту зиму тон в Вечном городе,¹ и как она, так и Фанни обнаружили такое искусство в фехтовании, что робкая Крошка Доррит только ежилась, следя за сверкающими рапирами.

— Я в восторге, — сказала миссис Мердль, — возобновить знакомство, так неожиданно начавшееся в Мартины.

— Да, в Мартины, — сказала Фанни. — Я тоже очень рада.

— Я слышала от моего сына, Эдмунда Спарклера, — продолжала миссис Мердль, — что он уже воспользовался этим счастливым случаем. Он вернулся из Венеции в восторге.

— В самом деле? — небрежно заметила Фанни. — Он долго там пробыл?

— Я могла бы предложить этот вопрос мистеру Дорриту, — отвечала миссис Мердль, обращая свой бюст к этому джентльмену. — Эдмунд обязан ему тем, что его пребывание в Венеции было приятным.

— О, не стоит и говорить об этом, — возразила Фанни. — Папа имел удовольствие пригласить мистера Спарклера раза два или три, но это пустяки. У нас там была бездна знакомых; мы держали такой широко открытый дом, что папа не придавал никакого значения этой пустой любезности.

— За исключением того, душа моя, — вмешался мистер Доррит, — за исключением того, что я... кха... имел несказанное удовольствие... хм... выразить хотя бы пустой и незначащей любезностью... кха... хм... то высокое уважение, которое я... кха... питаю со всем остальным светом к моему знаменитому и благородному соотечественнику, мистеру Мердлю.

Бюст принял эту дань очень милостиво.

— Папа просто помешан на мистере Мердле, только

¹ То есть в Риме

о нем и толкует, — заметила мисс Фанни, этим самым отодвигая мистера Спарклера на задний план.

— Я был очень... кха... неприятно поражен, сударыня, — продолжал мистер Доррит, — узнав от мистера Спарклера, что мистер Мердль вряд ли... хм... поедет за границу.

— Да, — сказала миссис Мердль, — он так занят и так необходим в Лондоне, что, я боюсь, ему не удастся вырваться. Он уже бог знает сколько лет не выезжал за границу. Вы, мисс Доррит, я полагаю, давно уже проводите за границей большую часть года?

— О да, — протянула Фанни с удивительной храбростью, — уже много лет.

— Я так и думала, — сказала миссис Мердль.

— Вы не ошиблись, — подтвердила Фанни.

— Во всяком случае, — продолжал мистер Доррит, — если мне не удалось познакомиться с мистером Мердлем по сю сторону Альп, то я надеюсь удостоиться этой чести по возвращении в Англию. Это честь, которая имеет в моих глазах особенно высокую цену.

— Мистер Мердль, — сказала миссис Мердль, с удивлением рассматривавшая Фанни в лорнет, — без сомнения, будет не меньше ценить честь знакомства с вами.

Крошка Доррит, попрежнему задумчивая и одинокая среди окружавших ее лиц, приняла всё это за чистые персики и призмы. Но когда ее отец после блестящего вечера у миссис Мердль завел речь за семейным завтраком о своем желании познакомиться с мистером Мердлем и посоветоваться с этим удивительным человеком насчет помещения своих капиталов, она начала думать, что слова отца имеют более серьезное значение, и с любопытством ожидала появления на горизонте этой яркой звезды.

ГЛАВА VIII

*Вдовствующая миссис Гоуэн приходит к убеждению,
что эти ледишки ей не пара*

Меж тем как воды Венеции и развалины Рима сияли на солнце для удовольствия семейства Доррит и воспроизводились во всех масштабах, стилях и степенях сходства карандашами бесчисленных туристов, фирма Дойс и Кленнэм действовала в подворье Разбитых

сердец, и громкий лязг железа раздавался там в течение долгих рабочих часов

Младший компаньон тем временем поставил всю деловую часть на твердую почву, а старший, получив возможность заняться исключительно технической стороной, значительно поднял качество работы в мастерской. Как человек изобретательный, он, разумеется, должен был бороться со всевозможными препятствиями, спокон веку воздвигаемыми со стороны властей для этого рода государственных преступников; но ведь это только законная самозащита со стороны властей, так как принцип «Как сделать дело» неизбежно является смертельным и непримиримым врагом принципа «Как не сделать дела». На этом и основывается мудрая система, за которую зубами держится министерство околичностей, приглашая каждого изобретательного британского подданного изобретать на свою голову, мешая ему, ставя преграды, предоставляя мошенникам грабить его, затрудняя и обставляя ненужными формальностями и расходами практическое осуществление его мысли и в лучшем случае конфискуя его собственность после непродолжительного пользования, как будто изобретение равносильно уголовному преступлению. Эта система пользуется большой популярностью у Полипов и весьма резонно: изобретатель, если это действительно изобретатель, должен быть серьезным человеком, а Полипы ничего в мире так не боятся, как серьезных людей. И опять-таки весьма резонно: ведь если бы страна стала совершенно серьезно относиться к делу, ни один Полип, чего доброго, не усидел бы на месте.

Даниэль Дойс трезво относился к своему положению со всеми его тягостями и разочарованиями и спокойно работал ради самого дела. Кленнэм, разделяя его труды и заботы, был для него моральной поддержкой, независимо от материальной помощи, и вскоре они сделались друзьями.

Но Даниэль Дойс не мог забыть своего главного изобретения, разработке которого он посвятил столько лет. Да и нельзя было бы ожидать этого: если бы он мог так легко забыть его, он никогда бы его не сделал и не мог бы работать над ним так усердно и настойчиво. Так думал Кленнэм, видя иногда по вечерам, как он перебирал модели и чертежи и со вздохом откладывал их в сто-

рону, бормоча себе в утешение, что мысль всё-таки остается верной.

Не выразить сочувствия такому терпению и таким разочарованиям значило бы, по мнению Кленнэма, не исполнить обязанности компаньона. Мимолетный интерес к этому предмету, случайно пробудившийся у него благодаря сцене в дверях министерства околичностей, ожил теперь с новой силой. Он просил своего компаньона объяснить ему сущность изобретения, «приняв в соображение, — прибавил он, — что я не техник, Дойс».

— Не техник? — сказал Дойс. — Вы были бы отличным техником, если бы захотели. У вас самая подходящая голова для этого.

— Но совершенно неподготовленная, к сожалению, — сказал Кленнэм.

— Не знаю, — возразил Дойс, — я не сказал бы этого. Толковый человек, получивший общее образование и пополнявший его собственными усилиями, не может быть назван неподготовленным к чему бы то ни было. Я не люблю превращать науку в священнодействие. Я готов представить свою идею на суд всякому специалисту и не специалисту, лишь бы он обладал теми качествами, на которые я указал

— Во всяком случае, — сказал Кленнэм, — я получу.. мы как будто расточаем друг другу комплименты, но ведь этого нет на самом деле я получу такое толковое объяснение, какого только можно желать.

— Ну, — сказал Дойс своим спокойным равным голосом, — я постараюсь оправдать ваши надежды

Он обладал способностью, которая часто встречается у таких людей, излагать свои мысли так же отчетливо и рельефно, как они рисовались в его уме. Его способ доказательства был так ясен, прост и последователен, что не мог привести ни к каким недоразумениям. Общее представление о нем как о мечтателе до смешного не вязалось с его точной, толковой манерой объяснять, осторожно водя пальцем по чертежу, терпеливо растолковывая затруднительные пункты, возвращаясь «в случае необходимости к уже объясненным и не подвигаясь дальше ни на шаг, пока слушатель не овладеет предыдущим. Скромность, с какой он умалчивал о себе самом, была так же замечательна. Он никогда не говорил: я открыл это приспособление, или я изобрел эту комбинацию:

а излагал так, как будто бы все изобретение создано божественным механиком, а он только нашел его. Столько в нем было скромности, спокойного убеждения в непреложности и неизменности вечных законов, на которых основывалось изобретение, и глубокого уважения к этим законам.

Не только в этот вечер, но и в течение нескольких последующих вечеров Кленнэм с восхищением следил за объяснениями Дойса. Чем больше он вникал в них, чем чаще взглядывал на седую голову, наклонившуюся над чертежами, на пронизательные глаза, с любовью и удовольствием созерцавшие свое любимое детище, тем меньше молодая энергия Кленнэма мирилась с решением отказать от всяких дальнейших попыток. Наконец он сказал:

— Дойс, в конце концов вы пришли к тому, что дело нужно похоронить вместе с другими такими же несчастными, — или начать всё сызнова.

— Да, — ответил Дойс, — это всё, чего я добился от лордов и джентльменов после двенадцатилетних хлопот.

— Хороши господа, нечего сказать! — с горечью заметил Кленнэм.

— Обыкновенная история! — заметил Дойс. — Я не могу считать себя мучеником, когда нас такая многочисленная компания,

— Бросить — или начать всё сызнова? — пробормотал Кленнэм.

— Да, так обстоит дело, — подтвердил Дойс.

— В таком случае, друг мой! — воскликнул Кленнэм, вскакивая и хватая его огрубевшую от работы руку, — мы начнем всё сызнова.

Дойс бросил на него тревожный взгляд и торопливо ответил:

— Нет, нет! Лучше бросить. Гораздо лучше бросить. Когда-нибудь моя идея осуществится. Я могу бросить дело. Вы забываете, добрейший Кленнэм, что я уже бросил его. Тут всё кончено.

— Да, Дойс, — возразил Кленнэм, — копчено, поскольку это зависит от ваших усилий, но не от моих. Я моложе вас, я только мимоходом заглянул в это неопенимое учреждение и могу начать борьбу со свежими силами. Ладно, я попытаюсь. Вы можете заниматься своим делом. Я же прибавлю (это ничуть не затруднит

меня) к моим занятиям хлопоты насчет вашего изобретения, и пока не добьюсь чего-нибудь путного, вы не услышите от меня ни слова.

Даниэль Дойс долго не мог согласиться и всячески пытался убедить Кленнэма бросить это дело. Но, весьма естественно, он уступил наконец настояниям своего компаньона и сдался. Итак, Артур взялся за долгую и безнадёжную работу: добиться толку от министерства околичностей.

Приемные министерства скоро освоились с фигурой Кленнэма, и служители докладывали о нем, как в полицейском участке докладывают о приводе карманного вора, с той лишь разницей, что в полицейском участке стараются всячески задержать вора, тогда как министерство околичностей старалось всячески отделаться от Кленнэма. Как бы то ни было, он решился не отставать, и вот началась работа по заполнению бланков, составлению прошений, занесению во входящее дело, передаче в другое отделение, подписыванию, скреплению, возвращению обратно, словом — путешествие бумаг вперед, назад, вправо, влево, наискосок и зигзагами по всем румбам компаса.

Здесь уместно остановиться на одной особенности министерства околичностей, о которой не было упомянуто раньше. В затруднительных случаях, когда это великое учреждение подвергалось нападкам какого-нибудь разъяренного члена парламента (которого младшие Полипы считали просто бесноватым) не по поводу какого-нибудь частного случая, а с общей точки зрения, как учреждение безусловно чудовищное и близкое к Бедламу,¹ — во всех подобных случаях благородный или почтенный Полип, представлявший в палате интересы министерства, уничтожал и сокрушал противника указанием на чудовищную массу дел (цель которых была не дать сделать дело), проделанных министерством околичностей. В таких случаях благородный или почтенный Полип доставал бумагу, испещренную цифрами, и просил позволения представить ее вниманию палаты. Затем младшие Полипы начинали вопить: «Слушайте! Слушайте!» и «Читайте!». Затем благородный или почтенный Полип позволял себе заметить, сэръ, основываясь на этом

¹ Бедлам — психиатрическая больница в Лондоне.

небольшом документе, который, он полагает, мог бы убедить самых упрямых (иронический смех и возгласы мелких Полипов), что за короткий промежуток последнего года это столь жестоко подвергающееся нападкам министерство (рукоплескания) написало и получило пятнадцать тысяч писем (громкие рукоплескания) и тридцать две тысячи пятьсот семнадцать предписаний (бурные рукоплескания). Один остроумный джентльмен, состоящий при министерстве и сам по себе почтенный общественный деятель, сделал весьма любопытное вычисление насчет количества канцелярских принадлежностей, истребленных за тот же промежуток времени. Его данные приложены к тому же документу, и из них явствует, что бумагой, изведенной министерством ради общественной пользы, можно бы было выложить весь Оксфорд-стрит, из конца в конец, и еще осталось бы четверть мили для парка (оглушительные рукоплескания и смех); а тесьмы, красной тесьмы, истрачено столько, что ее можно бы было протянуть изящными фестонами от угла Гайд-парка до Главного почтамта. Затем среди взрыва аплодисментов благородный или достопочтенный Полип сядил, оставив на поле битвы изувеченный труп дерзкого противника. Никто после такой жестокой казни не осмеливался намекнуть, что чем больше министерство околичностей делало, тем меньше выходило дела, и что истинным благодеянием для публики было бы, если бы оно решилось ничего не делать.

Теперь, когда у Кленнэма прибавилась новая задача, — задача, которая уже много хороших людей свела в преждевременную могилу, — он был так завален делами, что вел очень однообразную жизнь. Регулярные визиты к матери и не менее регулярные визиты к Мигльсам, в Туикнэм, были его единственным развлечением в течение многих месяцев.

Он сильно скучал без Крошки Доррит. Он предвидел это, но не думал, что почувствует ее отсутствие так сильно. Только теперь он узнал по опыту, какое место в его жизни занимала эта милая маленькая фигурка. Он чувствовал также, что бесполезно надеяться на ее возвращение, так как понимал, что ее семья не допустит их сближения. Участие, которое он принимал в ней, ее нежная доверчивость вспоминались ему с грустью, — так быстро миновало всё это, так быстро отошло в прошлое

вместе с другими нежными чувствами, которые приходилось ему испытывать.

Письмо Крошки Доррит тронуло и взволновало его, но не уничтожило сознания, что он отделен от нее не одним только расстоянием. Оно еще отчетливее и резче уяснило отношение ее семьи к нему. Он понял, что она с благодарностью вспоминает о нем, но вспоминает втайне, так как остальные члены семьи недолюбливают его, помня, что он познакомился с ними в тюрьме.

Почти ежедневно предаваясь этим размышлениям, он видел ее в прежнем свете. Она оставалась его невинной подругой, его нежным ребенком, его милой Крошкой Доррит. Самая перемена обстоятельств как-то странно гармонировала с его привычкой считать себя гораздо старше своих лет, — привычкой, укрепившейся в нем с той ночи, когда розы уплыли вдаль. Он не подозревал, как мучительно горько для нее подобное отношение с его стороны, несмотря на всю его нежность. Он раздумывал о ее будущей судьбе, о ее будущем муже с нежностью, которая разбила бы ее сердце, уничтожив ее самые заветные надежды.

Всё вокруг него укрепляло в нем этот взгляд на себя как на старика, навеки простившегося с грезами, с которыми он боролся в истории с Минни Гоуэн (хотя это было вовсе не так давно, если считать годы и месяцы). Он относился к ее отцу и матери как овдовевший зять. Если бы другая сестра, умершая с детства, дожила до цветущего возраста и сделалась его женой, мистер и миссис Мигльс, по всей вероятности, относились бы к нему именно так, как теперь. Это незаметно укрепляло в нем сознание, что он отжил романтический период своей жизни.

Он постоянно слышал от них о Минни, которая писала им, как она счастлива и как любит своего мужа, но так же постоянно и неизменно видел облако печали на лице мистера Мигльса. Со времени свадьбы мистер Мигльс ни разу не был в таком светлом настроении, как раньше. Он не мог привыкнуть к разлуке с Милочкой. Он оставался тем же открытым, добродушным человеком, но на лице его неизменно сохранялось выражение печали об утрате.

Однажды в субботу, зимой, когда Кленнэм был в Туикнэме, вдовствующая миссис Гоуэн подкатила к коттеджу

в хэмптонкортском экипаже, — том самом, который выдавал себя за исключительную собственность стольких владельцев. Она снисходительно явилась с визитом к мистеру и миссис Мигльс, под сенью своего зеленого веера.

— Как вы поживаете, папа и мама Мигльс? — спросила она, ободряя своих скромных родственников. — Есть у вас известия о моем бедном мальчике?

«Мой бедный мальчик» был ее сын; этот способ выражения вежливо, без оскорбительных слов, давал понять, что она считает его жертвой интриги Мигльсов.

— А наша милая красавица? — продолжала миссис Гоуэн. — Вы получали о ней известия после меня?

Это был такой же деликатный намек на то, что ее сын пленился только хорошеньким личиком и пожертвовал ради него более существенными мирскими благами.

— Конечно, — продолжала миссис Гоуэн, не дожидаясь ответа на свои вопросы, — несказанное утешение знать, что они живут счастливо. Мой бедный мальчик такой неугомонный, непостоянный, так избалован общим вниманием, что для меня, право, утешительно это слышать. Я полагаю, они вечно нуждаются в деньгах, папа Мигльс?

Мистер Мигльс, которого покорило при этом вопросе, возразил:

— Надеюсь, что нет, сударыня. Надеюсь, что они экономно распоряжаются своими маленькими средствами.

— О добрейший мой Мигльс! — воскликнула леди, хлопнув его по руке своим зеленым веером и затем искусно закрывая им зевок. — Как можете вы, такой опытный и деловой человек, — ведь вы настоящий деловой человек, не нам грешным чета... — (всё это вело к той же цели — изобразить мистера Мигльса ловким интриганом) — ... как вы можете говорить об их экономности? Бедный мой мальчик! Ему экономить! Да и ваша Милочка! Говорить об ее экономности! Полноте, папа Мигльс.

— Ну, сударыня, — серьезно сказал мистер Мигльс, — если так, то я с сожалением должен заметить, что Генри действительно живет не по средствам.

— Добрейший мой, я говорю с вами запросто, потому что мы ведь в некотором роде родственники — положительно, мама Мигльс, — весело воскликнула миссис

Гоуэн, как будто нелепость этих отношений впервые ясно представилась ее уму, — мы до некоторой степени родственники! Добрейший мой, в этом мире никто из нас не может рассчитывать, чтобы всё делалось по его вкусу.

Это опять-таки клонилось к прежней цели: намекнуть благовоспитаннейшим образом, что до сих пор все его замыслы увенчались блестящим успехом. Миссис Гоуэн так понравился этот намек, что она остановилась на нем подольше, повторив:

— Да, всего не получишь. Нет, нет, в этом мире мы не должны ожидать всего, папа Мигльс.

— А могу я спросить, сударыня, — сказал мистер Мигльс, слегка покраснев, — кто же ожидает всего?

— О, никто, никто! — подхватила миссис Гоуэн. — Я хотела сказать... но вы меня перебили. Что такое я хотела сказать, нетерпеливый папа Мигльс?

Опустив зеленый веер, она рассеянно взглянула на мистера Мигльса, стараясь припомнить что-то, — маневр, отнюдь не способствовавший охлаждению взволнованных чувств этого джентльмена.

— А, да, да... — вспомнила миссис Гоуэн. — Вы должны помнить, что мой мальчик привык иметь известные виды на будущее. Они могли осуществиться, могли не осуществиться...

— Скажем лучше — могли не осуществиться, — заметил мистер Мигльс.

Вдова взглянула на него с гневом, но тотчас заглушила эту вспышку движением головы и веера и продолжала прежним тоном:

— Это безразлично. Мой мальчик привык к этому, и вы, разумеется, знали это и могли подготовиться к последствиям. Я сама ясно видела последствия и теперь ничуть не удивляюсь. Вы тоже не должны удивляться, не можете удивляться, вы должны были подготовиться к этому.

Мистер Мигльс посмотрел на жену; посмотрел на Кленнэма; закусил губы и кашлянул.

— И вот мой бедный мальчик, — продолжала миссис Гоуэн, — узнаёт, что ему нужно положиться на самого себя в ожидании ребенка и расходов, неизбежно связанных с приращением семейства! Бедный Генри! Но теперь уже поздно, теперь не поможешь! Только не говорите

о том, что он живет не по средствам, как о каком-то неожиданном открытии, папа Мигльс, это уж слишком!

— Слишком, сударыня? — с недоумением спросил мистер Мигльс.

— Полноте, полноте! — отвечала миссис Гоуэн с выразительным жестом, говорившим: знай свое место — Слишком много для матери бедного мальчика. Они обвенчались и не могут быть разведены. Да, да, я знаю это. Вам незачем говорить мне об этом. Я знаю это очень хорошо... Что я сейчас сказала? Очень утешительно знать, что они счастливы. Будем надеяться, что они до сих пор счастливы. Будем надеяться, что красавица делает всё от нее зависящее, чтобы доставить счастье моему бедному мальчику. Папа и мама Мигльс, нам лучше не говорить об этом. Мы всегда смотрели на этот предмет с различных точек зрения и теперь смотрим так же. Будет, будет. Я не сержусь больше.

Действительно, высказав всё, что было можно, для поддержания своего мифического положения и напомнив мистеру Мигльсу, что ему не дешево обойдется почетное родство, миссис Гоуэн готова была простить всё остальное. Если бы мистер Мигльс покорился умоляющему взгляду миссис Мигльс и выразительному жесту Кленнэма, он предоставил бы миссис Гоуэн безмятежно наслаждаться сознанием своего величия. Но Милочка была его радость и гордость, и если он когда-нибудь ратовал за нее сильнее и любил нежнее, чем в те дни, когда она озаряла своим присутствием его дом, так это именно теперь, когда он так сильно чувствовал ее отсутствие.

— Миссис Гоуэн, сударыня, — сказал он, — я всегда, всю мою жизнь, был прямой человек. Если бы я вздумал пуститься в тонкие мистификации, всё равно — с самим собой или с кем-нибудь другим, или с обоими разом, я, по всей вероятности, потерпел бы неудачу.

— По всей вероятности, папа Мигльс, — заметила вдова с любезной улыбкой, хотя розы на ее щеках стали чуть-чуть алее, а соседние места — чуть-чуть бледнее.

— Поэтому, сударыня, — продолжал мистер Мигльс, с трудом сдерживая свое негодование, — без обиды будь сказано, я надеюсь, что и других могу просить не разыгрывать со мной мистификаций.

— Мама Мигльс, — заметила миссис Гоуэн, — ваш муженек говорит загадками.

Это обращение к миссис Мигльс было военной хитростью: миссис Гоуэн хотела завлечь достойную леди в спор, поспорить с ней и победить ее. Но мистер Мигльс помешал исполнению этого плана.

— Мать, — сказал он, — ты неопытна и непривычна к спорам, душа моя. Прошу тебя, не вмешивайся!.. Полноте, миссис Гоуэн, полноте; постараемся рассуждать здраво, без злобы, честно. Не горюйте о Генри, и я не буду горевать о Милочке. Не будем односторонни, сударыня; это нехорошо, это негуманно. Не будем выражать надежду, что Милочка сделает Генри счастливым, или даже, что Генри сделает Милочку счастливой, — (мистер Мигльс сам далеко не выглядел счастливым, говоря это); — будем надеяться, что оба они сделают счастливыми друг друга.

— Ну конечно, и довольно об этом, отец, — сказала добродушная и мягкосердечная миссис Мигльс.

— Нет, мать, — возразил мистер Мигльс, — не довольно. Я не могу остановиться на этом. Я должен прибавить еще несколько слов. Миссис Гоуэн, надеюсь, я не особенно обидчив, не выгляжу особенно обидчивым?

— Ничуть, — с пафосом заметила миссис Гоуэн, покачивая головой и большим зеленым веером.

— Благодарю вас, сударыня, очень рад слышать. Тем не менее я чувствую себя несколько... не хочу употреблять резкого выражения... скажу — задетым, — отвечал мистер Мигльс чистосердечным, сдержанным и примирительным тоном.

— Говорите, что угодно, — сказала миссис Гоуэн, — мне решительно всё равно.

— Нет, нет, не говорите этого, — возразил мистер Мигльс, — это не дружеский ответ. Я чувствую себя задетым, когда слышу рассуждения о каких-то последствиях, которые должно было предвидеть, о том, что теперь уж поздно, и тому подобное.

— Чувствуете себя задетым, папа Мигльс? — спросила миссис Гоуэн. — Не удивляюсь этому.

— Ну, сударыня, — отозвался мистер Мигльс, — я надеялся, что вы, по крайней мере, удивитесь, потому что задевать умышленно за такие деликатные струны невеликодушно.

— Ну, знаете, — возразила миссис Гоуэн, — я ведь не ответственна за вашу совесть.

Бедный мистер Мигльс взглянул на нее с изумлением.

— Если мне, к несчастью, приходится вместе с вами расхлебывать кашу, которую вы заварили по своему вкусу, — продолжала миссис Гоуэн, — не браните же меня за то, что она оказалась невкусной, папа Мигльс.

— Послушайте, сударыня, — воскликнул мистер Мигльс, — стало быть, вы утверждаете...

— Папа Мигльс, папа Мигльс, — перебила миссис Гоуэн, которая становилась тем хладнокровнее и спокойнее, чем больше он горячился, — чтоб не вышло путаницы, я лучше буду говорить сама и избавлю вас от труда объясняться за меня. Вы сказали: стало быть, вы утверждаете.. С вашего позволения, я dokonчу эту фразу. Я утверждала, — не для того, чтобы упрекать вас или колоть вам глаза: теперь это бесполезно; мое желание только выяснить существующие обстоятельства, — что с начала до конца я была против ваших планов и уступила только с большой неохотой.

— Мать, — воскликнул мистер Мигльс, — ты слышишь!? Артур, вы слышите?

— Так как эта комната обыкновенных размеров, — сказала миссис Гоуэн, осматривая ее и обмахиваясь веером, — и как нельзя лучше приспособлена для беседы, то я полагаю, что меня слышат все находящиеся в ней.

Несколько минут прошло в молчании, прежде чем мистер Мигльс успел овладеть собой настолько, чтобы не разразиться вспышкой гнева при первом же слове. Наконец он сказал:

— Сударыня, мне неприятно говорить о прошлом, но я должен напомнить вам мои мнения и мой образ действий во всей этой несчастной истории.

— О милейший мой, — сказала миссис Гоуэн, улыбаясь и покачивая головой, — я их отлично понимала, могу вас уверить.

— Никогда, сударыня, — продолжал мистер Мигльс, — никогда до этого времени не знал я горя и тревоги. Но это время было для меня таким горьким, что... — Мистер Мигльс не мог продолжать от волнения и провел платком по лицу.

— Я очень хорошо понимала, в чем дело, — отвечала миссис Гоуэн, спокойно поглядывая поверх веера. — Так как вы обратились к посредничеству мистера Клен-

нэма, то и я обращаюсь к нему же. Он знает, понимала я, или нет.

— Мне очень неприятно, — сказал Кленнэм, видя, что все взоры обратились на него, — принимать участие в этом споре, тем более, что я хотел бы сохранить добрые отношения с мистером Гоуэном. У меня есть весьма веские причины для такого желания. В разговоре со мной миссис Гоуэн приписывала моему другу, мистеру Мигльсу, известные виды на этот брак; я же старался разуверить ее. Я говорил, что мне известно (и мне действительно известно), как упорно мистер Мигльс противился этому браку.

— Видите! — сказала миссис Гоуэн, обращая ладони рук к мистеру Мигльсу, точно само Правосудие, советующее преступнику сознаться, так как улики очевидны. — Видите? Очень хорошо! Теперь, папа и мама Мигльс, — при этих словах она встала, — позвольте мне положить конец этому чудовищному препирательству. Я не скажу о нем ни слова. Замечу только, что оно может служить лишним доказательством того, что всем нам известно по опыту: такие вещи никогда не удаются, не вытанцовываются, — как выразился бы мой бедный мальчик, — одним словом, что из этого ничего не выйдет.

— Какие вещи? — спросил мистер Мигльс.

— Бесполезны всякие попытки к сближению, — продолжала миссис Гоуэн, — между людьми, прошлое которых так различно, которых свел вместе случайный брак и которые не могут смотреть с одинаковой точки зрения на обстоятельства, послужившие к их сближению. Из этого ничего не выйдет.

— Позвольте вам сказать, сударыня.. — начал мистер Мигльс.

— Нет, не нужно! — возразила миссис Гоуэн. — К чему? Это факт, не подлежащий сомнению. Ничего не выйдет. И потому, с вашего позволения, я пойду своей дорогой, предоставив вам идти своей. Я всегда буду рада принять у себя хорошенькую жену моего бедного мальчика и всегда буду относиться к ней ласково. Но такие отношения — полусвои, получужие, полуродня, полузнакомые — нелепы до смешного. Уверяю вас, из этого ничего не выйдет.

С этими словами вдова любезно улыбнулась, сделала общий поклон, скорее комнате, чем присутствующим,

и распростилась навсегда с папой и мамой Мигльс. Клен-нэм проводил ее до экипажа, похожего на коробку для пилюль, она уселась в него, сохраняя безмятежно-ясный вид, и укатила.

С этого времени вдова нередко рассказывала с легким и беззаботным юмором, как после тяжелых разочарований она нашла невозможным продолжать знакомство с этими людьми, родными жены Генри, которые так отчаянно старались поймать его. Не решила ли она заблаговременно, что отделаться от них для нее выгодно, так как это придаст более убедительный вид ее излюбленной выдумке, избавит ее от мелких стеснений и решительно ничем не грозит ей (обвенчанных не разведешь, а мистер Мигльс обожает свою дочку)? Об этом знала она одна. Впрочем, и автор этой истории может ответить на этот вопрос вполне утвердительно.

ГЛАВА IX

Появление и исчезновение

— Артур, дорогой мой, — сказал мистер Мигльс на другой день вечером, — мы толковали с матерью и решили, что так нельзя оставить. Наша элегантная родственница, вчерашняя почтенная леди...

— Понимаю, — сказал Артур.

— Мы боимся, — продолжал мистер Мигльс, — что это украшение общества, эта образцовая и снисходительная дама может набросить на нас тень. Мы многое можем вынести ради Милочки, но этого не считаем нужным, так как не видим в этом пользы для нее.

— Так, — сказал Артур, — продолжайте.

— Изволите видеть, — продолжал мистер Мигльс, — она может поссорить нас даже с зятем, может поссорить нас с дочерью, может создать семейную неурядицу. Не правда ли?

— Да, в ваших словах много справедливого, — сказал Артур.

Он взглянул на миссис Мигльс, которая всегда была на стороне доброго и справедливого, и прочел на ее честном лице просьбу поддержать мистера Мигльса.

— И вот, нас так и подмывает, меня и мать, упаковать наши чемоданы и махнуть в сторону Allons и Mar-

chons. Я хочу оказать, нам пришло в голову съездить через Францию в Италию повидать нашу Милочку.

— И прекрасно сделаете, — сказал Артур, тронутый выражением материнской нежности на открытом лице миссис Мигльс (она, по всей вероятности, в свое время очень походила на дочь), — ничего лучше не придумать. И если вы спросите моего совета, так вот он: поезжайте завтра.

— Право? — воскликнул мистер Мигльс. — Мать, а ведь это идея!

Мать, бросив на Кленнэма благодарный взгляд, крайне тронувший его, выразила свое согласие.

— К тому же, Артур, — сказал мистер Мигльс, и старое облако затуманило его лицо, — мой зять снова влез в долги, и похоже на то, что я снова должен выручать его. Пожалуй, ради этого одного мне следует съездить к нему и дружески поговорить с ним. Да вот еще и мать волнуется (оно и естественно) насчет здоровья Милочки и боится, не чувствует ли она себя одинокой. Ведь и в самом деле это далекий край, и во всяком случае для нее чужбина, — не то, что в своем гнезде.

— Всё это верно, — сказал Артур, — и все это только лишние поводы ехать.

— Очень рад, что вы так думаете; это заставляет меня решиться. Мать, дорогая моя, собирайся! Теперь мы лишились нашего милого переводчика (она чудесно говорила на трех языках, Артур; да вы сами слышали), теперь уж придется тебе вывозить меня, мать. Один бы я совсем пропал, Артур, один я и шага не сделаю. Мне и не выговорить ничего, кроме имен существительных, да и то которые попроще.

— Что бы вам взять с собой Кавалетто? — сказал Артур. — Он охотно отправится с вами. Мне было бы жаль потерять его, но ведь вы доставите его обратно в целости.

— Очень вам благодарен, дружище, — отвечает мистер Мигльс, — но я думаю лучше обойтись без него. Пусть уж лучше меня вывозит мать. Каваль люро (вот уж я и запнулся на его имени, оно звучит точно припев комической песни) так нужен вам, что я не хочу его увозить. Да и бог знает, когда еще мы вернемся; нельзя же брать его на неопределенное время. Наш дом теперь не то, что прежде. В нем нехватает только двух жильцов:

Милочки и бедняжки Тэттикорэм, а выглядит он совсем пустым. Кто знает, когда мы вернемся сюда. Нет, Артур, пусть уж меня вывозит мать.

«Пожалуй, им в самом деле лучше будет одним», — подумал Кленнэм и не стал настаивать на своем предложении.

— Если вам вздумается побывать здесь в свободную минуту, — прибавил мистер Мигльс, — мне будет приятно думать и матери тоже.. я знаю, что вы оживляете этот уголок частицей его прежней жизни и что дружеские глаза смотрят на портрет малюток на стене. Вы так сроднились с этим местом и с нами, Артур, и все мы были бы так счастливы, если бы судьба решила... Но позвольте... надо посмотреть, хороша ли погода для отъезда! — Мистер Мигльс поперхнулся, откашлялся и стал смотреть в окно.

Погода, по общему мнению, оказалась вполне благоприятной, и Кленнэм поддерживал разговор в этом безопасном направлении, пока все снова не почувствовали себя легко и свободно; затем он незаметно перешел к мистеру Гоуэну, распространился о его быстром уме и приятных качествах, которые выступают особенно ярко, если с ним обращаться осторожно; сказал несколько слов о его несомненной привязанности к жене. Он достиг своей цели: добрейший мистер Мигльс развеселился и просил мать засвидетельствовать, что его искреннее и сердечное желание — сойтись с зятем на почве взаимного доверия и дружбы. Спустя несколько часов мебель была одета в чехлы, или, как выразился мистер Мигльс, дом завернул свои волосы в папильотки, а через несколько дней отец и мать уехали, миссис Тиккит и доктор Бухан поместились на своем посту у окошка, и одинокие шаги Артура шуршали по сухой, опавшей листве садовых аллей.

Он любил это место и навещал его почти каждую неделю. Иногда он оставался в коттедже с субботы до понедельника один, иногда вместе со своим компаньоном; иногда являлся только побродить часок-другой по дому и саду и, убедившись, что всё в порядке, возвращался в Лондон. Но всегда, при всяких обстоятельствах, миссис Тиккит с ее черными локонами и доктор Бухан находились у окна гостиной, поджидая возвращения хозяев,

В одно из посещений Кленнэма миссис Тиккит встретила его словами:

— Мне нужно сообщить вам, мистер Кленнэм, удивительную вещь.

Должно быть, вещь была в самом деле удивительна, если заставила миссис Тиккит оторваться от окна и выйти в сад навстречу Кленнэму.

— В чем дело, миссис Тиккит? — спросил он.

— Сэр, — отвечала верная домоправительница, уводя его в гостиную и затворяя за собой дверь, — если я видела когда-нибудь бедную обманутую беглянку, так видела вчера в сумерки под вечер.

— Неужели вы говорите о Тэтти...

— ...корэм, да, о ней! — объявила миссис Тиккит, разом выкладывая свою удивительную новость.

— Где?

— Мистер Кленнэм, — ответила миссис Тиккит, — у меня немножко слипались глаза, потому что мне пришлось очень долго ждать, пока Мэри Джэйн приготовит чай. Я не спала и, если выразиться правильно, не дремала. Я, если выразиться строго, бодрствовала с закрытыми глазами.

Не спрашивая подробно об этом любопытном состоянии, Кленнэм сказал:

— Именно. Ну и что же?

— Ну, сэр, — продолжала миссис Тиккит, — я думала о том, думала о сем. Так точно, как могли бы и вы думать. Так точно, как мог бы думать и всякий другой.

— Именно, — подтвердил Артур. — Что же дальше?

— И когда я думала о том, думала о сем, — продолжала миссис Тиккит, — я, как вы сами понимаете, мистер Кленнэм, думала о семействе. Ведь в самом деле, — прибавила миссис Тиккит убедительным и философским тоном, — как бы ни разбегались человеческие мысли, они всегда будут более или менее вертеться на том, что у человека в голове. Будут, сэр, и ничего вы против этого не поделаете.

Артур подтвердил это открытие кивком.

— Смеею сказать, сэр, вы можете сами убедиться в этом, — продолжала миссис Тиккит, — и все мы можем сами убедиться в этом. Разница в общественном положении тут ничего не значит, мистер Кленнэм, мысли

свободны! Так вот, как я уже сказала, я думала о том, думала о сем, и думала о семействе. Не только о семействе в настоящее время, но и о семействе в прошлые времена. Потому что, когда человек думает о том, думает о сем, так что всё перепутывается, то все времена являются разом, и человеку нужно опомниться да хорошенько подумать, чтобы решить, которое из них настоящее, которое прошлое.

Артур снова кивнул, опасаясь вымолвить слово, чтобы не открыть как-нибудь новый шлюз для красноречия миссис Тиккит.

— Вследствие этого, — продолжала миссис Тиккит, — когда я открыла глаза и увидела, что она самолично, собственной своей особой, стоит у калитки, я даже ничуть не удивилась и снова закрыла глаза, потому что в моих мыслях ее фигура была неотделима от этого дома так же, как моя или ваша, и мне даже в голову не приходило, что она ушла. Но, сэр, когда я снова открыла глаза и увидела, что ее нет, тут я разом всё вспомнила, испугалась и вскочила.

— И сейчас же выбежали из дома? — спросил Кленнэм.

— Выбежала из дома, — подтвердила миссис Тиккит, — со всех ног; и верьте — не верьте, мистер Кленнэм, ничего не нашла, да, ничего, то есть вот ни мизинца этой девушки не осталось на всем небосклоне!

Обойдя молчанием отсутствие этого нового созвездия на небосклоне, Кленнэм спросил миссис Тиккит, выходила ли она за ворота.

— Выходила и бегала туда и сюда, и взад и вперед, — сказала миссис Тиккит, — и ничего не нашла, никаких следов!

Тогда он спросил миссис Тиккит, много ли времени прошло по ее расчету между первым и вторым открыванием глаз. Миссис Тиккит распространилась на эту тему очень подробно, но всё-таки не могла решить — пять секунд или десять минут. Очевидно было, что она не может сообщить об этом ничего путного, да и состояние, о котором она рассказывала, до такой степени смахивало на сон, что Кленнэм готов был считать ее видение грезой. Не желая оскорблять миссис Тиккит столь прозаическим объяснением ее тайны, он унес его с собой из коттеджа и, вероятно, остался бы при нем навсегда,

если бы случайная встреча не заставила его вскоре изменить свое мнение.

Однажды под вечер он шел по Стрэнду, а перед ним шел ламповщик, под рукой которого уличные фонари вспыхивали один за другим в туманном воздухе, точно внезапно расцветающие подсолнечники, как вдруг вереница нагруженных углем телег, пересекавших улицу, направляясь от пристани в город, заставила его остановиться. Он шел быстро, задумавшись, и внезапная остановка, прервавшая нить его мыслей, заставила его осмотреться, как делают люди в подобных обстоятельствах.

В ту же минуту он увидел перед собой, на таком близком расстоянии, что мог бы достать до них рукою, хотя их разделяли двое-трое прохожих, Тэттикорэм и незнакомого господина замечательной наружности: с нахальной физиономией, ястребиным носом и черными усами, которые казались такими же фальшивыми, как и взгляд его глаз, в тяжелом дорожном плаще. Одежда и общий вид его напоминали путешественника; повидимому, он встретился с девушкой недавно. Наклоняясь к ней (он был гораздо выше ее ростом) и слушая ее слова, он бросал через ее плечо подозрительные взгляды человека, у которого есть основания опасаться, что за ним следят. При этом Кленнэму удалось разглядеть его лицо. Взгляд его скользил по прохожим, не остановившись на лице Кленнэма.

Не успел он отвернуться, всё еще продолжая прислушиваться к словам девушки, как телеги проехали и толпа хлынула дальше. Попрежнему наклонив голову и слушая девушку, он пошел с ней рядом, а Кленнэм последовал за ними, решив воспользоваться этим неожиданным случаем и узнать, куда они идут.

Не успел он принять это решение (хотя для этого потребовалось немного времени), как ему снова пришлось остановиться. Они свернули в Адельфи, — девушка, очевидно, указывала путь, — и направились прямо, повидимому на набережную.

Эта местность до сих пор поражает своей тишиной после гула и грохота большой улицы. Звуки внезапно замирают, точно вам заткнули уши ватой или накинута мешок на голову. В те времена контраст был еще сильнее: тогда на реке не было пароходов, не было пристаней, а только скользкие деревянные лестницы, не было

ни железной дороги на противоположном берегу, ни всякого моста и рыбного рынка по соседству, ни суеты на ближайшем каменном мосту, никаких судов, кроме яликов и угольных барж. Длинные, черные, неподвижные ряды этих барж, стоявших на якоре в прибрежном иле, из которого, казалось, им уже не выбраться, придавали вечером погребальный, унылый вид реке, заставляя и то небольшое движение, которое оставалось на ней, сосредоточиваться на середине. В любое время после захода солнца или даже после того часа, когда люди, у которых есть что-нибудь на ужин, уходят домой ужинать, а те, у которых нет ничего, выползают на улицу нищенствовать или воровать, эта местность выглядит настоящей пустыней.

В такой именно час Кленнэм остановился на углу, следя глазами за девушкой и странным незнакомцем, которые шли по улице. Шаги незнакомца отдавались так гулко в этой каменной пустыне, что Артур не решался усиливать этот шум и стоял неподвижно. Но когда они миновали арку и очутились в темном проходе, выходявшем на набережную, он пошел за ними с равнодушным видом случайного прохожего.

Когда он миновал темный проход, они шли по набережной, направляясь к какой-то женщине, которая шла к ним навстречу. Он бы, пожалуй, не узнал ее, если бы встретил одну на таком расстоянии, в тумане, при тусклом свете фонарей, но фигура девушки пробудила в нем воспоминания, и он с первого взгляда узнал мисс Уэд.

Он остановился на углу, лицом к улице, как будто поджидал кого-нибудь, но продолжал следить за всеми тремя. Когда они сошлись, незнакомец снял шляпу и поклонился мисс Уэд. Повидимому, девушка сказала несколько слов, как будто представляла его или объясняла, почему он запоздал или явился слишком рано; потом отошла. Мисс Уэд с незнакомцем принялись расхаживать взад и вперед; незнакомец, насколько можно было судить издали, держал себя с изысканной учтивостью и любезностью; мисс Уэд — крайне высокомерно.

Когда они дошли до угла и повернули обратно, она говорила:

— Интересуюсь я этим или нет, сэр, это мое дело. Занимайтесь своим и не спрашивайте меня.

— Клянусь небом, сударыня, — отвечал он с поклоном, — этот вопрос вызван моим глубоким уважением к вашему сильному характеру и моим восхищением вашей красотой!

— Я не требую ни того, ни другого ни от кого, — возразила она, — а от вас в особенности. Продолжайте.

— Прощаете ли вы меня? — спросил он с видом смущенной любезности.

— Вам уплачены деньги, — отвечала она, — больше вам ничего не требуется.

Между тем девушка шла сзади, потому ли, что не интересовалась их разговором, или потому, что знала в чем дело, — Кленнэм не мог решить. Когда они повернулись, повернулась и она. Она смотрела на реку и шла, скрестив руки на груди; это всё, что он мог видеть, не поворачиваясь к ним. К счастью, тут случился человек, который действительно поджидал кого-то; он то облакачивался на перила набережной и смотрел в воду, то подходил к углу и окидывал взглядом улицу, и благодаря ему фигура Кленнэма не так бросалась в глаза.

Когда мисс Уэд и незнакомец снова вернулись к углу, она говорила:

— Вы должны подождать до завтра.

— Тысяча извинений, — возразил он, — ей-богу, нельзя ли сегодня?

— Нет! Говорят вам, я могу передать их вам только когда достану.

Она остановилась, видимо желая положить конец разговору. Он, разумеется, тоже остановился. Девушка тоже.

— Это не совсем удобно для меня, — сказал незнакомец, — не совсем удобно. Но, бог мой, чтобы услужить вам, можно перенести маленькое неудобство. Сегодня мне придется обойтись без денег. Правда, у меня есть хороший банкир в этом городе, но я не намерен являться к нему в контору, пока не придет время получить кругленькую сумму.

— Гарриэт, — сказала мисс Уэд, — условьтесь с ним, с этим джентльменом... насчет денег, он получит их завтра.

Она произнесла слово «джентльмен» с запинкой, в которой чувствовалось больше презрения, чем могло бы быть в умышленной резкости, и медленно ушла от них.

Незнакомец снова наклонил голову, вслушиваясь в слова девушки, и оба последовали за мисс Уэд. Кленнэм решил посмотреть на Тэтти. Он заметил, что глаза ее подозрительно следили за незнакомцем и что она держалась от него на некотором расстоянии, пока они шли рядом по набережной.

Не успел он еще разглядеть, чем кончились их переговоры, как громкий и резкий звук шагов по мостовой известил его, что незнакомец возвращается обратно один. Кленнэм отошел от угла к перилам, и незнакомец быстро прошел мимо него, закинув через плечо конец плаща и напевая легкомысленную французскую песенку.

Никого не было видно на набережной, кроме него. Прохожий, поджидавший кого-то, ушел, мисс Уэд и Тэттикорэм исчезли. Кленнэм осторожно дошел до конца набережной, осматриваясь по сторонам, не увидит ли их где-нибудь, так как ему хотелось сообщить о них побольше своему другу, мистеру Мигльсу. Он справедливо рассудил, что сначала они пойдут в противоположную сторону от своего недавнего спутника. Вскоре он увидел их в соседнем переулке, очевидно поджидавших, чтобы незнакомец ушел подальше. Они тихонько шли рука об руку по одной стороне переулка, затем вернулись по другой. Выйдя на улицу, они ускорили шаги, как люди, идущие с определенной целью. Кленнэм упорно следовал за ними, не теряя их из виду. Они миновали Стрэнд, прошли через Ковентгарден (под окнами того дома, где жил он когда-то и где была у него в гостях Крошка Доррит), отсюда продолжали путь в северо-восточном направлении, прошли мимо дома, от которого Тэттикорэм получила свое имя, и свернули в Грей-инн-род. В этой местности Кленнэм был как дома, так как здесь обитали Флора, патриарх, Панкс, и поэтому мог следить за женщинами без труда. Он недоумевал, куда они направляются, но это недоумение превратилось в удивление, когда они свернули в патриаршую улицу. Удивление, в свою очередь, сменилось изумлением, когда они остановились у патриаршей двери. Негромкий, двойной удар блестящим медным молотком, полоса света, упавшая на улицу из отворившейся двери, непродолжительные переговоры, и они исчезли за дверью.

Оглянувшись кругом, чтобы удостовериться, что это

не сон, и пройдясь взад и вперед мимо дома, Кленнэм тоже постучал в дверь.

Знакомая девушка отворила дверь и сразу провела его в приемную Флоры. У Флоры не было никого, кроме тетки мистера Финчинга. Эта почтенная леди восседала среди благовонных испарений чая и гренок, в удобном кресле у камина, подле маленького столика; на коленях у нее был чистый белый платок, а на нем два гренка, ожидавших своей очереди. Наклонившись над чашкой, она дула на горячий чай, окруженная облаками пара, точно злая китайская волшебница за своими нечестивыми обрядами; но, увидев Кленнэма, поставила чашку и воскликнула:

— Чёрт его побери, опять он здесь!

Судя по этому восклицанию, непримиримая родственница оплакиваемого мистера Финчинга, измерявшая время живостью своих ощущений, а не часами, вообразила, будто Кленнэм только что был у них, тогда как на самом деле уже три месяца прошло с тех пор, как он имел дерзость явиться перед ней.

— Господи, Артур! — воскликнула Флора, радостно вскакивая ему навстречу. — Дойс и Кленнэм, какая неожиданность и сюрприз, хотя не далеко от мастерской и литейной, и, конечно, можно было бы заходить хоть около полудня, когда стакан хереса и скромный бутерброд с каким-нибудь мясом из погреба всегда готовы и ничуть не хуже оттого, что от души, ведь вы же покупаете его где-нибудь, и где бы вы ни покупали, торговец должен продать с барышом, а вас всё-таки не видно, и мы уж перестали вас ожидать, так как сам мистер Финчинг говорил, если видеть — значит верить, то не видеть — значит тоже верить, и когда вы не видите, вы вполне можете верить, что вас не помнят, хотя я вовсе не ожидала, Артур, Дойс и Кленнэм, что вы помните меня, с какой стати, те дни давно миновали, но возьмите чашку и гренок и садитесь поближе к огню!

Артуру очень хотелось объяснить поскорее цель своего прихода, но упрек, звучавший в этих словах, и ее искренняя радость остановили его.

— А теперь, пожалуйста, расскажите мне, — продолжала Флора, подвигаясь поближе к нему, — всё, что вы знаете о бедной милой тихой крошке и обо всех переменных ее судьбы, — разумеется, карета и собственные

лошади без числа, и, конечно, герб и дикие звери на задних лапах показывают его точно свое собственное сочинение, разинув рот до ушей. Боже милостивый, но прежде всего как ее здоровье, потому что без здоровья и богатство не радость, сам мистер Финчинг говорил, когда у него наступал припадок, что лучше шесть пенсов в день без подагры, хотя он, конечно, не прожил бы на такую сумму, да и милая крошка, хотя это слишком фамильярное выражение, конечно, не имеет предрасположения к подагре, но она выглядела такой хрупкой. Да благословит ее господь!

Тут тетка мистера Финчинга, скушавшая тем временем весь гренок, оставив только корочку, торжественно протянула эту корочку Флоре, которая съела ее как ни в чем не бывало. Затем тетка мистера Финчинга поплюнула один за другим все десять пальцев, вытерла их платком и принялась за другой гренок. Проделав всё это, она взглянула на Кленнэма с выражением такой лютой ненависти, что он также против воли не мог отвести от нее глаз.

— Она в Италии со всем своим семейством, Флора, — сказал он, когда ужасная леди снова занялась гренком.

— Неужто в Италии, — подхватила Флора, — где всюду растут фиги и виноград, и ожерелья, и браслеты из лавы, в поэтической стране с огнедышащими горами, живописными до невероятия, хотя нет ничего удивительного, что маленькие шарманщики не хотят сгореть живьем в таком юном возрасте и бегут оттуда и уносят с собой белых мышей, что в высшей степени гуманно с их стороны; так она в этой чудной стране, где только и видишь голубое небо, умирающих гладиаторов и Аполлонов Бельведерских,¹ хотя мистер Финчинг не верил этому и говорил, когда был в духе, что статуи сделаны неправильно, так как не может быть таких крайностей, чтобы прежде ходили совсем без белья, а теперь надевали такую кучу, и еще плохо выглаженного и в складках, да и в самом деле это невероятно, хотя, быть может, объясняется крайностями нищеты и богатства.

Артур пытался было вставить слово, но Флора снова закусила удила.

¹ Аполлон Бельведерский — античная статуя бога Аполлона, покровителя искусств. Находится в Ватикане

— И сохраненная Венеция, вы, наверно, там были, хорошо ли она сохранилась, и макароны, правда ли, что они глотают их как фокусники, лучше бы резать на кусочки, а вы знакомы, Артур — милый Дойс и Кленнэм, впрочем не милый и во всяком случае не милый Дойс, потому что я не имею чести знать, но, пожалуйста, извините меня, вы, верно, знакомы с Мантуей, скажите, что общего между ней и мантильями, я никогда не могла понять?

— Насколько мне известно, между ними нет ничего общего, Флора, — начал было Кленнэм, но она опять перебила его.

— Ну конечно, нет, и я сама не верила, но со мной всегда так, заберу в голову какую-нибудь идею и ношусь с ней; увы, было время, милый Артур — то есть, конечно, не милый и не Артур, но вы меня понимаете, — когда одна лучезарная идея озарила — как его? — горизонт и прочее, но он оделся тучей, и всё прошло.

Возрастающее нетерпение Артура так ясно отразилось на его лице, что Флора остановилась и, бросив на него нежный взгляд, спросила, что с ним такое.

— Мне бы очень хотелось, Флора, поговорить с одной особой, которая теперь у вас в доме, у мистера Кэсби, без сомнения. Я видел, как она вошла. Она убежала из дома одного моего друга вследствие плачевного недоразумения и дурного влияния со стороны.

— У папы бывает такое множество народа и такие странные люди, — сказала Флора, вставая, — что я не решилась бы спуститься к нему ни для кого, кроме вас, Артур, но для вас я готова спуститься хоть в водолазный колокол, а тем более в столовую, если вы присмотрите за теткой мистера Финчинга и в то же время не будете смотреть на нее.

С этими словами Флора выпорхнула из комнаты, оставив Кленнэма под гнетом самых зловещих опасений относительно возложенной на него ужасной обязанности.

Первым проявлением опасного настроения в тетке мистера Финчинга, когда она доела свой гренок, было продолжительное и громкое фыркание. Убедившись, что ошибиться во враждебном смысле этой демонстрации невозможно, так как ее грозное значение было очевидно, Кленнэм жалобно взглянул на превосходную, но зара-

женную предубеждением леди в надежде обезоружить ее кроткой покорностью.

— Не пялить на меня глаз! — объявила тетка мистера Финчинга, дрожа от негодования. — Получи!

«Получить» приходилось корочку от гренка. Кленнэм принял этот дар с благодарным взглядом и зажал его в руке с некоторым смущением, которое ничуть не уменьшилось, когда тетка мистера Финчинга внезапно заорала зычным голосом:

— Какой, подумаешь, гордый желудок у этого молодца! Гнушается, не хочет есть! — и, вскочив с кресла, подступила к нему, потрясая своим почтенным кулаком под самым его носом. Если бы не своевременное появление Флоры, это критическое положение могло бы окончиться самыми неожиданными последствиями. Флора без малейшего смущения и удивления поздравила старушку, заметив одобрительным тоном, что она «сегодня в ударе», и усадила ее обратно в кресло.

— У этого молодца гордый желудок, — сказала родственница мистера Финчинга, усевшись на место. — Дай ему мякины!

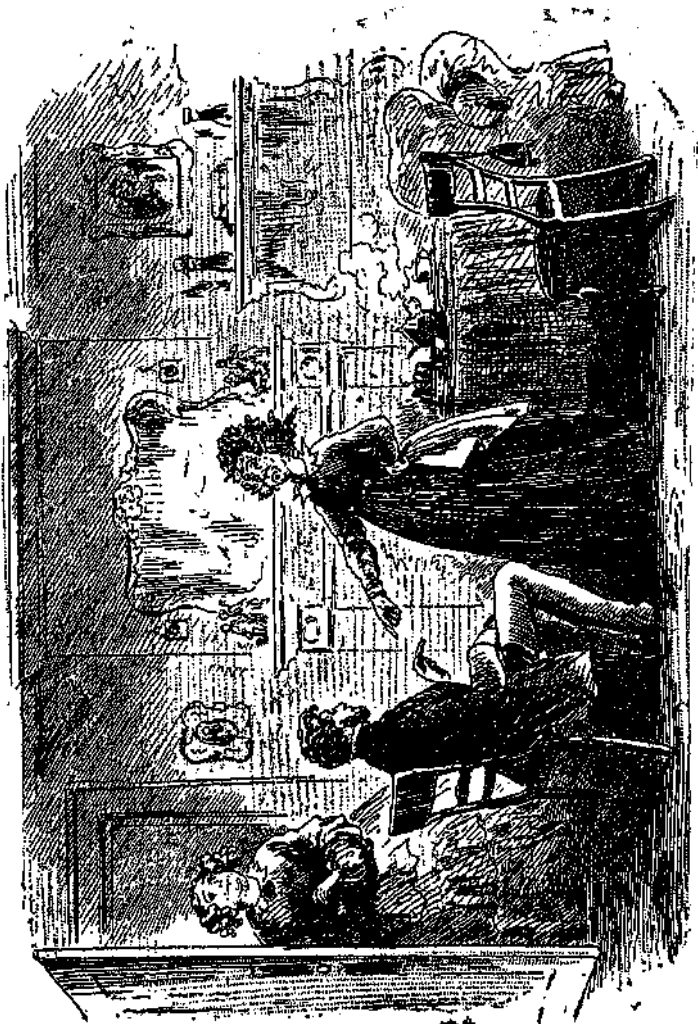
— О, вряд ли ему понравится мякина, тетушка, — возразила Флора.

— Дай ему мякины, говорят тебе! — настаивала тетка мистера Финчинга, грозно поглядывая из-за Флоры на своего врага. — Для такого гордого желудка самое подходящее кушанье. Пусть слопает всё без остатка. Чёрт его дери, дай ему мякины!

Делая вид, что желает угостить его этим блюдом, Флора увела Кленнэма на лестницу, но даже и тогда тетка мистера Финчинга продолжала с невыразимой горечью называть его молодцом и утверждать, что у него «гордый желудок», и требовать, чтоб его накормили лошадиным кушаньем, которое она так настойчиво предлагала.

— Такая неудобная лестница и столько поворотов, Артур, — прошептала Флора, — не поддержите ли вы меня за талию?

Чувствуя, что он представляет собой в высшей степени комическую фигуру, Кленнэм спустился вниз по лестнице в требуемом положении и опустил свою прекрасную ношу только у двери столовой, хотя и тут она никак не



Суровая тетка мистера Финчига.

могла высвободиться из его объятий, повторяя: «Артур, ради бога, ни слова папе!».

Она провела Артура в комнату, где патриарх сидел у камина, поставив на решетку свои мягкие туфли и вращая пальцами с таким видом, как будто никогда не прекращал этого занятия. Юный десятилетний патриарх глядел из своей рамки с таким же невозмутимым видом. Обе головы были одинаково благодушны, бессмысленны и пухлы.

— Рад вас видеть, мистер Кленнэм. Надеюсь, вы здоровы, сэр, надеюсь, вы здоровы. Присядьте, пожалуйста, присядьте, пожалуйста.

— Я надеялся, сэр, — сказал Кленнэм, садясь и оглядывая комнату с очевидным разочарованием, — застать вас не одного.

— А, в самом деле? — сказал патриарх кротко. — А, в самом деле?

— Ведь вы сами знаете, папа, я вам говорила, — воскликнула Флора.

— О да, конечно! — отвечал патриарх. — Да, именно так. О да, конечно!

— Скажите, пожалуйста, сэр, — спросил Кленнэм с беспокойством, — мисс Уэд ушла?

— Мисс?.. О, вы называете ее мисс Уэд, — возразил мистер Кэсби. — Очень милое имя.

— А как же вы называете ее? — с живостью спросил Артур.

— Уэд, — сказал мистер Кэсби. — О, всегда Уэд.

Посмотрев несколько секунд на благодушное лицо и шелковистые седые кудри, между тем как мистер Кэсби вертел пальцами, ласково улыбаясь огню, точно желая, чтобы тот сжег его, дабы он мог простить ему эту вину, Артур начал:

— Извините, мистер Кэсби...

— Полноте, полноте, — перебил патриарх, — полноте.

— ...Но с мисс Уэд была спутница, молодая девушка, выросшая в доме одного из моих друзей, на которую мисс Уэд имеет дурное влияние. Я хотел воспользоваться случаем уверить эту девушку, что ее покровители относятся к ней с прежним участием.

— Так, так, — заметил патриарх.

— Поэтому будьте добры сообщить мне адрес мисс Уэд.

— Жаль, жаль, жаль, — сказал патриарх, — какая досада! Что бы вам уведомить меня, пока они еще не ушли. Я заметил эту девушку, мистер Кленнэм. Красивая, смуглая девушка, мистер Кленнэм, с черными волосами и черными глазами, если не ошибаюсь, если не ошибаюсь.

Артур заметил, что он не ошибается, и повторил с особенным выражением:

— Будьте добры сообщить мне ее адрес.

— Жаль, жаль, жаль! — воскликнул патриарх с кротким сожалением. — Какая жалость, какая жалость! У меня нет адреса, сэ. Мисс Уэд живет большей частью за границей, мистер Кленнэм. Она переселилась туда несколько лет тому назад и (если можно так выразиться о своем ближнем, тем более о леди) она капризна и беспокойна до крайности, мистер Кленнэм. Может быть, я не увижу ее долго, очень долго. Может быть, я совсем не увижу ее. Какая жалость, какая жалость!

Кленнэм убедился, что с одинаковым успехом может обращаться за помощью к портрету и к патриарху, но тем не менее прибавил:

— Мистер Кэсби, можете ли вы, ради моих друзей и с обязательством с моей стороны хранить молчание обо всем, что вы считаете своею обязанностью сохранить втайне, сообщить мне всё, что вам известно о мисс Уэд? Я встречался с ней за границей, встречался с ней на родине, но ничего о ней не знаю. Можете вы сообщить мне что-нибудь?

— Ничего, — отвечал патриарх, покачивая головой с невыразимо благодушным видом, — решительно ничего. Жаль, жаль, жаль, ужасно жаль, что она была здесь так недолго и вы не успели застать ее. В качестве доверенного лица, в качестве доверенного лица, я передавал иногда этой леди деньги. Но много ли вы извлечете, сэ, из этого сообщения?

— Решительно ничего, — сказал Артур.

— Решительно ничего, — подтвердил патриарх, сияя и умильно улыбаясь огню, — решительно ничего, сэ. Очень меткий ответ. Решительно ничего, сэ.

Его манера вертеть свои пухлые пальцы один вокруг другого была так типична, так наглядно указывала, как он будет вертеть любую тему, не подвигая ее ни на шаг

вперед, что Кленнэм потерял всякую надежду добиться толку. Он мог сколько угодно раздумывать об этом, так как мистер Кэсби, привыкший рассчитывать на свою лысину и седые волосы, знал, что его сила в молчании.

И вот он сидел, играя пальцами и предоставляя своей гладко отполированной лысине и лбу озарять благо-склонностью все окружающее.

Налюбовавшись этим зрелищем, Кленнэм встал, собираясь уходить, когда из внутренних доков, где обыкновенно стоял на якоре пароходик Панкса, послышался шум, возвещавший о приближении этого судна.

Мистер Панкс пожал гостю руку и подал своему хозяину какие-то бумаги для подписи. Пожимая руку Кленнэму, мистер Панкс ничего не сказал, а только фыркнул и почесал бровь левым указательным пальцем, но Кленнэм, понимавший его теперь лучше, чем прежде, догадался, что он сейчас будет свободен и хочет поговорить с ним на улице. Итак, простившись с мистером Кэсби и с Флорой (что было гораздо труднее), он вышел из дому и остановился неподалеку, дожидаясь Панкса.

Последний не заставил себя долго ждать. Он вторично пожал Кленнэму руку, фыркнул еще выразительнее, снял шляпу и взъерошил волосы; из всего этого Кленнэм заключил, что он знает обо всем и приглашает его говорить прямо. Поэтому он спросил без всяких предисловий:

- Полагаю, что они действительно ушли, Панкс?
- Да, — отвечал Панкс, — они действительно ушли.
- Известен ему адрес этой леди?
- Не знаю. Думаю, что известен.
- А мистеру Панксу известен?
- Нет, мистеру Панксу неизвестен.
- Знает ли о ней хоть что-нибудь мистер Панкс?
- Полагаю, — отвечал этот достойный джентльмен, — что знаю о ней столько же, сколько она сама знает о себе. Она чья-то дочь... чья угодно... ничья. Приведите ее в любую комнату, где есть полдюжины людей, достаточно старых, чтобы быть ее родителями, и, может быть, среди них действительно окажутся ее родители; вот всё, что ей известно на этот счет. Они могут оказаться в каждом доме, мимо которого она проходит, на каждом кладбище, которое попадется ей по пути; она может встретиться с ними на любой улице, может познакомиться

с ними в любую минуту, и не будет знать, что это они. Она ничего не знает о них. Она ничего не знает о своих родственниках, никогда не знала и никогда не будет знать.

— Быть может, мистер Кэсби мог бы что-нибудь сообщить ей об этом?

— Может быть, — согласился Панкс, — я думаю, что мог бы, но не знаю наверно. У него издавна хранится сумма (не слишком большая, насколько мне известно), из которой он обязан выдавать ей деньги в случае крайности. Она так горда, что подолгу не приходит за ними, но иногда заставляет нужда. Ей не легко живется. Такой злобной, страстной, смелой и мстительной женщины еще не было на свете. Сегодня она приходила за деньгами; она сказала, что они ей необходимы.

— Кажется, — заметил Артур в раздумье, — я знаю, зачем.. то есть — в чей карман попадут эти деньги.

— В самом деле? — сказал Панкс. — Если это условие, я советовал бы другой стороне исполнить его как следует. Я бы не доверился этой женщине, хотя она молода и прекрасна, если бы оскорбил ее чем-нибудь, нет, даже за два таких состояния, как у моего хозяина, разве только если бы впал в меланхолию и задумал покончить с жизнью.

Припомнив свои встречи с ней, Артур нашел, что его впечатление довольно близко сходится с мнением Панкса.

— Удивляюсь, — продолжал Панкс, — что она до сих пор не расправилась с моим хозяином, единственным человеком, который, как ей известно, замешан в ее историю. Кстати, между нами будь сказано, меня по временам так и подмывает расправиться с ним самому.

Артур вздрогнул.

— Полноте, Панкс, что вы говорите!

— Поймите меня, — сказал Панкс, дотрагиваясь до его плеча своей рукой с обгрызанными ногтями. — Я не собираюсь перерезать ему глотку, но, клянусь всем, что есть на свете хорошего, если он зайдет слишком далеко, я обрежу ему кудри.

Высказав эту чудовищную угрозу, рисовавшую его в совершенно новом свете, мистер Панкс значительно фыркнул и запыхтел прочь.

ГЛАВА X

Сны миссис Флинтуинч запутываются

Сумрачные приемные министерства околичностей, где Кленнэм проводил значительную часть своего времени в обществе других таких же преступников, приговоренных к колесованию на этом колесе, давали ему в течение трех или четырех следующих дней достаточно досуга, чтобы обдумать свою последнюю встречу с Тэттикорэм и мисс Уэд. Он, однако, не мог выжать из нее никакого заключения, так что в конце концов решил не думать о ней вовсе.

В течение этого времени он не посещал угрюмого дома своей матери. Когда же наступил вечер, назначенный им для этого визита, он оставил свою квартиру и своего компаньона около девяти часов и медленно направился в угрюмое жилище своей юности.

Оно всегда рисовалось его воображению мрачным, зловещим и унылым, мало того — набрасывавшим мрачную тень на всю окрестность. Когда, в этот пасмурный вечер, он шел по темным улицам, они казались ему хранилищами зловещих тайн. Тайны торговых контор с их книгами и документами в несгораемых сундуках и шкафах; тайны банкирских контор с их крепкими подвалами и потайными комнатами, ключи от которых хранятся в немногих таинственных карманах и немногих таинственных сердцах; тайны рассеянных по всему свету работников этой громадной мельницы, среди которых столько грабителей, обманщиков и мошенников, со дня на день ожидающих разоблачения, — все эти тайны, казалось ему, усиливали тяжесть атмосферы. Тень сгущалась и сгущалась по мере того как он приближался к ее источнику, и он думал о тайнах уединенных церковных склепов, где люди, когда-то прятавшие и замыкавшие награбленное добро в железных сундуках, были в свою очередь запрятаны и замкнуты накрепко, хотя дела их еще продолжают вредить живым; думал о тайнах реки, катившей свои мутные волны среди таинственных зданий, раскинувшихся мрачным лабиринтом на много миль кругом, оттесняя чистый воздух и простор полей, где гуляет вольный ветер и носятся вольные птицы.

Тень сгущалась, по мере того как он приближался к дому, и ему представилась печальная комната, в кото-

рой жил когда-то его отец, и лицо с умоляющим взглядом, угасавшим на его глазах, когда он один сидел у постели умирающего. Спертый воздух комнаты был напоен тайной. Весь дом с его мраком, плесенью и пылью дышал тайной, и посреди этого мрака его мать, с неумолимым лицом, неукротимой волей, сурово хранила тайны своей жизни и жизни его отца, готовая встретить лицом к лицу великую последнюю тайну человеческой жизни.

Он свернул в узкую крутую улицу, примыкавшую к ограде или двору, на котором находился дом, как вдруг услышал за собой шаги, и кто-то прошел мимо него так близко, что толкнул его к стене. Пока он собирался с мыслями, прохожий, развязно проговорив: «*Pardon!*»¹ Но это не моя вина!» — опередил его, прежде чем он успел вернуться к действительности.

Опомнившись, он узнал в этом господине того самого человека, о котором столько думал в последние дни. Это не было случайное сходство: это был тот самый человек, который шел с Тэттикорэм и разговаривал с мисс Уэд.

Улица была извилиста и крута, и незнакомец (который хотя и не был пьян, но казался навеселе) шел так быстро, что Кленнэм почти в ту же минуту потерял его из виду. Повинуясь скорее инстинктивному желанию взглянуть на него поближе, чем сознательному намерению выследить его, он ускорил шаги, чтобы миновать поскорее поворот, за которым скрылся прохожий. Однако, свернув за угол, он никого не увидел.

Остановившись у ворот дома матери, он окинул взглядом улицу, но она была пуста. На ней не было темных углов или поворотов, за которыми мог бы скрыться прохожий; не слышно было также, чтобы где-нибудь отворилась или захлопнулась дверь. Тем не менее Кленнэм решил, что у незнакомца, по всей вероятности, был с собой ключ, с помощью которого он вошел в какой-нибудь из соседних домов.

Раздумывая об этой странной встрече и странном исчезновении, он прошел в калитку и, взглянув по привычке на слабо освещенные окна в комнате матери, заметил фигуру человека, который только что исчез. Незнакомец стоял, прислонившись к железной решетке двора, и глядел на те же окна, посмеиваясь себе под нос.

¹ *Pardon* (франц.) — извините.

Несколько бродячих кошек, повидимому бросившихся прочь при его появлении, но остановившихся, когда он остановился, поглядывали на него своими горящими глазами, напоминаяшими его собственные, с подоконников, карнизов и других безопасных пунктов. Он остановился только на минуту, а затем пошел дальше, перекинув через плечо конец плаща, поднялся по неровным, покрывшимся ступенькам и громко постучал в дверь.

При всем своем удивлении Кленнэм не колебался ни минуты. Он тоже подошел к крыльцу и поднялся по ступенькам. Незнакомец окинул его нахальным взглядом и запел:

Кто так поздно здесь проходит?

Это спутник Мажолэн.

Кто так поздно здесь проходит?

Смел и весел он всегда!

Затем он постучал вторично.

— Вы нетерпеливы, сэр, — сказал Артур

— Да, сэр. Черт побери, сэр, — возразил незнакомец, — я действительно нетерпелив; это особенность моего характера!

Шум за дверью, показывавший, что миссис Эффри осторожно закладывала цепочку, прежде чем отворить дверь, привлек их внимание. Эффри, со свечой в руках, приотворила дверь и спросила, кто стучится так сильно в такой поздний час.

— Артур, — прибавила она с удивлением, увидев его первого, — не вы же так стучали? О господи, помилуй, опять он! — воскликнула она, увидев другого гостя.

— Именно, опять он, милейшая миссис Флинт-уинч! — крикнул незнакомец. — Отворите дверь, дайте мне обнять моего милейшего дружка Иеремию. Отворите дверь, дайте мне прижать к сердцу моего Флинт-уинча

— Его нет дома, — сказала Эффри.

— Разыщите его, — воскликнул незнакомец, — разыщите моего Флинтуинча, скажите ему, что его старый друг Бландуа вернулся в Англию; скажите ему, что пришел его любимчик, его огурчик! Отворите дверь, прекрасная миссис Флинтуинч, и пропустите меня наверх засвидетельствовать мое почтение, почтение Бландуа, ее милости. Жива ли она? Здорова ли она? Отворяйте же!

Удивление Артура возросло, когда миссис Флинтуинч, глядя на него широко раскрытыми глазами, точно советуя ему не связываться с этим господином, сняла цепочку и открыла дверь. Незнакомец вошел без всяких церемоний, не дожидаясь Артура

— Торопитесь! Шевелитесь! Подайте мне Флинтуинча! Доложите обо мне миледи, — кричал он, топая ногой о каменный пол.

— Скажите, пожалуйста, Эффри, — сказал Кленнэм громко и строго, окидывая его негодующим взором, — кто этот господин?

— Скажите, пожалуйста, Эффри, — повторил незнакомец, — кто ха! ха! ха!.. кто этот господин?

В эту минуту весьма кстати раздался голос миссис Кленнэм:

— Эффри, ведите обоих. Артур, поди ко мне!

— Артур! — воскликнул незнакомец, взмахнув шляпой и расшаркиваясь с преувеличенной любезностью. — Сын ее милости! Рад служить сыну ее милости!

Артур поглядел на него ничуть не любезнее, чем прежде, и, повернувшись к нему спиной, пошел наверх. Посетитель последовал за ним. Миссис Эффри выбежала из дома, заперла дверь на ключ снаружи и пустилась за своим повелителем

Посторонний свидетель, присутствовавший при первом посещении господина Бландуа, мог бы заметить, что миссис Кленнэм приняла его теперь иначе, чем в тот раз. Выражение ее лица, сдержанные манеры, суровый топ голоса были те же и ни на минуту не изменили ей. Разница состояла лишь в том, что с первой минуты его появления она не отрывала глаз от его лица и раза два или три, когда он начинал чересчур возвышать голос, слегка подавалась вперед на своем кресле, не изменяя положения рук, как будто давала понять, что выслушает всё, что он скажет. Артур не мог не заметить этого, хотя и не присутствовал при первом посещении незнакомца.

— Сударыня, — сказал Бландуа, — окажите мне честь, познакомьте меня с вашим сыном. Мне кажется, сударыня, ваш сын в претензии на меня. Он не особенно любезен со мной.

— Сэр, — быстро сказал Артур, — кто бы вы ни были и за чем бы ни явились сюда, но, будь я хозяином этого дома, я бы, не теряя ни минуты, вышвырнул вас вон!

— Но ты не хозяин, — сказала миссис Кленнэм, не глядя на него. — К несчастью для твоего дикого порыва, ты здесь не хозяин, Артур.

— Я и не претендую на это, матушка. Если я негодую на поведение этого господина — и негодую настолько, что, будь моя воля, он не остался бы здесь ни минуты, — то негодую ради вас.

— Я бы сама сумела выразить свое негодование, — возразила она, — если бы это было нужно. Не беспокойся об этом.

Виновник их спора тем временем уселся и громко смеялся, похлопывая ладонями по своим коленям.

— Ты не имеешь права, — продолжала миссис Кленнэм, упорно глядя на Бландуа, хотя обращалась к сыну, — осуждать джентльмена (тем более иностранца) за то, что его манеры тебе не нравятся или его поведение не согласуется с твоими правилами. Возможно, что джентльмен на том же самом основании осудит тебя.

— Надеюсь, — возразил Артур.

— Этот джентльмен, — продолжала миссис Кленнэм, — уже являлся к нам с рекомендательным письмом от, весьма почтенных и уважаемых нами лиц. Мне совершенно неизвестна цель настоящего посещения этого джентльмена. Я не имею о ней никакого понятия и решительно не могу представить себе, в чем она заключается, — ее характерная морщинка на лбу стала еще резче, когда она с особенным ударением и весом произнесла эти слова, — но этот джентльмен объяснит цель своего посещения мне и Флинтуинчу, и я не сомневаюсь, что она окажется в связи с обычными делами нашего дома, заниматься которыми наша обязанность и паше удовольствие. У него не может быть другой цели, кроме деловой.

— Это мы увидим, сударыня, — сказал деловой человек.

— Увидим, — подтвердила она. — Этот джентльмен знаком с Флинтуинчем; и когда этот джентльмен был в последний раз в Лондоне, мне говорили, я помню, что он и Флинтуинч долго и дружески беседовали. Я мало знаю о том, что происходит за пределами этой комнаты, и мирская суета не интересует меня, но помню, что слышала об этом.

— Именно, сударыня. Совершенно верно. — Он снова

засмеялся и стал насвистывать мотив песенки, которую напевал на крыльце.

— Итак, Артур, — сказала миссис Кленнэм, — этот джентльмен является сюда в качестве знакомого; и очень жаль, что ты так безрассудно считаешь себя оскорбленным. Весьма сожалею об этом. Заявляю о своем сожалении этому джентльмену. Ты, я знаю, не скажешь этого; итак, я заявляю от имени своего и Флинтуинча, потому что дело этого джентльмена относится только к нам обоим.

В эту минуту в наружной двери щелкнул ключ, и слышно было, как она отворилась. Вскоре затем явился мистер Флинтуинч, при появлении которого посетитель с хохотом вскочил и стиснул его в своих объятьях.

— Как дела, мой любезный друг? — воскликнул он. — Как делишки, Флинтуинчик? Процвetaют? Тем лучше, тем лучше! Да какой у вас чудесный вид! Помолодел, похорошел — совсем бутончик! Ах, шалунишка! Молодец, молодец!

Осыпая мистера Флинтуинча этими комплиментами, он тряс его за плечи до того, что судорожные движения этого джентльмена стали походять на подергивание волчка, готового остановиться.

— Я предчувствовал в последнее время, что мы сойдемся еще ближе, еще короче. А вы, Флинтуинч? Явилось наконец у вас это предчувствие?

— Нет, сэр, — возразил мистер Флинтуинч. — Ни малейшего. Не лучше ли, однако, вам сесть? Вы, верно, угощались сегодня портвейном, сэр?

— Ах, шутник! Ах, поросеночек! — воскликнул гость. — Ха-ха-ха-ха! — И, отбросив мистера Флинтуинча в виде заключительной любезности, он уселся по-прежнему.

Изумление, подозрение, негодование и стыд сковали язык Артуру. Мистер Флинтуинч, отлетевший шага на два или на три, оправился и вернулся на прежнее место, ничуть не утратив своего хладнокровия, только дышал тяжело и пристально смотрел на Кленнэма. В остальном его деревянная фигура ничуть не изменилась; только узел галстука, приходившийся обыкновенно под ухом, теперь оказался на затылке, напоминая косичку парика и придавая мистеру Флинтуинчу почти придворный вид.

Как миссис Кленнэм не сводила глаз с Бландуа (на которого они действовали, как действует пристальный человеческий взгляд на собаку), так Иеремия не сводил глаз с Артура. Казалось, они молча разделили между собой наблюдение. В течение последовавшей паузы Иеремия скреб себе подбородок, впиваясь глазами в Артура, как будто хотел вывинтить из него все его мысли

Подождав немного, посетитель, которого, повидимому, раздражало молчание, встал и нетерпеливо повернулся спиной к священному огню, столько лет пылавшему в этой комнате. Тогда миссис Кленнэм сказала, впервые пошевелив рукой и сделав легкий прощальный жест.

— Пожалуйста, оставь нас, Артур, нам нужно переговорить о деле.

— Матушка, я повинуюсь вам очень неохотно.

— Охотно или неохотно, — возразила она, — это все равно. Пожалуйста, оставь нас. Зайди в другое время, если сочтешь обязанностью проскучать здесь полчаса. Покойной ночи.

Она протянула ему свои пальцы, чтобы он мог прикоснуться к ним по обыкновению, и, наклонившись над креслом, он дотронулся губами до ее щеки. Ему показалось, что кожа ее холоднее, чем обыкновенно. Следуя за направлением ее глаз, он взглянул на Бландуа, который презрительно щелкнул пальцами.

— Я оставляю вашего вашего делового знакомого в комнате моей матери, Флинтуинч, — сказал Кленнэм, — с большим удивлением и неохотой.

Знакомый, о котором шла речь, снова щелкнул пальцами.

— Покойной ночи, матушка.

— Покойной ночи.

— Был у меня один приятель, дружище Флинтуинч, — сказал Бландуа, продолжая греться у камина и так явно предназначая свои слова для Кленнэма, что тот приостановился у двери, — который наслышался так много дурного об этом городе и его обычаях, что ни за какие коврижки не согласился бы остаться, — даже в таком почтенном доме, как этот, — наедине с двумя особами, которым было бы выгодно от него избавиться, если бы не знал, что они физически слабее его. Какой трус, Флинтуинч! А?



Мистер Флитуинч в дружеских объятьях.

— Последний трус, сэр.

— Согласен, последний трус! Но всё-таки он не остался бы с ними, Флинтуинч, если бы не знал, что они и хотели бы заткнуть ему глотку, да не могут. Он не выпил бы стакана воды, — даже в таком почтенном доме, как этот, Флинтуинчик, — пока кто-нибудь из хозяев не отпил бы и не проглотил этой воды.

Считая бесполезным отвечать, — да и вряд ли бы он мог ответить, так как задыхался от бешенства, — Артур только посмотрел на гостя и вышел из комнаты. Гость на прощанье снова щелкнул пальцами и улыбнулся зловещей отвратительной улыбкой, причем нос его опустился над усами, а усы поднялись под носом.

— Ради бога, Эффри, — шёпотом спросил Артур, когда она отворила ему дверь в темной передней и он ощупью выбрался наружу по отблеску ночного неба, — что тут у вас творится?

У нее самой был довольно зловещий вид, когда она стояла в темноте, закинув на голову передник, и говорила из-под него тихим, глухим голосом:

— Не спрашивайте меня ни о чем, Артур. Я всё время как во сне. Уходите!

Он ушел, и она затворила за ним дверь. Он посмотрел на окна в комнате матери, и тусклый свет, пробивавшийся сквозь желтые шторы, казалось, повторял ответ Эффри:

«Не спрашивайте меня ни о чем! Уходите!»

ГЛАВА XI

Письмо Крошка Доррит

«Дорогой мистер Кленнэм!

Так как я уже говорила в прошлом письме, что ко мне лучше не писать, и так как, следовательно, получив это письмо, вам нужно будет потратить время только на чтение (может быть, у вас и для этого нет времени, но, я надеюсь, вы улучите свободную минуту), то вот я и решила написать вам вторично. На этот раз я пишу из Рима.

Мы уехали из Венеции раньше мистера и миссис Гоуэн, но они отправились по другой дороге и ехали

скорее, так что, прибыв в Рим, мы застали их в этом городе. Они наняли квартиру в местности, называемой Via Gregoriana.¹ Вы, наверно, ее знаете.

Я сообщу вам всё, что мне известно о них, так как знаю, что вы интересуетесь ими. Квартира у них не особенно удобная, но, может быть, она не произвела бы такого впечатления на вас, бывавшего в разных странах и знакомого с разными обычаями. Конечно, она несравненно — в миллион раз — лучше тех, к которым я привыкла; но я смотрю на нее скорее глазами миссис Гоуэн, чем моими. Нетрудно догадаться, что она воспитана в достатке, любящей семьей, если бы даже она не вспоминала о ней с такой любовью.

Итак, квартира у них довольно неуютная, с темной лестницей, и почти вся состоит из большой унылой комнаты, в которой рисует мистер Гоуэн. Окна замазаны внизу, стены испачканы мелом и углем прежними жильцами. Комната разделена занавеской скорее пыльного, чем красного цвета; за занавеской у них гостиная. Когда я в первый раз зашла к ним, она была одна, работа выпала из ее рук, и она смотрела на небо сквозь верхние стекла окон. Пожалуйста, не тревожьтесь слишком, но я должна сознаться, что она была не такая веселая, радостная, счастливая, юная, какой бы мне хотелось ее видеть.

Так как мистер Гоуэн пишет портрет папы, — я не вполне уверена, что догадалась бы, чей это портрет если бы не знала наверно, — то я имею возможность видеться с ней чаще, чем могла бы без этого случая. Она очень часто бывает одна. Очень часто.

Рассказать ли вам о моем втором посещении? Я зашла к ней около четырех или пяти часов пополудни. Она обедала одна, и этот обед был принесен откуда-то на жаровне с горящими угольями, и у ней не было другого общества, кроме старика, принесшего обед. Он рассказал ей длинную историю (о разбойниках, задержанных статуей какого-то святого), чтобы позабавить ее, потому что, — как он сказал мне, когда я уходила, — у него тоже есть дочь, хоть и не такая красавица.

Я должна теперь сказать несколько слов о мистере Гоуэне. Конечно, он восхищается ее красотой, конечно,

¹ Via Gregoriana (итал.) — дорога Григория.

он гордится ею, потому что все от нее в восторге, конечно, он любит ее, я не сомневаюсь в этом, но по-своему. Вы знаете его, и если вам он кажется таким же беззаботным и непостоянным, как мне, то, значит, я не ошибаюсь, думая, что он мог бы относиться к ней внимательнее. Если вы несогласны с этим, то я несомненно ошибаюсь, потому что ваша неизменная Крошка Доррит верит в вашу проникательность и доброту больше, чем могла бы выразить это на словах, если бы попыталась. Но не пугайтесь, я не стану пытаться.

Благодаря своему непостоянству и недовольству (так я думаю, если вы думаете то же), мистер Гоуэн мало успевает в своей профессии. Он не работает упорно и терпеливо, а начинает и бросает, оставляет картины недоконченными. Слушая его разговоры с папой во время сеансов, я часто думала, не потому ли он не верит в других, что не верит в себя. Так ли это? Мне бы хотелось знать, что скажете вы, когда дойдете до этого места. Я точно вижу ваше лицо и слышу ваш голос, каким вы говорили со мной на Айронбридже.

Мистер Гоуэн часто бывает в так называемом лучшем обществе, хотя, повидимому, недолюбливает его и не находит в нем ничего хорошего, и она по временам сопровождает его, хотя в последнее время очень редко. Я заметила, что ее знакомые отзываются о ней как-то странно, точно она вышла за мистера Гоуэна из личных расчетов ради блестящей партии, хотя ни одна из них не пошла бы за него и не выдала бы за него дочь. Он часто бывает за городом для зарисовки эскизов и хорошо известен всюду, куда стекается много посетителей. Кроме того, у него есть приятель, который почти неразлучен с ним дома и в гостях, хотя он относится к этому приятелю холодно и обращается с ним очень неровно. Я совершенно уверена (да она и сама говорила), что она не любит этого приятеля. Мне он до такой степени противен, что теперь, после его отъезда, я как-то легче дышу. Воображаю, насколько легче ей!

Но вот что мне в особенности хотелось сказать вам и почему я говорила обо всем предыдущем, рискуя даже огорчить вас. Она так верна и предана ему, так всецело и навеки отдала ему свою любовь и верность, что будет любить его, восхищаться им, хвалить его и скрывать его недостатки до могилы. Вы можете быть уверены в этом.

Я думаю, что она скрывает его недостатки и всегда будет скрывать их даже от себя самой. Она отдала ему сердце и никогда не возьмет его обратно; и любовь ее выдержит все испытания. Вы знаете, что это так, вы всё знаете лучше меня, но я не могу не сказать вам, какое это золотое сердце и как она заслуживает вашего участия.

Я еще не назвала ее в этом письме, но мы так подружились, что, когда остаемся с глазу на глаз, я часто называю ее по имени, а она меня... то есть не моим христианским именем, а тем, которое вы мне дали. Когда она в первый раз назвала меня Эми, я рассказала ей вкратце свою историю и о том, что вы всегда звали меня Крошкой Доррит. Я сказала, что это имя для меня дороже всякого другого, и с тех пор она тоже зовет меня Крошкой Доррит.

Может быть, вы еще не получили письма от ее отца или матери и не знаете, что у нее родился сын, родился два дня тому назад, спустя неделю после их приезда. Они были ужасно рады. Как бы то ни было, я должна сказать вам, так как ничего не скрываю от вас, что очи, как мне кажется, в натянутых отношениях с мистером Гоуэном и что их оскорбляет, не столько за себя, сколько за дочь, его насмешливый тон. Не далее как вчера на моих глазах мистер Мигльс во время разговора с зятем покраснел, встал и ушел, точно боялся, что не совладает с собой. А между тем они такие внимательные, добродушные и рассудительные люди, что можно было бы обращаться с ними более бережно. Жестоко с его стороны относиться к ним так невнимательно.

Я остановилась, чтобы перечесть всё написанное. Сначала мне показалось, что я слишком много беру на себя, пытаюсь всё понять и объяснить, и я было решила не посылать письма, но, подумав, успокоилась в надежде на вашу снисходительность; ведь вы поймете, что я наблюдала и замечала всё это ради вас, так как знаю, что вы принимаете в ней участие. Поверьте, что я говорю искренно.

Теперь я покончила с предметом настоящего письма, и мне остается сказать лишь немного.

Мы все здоровы, и Фанни расцветает с каждым днем. Вы не можете себе представить, как она ласкова и как возится со мной. У нее есть поклонник, который

следует за ней от самой Швейцарии и недавно сообщил мне, что намерен следовать за ней повсюду. Я очень смутилась, выслушивая его признание, но пришлось выслушать. Я не знала, что ответить, но наконец сказала, что, по-моему, лучше будет, если он откажется от своего намерения, потому что Фанни (этого я не говорила ему) слишком умна и остроумна для него, но он продолжал твердить свое. У меня, разумеется, нет поклонника.

Если вы дочитаете до этого места мое длинное письмо, то, наверное, скажете: «Конечно, Крошка Доррит расскажет мне о своих путешествиях, и пора ей это сделать». Я сама думаю, что пора, но не знаю, о чем рассказывать. После Венеции мы посетили много удивительных городов, между прочим Геную и Флоренцию, и видели столько удивительных вещей, что у меня голова идет кругом. Но ведь вы можете рассказать мне о них гораздо больше, чем я; зачем же я буду утомлять вас своими рассказами и описаниями.

Дорогой мистер Кленнэм, так как у меня хватило смелости сообщить вам о моих впечатлениях и огорчениях, то не буду трусихой и теперь. Меня постоянно преследует мысль: как ни древни эти города, но меня интересует в них не древность, а то, что они стояли на своих местах все время, когда я даже не знала об их существовании, исключая двух-трех главных, когда я не знала почти ничего вне тюремных стен. Не знаю — почему, но в этой мысли есть что-то грустное. Когда мы ездили смотреть знаменитую падающую башню в Пизе, был светлый солнечный день, и здание казалось таким ветхим, небо и земля — такими юными, тень от башни — такой отрадной. В первую минуту я не думала, как это прекрасно или как это удивительно; я думала: «Сколько раз в то время, как тень от тюремной стены падала на нашу комнату и монотонный гул шагов раздавался на дворе, сколько раз это место выглядело так же красиво и отрадно, как сегодня!». Эта мысль взволновала меня. Сердце мое переполнилось, и слезы брызнули из глаз, хотя я всеми силами старалась удержать их. И то же чувство появляется у меня часто, очень часто.

1 Падающая башня — наклонная башня, знаменитое архитектурное сооружение, построенное в XII веке в Пизе, небольшом городе в северной части Италии.

Знаете, со времени перемены в нашей судьбе я часто вижу сны и всегда оказываюсь во сне маленькой девочкой. Вы скажете, что я еще не стара. Да, но я не об этом говорю. Я вижу себя ребенком, который учится шить. Часто вижу себя там, на нашем старом дворе, вижу старые лица, даже малознакомые, которые, казалось мне, я совсем забыла; вижу себя и здесь, за границей, во Франции, в Швейцарии, в Италии, но всегда маленькой девочкой. Мне снилось, например, что я иду вниз к миссис Дженераль в старом платье с заплатками, — том самом, в котором я начинаю себя помнить. Снилось, и много раз, что я за обедом в Венеции, где у нас бывало много гостей, в том самом траурном платье, которое я носила после смерти матери, когда мне было восемь лет, носила так долго, что оно всё истерлось и превратилось почти в лохмотья, и будто бы меня ужасно мучила мысль, что скажут гости, увидев меня в таком странном костюме, и как рассердятся отец, Фанни и Эдуард за то, что я выдаю то, что им хочется скрыть. Но при всем том я оставалась маленькой девочкой и продолжала сидеть за столом и с беспокойством высчитывать, во что обойдется этот обед и как мы сведем концы с концами. Я никогда не видела во сне ни нашего внезапного обогащения, ни того достопамятного утра, когда вы явились к нам с этим известием, ни вас самих.

Дорогой мистер Кленнэм, может быть, это зависит от того, что днем мои мысли вечно с вами и с другими, оставшимися на родине, так что во сне уже не является никаких мыслей. Сознаюсь, что я ужасно тоскую по родине, давно и горько тоскую, так что порой дохожу до слез, когда никто меня не видит. Я почти не в силах выносить разлуку с нею. Мне становится легче, когда мы приближаемся к ней хотя бы на несколько миль, так милы и дороги мне места, где я жила в бедности и пользовалась вашей добротой. О, как дороги, как дороги!

Бог знает, когда ваше бедное дитя снова увидит Англию. Все (кроме меня) в восторге от здешней жизни и не думают о возвращении. Мой дорогой отец намерен съездить в Лондон весной по делам, но я не надеюсь, чтобы он взял меня с собой.

Я пытаюсь улучшить свои манеры под руководством

миссис Дженераль, и, кажется, я уже не такая неотесанная, как прежде. Я начинаю объясняться почти свободно на трудных языках, о которых писала вам. Тогда мне не пришло в голову, что вы знаете их, но потом я вспомнила об этом, и это мне помогло.

Будьте счастливы, дорогой мистер Кленнэм. Не забывайте вашу признательную и любящую

Крошку Доррит

«Р. С. Главное, помните, что Минни Гоуэн заслуживает самого глубокого уважения, самой нежной привязанности. Как бы высоко ни ставили вы ее, это не будет преувеличением. Прошлый раз я забыла о мистере Панксе. Пожалуйста, если увидите его, передайте ему сердечный привет от вашей Крошки Доррит. Он был очень добр к Крошке Д.»

ГЛАВА XII

В которой происходит важное патриотическое совещание

Славное имя Мердля с каждым днем приобретало всё большую славу. Никто не слышал, чтобы этот пресловутый Мердль когда-нибудь сделал добро кому бы то ни было, живому или мертвому; никто не слышал, чтобы он проявил какое-нибудь дарование, способное осветить хоть бледным лучом чью-нибудь тропинку долга или развлечения, страдания или удовольствия, труда или покоя, действительности или фантазии в лабиринте бесчисленных тропинок, протоптанных сынами Адама; никто не имел ни малейшего основания думать, что глина, из которой слеплен этот кумир, чем-либо отличается от самой обыкновенной глины. Все знали (или верили), что он богат несметно, и только потому пресмыкались перед ним с подобострастием более унижительным и менее извинительным, чем подобострастие грубейшего дикаря, падающего в прах перед чурбаном или змеей, в которых его земной ум видит божество.

Мало того, верховные жрецы этого идолослужения имели перед глазами свой кумир как живой протест против их низости. Толпа поклонялась ему на веру, но

жрецы видели своего идола лицом к лицу. Они сидели за его столом, и он сидел за их столом. С ним всюду являлась тень, которая говорила им: «Так вот ваш идеал; вот его признаки: эта голова, эти глаза, эта речь, этот тон, эти манеры. Вы — рычаги министерства околичностей и владыки мира. Не будь вас, мир остался бы без правителей. Не в высшем ли понимании людей ваше достоинство и не оно ли заставляет вас принимать, перевозить, прославлять этого человека? Или, если вы можете верно оценить признаки, на которые я неустанно указываю вам, всякий раз как он появляется в вашей среде, не в высшей ли честности ваше достоинство?» — Два довольно щекотливые вопроса, всюду сопутствовавшие мистеру Мердлю и всегда замалчивавшиеся в силу тайного соглашения!

В отсутствие миссис Мердль мистер Мердль попрежнему держал открытый дом для непрерывного потока гостей. Некоторые из них любезно завладели его домом. Три-четыре знатные и остроумные дамы говорили друг другу: «Обедаем в четверг у нашего милого Мердля. Кого бы нам пригласить?». Наш милый Мердль получал соответственные инструкции, а затем сидел истуканом среди гостей за обедом или тоскливо слонялся по гостиной, не проявляя ничего замечательного, кроме своей очевидной неуместности в этом доме.

Главный дворецкий, этот злой гений, отравлявший жизнь великого человека, ничуть не утратил своей суровости. Он следил за обедами в отсутствие бюста так же, как следил за ним в его присутствии, и его взгляд был взглядом василиска¹ для мистера Мердля. Это был суровый человек, который ни за что не поступился бы ни единой тарелкой, ни единой бутылкой вина. Он не допустил бы обеда, если бы обед не соответствовал его требованиям. Он накрывал стол, имея в виду только собственное достоинство. Он не препятствовал гостям кушать то, что им подавалось, но всё подавалось собственно для того, чтобы поддержать его звание. Стоя у буфета, он, казалось, говорил: «Я принял на себя обязанность смотреть на то, что находится передо мной, но

¹ Василиск (*грек*) — сказочное чудовище с телом петуха и хвостом змеи, обладавшее способностью убивать одним своим взглядом.

отнюдь не на что-нибудь низшее». Если ему недоставало бюста, восседающего за столом, то лишь потому, что он видел в нем частицу собственного величия, которой временно лишился в силу непреодолимого стечения обстоятельств. Так же точно ему недоставало бы какой-нибудь вазы или изящного ледника для вина.

Мистер Мердль давал обед для Полипов. На обеде должен был присутствовать лорд Децимус, мистер Тит Полип, приятный молодой Полип, вся свора парламентских Полипов, которые разъезжали по стране перед выборами, расточая хвалы своему командиру. Все понимали, что этот обед будет событием. Мистер Мердль намеревался завоевать Полипов. Между ним и благородным Децимусом шли деликатного свойства переговоры, и юный Полип с приятными манерами служил посредником, и мистер Мердль решил бросить на весы Полипов всю тяжесть своей великой честности и великого богатства. Злые языки намекали на темные дела, — насколько справедливо — неизвестно, — но бесспорно, если бы Полипы могли приобрести помощь врага рода человеческого, вступив с ним в сделку, они приобрели бы ее для блага страны... для блага страны.

Миссис Мердль написала своему великолепному супругу, — только еретик мог бы сомневаться, что в его лице воплощались все британские коммерсанты со времен Уиттингтона,¹ да еще под слоем позолоты фута в три толщины, — миссис Мердль написала своему супругу несколько писем из Рима, одно за другим, доказывая ему, что теперь или никогда следует подумать об Эдмунде Спаркере. Миссис Мердль объясняла супругу, что дело Эдмунда не терпит отсрочки и что нельзя даже учесть всех благих последствий, которые проистекут от того, что он именно теперь получит теплое местечко. В грамматике миссис Мердль, когда она заводила речь об этом важном предмете, глаголы имели только одно наклонение — повелительное и одно время — настоящее. Миссис Мердль так настойчиво заставляла мистера Мердля спрягать свои глаголы, что его застоявшаяся кровь и длинные обшлага заволновались не на шутку.

¹ Уиттингтон Джек — по преданию, первый лорд-мэр Лондона.

В этом взволнованном состоянии мистер Мердль, трусливо блуждая глазами по сапогам главного дворецкого и не решаясь поднять их к зеркалу души этого страшного существа, сообщил ему о своем намерении дать особенный обед, — не большой, но особенный. Главный дворецкий, со своей стороны, дал понять, что он не прочь посмотреть на самое изысканное явление в этом роде; и в свое время день обеда наступил.

Мистер Мердль стоял в гостиной, спиной к огню, в ожидании именитых гостей. Он никогда не грелся у камина, если не был совершенно один. Даже в присутствии главного дворецкого он не мог решиться на такой поступок. Если бы этот угнетатель появился в комнате в подобную минуту, он тотчас уцепился бы за собственные руки и принялся бы расхаживать взад и вперед перед камином или бродить, крадучись среди роскошной мебели. Только легкие тени, выползавшие из темных углов, когда огонь вспыхивал, и скрывавшиеся — когда он погасал, могли видеть это у камина. Но и этих свидетелей было более чем достаточно, и на них он поглядывал с беспокойством.

Правая рука мистера Мердля была занята вечерней газетой, а вечерняя газета была занята мистером Мердлем. Его удивительная предприимчивость, его удивительное богатство, его удивительный банк были главной темой вечерней газеты. Удивительный банк, инициатором, учредителем и директором которого являлся мистер Мердль, был последним из бесчисленных мердлевских чудес. Но мистер Мердль был до того скромнен среди всех своих ослепительных подвигов, что казался скорее владельцем дома, на который наложен арест за долги, чем финансовым колоссом, возвышающимся у собственного очага, в то время как маленькие кораблики стекаются к нему на обед.

Но вот корабли вступают в гавань. Обязательный юный Полип явился первым, но на лестнице его обогнала адвокатура. Адвокатура, по обыкновению вооруженная своим неизменным лорнетом, выразила восторг при виде обязательного юного Полипа и заметила, что нам, по всей вероятности, предстоит заседать *in banco*,¹ как

¹ *In banco* (итал.) — в суде.

выражаемся мы, юристы, и разбирать специальный вопрос.

— В самом деле, — спросил бойкий юный Полип, которого звали Фердинандом, — как это так?

— Полноте, — улыбнулась адвокатура. — Если вы не знаете, могу ли я знать? Вы стоите в святая святых храма, я же в толпе на паперти.

Адвокатура умела быть легкой или тяжелой, смотря по тому, с кем ей приходилось иметь дело. С Фердинандом Полипом она была легка, как паутинка. Адвокатура, кроме того, всегда отличалась скромностью и готовностью к самоумалению — на свой лад. Вообще адвокатура была крайне разнообразна, хотя одна и та же нить пробегала сквозь все ее узоры. Каждый, с кем ей приходилось иметь дело, казался ей присяжным заседателем, а присяжного следовало объехать, если представлялась возможность.

— Наш знаменитый хозяин и друг, — сказала адвокатура, — наше ослепительное коммерческое светило пускается в политику.

— Пускается? Он уже давно в парламенте, разве вы не знаете? — возразил обязательный юный Полип.

— Правда, — согласилась адвокатура со смехом из легкой комедии, предназначенным для избранных присяжных, совершенно отличным от смеха грубого фарса для каких-нибудь лавочников, — он уже давно в парламенте. Но до сих пор наша звезда была блуждающей и мерцающей звездочкой? А?

Обыкновенный смертный соблазнился бы этим «А?» и дал бы утвердительный ответ. Но Фердинанд Полип только лукаво взглянул на адвокатуру и не дал никакого ответа.

— Именно, именно, — продолжала адвокатура, кивая головой, так как ее нелегко было выбить из седла, — вот потому-то я и сказал, что нам предстоит экстренное заседание *in banco*, подразумевая под этим торжественное и важное собрание, когда, как говорит капитан Мэкхит:¹ «Судьи собрались! Ужасное зрелище!». Мы, юристы, как видите, настолько либеральны, что цитируем капитана, хотя капитан весьма суров с нами. Впрочем, —

¹ Мэкхит — одно из действующих лиц в комедии «Операционщики» английского драматурга Джона Гея (1685—1732).

прибавила адвокатура, шутливо покачивая головой, так как даже в официальных речах всегда принимала вид добродушной насмешки над самой собой, — даже капитан допускает, что закон в общем, по крайней мере, стремится быть беспристрастным. Вот что говорит капитан, если память не обманывает меня, если же обманывает, — (тут он с веселым видом дотронулся лорнетом до плеча своего спутника), — то мой ученый друг меня поправит:

Законы были созданы для всех,
Чтоб обуздать везде порок и грех
Не лучше мы что там ни говори,
Тех, кто на Тайберн-Три¹

С этими словами они вошли в гостиную, где мистер Мердль грелся у камина. Мистер Мердль был так ошеломлен появлением адвокатуры с цитатой на устах, что той пришлось объяснять, откуда взята цитата

— Это из Гея. Конечно, он не считается авторитетом у нас, в Вестминстер-холле, но все же заслуживает внимания со стороны человека с таким обширным знанием света, как мистер Мердль.

Мистер Мердль взглянул на него так, как будто хотел сказать что-то, но тотчас затем взглянул так, как будто ничего не хотел сказать. Тем временем доложили об епископе.

Епископ вошел с кротостью во взоре, но твердой и быстрой поступью, как будто собирался надеть семи-мильные сапоги и пуститься в обход вокруг света, дабы посмотреть, все ли в порядке Епископу и в голову не приходило, что данное торжество представляет собою нечто особенное. Это была самая замечательная черта в его поведении. Он был свеж, весел, мил, кроток, но изумительно невинен, как дитя.

Адвокатура с учтивейшим поклоном поспешила осведомиться о здоровье супруги епископа. Супруга епископа слегка простудилась на последней конфирмации,² но

¹ Тайберн-Три (англ.) Площадь Тайберн служила местом казней в Лондоне Три (Tree) — дерево Тайберн-Три означает виселицу

² К о п ф и р м а ц и я . У католиков и протестантов — обряд приобщения к церкви, совершаемый над юношами и девушками, достигшими церковного совершеннолетия (14—16 лет)

вообще чувствовала себя превосходно. Молодой мистер епископ тоже здоров. Он уехал вместе с молодой женой и малолетними детьми для отправления пастырских обязанностей.

Затем появились представители хора Полипов и доктор мистера Мердля. Адвокатура, умудрившаяся замечать одним глазком и одним стеклышком лорнета каждого, кто входил в комнату, где бы сама ни стояла и с кем бы ни разговаривала, с изумительным искусством лавировала среди гостей, ухитряясь каждому сказать что-нибудь приятное. С некоторыми из хора она посмеялась над сонным депутатом, который подал голос за своего противника, не разобрав спросонок, в чем дело; с другими поплакала над духом времени, доходящим до того, что публика обнаруживает совершенно противостественный интерес к общественной деятельности и к общественным суммам; с доктором поговорила о болезнях вообще и, кроме того, пожелала узнать его мнение об одном медике, человеке с несомненной эрудицией и утонченными манерами, хотя и другие представители врачебного искусства (юридическая улыбка) обладают этими качествами в их высшем проявлении, — да, так его мнение насчет этого джентльмена, с которым адвокатура встретилась третьего дня в суде, причем из перекрестного допроса выяснилось, что он сторонник нового метода лечения, по мнению адвокатуры... да!.. Впрочем, это только личное мнение адвокатуры; личное мнение, с которым, она надеется, будет согласен и доктор. Отнюдь не дерзая решать вопрос, относительно которого расходятся авторитеты, она, адвокатура, рассуждая с точки зрения здравого смысла, а не так называемую научного исследования, склонна думать, что эта новая система, если можно употребить такое смелое выражение в присутствии столь высокого авторитета, попросту шарлатанство? А? Ну, имея за собой такую поддержку, адвокатура, уже с легким сердцем, может повторять: шарлатанство!

В эту минуту явился мистер Тит Полип, у которого, как у знаменитого приятеля доктора Джонсона,¹ была только одна идея в голове, да и та глупая. Этот блестя-

¹ Джонсон, Сэмюэль (1709—1784) — английский писатель и языковед, представитель литературы эпохи Просвещения.

щий джентльмен и мистер Мердль, сидя друг против друга в разных углах желтой оттоманки, около камина, и сохраняя гробовое молчание, как нельзя более напоминали двух коров на пейзаже Кейпа,¹ висевшем на противоположной стене.

Но вот прибыл и лорд Децимус. Главный дворецкий, до сих пор ограничивавшийся тем, что осматривал гостей при входе (и притом скорее с недоверием, чем с благосклонностью), простер свою снисходительность до того, что поднялся вместе с ним по лестнице и доложил о нем. Лорд Децимус был до того величествен, что один скромный молодой член палаты общин — последняя рыбка, пойманная Полипами и приглашенная собственно для того, чтобы отпраздновать свою поимку, — зажмурил глаза при входе его светлости.

Тем не менее лорд Децимус был рад видеть этого члена. Он был также рад видеть мистера Мердля, рад видеть епископа, рад видеть адвокатуру, рад видеть доктора, рад видеть Тита Полипа, рад видеть хор, рад видеть Фердинанда, своего личного секретаря. Лорд Децимус, хотя и величайший из великих мира сего, не отличался светскими манерами, и Фердинанд водил его от одного гостя к другому, для того чтобы все присутствующие узнали, что он рад их видеть. После этого его светлость включился в композицию картины Кейпа, изобразив третью корову в группе.

Адвокатура, чувствуя, что присяжные на ее стороне и что остается только заполучить старшину, направилась к нему бочком, поигрывая лорнетом. Адвокатура поставила вопрос о погоде, как не требующий официальной сдержанности. Адвокатура заметила, что ей говорили (как всем говорят, хотя кто говорит и зачем — остается неразрешимой тайной), будто в нынешнем году нельзя ожидать хорошего урожая шпалерных плодов. Лорд Децимус не слышал ничего дурного насчет персиков, но, кажется, если верить словам его садовника, он останется без яблок. Без яблок? Адвокатура совсем опешила от удивления и сочувствия. В сущности, ей было решительно всё равно, останется ли хоть одно яблочко на земле, но ее участие к этому яблочному вопросу было просто трогательно. Чем же, однако, лорд Децимус, —

¹ Кейп, Альберт (1620—1691) — голландский художник.

Мы, несносные юристы, любим собирать всякого рода сведения, хоть и не знаем, для чего они могут нам пригодиться, — чем же, лорд Децимус, вы объясните это явление? Лорд Децимус ничем не мог объяснить этого явления. Этот ответ мог бы смутить всякого другого, но адвокатура, не утратив бодрости духа, спросила: «А груши, как они нынче?».

Долгое время спустя после того как адвокатура сделалась генеральным прокурором, эта фраза цитировалась как образец ее ловкости. Лорд Децимус очень хорошо помнил об одном грушевом дереве в Итонском¹ саду, на котором расцвела первая и единственная острота в его жизни. Острота была весьма нехитрого свойства и коротенькая, построенная на разнице между плодами Итона и плодами парламентской деятельности, но лорду Децимусу казалось, что публика не поймет ее без всестороннего и основательного знакомства с деревом. Поэтому началась длинная история, которая сначала даже не упоминала о дереве, потом застала его среди зимы, проследила за ним дальше, видела его в бутонах, в цветущем, дождалась плодов, дождалась, пока созрели плоды, словом — так старательно холила и воспитывала дерево, прежде чем добралась до той минуты, когда лорд Децимус вылез из окна своей спальни с целью нарвать плодов, что изнемогавшие слушатели благодарили бога за то, что дерево было посажено и привито до поступления рассказчика в Итон. Адвокатура с таким захватывающим интересом следила за судьбой этих груш от того момента, как лорд Децимус торжественно заявил: «Упомянув о грушах, вы напомнили мне одно грушевое дерево», до глубокомысленного заключения: «Так-то мы переходим, после многих превратностей человеческой жизни, от плодов Итона к плодам парламентской деятельности», — что провожала лорда Децимуса вниз в столовую и даже уселась рядом с ним за обедом, чтобы дослушать рассказ до конца. После этого она почувствовала, что старшина на ее стороне и что она может с аппетитом приняться за обед.

А обед действительно мог возбудить аппетит. Тончай-

¹ Итон — высшее учебное заведение типа университета в Англии в городе Виндзор, основанное в 1440 г. В нем учились преимущественно дети аристократов.

шие блюда, великолепно изготовленные и великолепно сервированные, отборные фрукты и редкие вина; чудеса искусства по части золотых и серебряных изделий, фарфора и хрусталя; бесчисленные улады для вкуса, обоняния и зрения. О, какой удивительный человек этот Мердль, какой великий человек, какой одаренный человек, какой гениальный человек, одним словом — какой богатый человек!

Он проглотил, по обыкновению, на восемнадцать пенсов пищи, не замечая ее вкуса, и проявил так мало способности к членораздельным звукам, что вряд ли какой-нибудь великий человек мог проявить ее меньше. К счастью, лорд Децимус был из тех светил, которых не нужно занимать разговорами, потому что они вечно заняты созерцанием собственного величия. Это обстоятельство придало духу застенчивому молодому депутату: он решился открыть глаза, насколько это было необходимо для обеда; но всякий раз, как лорд Децимус заговаривал, он снова зажмурился.

Приятный молодой Полип и адвокатура занимали общество разговорами. Епископ тоже мог бы быть приятен, если бы не его невинность. Он скоро отстал. При малейшем намеке на какое-нибудь сенсационное происшествие он совершенно терялся. Политика была ему не по силам, он ничего не понимал в ней.

Это бросилось в глаза, когда адвокатура случайно заметила, как приятно ей было услышать, что партия порядка вскоре усилится здоровым и ясным умом, не показным и напыщенным, а именно здоровым и ясным умом нашего друга, мистера Спарклера.

Фердинанд Полип засмеялся и сказал: «О да, наверно». Лишний голос всегда кстати.

Адвокатура выразила сожаление, что нашего друга, мистера Спарклера, нет за обедом, мистер Мердль.

— Он за границей с миссис Мердль, — отвечал хозяин, медленно пробуждаясь от припадка задумчивости, в течение которого старался засунуть ложку в рукав. — Ему незачем присутствовать здесь лично.

— Магического имени Мердля, без сомнения, достаточно, — сказала адвокатура, с тонкой юридической улыбкой.

— И... да... я то же думаю, — согласился мистер Мердль, оставив в покое ложку и засовывая руки

в рукава. — Думаю, что избиратели не станут создавать затруднений.

— Образцовые избиратели! — заметила адвокатура.

— Я рад, что вы одобряете их, — отозвался мистер Мердль.

— А избиратели двух других местечек? — продолжала адвокатура, поблескивая своими острыми глазами в сторону великолепного соседа. — Мы, юристы, всегда любопытны, всюду суем свой нос, всюду запасаемся материалом; нам ведь всё может пригодиться при случае.. Да, так избиратели двух других местечек! Как они? Так же послушны, так же способны подчиниться могучему и плодотворному влиянию столь славного имени, столь грандиозных предприятий? Эти мелкие ручейки, вливаются ли они в величественный поток, оплодотворяющий на своем пути окружающие земли, вливаются ли они в него так легко, так свободно, так прекрасно повинаясь естественным законам, что их дальнейшее направление может быть точно вычислено и предсказано?

Мистер Мердль, смущенный красноречием адвокатуры, с недоумением уставился на ближайшую солонку и после некоторого размышления пробормотал:

— Они сознают свои обязанности перед обществом, сэръ. Они выберут любого, кого я им укажу.

— Приятно слышать, — заметила адвокатура. — Приятно слышать!

Три местечка, о которых шла речь, были три жалкие деревушки на нашем острове, с невежественным, пьяным, ленивым, грязным населением, попавшим в карман мистера Мердля. Фердинанд Полип засмеялся своим откровенным смехом и шутливо заметил, что это превосходная компания. Епископ, мысленно блуждавший в заоблачных сферах, окончательно отрешился от мира.

— Скажите, — спросил лорд Децимус, озирая собрание, — что это за историю я слышал о господние, сидевшем в долговой тюрьме и оказавшемся богачом, наследником огромного состояния? Я несколько раз слышал о нем. Знаете вы эту историю, Фердинанд?

— Я знаю только, — сказал Фердинанд, — что этот господин доставил департаменту, к которому я имею честь принадлежать, — (эту фразу блестящий молодой Полип произнес таким небрежным топом, как будто хо-

тел сказать: «это обычная манера выражаться; но мы должны стоять за нее, нам это выгодно»), — целую кучу хлопот и совсем доконал нас.

— Доконал? — повторил лорд Децимус так внушительно и строго, что застенчивый депутат зажмурил глаза как можно плотнее. — Доконал?

— Да, очень хлопотливое дело, — заметил мистер Тит Полип мрачным тоном.

— В чем же, — спросил лорд Децимус, — в чем же, собственно, заключается это дело, какого рода эти... э... хлопоты, Фердинанд?

— О, это любопытная история, — отвечал этот джентльмен, — очень любопытная история. Этот мистер Доррит (его фамилия Доррит) состоял нашим должником задолго до появления благодетельной феи, наделившей его богатством. Он поставил свою подпись на контракте, который не был выполнен. Он был пайщиком фирмы, которая вела обширную торговлю .. спиртом, или пуговицами, или вином, или ваксой, или овсяной мукой, или шерстью, или свининой, или крючками и петлями, или железным товаром, или патокой, или сапогами, или чем-нибудь другим, что требуется для войск, или для моряков, или для покупателей вообще. Фирма лопнула, мы оказались в числе ее кредиторов, должники были водворены обычным порядком на казенную квартиру и так далее. Когда явилась благодетельная фея и он пожелал уплатить нам, нам пришлось столько считать и подсчитывать, скреплять и подписывать, что прошло ровно полгода, пока мы ухитрились получить с него деньги и выдать квитанцию. Это было истинное торжество официальной деятельности, — прибавил милый молодой Полип, смеясь от всего сердца. — Вряд ли кому-нибудь случилось видеть такую грудку бумаг. «Знаете, — сказал мне его поверенный, — если бы мне приходилось получить от вашего министерства две или три тысячи фунтов, а не платить их ему, я, наверно, не встретил бы столько затруднений». — «Вы правы, дружище, — ответил я, — теперь вы не скажете, что мы сидим без дела». Приятный молодой Полип снова рассмеялся. Он в самом деле был приятный, славный человек, с подкупающими манерами.

Мистер Тит Полип относился к этому делу не столь добродушно. По его мнению, со стороны мистера Доррита

было положительно неприлично затруднять департамент уплатой долга, просрочив столько лет. Но мистер Тит Полип застегивался на все пуговицы и, следовательно, был человеком с весом. Люди, застегнутые на все пуговицы, всегда люди с весом. Люди, застегнутые на все пуговицы, внушают почтение. Потому ли, что возможность расстегиваться, не применяемая на деле, импонирует людям, или потому, что мудрость сгущается и усиливается, когда ее застегнули на все пуговицы, и испаряется, когда ее расстегивают, — но во всяком случае человек, пользующийся авторитетом, всегда застегнут на все пуговицы. Мистер Тит Полип не пользовался бы своей громкой репутацией, если б его сюртук не был всегда застегнут вплоть до белого галстука.

— Скажите, пожалуйста, — спросил лорд Децимус, — у этого мистера Даррита... или Доррита есть семья?

Так как гости молчали, хозяин ответил:

— У него две дочери, милорд.

— О, вы знакомы с ними? — спросил лорд Децимус

— Миссис Мердль знакома и мистер Спарклер. Кажется, — прибавил мистер Мердль, — одна из этих юных леди произвела впечатление на Эдмунда Спарклера. Он впечатлителен, и... я... мне кажется.. победа... — Тут мистер Мердль замолчал и уставился на скатерть, как всегда делал, если замечал, что на него смотрят.

Адвокатура пришла в восторг, узнав, что семейство Мердлей познакомилось с этим семейством. Она шепнула через стол епископу, что тут можно видеть яркую иллюстрацию тех естественных законов, в силу которых подобное стремится к подобному. Она усматривала в этом тяготении богатства к богатству нечто в высшей степени замечательное и любопытное, нечто аналогичное закону всемирного тяготения и магнетизму. Епископ, свалившийся на землю, когда был поднят этот вопрос, согласился. Он заметил, что для общества в самом деле весьма выгодно, если человек, столь неожиданно получивший соблазнительную возможность творить по произволу добро и зло для общества, прильнет, так сказать, к более законной и более гигантской силе, которая (подобно нашему общему другу, принимающему нас за своим столом) издавна действует в гармонии с высшими интересами общества. Таким образом, вместо двух враждебных и соперничающих огней, большего и меньшего, светя-

щихся неровным и зловещим светом, мы получаем яркое и ровное пламя, благотворные лучи которого разливают равномерную теплоту по всей земле. Вообще епископ, повидимому, остался доволен своей точкой зрения на этот вопрос и распространился о нем довольно обстоятельно, причем адвокатура (не желая потерять лишнего присяжного) делала вид, что сидит у его ног и вкушает плоды его наставлений.

Обед и десерт длились три часа, так что застенчивый депутат совсем замерз в тени лорда Децимуса; даже напитки и кушанья не могли согреть его.

Лорд Децимус, как башня на равнине, бросал тень через весь стол, заслонял свет от почтенного члена палаты, леденил кровь в жилах почтенного члена палаты и внушал ему самое безотрадное представление об окружающем. Когда лорд Децимус предложил чокнуться этому злополучному страннику, его окутала самая зловещая тень; когда же он сказал: «Ваше здоровье, сэръ!» — все вокруг него превратилось в голую, безотрадную пустыню.

Наконец лорд Децимус, с чашкой кофе в руке, принялся ходить по зале, осматривая картины, возбуждая в умах всех присутствующих вопрос: когда он направит свои благородные крылья в гостиную и позволит мелким пташкам упорхнуть туда же. После нескольких бесплодных взмахов крыльями он, наконец, воспарил и перелетел в гостиную.

Тут возникло затруднение, которое всегда возникает, если двое людей, которым нужно переговорить, сходятся для этой цели за обедом. Каждому (за исключением епископа, который ничего не подозревал) было очень хорошо известно, что все эти яства и напитки были съедены и выпиты собственно для того, чтобы дать возможность лорду Децимусу и мистеру Мердлю поговорить минут пять. Теперь наступила эта столь заботливо подготовленная минута, — и тут-то оказалось, что требуется необычайная изобретательность, чтобы загнать этих великих мужей в одну комнату. Мистер Мердль и его благородный гость, повидимому, решились топтаться на противоположных концах залы. Напрасно обязательный Фердинанд притащил лорда Децимуса полюбоваться на бронзовых коней около мистера Мердля. Мистер Мердль ускользнул и очутился далеко. Напрасно притащил он

мистера Мердля к лорду Децимусу рассказать последнему историю драгоценной вазы из саксонского фарфора. Тут ускользнул лорд Децимус и очутился далеко, тогда как дело совсем уж было наладилось.

— Видали ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное? — сказал Фердинанд адвокатуре после двадцати неудачных попыток в том же роде.

— Часто, — сказала адвокатура.

— Слушайте, я загоню в угол одного, а вы другого, — сказал Фердинанд, — иначе у нас ничего не получится.

— Ладно, — сказала адвокатура. — Если хотите, я попытаюсь загнать Мердля, но не милорда.

Фердинанд расхохотался, несмотря на свою досаду.

— Чёрт бы побрал их обоих! — сказал он, взглянув на часы. — Мне нужно уходить. И чего они упираются! Ведь знают, что им нужно поговорить. Вот, посмотрите на них.

Они попрежнему торчали на противоположных концах залы, притворяясь, будто им никакого дела нет друг до друга, хотя нелепость этого притворства не могла бы быть очевиднее и смешнее, если бы даже их мысли были написаны мелом на их спинах. Епископ, который только что разговаривал с Фердинандом и адвокатурой, но по своей невинности и святости не понял, в чем дело, подошел к лорду Децимусу и вступил с ним в разговор.

— Попросить разве доктора изловить и задержать мистера Мердля, — сказал Фердинанд, — а затем я попытаюсь заманить, а нет, так притащить моего знатного родича.

— Если вы делаете мне честь, — сказала адвокатура с тончайшей из своих улыбок, — просить моей слабой помощи, то я душевно рад служить вам. Я не думаю, чтобы один человек мог справиться с такой задачей. Постарайтесь задержать милорда в той крайней комнате, где он теперь, повидимому, поглощен интересной беседой, а я попытаюсь загнать туда нашего милого Мердля и отрезать все пути к отступлению.

— Идет! — сказал Фердинанд.

— Идет! — сказала адвокатура.

Стоило, очень стоило, посмотреть на адвокатуру, когда, помахивая лорнетом на ленте и улыбаясь присяж-

ным всего света, она — совершенно случайно — очутилась около мистера Мердля и воспользовалась этим случаем, чтобы посоветоваться с ним насчет одного пункта. (Тут она взяла мистера Мердля под руку и незаметно потянула его за собой). Один банкир, которого мы назовем А. В., ссудил значительную сумму, скажем — пятнадцать тысяч фунтов, клиентке или доверительнице адвокатуры, которую мы назовем Р. Q. (Так как они приближались к лорду Децимусу, то адвокатура крепче стиснула мистера Мердля.) В обеспечение этой ссуды Р. Q. — допустим, вдова — передала А. В. документы на имение, которое мы назовем Блинкайтер-Доддлс. Теперь возникает следующий вопрос. Ограниченное право пользования лесами Блинкайтер-Доддлс принадлежит по завещанию сыну Р. Q., в настоящее время достигшему совершеннолетия, которого мы назовем Х. У. Однако это слишком дерзко. В присутствии лорда Децимуса занимать хозяина такой сухой материей, это слишком дерзко. В другой раз! — Адвокатура решительно сконфузилась и отказалась продолжать. Не может ли епископ уделить ей несколько минуток? (Она усадила мистера Мердля рядом с лордом Децимусом — и теперь или никогда они должны были столкнуться.)

Вся остальная компания, крайне заинтересованная и возбужденная (исключая епископа, который не подозревал, что здесь что-то происходит), собралась у камина в соседней гостиной, делая вид, что болтает о том, о сем, тогда как в действительности глаза и мысли всех были устремлены на уединившуюся пару. Хор был особенно взволнован, быть может благодаря смутному подозрению, что какой-то лакомый кусочек ускользает от него. Один епископ говорил просто и без задней мысли. Он беседовал с великим медиком о расслаблении горловых связок, которым часто страдают молодые священники, и о средствах против этой болезни духовных лиц. Доктор высказал мнение, что вернейший способ избежать этого недуга — научиться читать проповеди, прежде чем сделать из этого свою профессию. Епископ спросил с некоторым сомнением, неужели таково мнение доктора. Доктор решительно ответил: «Да».

Между тем Фердинанд, один из всей компании, егзил где-то на полдороге между нею и двумя собеседниками, как будто лорд Децимус производил какую-то

хирургическую операцию над мистером Мердлем, или наоборот — мистер Мердль над лордом Децимусом, причем ежеминутно могли потребоваться услуги ассистента. В самом деле, не прошло и четверти часа, как лорд Децимус крикнул: «Фердинанд!» — и этот последний поспешил на зов и принял участие в конференции, продолжавшейся еще пять минут. Затем хор заволновался: лорд Децимус собрался уезжать. Фердинанд, заботившийся о его популярности, снова потащил его на поводу, и он любезнейшим образом пожал руки всем присутствующим и даже заметил адвокатуре «Надеюсь, вам не слишком надоели мои плоды?» — на что адвокатура ответила «Итонские, милорд, или парламентские?» — весьма тонко давая понять, что она оценила остроу милорда и будет помнить ее по гроб жизни.

Вскоре затем удалилась важная государственная личность, застегнутая на все пуговицы, в лице мистера Тита Полипа, а за ней Фердинанд, спешивший в Оперу. Из остальных кое-кто оставался, прихлебывая ликер из золотых стаканчиков и размазывая липкие кружки по булевским столикам в тщетной надежде услышать что-нибудь от мистера Мердля. Но мистер Мердль по обыкновению лениво и вяло бродил по гостиным, не произнося ни слова.

День или два спустя весь город узнал, что Эдмунд Спарклер, эсквайр, пасынок всемирно знаменитого мистера Мердля, сделался одним из столпов министерства околичностей, и всем верным сторонникам было объявлено, что это удивительное назначение — благосклонный и милостивый знак внимания, оказанный благосклонным и милостивым Децимусом торговому сословию, интересы которого в великой коммерческой стране должны всегда... и прочая, и прочая, и прочая, — всё с подобающей помпой и трубными звуками. Поощренный этим официальным знаком внимания, удивительный банк и другие удивительные предприятия разом двинулись в гору; и толпы зевак собирались на Харлей-стрит, Кавендиш-сквер, чтобы только взглянуть на жилище золотого мешка.

И когда главный дворецкий в добрую минуту выглядывал из дверей подъезда, зеваки дивились его пышной особе и спрашивали друг друга, сколько денег лежит у него в удивительном банке. Но если б они знали по-

ближе эту respectable Немезиду,¹ то не стали бы предлагать таких вопросов и могли бы с величайшей точностью определить интересующую их сумму.

ГЛАВА XIII

Эпидемия распространяется

Что с моральной эпидемией так же трудно бороться, как и с физической, что этого рода болезнь распространяется с быстротой и опустошительностью чумы, что моральная зараза, раз утвердившись, одолевает все преграды, поражает совершенно здоровый организм и развивается при самых неподходящих условиях — это факт, установленный так же незыблемо, как то, что мы, люди, дышим воздухом. Неоценимым благодеянием для человечества была бы возможность арестовать зачумленного, в чьей слабости и пороках развились первые семена заразы, и запереть его в одиночное заключение (если не убить), прежде чем зараза распространится.

Как большой пожар наполняет своим гулом воздух на огромном расстоянии, так священное пламя, разведенное могущественными Полипами на алтаре великого Мердля, всё дальше и дальше оглашало воздух звуком этого имени. Оно звучало на всех устах, раздавалось во всех ушах.

Не было, нет и не будет другого такого человека, как мистер Мердль.

Как уже сказано, никто не знал, какие подвиги он совершил, но всякий знал, что он величайший из смертных.

В подворье Разбитых сердец, где ни у кого не было лишнего пенни в кармане, интересовались этим восьмым чудом света ничуть не меньше, чем на бирже. Миссис Плорниш, которая вела теперь мелочную и галантерейную торговлю в очень милой лавочке, в углу подворья, подле лестницы, причем ей помогали в качестве приказчиков старичок отец и Мэгги, постоянно беседовала об этом со своими посетителями. Мистер Плорниш, имевший небольшую долю в предприятиях одного мелкого под-

¹ Немезида — в древнегреческой мифологии богиня возмездия, олицетворение неизбежной судьбы.

рядчика по соседству, стоя со своей лопаточкой где-нибудь на верхушке лесов, со слов добрых людей рассказывал, что мистер Мердль — настоящий человек, понимаете, который может научить нас всех вести дела. Мистер Батист, единственный жилец мистера и миссис Плорниш, откладывал, по слухам, все свои сбережения, результат скромной и умеренной жизни, имея в виду поместить их в одно из предприятий мистера Мердля. Разбитые сердца прекрасного пола, являясь в лавочку купить чаю на два пенса и наговорить на две гиней, сообщали миссис Плорниш, что их родственница Мэри-Анна, — она ведь у них работала портнихой, сударыня, — так вот эта самая Мэри-Липа уверяет, будто у миссис Мердль столько платьев, что и на трех возах не увезешь. А уж какая красавица эта леди, хоть весь свет обойди, другой такой не сыщешь, сударыня; шея — чистый мрамор. А насчет ее сына, которого сделали министром, говорят, будто это ее сын от первого мужа, сударыня; а первый муж был генерал, командовал армией и одерживал победы, если только не врут люди. И еще говорят, будто сам мистер Мердль сказал: «Я бы, говорит, всё правительство купил и за барышом бы не погнался; только не стоит: туг, говорит, кроме убытков ничего не очистится, — так что мне за расчет?». Да что ему убытки, такому богачу, ведь у пего, говорят, золота — хоть улицы мости! А хорошо, кабы он взял в свои руки правительство, он-то небось знает, как поднялись цены на хлеб и мясо, и кроме него вряд ли кто сумеет и захочет понизить их.

Эта лихорадка так охватила подворье Разбитых сердец, что приступы ее не прекращались даже в дни посещений мистера Панкса. В эти дни болезнь только принимала особую форму и выражалась в том, что пациенты с каким-то неизреченным удовольствием и утешением ссылались на магическое имя.

— Ну, живо! — говорил мистер Панкс неисправному жильцу — Деньги на стол!

— У меня лет денег, мистер Панкс, — отвечал неплательщик. — Право, сэр, нет ничего, шести пенсов не найдется.

— Это ведь не поможет, — возражал мистер Панкс. — Вы ведь знаете, что это не поможет, а?

— Знаю, сэр! — уныло отвечал неплательщик.

— Мой хозяин знать не хочет таких отговорок, — продолжал мистер Панкс. — Он не затем меня посылает сюда. Живо! Деньги!

Неплательщик отвечал:

— Ах, мистер Панкс, если б я был тот джентльмен, о котором все трубят, если б меня звали Мердлем, сэр, я бы живо заплатил, с радостью заплатил бы!

Эти диалоги происходили обыкновенно у дверей квартир или в коридорах, в присутствии целой толпы Разбитых сердец, глубоко заинтересованных предметом разговора. Они всегда встречали подобные ссылки глухим ропотом одобрения, как решительные аргументы, и сам неплательщик, как бы он ни был смущен и уныл, всегда несколько ободрялся после такой ссылки.

— Будь я мистер Мердль, вам не пришлось бы пенять на меня, сэр. Нет, поверьте мне, — продолжал неплательщик, покачивая головой, — я бы не заставил вас беспокоиться, не успели бы вы слова молвить, а деньги уж тут, мистер Панкс!

Это заявление встречалось прежним одобрительным ропотом, как аргумент, лучше которого не придумаешь, стоящий самой уплаты денег.

Мистер Панкс заносил имя жильца в записную книжку и говорил:

— Ладно! Ваше имущество опишут, а вас выгонят из дому, больше ничего не добьетесь. Что вы мне толкуете о мистере Мердле? Вы не мистер Мердль, как и я.

— Нет, сэр, — отвечал неплательщик. — Я только желал бы, чтобы вы им были, сэр.

Толпа одобрительно подхватывала:

— Желал бы, чтоб вы им были, сэр!

— Вы бы обращались с нами снисходительнее, если б были мистером Мердлем, сэр, — продолжал неплательщик, воспрянув духом, — и было бы лучше для обеих сторон. Лучше для нас, лучше и для вас, сэр. Тогда бы вы никого не беспокоили, сэр. Не беспокоили бы нас, не беспокоили бы самого себя. Вам бы было легче на душе, сэр, и нам бы было легче, да, если б вы были мистером Мердлем, сэр.

Мистер Панкс, которого эти косвенные упреки совершенно сбивали с толку, не мог оправиться после такого залпа. Он кусал себе ногти и устремлялся затем к другому неплательщику. Разбитые же сердца окружали того,

с которым он только что расстался, и утешались самыми фантастическими вычислениями наличного капитала мистера Мердла.

Потерпев целый ряд таких поражений в один из дней, назначенных для сбора, и окончив свой обход, мистер Панкс, с записной книжкой подмышкой, направился в уголок миссис Плорниш, не с официальной целью, а просто так, с визитом. День выдался трудный, и ему хотелось немножко отвести душу. В это время он был на дружеской ноге с Плорнишами, частенько заглядывал к ним и принимал участие в общих воспоминаниях о мисс Доррит.

Гостиная миссис Плорниш была отделана под ее личным наблюдением, и стена, примыкавшая к лавке, была украшена живописью, доставлявшей хозяйке несказанное наслаждение. Она изображала передний фасад коттеджа с соломенной крышей, нарисованного так, что дверью и окном ему служили настоящие дверь и окно (насколько это позволяли совершенно непропорциональные размеры). Скромный подсолнечник и мальва роскошно цвели перед этой хижиной, а густой столб дыма, поднимавшийся над кровлей, свидетельствовал о довольстве внутри и, может быть, также о давно нечищенной трубе. Верный пес бросался навстречу дружественному посетителю, а круглая голубятня, окруженная тучей голубей, возвышалась над изгородью сада. На двери (когда она была заперта) виднелась медная дощечка с надписью: «Счастливый коттедж, Т. и М. Плорниш»; инициалы обозначали мужа и жену. Вряд ли поэзия или какое бы то ни было искусство пленяли кого-нибудь так сильно, как соединение этих двух имен на дверях нарисованного коттеджа пленяло миссис Плорниш. Ничего, что мистер Плорниш, вернувшись с работы, выкуривал трубочку, прислонившись к этой двери, причем его шляпа закрывала голубятню со всеми голубями, спина поглощала всё жилище, а засунутые в карманы руки с корнем вырывали цветущий сад и превращали всю местность в пустыню. Для миссис Плорниш коттедж всё-таки оставался прекраснейшим коттеджем, восхитительной иллюзией, и она ничуть не смущалась тем, что глаза мистера Плорниша приходились на несколько дюймов выше конька соломенной крыши. Сидеть в лавке и слушать, как отец распевает в коттедже, было для миссис Плорниш

настоящей пасторалью, возвращением золотого века. И в самом деле, если б этот век когда-либо вернулся или если бы он был когда-либо на земле, то вряд ли он мог бы породить более нежную и любящую дочь, чем эта бедная женщина

Услышав звонок, миссис Плорниш вышла из «Счастливого коттеджа» посмотреть, кто звонит.

— Я так и думала, что это вы, мистер Панкс, — сказала она, — ведь сегодня ваш день, — правда? Взгляните на отца, как он выскочил на звонок, совсем молодой приказчик. Правда, ведь он выглядит молодцом? Он рад вам больше, чем покупателю: ведь он-таки любит поболтать, особенно когда речь пойдет о мисс Доррит. А как поет, до чего в голосе! — прибавила миссис Плорниш, и ее собственный голос задрожал от гордости и удовольствия. — Вчера вечером он спел нам Стрефона, да так, что сам Плорниш встал и говорит ему через стол: «Джон Эдвард Нэнди, — говорит Плорниш отцу, — я еще не слыхал от вас таких трелей, таких, то есть, трелей, какими вы угостили нас сегодня». А ведь это приятно слышать, мистер Панкс, — правда?

Мистер Панкс дружелюбно фыркнул старику и ответил утвердительно, а затем спросил, вернулся ли весельчак Альтро. Миссис Плорниш отвечала:

— Нет, еще не вернулся, хотя он только понес работу в Вест-Энд и обещал вернуться к чаю.

Затем мистер Панкс был приглашен в «Счастливый коттедж», где застал старшего сына Плорниша, только что вернувшегося из школы. Расспросив его о сегодняшних занятиях в школе, он узнал, что старшие ученики писали примеры на букву М: Мердль, миллионы.

— А как ваши делишки, миссис Плорниш, — спросил Папкс, — благо зашла речь о миллионах?

— Слава богу, сэра, — отвечала миссис Плорниш. — Отец, голубчик, не сходите ли в лавку — привести в порядок выставку на окне, у вас столько вкуса.

Джон Эдвард Нэнди, крайне польщенный, побежал рысцей в лавку исполнить просьбу дочери. Миссис Плорниш, смертельно боявшаяся заводить речь о денежных обстоятельствах в присутствии старика, который, узнав о каком-нибудь затруднении, мог, чего доброго, снова удрать в работный дом, могла теперь откровенно поговорить с мистером Панксом.

— Торговля-то идет отлично, — сказала она, понизив голос, — покупатели не переводятся. Одна беда, сэр, — кредит.

Эта беда, которую приходится чувствовать всем, кто вступает в коммерческие сношения с обитателями подворья Разбитых сердец, была огромным камнем преткновения для торговли миссис Плорниш. Когда мистер Доррит помог ей открыть лавочку, Разбитые сердца проявили живейшее участие и готовность поддержать ее коммерцию, делающие честь человеческой природе. Признавая, что миссис Плорниш, так долго бывшая членом их общины, имеет бесспорное право на их участие, они с величайшей готовностью предложили ей свое содействие в качестве покупателей преимущественно перед всеми другими лавками. Под влиянием этих великодушных чувств они даже стали позволять себе маленькие излишества по части бакалеи, масла и других продуктов, замечая друг другу, что если они и тратят лишнее, так ведь это для соседки и друга. Таким образом торговля пошла очень ходко, и товары исчезали из лавки очень быстро. Словом, если бы Разбитые сердца платили за товар, то успех предприятия можно было бы назвать блестящим; но так как они забирали исключительно в долг, то реализованные барыши еще не начинали появляться в приходо-расходной книге лавки.

Мистер Панкс, размышляя об этом положении дел, только ерошил волосы до того, что превратился в настоящего дикобраза, когда старый Нэнди, вернувшись в коттедж с таинственным видом, попросил их выйти и взглянуть на мистера Батиста, который ведет себя очень странно, точно с ним что-то случилось.

Все трое вышли в лавку и, взглянув в окно, увидели мистера Батиста, бледного и взволнованного, который проделывал следующие необычайные штуки. Во-первых, он притаился на верхней ступеньке лестницы, спускавшейся в подворье, и осматривал улицу, прижавшись к лавке. После очень тщательного осмотра он выскочил из своего убежища и побежал по улице, точно решил уйти совсем, потом вдруг повернулся и помчался в противоположную сторону. Потом перебежал через улицу и исчез. Цель этого маневра выяснилась только после того как он неожиданно влетел в лавку с другой стороны. Оказалось, что он сделал огромный крюк, вошел в подворье



Жан-Батист кого-то увидел.

с противоположной стороны — со стороны Дойса и Клен-нэма, — пробежал всё подворье и таким путем добрался до лавки. Он едва дышал, а сердце его билось быстрее маленького колокольчика в лавке, который задрезжал, когда он второпях захлопнул за собой дверь.

— Эй, старина! — воскликнул Панкс. — Альтро, дружище, что случилось?

Мистер Батист, или синьор Кавалетто, к этому времени понимал английский язык не хуже самого мистера Панкса и мог объясняться на нем весьма удовлетворительно. Тем не менее миссис Плорниш с простительным тщеславием женщины, справедливо гордившейся своими лингвистическими способностями, выступила в качестве переводчика.

— Ему спрашивать, — сказала миссис Плорниш, — что не ладно?

— Пойдемте в «Счастливый коттедж», padrona,¹ — отвечал мистер Батист, особенно выразительно потрясая указательным пальцем правой руки. — Пойдемте!

Миссис Плорниш гордилась титулом padrona, означавшим, по ее мнению, не столько хозяйку дома, сколько знатока итальянского языка. Она тотчас согласилась на просьбу мистера Батиста, и все вместе отправились в коттедж.

— Ему надеяться — вы не боялся, — продолжала миссис Плорниш, переводя слова мистера Панкса на новый лад со своей обычной находчивостью. — Что случилось? Скажите падроне.

— Я встретил одного человека, — отвечал Батист. — Я его rincontrato.²

— Его? Кто его? — спросила миссис Плорниш.

— Скверного человека. самого скверного человека Я надеялся, что никогда больше не встречу его.

— Как вы знал ему скверный? — спросила миссис Плорниш.

— Не всё ли равно, как, padrona. Знаю, хорошо знаю.

— Ему видеть вы? — спросила миссис Плорниш.

— Нет, надеюсь, что нет. Думаю, что нет.

— Он говорит, — сказала миссис Плорниш, снисходительно переводя его речь отцу и мистеру Панксу, — что

¹ Padrona (итал.) — хозяйка, госпожа.

² Rincontrato (итал.) — встретил.

встретил скверного человека, но надеется, что ют не заметил его. Почему, — спросила она, возвращаясь к итальянскому языку, — почему надеяться скверный человек не видел?

— Радгона, голубушка, — взмолился иностранец, которому она так заботливо покровительствовала, — пожалуйста, не спрашивайте. Повторяю, не в этом дело; я боюсь этого человека. Я не хочу видеть его, не хочу встречаться с ним никогда. Довольно, прекрасная радгона. Оставим это!

Тема была так неприятна ему и так убивала его обычную веселость, что она не настаивала, тем более, что чай давно уже был готов. Тем не менее она была очень удивлена и заинтригована, равно как и мистер Панкс, пыхтевший со времени появления итальянца, точно локомотив с тяжелым составом, взбирающийся по крутому склону. Мэгги, одетая гораздо лучше, чем в прежние времена, хотя всё еще не изменившая своим чудовищным чепцам, стояла всё время на заднем фойе сцены, разинув рот и вытаращив глаза в безмолвном удивлении, от которого не опомнилась даже теперь, когда интересный разговор внезапно оборвался. Как бы то ни было, ни слова более не было сказано на эту тему, хотя, повидимому, она занимала всех, не исключая двух юных Плорнишей, уписывавших свои порции хлеба с маслом с таким видом, точно эта операция была совершенно из лишней, так как каждую минуту мог явиться самый скверный человек и съесть их. Мало-помалу, однако, мистер Батист немножко развеселился; но всё-таки он не покидал места за дверью у окна, хотя обыкновенно сидел не здесь. Как только раздавался звонок, он вздрагивал и украдкой заглядывал в лавку, придерживая в руках конец занавески, закрывавшей его лицо; очевидно, он отнюдь не был уверен, что человек, которого он боялся, не выследил его, несмотря на все обходы и повороты, с ловкостью страшной ищейки.

Двое или трое покупателей, заглядывавших в разное время в лавку, поддерживали его в этом настроении и возбуждали внимание остальных. Кончили пить чай, дети улеглись в постель, и миссис Плорниш собиралась попросить отца спеть им песенку про Хлюю, когда снова зазвонил колокольчик и вошел мистер Кленнэм.

Кленнэм поздно засиделся над книгами и письмами,

так как приемные министерства околичностей отнимали у него массу времени по утрам. Кроме того, он был расстроен недавней встречей в доме матери. Он выглядел утомленным и грустным. Тем не менее, возвращаясь домой из конторы, он зашел к Плорнишам сообщить им, что получил второе письмо от мисс Доррит.

Это известие произвело в коттедже общую сенсацию и заставило забыть о мистере Батисте. Мэгги, тотчас же пробравшаяся поближе, слушала вести о своей маленькой маме не только ушами, но, кажется, и ртом и глазами, которым, впрочем, мешали слезы. Она была в восторге, когда Кленнэм сообщил ей, что в Риме есть госпитали, очень хорошо устроенные. Мистер Панкс сильно вырос в общем мнении, когда узнали, что о нем специально упоминалось в письме. Словом, все обрадовались письму, так что Кленнэм был вполне вознагражден за свое беспокойство

— Но вы устали, сэ. Позвольте предложить вам чашку чаю, — сказала миссис Плорниш, — если вы не побрезгуете нашим скромным угощением, и позвольте от души поблагодарить вас за то, что вспомнили о нас.

Мистер Плорниш, чувствуя, что на нем лежит обязанность присовокупить что-нибудь к этому заявлению в качестве хозяина, выразил свои чувства в форме, соединявшей, по его мнению, учтивость с искренностью.

— Джон Эдвард Нэнди, — сказал мистер Плорниш, обращаясь к старику. — Сэр, не слишком-то часто приходится видеть скромные поступки без искры гордости, и значит, когда их видишь, надо кланяться и благодарить, потому что если не будешь благодарен, то тебе же будет хуже.

На это мистер Нэнди отвечал:

— Я совершенно согласен с вашим мнением, Томас, и ваше мнение совершенно такое, как мое; значит, не к чему тратить слова, и не может быть никаких оговорок, потому что наше мнение говорит да, Томас, да, и в этом мнении мы единодушны, а где есть единодушие, там не может быть разницы в мнениях, а где нет разницы, там может быть только одно мнение, а никак не два, пет, Томас, нет!

Артур, хотя и не так торжественно, поблагодарил их за такую высокую оценку его ничтожной услуги; а по поводу чая объяснил, что он еще не обедал и спешит до-

мой подкрепиться после дневных трудов, иначе, конечно, не отказался бы от их радушного приглашения. Так как мистер Панкс в это время начал как будто разводиться пары, готовясь к отплытию, то Кленнэм в заключение спросил этого джентльмена, не отправится ли он вместе с ним. Мистер Панкс выразил свою полнейшую готовность, и оба простились со «Счастливым коттеджем».

— Если вы зайдете ко мне, Панкс, — сказал Артур, когда они вышли на улицу, — разделить со мной обед или ужин, это будет почти что благодеянием с вашей стороны. Я так устал и в ужасном настроении сегодня!

— Я готов оказать вам и большую услугу, если понадобится, только скажите, — отвечал мистер Панкс.

Между этим странным господином и Кленнэмом установилось взаимное понимание и согласие с той поры, как мистер Панкс упражнялся в чехарде, прыгая через мистера Рогга на дворе Маршалъси. Когда карета двинулась прочь в достопамятный день отъезда семьи, оба провожали ее глазами и вместе ушли из тюрьмы. Когда пришло первое письмо от Крошки Доррит, никто не заинтересовался им так сильно, как мистер Панкс. Во втором письме, которое лежало теперь в кармане Кленнэма, упоминалось его имя. Хотя он никогда не высказывал своих чувств к Кленнэму, и то, что он сейчас сказал, могло сойти за самую обыкновенную любезность, но Кленнэм чувствовал, что Панкс по-своему привязался к нему. Все эти нити, переплетаясь между собою, делали для него Панкса в этот вечер настоящим якорем спасения.

— Я теперь совсем одинок, — сказал он. — Мой компаньон уехал по делу, и вы можете располагаться у нас как дома.

— Благодарю вас. Вы не обратили внимания на нашего Альтро, нет? — спросил Панкс.

— Нет. А что?

— Он веселый малый, и я люблю его, — сказал Панкс. — Но сегодня с ним случилось что-то неладное. Вы не знаете никакой причины, которая могла бы его расстроить?

— Вы удивляете меня. Нет, никакой.

Мистер Панкс объяснил, почему он предложил этот вопрос. Артур ничего не знал и ничего не мог объяснить

— Вы бы расспросили его, — сказал Панкс, — так как он иностранец.

— О чем расспросить?

— Чем он так взволнован.

— Сначала мне нужно убедиться самому, что он взволнован, — возразил Кленнэм. — Он так усерден, так благодарен мне (хотя и благодарить-то не за что), так добросовестен, что несправедливо было бы выразить недоверие к нему, а в моих расспросах он может увидеть недоверие.

— Верно, — сказал Панкс. — Но, послушайте, вам нельзя быть хозяином, мистер Кленнэм, вы слишком деликатны.

— Ну, мои отношения с Кавалетто, — отвечал Кленнэм, засмеявшись, — нельзя назвать отношениями хозяина с подчиненным. Он зарабатывает себе на хлеб резьбой. Он хранит ключи от мастерской, сторожит ее через ночь и вообще состоит у нас чем-то вроде привратника; но у нас редко бывает работа по его части. Нет, я скорее его советник, чем хозяин. Его советник и банкир — так будет вернее. Кстати, Панкс, не странно ли, что страсть к спекуляциям, заразившая теперь столько народа, заразила даже маленького Кавалетто?

— К спекуляциям? — отвечал Панкс, фыркнув. — Каким спекуляциям?

— Я говорю о предприятиях Мердля.

— О, помещение капиталов, — сказал Панкс. — Да, да. Я не знал, что вы говорите о помещении капиталов.

Оживление, с которым были сказаны эти слова, заставило Кленнэма взглянуть на Панкса, в ожидании, что тот прибавит еще что-нибудь. Но так как он ускорил шаги и машина его заработала сильнее, чем обыкновенно, то Кленнэм не стал спрашивать дальше, и вскоре они пришли к нему домой.

Обед, состоявший из супа и пирога с голубями, был подан на круглом столике около камина и, увенчанный бутылкой хорошего вина, как нельзя лучше смазал маслом машину мистера Панкса, так что, когда Кленнэм закурил трубку с длинным чубуком, предложив другую гостю, этот последний пришел в самое благодушное настроение.

Сначала они курили молча, причем мистер Панкс напоминал паровое судно при попутном ветре, ясной по-

годе, спокойном море, словом — благоприятнейших для плавания условиях. Наконец он первый нарушил молчание:

— Да. Помещение капиталов — вот как это называется.

Кленнэм бросил на него прежний взгляд и ответил:

— А!

— Я возвращаюсь к этому предмету, как видите, — сказал Панкс.

— Да, я вижу, что вы к нему возвращаетесь, — отвечал Кленнэм, недоумевая, зачем он это делает.

— Не странно ли, что эта страсть заразила даже маленького Альтро? А? — продолжал Панкс, затягиваясь. — Вы это спросили?

— Да, я сказал это

— Да. Но ведь все подворье заражено. Что вы думаете! Все до единого, кто платит и кто не платит, на всех квартирах, на всех углах встречают меня тем же: Мердль, Мердль, Мердль и только Мердль.

— Странно, что подобная зараза всегда распространяется так неудержимо, — заметил Кленнэм.

— Не правда ли? — возразил Панкс.

Покурив с минуту менее спокойно, чем можно было бы ожидать, имея в виду недавнюю смазку, он прибавил:

— А всё потому, что этот народ не понимает сути дела.

— Совершенно не понимает, — согласился Кленнэм.

— Совершенно не понимает! — воскликнул Панкс. — Ничего не смыслит в цифрах. Ничего не смыслит в денежных вопросах. Никогда не умел рассчитывать. Никогда не занимался этим, сэр.

— Да, если бы они занимались этим... — начал было Кленнэм, но мистер Панкс, не меняя выражения лица, произвел звук, до того превосходивший его обычные упражнения в этом роде, носовые и легочные, что Кленнэм замолчал.

— Если бы они занимались? — повторил Панкс вопросительным тоном.

— Мне показалось, вы что-то... сказали, — отвечал Кленнэм, не зная, как назвать его неожиданный звук.

— И не думал, — возразил Панкс. — Пока ничего. Может быть, скажу немного погодя. Если бы они занимались?..

— Если бы они занимались этого рода делами, — сказал Кленнэм, несколько удивленный странным поведением своего друга, — то, вероятно, смотрели бы на вещи правильнее.

— Как так, мистер Кленнэм? — спросил мистер Панкс с живостью и прибавил, точно сбрасывая тяжесть, которая угнетала его в течение всего разговора: — Они правы, вот что. Бессознательно, сами не понимая того, что говорят, они правы.

— Правы в том отношении, что разделяют стремления Кавалетто спекулировать вместе с мистером Мердлем?

— Именно, сэр, — отвечал Панкс. — Я вник в это дело. Я рассчитывал. Я занимался. Они смотрят на вещи правильно и здраво.

Облегчив душу от бремени, мистер Панкс затаился из своей турецкой трубки, насколько позволяли ему легкие, и пристально посмотрел на Кленнэма, который тоже затаился и выпустил дым.

С этой минуты мистер Панкс начал распространять опасную заразу, которая уже укоренилась в нем. Так распространяются эти болезни, таким незаметным путем.

— Неужели вы хотите сказать, добрейший мой Панкс, — спросил Кленнэм, подчеркивая свои слова, — что вы согласились бы поместить, скажем для примера, вашу тысячу фунтов в подобное предприятие?

— Разумеется, — отвечал Панкс. — Уже поместил, сэр.

Мистер Панкс снова затаился, снова выпустил струю дыма, снова пристально взглянул на Кленнэма.

— Да, мистер Кленнэм, уже поместил, — сказал он. — Это человек с неисчислимыми ресурсами, громадным капиталом, громадным влиянием. Его предприятия безусловно надежны, прочны, верны.

— Ну, — сказал Кленнэм, серьезно посмотрев сначала на него, потом на огонь, — удивили вы меня!

— Ба! — возразил Панкс. — Не говорите этого, сэр. Вам следовало бы сделать то же. Почему вы не сделали того же, что я?

От кого мистер Панкс схватил заразу, он так же мало мог объяснить, как если бы заболел лихорадкой. Порожденные, подобно многим физическим болезням,

людовой испорченностью, распространившись затем среди невежд, эти эпидемии с течением времени заражают и таких людей, которых нельзя назвать ни испорченными ни невеждами. От кого бы ни заразился мистер Панкс, но сам он принадлежал в глазах Кленнэма к последней категории, и тем опаснее была гнездившаяся в нем зараза.

— Так вы в самом деле поместили, — Кленнэм уже допускал это выражение, — вашу тысячу фунтов, Панкс?

— Конечно, сэр! — бодро отвечал Панкс, выпуская клуб дыма. — Жалею, что не мог поместить десяти тысяч.

У Кленнэма были две заботы, одолевавшие его в этот вечер во-первых, дело его компаньона, откладывавшееся в долгий ящик, во-вторых, то, что он видел и слышал в доме матери. Желая отвести душу и чувствуя, что может довериться своему гостю, он начал рассказывать ему о том и о другом, и то и другое привело его к исходному пункту их разговора.

Случилось это очень просто. Оставив вопрос о помещении капиталов, Кленнэм после довольно продолжительной паузы, в течение которой оба курили и смотрели на огонь, рассказал своему гостю, как и почему он вступил в непосредственные сношения с великим национальным учреждением — с министерством околичностей.

— Туго приходилось и туго приходится Дойсу, — прибавил он в заключение, со всем тем чувством, которое возбуждала в нем эта история.

— Действительно туго, — согласился Панкс. — Но теперь ведь вы распоряжаетесь за него, мистер Кленнэм?

— Что вы хотите сказать?

— Вы распоряжаетесь денежными делами фирмы?

— Да, как умею.

— Ведите их лучше, сэр, — сказал Панкс. — Вознаградите его за труды и разочарования. Не давайте ему пропустить удобный случай. Он не сумеет нажиться сам, терпеливый, заваленный работой труженик. Он надеется на вас, сэр.

— Я делаю всё, что могу, Панкс, — сказал Кленнэм с некоторым замешательством. — Но обдумать и взвесить новые предприятия, с которыми я так мало знаком, вряд ли мне под силу. Я тоже становлюсь стар.

— Стар! — воскликнул Панкс. — Ха-ха!

Этот неожиданный смех и последовавший за ним залп фырканий, вызванные глубоким удивлением и полнейшим несогласием Панкса с этой нелепой мыслью, звучали так чистосердечно, что невозможно было усомниться в его искренности.

— Он старится! — воскликнул Панкс. — Послушайте его, люди добрые. Старится! Нет, вы только послушайте его!

Решительное несогласие, выражавшееся в этих восклицаниях и новом залпе фырканий, заставило Артура удержаться от возражений. Он не на шутку боялся, что с мистером Панксом случится что-нибудь неладное, если тот будет так отчаянно выдувать из себя воздух, втягивая в то же время дым. Итак, оставив эту вторую тему, он перешел к третьей.

— Молодой, старый или средних лет, Панкс, — сказал он, дождавшись паузы, — я во всяком случае нахожусь в двусмысленном и сомнительном положении. Я даже сомневаюсь, имею ли я право распоряжаться тем, что считал до сих пор своим. Рассказать вам, в чем дело? Могу я доверить вам тайну?

— Можете, если полагаетесь на мое слово, сэр, — отвечал Панкс.

— Полагаюсь.

— Говорите. — Это лаконическое приглашение, высказывая которое он протянул Кленнэму свою грязную руку, было крайне выразительно и убедительно. Кленнэм горячо пожал эту руку.

Затем, смягчая по возможности характер своих опасений и ни единым словом не намекая на мать, но упоминая только о своей родственнице, он передал в общих чертах сущность своих подозрений и подробности свидания, при котором ему недавно пришлось присутствовать. Мистер Панкс слушал с таким интересом, что совсем забыл о турецкой трубке, и, сунув ее к щипцам на каминную решетку, до того ерошил свои лохматые волосы, что к концу рассказа походил на современного Гамлета, беседующего с тенью отца.

— Вернемтесь, сэр, — воскликнул он, ударив Кленнэма по колену, — вернемтесь, сэр, к вопросу о помещении капитала! Вы хотите отдать свое имущество, разориться для того, чтобы исправить зло, в котором вы неповинны. Не стану возражать. Это на вас похоже. Чело-

век должен быть самим собой. Но вот что я скажу. Вы боитесь, что вам понадобятся деньги, дабы избавиться от позора и унижения ваших родных. Если так, постарайтесь нажить как можно больше денег.

Артур покачал головой, задумчиво глядя на Панкса.

— Будьте как можно богаче, сэр, — продолжал Панкс, вкладывая всю свою энергию в этот совет. — Будьте как можно богаче, насколько это достижимо честным путем. Это ваша обязанность. Не ради вас, ради других. Не упускайте случая. Бедный мистер Дойс (который действительно становится стар) зависит от вас. Судьба ваших родственников зависит от вас. Вы сами не знаете, как много зависит от вас.

— Ну, ну, ну, — возразил Артур — Довольно на сегодня.

— Еще одно слово, мистер Кленнэм, и тогда довольно. Зачем оставлять все барыши хищникам, пройдохам и мошенникам? Зачем оставлять все барыши субъектам вроде моего хозяина? А вы именно так поступаете. Говоря — вы, я подразумеваю людей, подобных вам. Вы сами знаете, что это так. Я вижу это каждый день. Я ничего другого не вижу. Моя профессия — видеть это. Так вот я и говорю, — заключил Панкс, — решайтесь и выигрывайте!

— А если я решусь и проиграю? — сказал Артур.

— Не может быть, сэр, — возразил Панкс. — Я вник в это дело. Имя всемирной известности, ресурсы неистощимые, капитал громадный, положение высокое, связи обширнейшие, и правительство за него. Но может быть проигрыша!

После этого заключительного слова мистер Панкс мало-помалу успокоился; позволил своим лохматым волосам опуститься, насколько они вообще способны были опуститься, достал с решетки трубку, набил ее табаком и снова закурил. После этого они почти ничего не говорили, а сидели молча, обдумывая всё тот же вопрос, и расстались только в полночь. На прощание, пожав руку Кленнэму, мистер Панкс обошел вокруг него и затем уже направился к двери. Кленнэм понял это в смысле приглашения положиться на мистера Панкса, если когда-нибудь потребуется его помощь в тех делах, о которых они говорили в этот вечер, или в каких угодно других.

На другой день он то и дело вспоминал, даже

в такие минуты, когда был занят чем-нибудь другим о «помещении капиталов» и о том, что Панкс «вник в это дело». Он вспоминал, с каким пылом Панкс отнесся к этому вопросу, хотя вообще не был пылким человеком. Он вспоминал о великом национальном учреждении и о том, как было бы приятно улучшить дела Дойса. Он вспоминал о зловещем доме, который был его родным домом, и о новых, мрачных тенях, которые делали его еще более зловещим. Он обратил особенное внимание на то, что везде и всюду, в каждом разговоре и при каждой встрече упоминалось имя Мердля; он не мог просидеть двух часов за письменным столом, чтобы это имя не представилось ему так или иначе, не представилось какому-нибудь из его внешних чувств. Он начал думать, что это, однако, очень любопытно и что, повидимому, никто, кроме него, не выражает недоверия к этому вездесущему имени. Тут ему пришло в голову, что ведь и он, в сущности, не выражает недоверия и не имеет основания выражать недоверие, а только случайно не обращал на него внимания.

Такие симптомы, когда подобная болезнь распространилась, являются обыкновенно признаками заражения

ГЛАВА XIV

Совещание

Когда британцы на берегу желтого Тибра узнали, что их даровитый соотечественник мистер Спарклер попал в число лордов министерства околичностей, они отнеслись к этой новости так же легко, как ко всякой другой, как к любому уличному происшествию или скандалу, появляющемуся в английских газетах. Иные смеялись, иные говорили, оправдывая это назначение, что пост мистера Спарклера — чистая синекура,¹ так что занимать его может всякий дурак, лишь бы он умел подписать свое имя; иные, более важные политические оракулы, утверждали, что лорд Децимус поступил очень умно, усилив свою партию, и что единственное назначение всех вообще мест, находящихся в ведении Децимуса, — усиливать

¹ Синекура (*лат.* *Sine cura* — без заботы) — должность, дающая хороший доход, но не требующая особенного труда.

партию Децимуса. Нашлось несколько желчных бриттов, не желавших подписать этот символ веры, но их возражения были чисто теоретические. С практической точки зрения они относились к этому назначению совершенно безразлично, считая его делом каких-то других неведомых бриттов, скрывавшихся где-то там, в пространстве. Подобным же образом на родине множество бриттов в течение целых суток доказывали, что эти невидимые анонимные бритты должны были бы «вмешаться в это дело», если же они относятся к нему спокойно, то, значит, так им и нужно.

Но к какому классу принадлежали эти отсутствующие бритты, и где спрятались эти несчастные создания, и зачем они спрятались, и почему они так систематически пренебрегают своими интересами, когда другие бритты решительно не знают, чем объяснить подобное пренебрежение, — всё это оставалось неизвестным как на берегах желтого Тибра, так и на берегах черной Темзы.

Миссис Мердль распространяла новость и принимала поздравления с небрежной грацией, придававшей известию особенный блеск, как оправа алмазу.

Да, — говорила она, — Эдмунд согласился занять это место. Мистер Мердль пожелал, чтобы он занял его, и он занял. Она надеется, что место придется по вкусу Эдмунду, но не уверена в этом. Ему придется проводить большую часть времени в городе, а он любит деревню. Во всяком случае, это положение, и положение недурное. Конечно, всё это сделано из любезности к мистеру Мердлю, но и для Эдмунда будет кстати, если придется ему по вкусу. По крайней мере, у него будет занятие, он будет получать жалованье. Вопрос только, не предпочтет ли он военную службу.

Так говорил бюст, в совершенстве владевший искусством делать вид, что не придаст никакого значения тому, чего в действительности добивался всеми правдами и неправдами. Тем временем Генри Гоуэн, отвергнутый Децимусом, рыскал по знакомым от Порта дель-Пополо до Альбано, уверяя почти (если не буквально) со слезами на глазах, что Спарклер — милейший и простодушнейший из ослов, какие только паслись когда-либо на общественном пастбище; и что только одно обстоятельство обрадовало бы его (Гоуэна) больше, чем назначение этого милейшего осла, — именно его (Гоуэня) собствен-

ное назначение. Он утверждал, что место как раз для Спарклера. Ничего не делать и получать кругленькое жалованье — то и другое он исполнит как нельзя лучше. Словом, это прекрасное, разумное, самое подходящее назначение, и он готов простить Децимусу свои обиды за то, что тот отвел ослу, которого он так душевно любит, такой чудесный хлев. Его сочувствие не ограничилось этими заявлениями. Он пользовался всяким удобным случаем выставить Спарклера напоказ перед обществом, и хотя этот юный джентльмен во всех подобных случаях представлял жалкое и комичное зрелище, дружеские намерения Гоуэна были несомненны.

Сомневался в них только предмет нежной страсти мистера Спарклера. Мисс Фанни находилась теперь в затруднительном положении; ухаживания мистера Спарклера были всем известны, и как ни капризно она относилась к нему, но всё же не отвергала окончательно. При таких отношениях к этому джентльмену она не могла не чувствовать себя скомпрометированной, когда он оказывался в более смешном положении, чем обыкновенно. Так как бойкости у нее было достаточно, то она являлась иногда к нему на выручку и успешно защищала его от Гоуэна. Но, делая это, она стыдилась за него, тяготилась своим двусмысленным положением, не решаясь ни прогнать его, ни поощрять, чувствуя со страхом, что каждый день оно запутывается всё больше и больше, и терзаясь подозрениями, что миссис Мердль торжествует при виде ее затруднительного положения.

При таком душевном состоянии нет ничего удивительного, что мисс Фанни вернулась однажды с концерта и бала у миссис Мердль крайне взволнованной и в ответ на попытки сестры успокоить ее сердито оттолкнула ее от туалетного столика, за которым сидела, стараясь заплакать, и объявила, что ненавидит весь свет и желала бы умереть.

— Милая Фанни, что случилось? Расскажи мне.

— Что случилось, кротенок? — сказала Фанни. — Если б ты не была самой слепой из слепых, то не спрашивала бы меня. И еще воображает, что у нее тоже есть глаза!

— Мистер Спарклер, милочка?

— Ми-стер Спарк-лер! — повторила Фанни с невыразимым презрением, как будто это было последнее суще-

ство во всей солнечной системе, о котором она могла бы подумать. — Нет, мисс летучая мышь, не он.

Вслед затем она почувствовала угрызения совести за то, что дурно обращалась с сестрой, и, всхлипывая, объявила, что она сама знает, как она отвратительна, но не виновата, что ее доводят до этого.

— Ты верно нездорова, милая Фанни.

— Вздор и чепуха! — возразила молодая леди, снова рассердившись. — Я так же здорова, как ты. Может быть, еще здоровей, хоть и не хвастаюсь своим здоровьем.

Бедная Крошка Доррит, не зная, что сказать ей в утешение, и видя, что ее слова только раздражают сестру, решила лучше молчать. Сначала Фанни и это приняла за обиду и принялась жаловаться своему зеркалу, что из всех несносных сестер, какие только могут быть на свете, самая несносная сестра — тихоня. Что она сама знает, какой у нее по временам тяжелый характер; сама знает, как она бывает по временам отвратительна; но когда она отвратительна, то лучше всего прямо сказать ей об этом, а так как у ней сестра — тихоня, то ей никогда прямо не говорят об этом, и оттого она еще больше раздражается и злится. Кроме того (сердито заявила она зеркалу), она вовсе не нуждается в том, чтобы ее прощали. С какой стати ей постоянно просить прощения у младшей сестры? Конечно, ее всегда стараются ставить в положение виноватой — правится ли ей это или нет. В заключение она залилась слезами, а когда Эми под села к ней и принялась утешать, сказала:

— Эми, ты ангел!.. Но вот что я тебе скажу, милочка, — заявила она, успокоенная ласками сестры, — так дело идти не может, надо так или иначе положить ему конец.

Так как это заявление было довольно неопределенно, хотя и высказано очень решительным тоном, то Крошка Доррит могла только ответить:

— Поговорим об этом.

— Именно, душа моя, — согласилась Фанни, вытирая глаза. — Поговорим об этом. Я успокоилась, и ты можешь дать мне совет. Посоветуешь ты мне что-нибудь, моя кроткая девочка?

Даже Эми улыбнулась, услышав такую просьбу, но всё-таки ответила:

— Охотно, Фанни, если только сумею.

— Спасибо тебе, Эми, милочка, — сказала Фанни, целуя ее. — Ты мой якорь спасения.

Нежно обняв этот якорь, Фанни взяла с туалетного столика флакон с одеколоном, велела горничной подать чистый платок и, отпустив горничную спать, приготовилась слушать совет, время от времени смачивая лоб и веки одеколоном.

— Душа моя, — начала она, — наши характеры и взгляды довольно несходны (поцелуй меня, крошка!), так что тебя, по всей вероятности, удивят мои слова. Я хочу сказать, что при всем нашем богатстве мы занимаем довольно двусмысленное положение в обществе. Ты не понимаешь, что я хочу сказать, Эми?

— Я, наверно, пойму, — кротко отвечала Эми, — продолжай.

— Ну, милочка, я хочу сказать, что мы всё-таки новички, чужие в светском обществе.

— Я уверена, Фанни, — возразила Крошка Доррит, восхищенная сестрой, — что никто не скажет этого о тебе.

— Может быть, моя милая девочка, — сказала Фанни, — хотя во всяком случае это очень мило и любезно с твоей стороны. — Тут она приложила платок к ее лбу и немного подула на него. — Но всем известно, что ты самая милая крошка, какие только когда-нибудь бывали! Слушай же, дитя. Папа держит себя настоящим, хорошо воспитанным джентльменом, но всё-таки отличается в кое-каких мелочах от других джентльменов с таким же состоянием, отчасти оттого, что ему, бедняжке, пришлось столько вытерпеть, отчасти же оттого, что не может отделаться от мысли, будто другие вспоминают об этом, когда он говорит с ними. Дядя — тот совсем непредставителен. Он милый, я его очень люблю, но в обществе он положительно может шокировать. Эдуард — страшный мот и кутила. Я не хочу сказать, что это дурно само по себе, вовсе нет, но он не умеет вести себя, не умеет бросать деньги так, чтобы приобрести славу настоящего светского кутилы.

— Бедный Эдуард! — вздохнула Крошка Доррит, и вся история ее семьи вылилась в этом вздохе.

— Да. Но и мы с тобой бедные, — возразила Фанни довольно резко. — Да, именно. Вдобавок ко всему у нас нет матери, а вместо нее миссис Дженераль. А я опять-таки скажу, радость моя, что миссис Дженераль — кошка

в перчатках и что она поймает-таки мышку. Вот помни мое слово, эта женщина будет нашей мачехой.

— Полно, Фанни... — начала было Крошка Доррит.

— Нет, уж не спорь со мной об этом, Эми, — перебила Фанни, — я лучше тебя знаю. — Сознывая резкость своего тона, она снова провела платком по лбу сестры и подула на него. — Вернемся к главному, душа моя. Так вот, у меня и является вопрос (я ведь горда и самолюбива, Эми, как тебе известно, даже слишком горда), хватит ли у меня решимости доставить семье надлежащее положение в обществе?

— Как так? — с беспокойством спросила сестра.

— Я не хочу, — продолжала Фанни, не отвечая на вопрос, — быть под командой у миссис Дженераль; я не хочу, чтобы мне покровительствовала или меня мучила миссис Мердль.

Крошка Доррит взяла ее за руку с еще более беспокойным взглядом. Фанни, жестоко наказывая свой собственный лоб беспощадными ударами платка, продолжала точно в лихорадке:

— Никто не может отрицать, что так или иначе, каким бы то ни было путем, он во всяком случае достиг видного положения. Никто не может отрицать, что он хорошая партия. А что касается ума, так, право, я думаю, что умный муж не годится для меня. Я не могу подчиняться.

— О милая Фанни! — воскликнула Крошка Доррит, почти с ужасом начиная понимать, что хочет сказать сестра. — Если бы ты полюбила кого-нибудь, ты относилась бы к этому совершенно иначе. Если бы ты полюбила кого-нибудь, ты бы не думала о себе, ты бы думала только о нем, жила бы только для него. Если бы ты любила его.. — Но тут Фанни опустила руку с платком и пристально взглянула на сестру.

— Право? — воскликнула она. — В самом деле? Бог мой, как много иные люди знают об иных вещах! Говорят, у каждого есть своя слабость, и сдается мне, я открыла твою, Эми! Ну, ну, крошка, я пошутила, — прибавила она, смачивая лоб сестры одеколоном, — не будь такой глупой кошечкой и не трать красноречия на такие невозможные нелепости. Полно, вернемся к моему делу.

— Милая Фанни, позволь мне сказать, что я пред-

почла бы вернуться к нашей прежней жизни, чем видеть тебя богатой и замужем за мистером Спарклером.

— Позволить тебе сказать, милочка? — возразила Фанни. — Ну, разумеется, я позволю тебе сказать все, что угодно. Надеюсь, я не стесняю тебя. Мы решили поговорить обо всем этом вдвоем. Что касается мистера Спарклера, то я не собираюсь обвенчаться с ним сегодня вечером или завтра утром.

— Но со временем?

— Пока не собираюсь, — отвечала Фанни равнодушно. Потом, внезапно переходя от равнодушия к волнению, прибавила: — Ты толкуешь об умных людях, крошка! Очень легко и приятно толковать об умных людях, но где они? Я их не вижу вокруг себя.

— Милая Фанни, мы так недавно...

— Давно или недавно, — перебила Фанни, — но мне надоело наше положение, мне не нравится наше положение, и я намерена изменить его. Другие девушки, иначе воспитанные, выросшие в других условиях, могут сколько угодно дивиться на мои слова или действия. Пусть себе дивятся. Они идут своей дорогой, как ведут их жизнь и характер, я — своей.

— Фанни, милая Фанни, ты знаешь, что по своим достоинствам можешь быть женой человека гораздо выше мистера Спарклера.

— Эми, милая Эми, — передразнила Фанни, — я знаю, что мне хочется приобрести более определенное и видное положение, которое дало бы мне возможность показать себя этой наглой женщине.

— Неужели, прости мне этот вопрос, Фанни, неужели ты выйдешь из-за этого за ее сына?

— Что ж, может статься, — отвечала Фанни с торжествующей улыбкой. — Это еще не самый неприятный путь для достижения моей цели, милочка. Эта наглая тварь, пожалуй, не желает ничего лучшего, как сбыть за меня своего сынка и прибрать меня к рукам. Но она, видно, не догадывается, какой отпор я ей дам, когда сделаюсь женой ее сына. Я буду противоречить ей на каждом шагу, буду стараться превзойти ее во всем. Я сделаю это целью своей жизни.

Сказав это, Фанни поставила флакон и принялась ходить по комнате, останавливаясь всякий раз, как начинала говорить:

— Одна вещь несомненно в моих руках, дитя: я могу сделать ее старухой — и сделаю!

Она снова прошлась по комнате.

— Я буду говорить о ней как о старухе. Я буду делать вид, что знаю ее годы (хотя бы и не знала их, но наверно узнаю от ее сына). Я буду говорить ей, Эми, ласково говорить, самым покорным и ласковым тоном, как хорошо она сохранилась для своих лет. Она будет казаться старше в моем обществе. Может быть, я не так хороша собой, как она, об этом не мне судить, но во всяком случае настолько хороша, чтобы быть для нее бельмом на глазу, — и буду!

— Сестра, милочка, неужели ради этого ты готова обречь себя на несчастную жизнь?

— Какую несчастную жизнь, Эми? Это будет жизнь как раз по мне. По натуре или в силу обстоятельств — всё равно, но такая жизнь более по мне, чем всякая другая!

В этих словах прозвучало что-то горькое; но она тотчас же гордо усмехнулась, прошлась по комнате и, бросив взгляд в зеркало, сказала:

— Фигура! Фигура, Эми! Да. У этой женщины хорошая фигура. Я отдаю ей должное и не стану отрицать этого. Но неужели она так хороша, что другим и тягаться нельзя? Пусть-ка другая женщина, помоложе, начнет одеваться, как она, и мы еще посмотрим!

Должно быть, в этой мысли было что-то утешительное и приятное, так как она уселась на прежнее место с более веселым лицом. Взяв руки сестры в свои и похлопывая всеми четырьмя руками над головой, она засмеялась, глядя в глаза сестре.

— А танцовщица, Эми, которую она совсем забыла, — танцовщица, которая ничуть не похожа на меня и о которой я никогда не напоминаю ей, о нет, никогда. Но эта танцовщица будет танцевать перед ней всю жизнь такой танец, который чуть-чуть смутит ее наглое спокойствие. Чуть-чуть, моя милая Эми, самую чуточку!

Встретив серьезный и умоляющий взгляд Эми, она опустила руки и зажала ей рот.

— Нет, не спорь со мной, дитя, — сказала она более суровым тоном, — это бесполезно. Я смыслю в этих вещах больше, чем ты. Я еще не решилась окончательно, но, может быть, решусь. Теперь мы всё обсудили и мо-

жем лечь спать. Покойной ночи, самая милая, самая лучшая маленькая мышка! — С такими словами Фанни отпустила свой якорь, находя, очевидно, что на этот раз наслышалась достаточно советов.

С этих пор Эми стала еще внимательнее наблюдать за мистером Спарклером и его владычицей, имея основание придавать особенную важность всему, что между ними происходило. По временам Фанни, повидимому, решительно не способна была перенести его умственное убожество и была с ним так резка и нетерпелива, что, казалось, вот-вот прогонит его. Иногда же, обращаясь с ним гораздо лучше, забавлялась его глупостью и, повидимому, находила утешение в сознании собственного превосходства. Если бы мистер Спарклер не был вернейшим и покорнейшим из вздыхателей, он давно бы убежал от такой пытки и не остановился бы, пока не создал бы между собой и своей волшебницей расстояния, равного по крайней мере расстоянию от Лондона до Рима. Но у него было не больше собственной воли, чем у лодки, буксируемой пароходом, и он покорно следовал за своей жестокой повелительницей в бурю и в затишье.

Всё время миссис Мердль мало говорила с Фанни, но много говорила о ней. Она поглядывала на нее в лорнет и восхищалась ее красотой как бы против воли, не будучи в силах устоять перед ее прелестью. Вызывающее выражение на лице Фанни, когда она слышала эти излияния (а почти всегда случалось так, что она их слышала), показывало, что беспристрастному бюсту не дожидаться уступок с ее стороны; но самая сильная месть, которую позволял себе бюст, заключалась в словах, произносимых довольно громко: «Избалованная красавица, но с таким личиком и фигурой — это вполне естественно».

Месяца два спустя после совещания Крошка Доррит подметила нечто новое в отношениях мистера Спарклера и Фанни. Мистер Спарклер, точно по какому-то тайному уговору, рта не раскрывал, не взглянув сначала на Фанни, точно спрашивая, можно ли ему говорить. Эта молодая леди была слишком осторожна, чтобы ответить ему взглядом, но если говорить ему разрешалось, она молчала, если нет, то сама начинала говорить. Мало того, всякий раз, когда мистер Генри Гоуэн пытался со свойственным ему дружеским участием выставить мистера Спарклера в наилучшем свете, — последний реши-

тельно на это не шел. И это еще не всё, каждый раз при этом Фанни, совершенно случайно и без всякого умысла, пускала какое-нибудь замечание, такое ядовитое, что мистер Гоуэн сразу отшатывался, точно нечаянно попал рукой в улей.

Было и еще одно обстоятельство, подтверждавшее опасения Крошки Доррит, хоть и не важное само по себе. Поведение мистера Спарклера по отношению к ней самой изменилось. Оно приняло родственный характер. Иногда на вечере — дома или у миссис Мердль, или у других знакомых — рука мистера Спарклера нежно поддерживала ее за талию. Мистер Спарклер никогда не объяснял этого внимания, но улыбался глупейшей и добродушной улыбкой собственника, которая на лице такого тяжеловесного джентльмена была необычайно красноречива.

Однажды Крошка Доррит сидела дома, с грустью думая о Фанни. Анфилада гостиных в их доме заканчивалась комнатой в виде окна-фонаря, с выступом над улицей; отсюда открывался живописный и оживленный вид на Корсо. Около трех-четырёх часов пополудни по английскому времени вид был особенно живописным, и Крошка Доррит любила в это время сидеть и думать о своих делах, как сиживала она на балконе в Венеции. Однажды, когда она сидела в этой комнате, чья-то рука тихонько дотронулась до ее плеча, и Фанни, сказав «Ах, Эми, милочка», — уселась рядом с ней. Сиденьем для них служило окно, когда какая-нибудь процессия двигалась по улице, они вывешивали кусок яркой материи и, наклонившись над ним, смотрели из окна. Но в этот день не было никакой процессии, и Крошка Доррит удивилась, увидав Фанни, которая в это время обычно каталась верхом

— Ну, Эми, — сказала Фанни, — о чем ты задумалась?

— Я думала о тебе, Фанни.

— Неужели? Вот странное совпадение! Надо тебе сказать, что я не одна, со мной пришел один человек. Уж не думала ли ты и об этом человеке, Эми?

Эми думала об этом человеке, так как это был мистер Спарклер. Впрочем, она не сказала об этом, а молча пожала ему руку. Мистер Спарклер подошел и сел

рядом с нею, и она почувствовала, что братская рука охватывает ее талию, видимо стараясь прихватить и Фанни.

— Ну, сестренка, — сказала Фанни со вздохом, — надеюсь, ты понимаешь, что это значит.

— Она прекрасна и безумно любима, — залепетал мистер Спарклер, — и без всяких этаких глупостей, и вот мы решили...

— Можете не объяснять, Эдмунд, — сказала Фанни.

— Да, радость моя, — отвечал мистер Спарклер.

— Одним словом, милочка, — продолжала Фанни, — мы обручились. Надо сообщить об этом папе, сегодня или завтра, при первом удобном случае. Затем дело кончено, и разговаривать больше не о чем.

— Милая Фанни, — почтительно заметил мистер Спарклер, — я бы желал сказать несколько слов Эми.

— Ну, ну, говорите, только живей, — отвечала молодая леди.

— Я уверен, моя дорогая Эми, — начал мистер Спарклер, — что если есть девица, кроме вашей прелестной и умной сестры, без всяких этаких глупостей...

— Мы уже знаем это, Эдмунд, — перебила мисс Фанни. — Довольно об этом. Говорите, в чем дело, и оставьте в покое «всякие этакие глупости».

— Да, радость моя, — согласился мистер Спарклер. — И я уверяю вас, Эми, что для меня не может быть большего счастья, кроме счастья удостоиться выбора такой чудесной девушки, у которой нет и в помине всяких этаких...

— Эдмунд, ради бога! — перебила Фанни, топнув своей хорошенькой ножкой.

— Радость моя, вы совершенно правы, — сказал мистер Спарклер, — я знаю, что у меня есть эта привычка. Я хотел только сказать, что для меня не может быть большего счастья, для меня лично, кроме счастья соединиться узами брака с превосходнейшей и чудеснейшей из девиц, да, не может быть большего счастья, чем питать нежную дружбу к Эми. Я, может быть, не особенно смышлен, — мужественно продолжал мистер Спарклер, — и я даже думаю, что если вы вздумаете проголозовать этот вопрос в обществе, то общество скажет, что у меня не много смысла, но, чтобы оцепить Эми, у меня смысла хватает.

Тут он поцеловал ее в подтверждение своих слов.

— Ножик, вилка и комната, — продолжал мистер Спарклер, становясь положительно красноречивым для такого жалкого оратора, — всегда найдутся для Эми в нашем доме. Мой родитель, наверно, с радостью примет ту, которую я так уважаю. А моя мать, женщина замечательно видная и без...

— Эдмунд, Эдмунд! — крикнула мисс Фанни.

— Бесспорно, душа моя, виноват, — спохватился мистер Спарклер. — Я знаю, что у меня есть эта привычка, и очень вам благодарен, мое божество, что вы берете на себя труд исправлять мои недостатки; но все говорят, что моя мать замечательно видная женщина и в самом деле без всяких этаких...

— Может быть «без этаких», может быть «с этакими», — перебила Фанни, — но, прошу вас, довольно об этом.

— Хорошо, радость моя, — сказал мистер Спарклер.

— Ну, кажется, вы всё сказали, Эдмунд, — не правда ли? — спросила Фанни.

— Да, мое божество, — отвечал мистер Спарклер, — и прошу извинения, что наговорил так много.

Мистер Спарклер догадался по какому-то наитию свыше, что вопрос его повелительницы означал: не пора ли вам убираться? Ввиду этого он убрал братскую руку и скромно заметил, что, кажется, ему пора уходить. Перед уходом Эми поздравила его, насколько позволяли ей смущение и грусть

Когда он ушел, она сказала:

— О Фанни, Фанни! — и, прижавшись к ее груди, заплакала. Фанни засмеялась было, но потом прижалась лицом к лицу сестры и тоже всплакнула... немножко. В первый и последний раз она обнаружила скрытое, подавленное, затаенное чувство раскаяния в своем поступке. С этой минуты она вступила на твердый путь и пошла по нему с обычной самоуверенностью и решимостью.

ГЛАВА XV

Нет никаких препятствий к браку этих двух лиц

Услышав от своей старшей дочери, что она приняла предложение мистера Спарклера, мистер Доррит отнесся к этому сообщению с величественным достоинством и

вместе с тем с родительской гордостью. Достоинству его льстила возможность выгодного расширения связей и знакомств, для родительской гордости было приятно сознавать, что мисс Фанни так сочувственно относилась к этой великой цели его существования. Он дал ей понять, что ее благородное честолюбие находит гармонический отзвук в его сердце, и благословлял ее как дитя, преданное своему долгу и хорошим принципам, самоотверженное и готовое поддержать фамильное достоинство.

К мистеру Спарклеру, когда тот, с разрешения мисс Фанни, явился к нему с визитом, он отнесся весьма благосклонно. Он объявил, что предложение, коим почтил его мистер Спарклер, приходится ему по сердцу, так как, во-первых, гармонирует с чувствами его дочери, во-вторых, дает возможность его семье вступить в родственную связь с величайшим умом нашего века, мистером Мердлем. Он упомянул также в самых лестных выражениях о миссис Мердль как о блестящей леди, занимающей одно из первых мест в обществе по своему изяществу, грации и красоте. Он счел своим долгом заметить (будучи уверен, что джентльмен с возвышенными чувствами мистера Спарклера сумеет понять его слова, как должно), что не может считать этот вопрос окончательно решенным, пока не спишется с мистером Мердлем и не удостоверится, что предложение мистера Спарклера согласуется с желаниями этого достойного джентльмена и что его (мистера Доррита) дочь встретит в новой семье прием, какого может ожидать по своему положению в свете, приданому и личным дарованиям и который она сумеет оправдать в глазах мира, если можно так выразиться, не будучи заподозренной в каких-либо низменных денежных расчетах. Высказывая это в качестве джентльмена с независимым положением и в качестве отца, он, однако, скажет откровенно, без всяких дипломатических тонкостей, что надеется на благополучное окончание этого дела, считает предложение условно принятым и благодарит мистера Спарклера за честь. В заключение он присовокупил несколько замечаний более общего характера насчет своего.. кха... независимого положения и.. хм.. отеческих чувств, которые, быть может, делают его пристрастным. Словом, он принял предложение мистера Спарклера так же, как принял бы от него три или четыре полукроны в былые дни.

Мистер Спарклер, ошеломленный этим потоком слов, низвергшимся на его неповинную голову, отвечал кратко, но убедительно, что он убедился, что мисс Фанни без всяких этаких глупостей, и уверен, что от родителя помехи не будет. На этом месте предмет его нежной страсти захлопнул его, как ящик с пружинкой, и выпроводил вон.

Явившись немного погодя засвидетельствовать свое почтение бюсту, мистер Доррит был принят с отменным вниманием. Миссис Мердль слышала от Эдмунда о его предложении. В первую минуту она удивилась, так как не могла себе представить Эдмунда женатым человеком. Общество не может представить себе Эдмунда женатым человеком. Но, разумеется, она догадалась (мы, женщины, инстинктивно догадываемся о подобных вещах, мистер Доррит), что Эдмунд без ума от мисс Доррит, и считает долгом откровенно заметить мистеру Дорриту, что с его стороны грешно вывозить за границу очаровательную девушку, которая кружит головы своим соотечественникам.

— Должен ли я заключить, сударыня, — сказал мистер Доррит, — что выбор мистера Спарклера.. кха.. одобряется вами?

— Будьте уверены, мистер Доррит, — отвечала эта леди, — что я лично в восторге.

Мистеру Дорриту было очень лестно слышать это.

— Я лично в восторге, — повторила миссис Мердль.

Случайное повторение этого «лично» побудило мистера Доррита выразить надежду, что согласие мистера Мердля также не заставит себя ждать.

— Я не могу, — сказала миссис Мердль, — взять на себя смелость ответить положительно за мистера Мердля; джентльмены, в особенности те джентльмены, которых общество называет капиталистами, имеют свои взгляды на вопросы этого рода. Но я думаю, — это только мое мнение, мистер Доррит, — я думаю, что мистер Мердль, — она оглянула свою пышную фигуру и закончила, не торопясь — будет в восторге.

При упоминании о джентльменах, которых общество называет капиталистами, мистер Доррит кашлянул, как будто это выражение возбудило в нем какое-то внутреннее сомнение. Миссис Мердль заметила это и продолжала, стараясь уяснить себе причину этого:

— Хотя, правду сказать, мистер Доррит, я могла бы обойтись без этого замечания и высказала его только для того, чтобы быть вполне откровенной с человеком, которого я так высоко уважаю и с которым надеюсь вступить в еще более тесные и приятные отношения, так как весьма вероятно, что вы и мистер Мердль смотрите на эти вещи с одинаковой точки зрения, с той разницей, что обстоятельства, счастливые или несчастные, заставили мистера Мердля отдаться торговым операциям, которые, как бы ни были они обширны, всегда более или менее суживают кругозор человека. Я, конечно, совершенное дитя в деловых вопросах, — прибавила миссис Мердль, — но мне кажется, что торговые операции должны суживать кругозор.

Это искусное сопоставление мистера Доррита с мистером Мердлем так, что каждый из них уравнивал другого и никому не отдавалось предпочтения, подействовало как успокоительное средство на кашель мистера Доррита.

Он заметил с изысканной учтивостью, что при всем своем уважении к такой утонченной и образцовой леди, как миссис Мердль (она отвечала поклоном на этот комплимент), позволит себе протестовать против высказанного ею мнения, будто операции мистера Мердля, имеющие так мало общего с обыкновенными людскими делюшками, могут оказать какое-либо вредное влияние на породивший их гений; напротив, они окрыляют его и дают ему большой простор.

— Вы само великодушие, — отвечала миссис Мердль с приятнейшей из своих улыбок, — будем надеяться, что вы правы. Но, признаюсь, я питаю какой-то суеверный ужас к делам.

Тут мистер Доррит разрешился новым комплиментом в том смысле, что дела, как и время, которое играет в них такую огромную роль, созданы для рабов; а миссис Мердль, которая так невозбранно царит над сердцами, незачем и знать о них. Миссис Мердль засмеялась и сделала вид, что краснеет: один из лучших эффектов бюста.

— Я высказала всё это, — заметила она, — только потому, что мистер Мердль всегда принимал живейшее участие в Эдмунде и горячо желал оказать ему всяческое содействие. Общественное положение Эдмунда вам

известно. Его личное состояние всецело зависит от мистера Мердля. При своей младенческой неопытности в делах я не могу сказать ничего больше.

Мистер Доррит снова дал понять, со свойственной ему любезностью, что дела — вещь слишком низкая для волшебниц и очаровательниц. Затем он заявил о своем намерении написать, в качестве джентльмена и родителя, мистеру Мердлю. Миссис Мердль одобрила это намерение от всего сердца или от всего притворства, что было одно и то же, и сама написала восьмому чуду света с ближайшей почтой.

В своем послании, как и в своих разговорах и диалогах, мистер Доррит излагал этот великий вопрос со всевозможными украшениями, вроде тех завитушек и росчерков, какими каллиграфы украшают тетради и прописи, где заголовки четырех правил арифметики превращаются в лебедей, орлов, грифов, а прописные буквы сходят с ума в чернильном экстазе. Тем не менее содержание письма было настолько ясно, что мистер Мердль разобрал, в чем дело. Мистер Мердль отвечал в соответственном смысле. Мистер Доррит отвечал мистеру Мердлю. Мистер Мердль отвечал мистеру Дорриту; и вскоре сделалось известным, что письменные переговоры этих великих людей привели к удовлетворительному результату.

Только теперь выступила на сцену Фанни, вполне подготовленная для своей новой роли. Только теперь она окончательно затмила мистера Спарклера и стала сиять за обоих, вдесятеро ярче. Не чувствуя более неясности и двусмысленности положения, так тяготивших ее раньше, этот благородный корабль развернул паруса и поплыл полным ходом, не отклоняясь от курса и выказывая в полном блеске свои превосходные качества.

— Так как предварительные объяснения привели к благоприятному результату, — сказал мистер Доррит, — то, я полагаю, душа моя, пора.. кха... формально объявить о твоей помолвке миссис Дженераль...

— Папа, — возразила Фанни, услышав это имя, — я не понимаю, какое дело до этого миссис Дженераль.

— Душа моя, — сказал мистер Доррит, — этого требует простая вежливость по отношению к леди.. хм... столь благовоспитанной и утонченной...

— О, меня просто тошнит от благовоспитанности и

утонченности миссис Дженераль, папа, — сказала Фанни, — мне надоела миссис Дженераль!

— Надоела, — повторил мистер Доррит с изумлением и негодованием, — тебе... кха... надоела миссис Дженераль!

— До смерти надоела, папа, — сказала Фанни. — И я, право, не знаю, какое ей дело до моей свадьбы. Пусть занимается собственными брачными проектами, если они у нее есть.

— Фанни, — возразил мистер Доррит веским и внушительным тоном, резко противоречившим легкомысленному тону дочери, — прошу тебя объяснить... кха... что ты хочешь сказать?

— Я хочу сказать, папа, — отвечала Фанни, — что если у миссис Дженераль имеется какой-нибудь брачный проект, то он, без сомнения, может заполнить всё ее свободное время. Если не имеется, тем лучше, но в том и другом случае я желала бы избежать чести оповещать ее о моей помолвке.

— Позволь тебя спросить, Фанни, — сказал мистер Доррит, — почему?

— Потому что она и сама знает о моей помолвке, папа, — возразила Фанни. — Она очень наблюдательна, смею сказать. Я заметила это. Пусть же догадывается сама. А если не догадается, то узнает, когда мы обвенчаемся. Надеюсь, вы не сочтете недостатком дочерней почтительности, если я скажу, что это самое подходящее время для миссис Дженераль.

— Фанни, — возразил мистер Доррит, — я поражен, я возмущен этим... хм... капризным и непонятым проявлением ненависти... кха... к миссис Дженераль.

— Пожалуйста, не говорите о ненависти, папа, — не унималась Фанни, — так как, уверяю вас, я не считаю миссис Дженераль достойной моей ненависти.

В ответ на эти слова мистер Доррит поднялся со стула и величественно остановился перед дочерью, устремив на нее взгляд, полный строгого упрека. Его дочь, повертывая браслет на руке и поглядывая то на браслет, то на отца, сказала:

— Как вам угодно, папа. Мне очень жаль, что я не угодила вам, но это не моя вина. Я не дитя, я не Эми, и я не намерена молчать.

— Фанни, — произнес мистер Доррит задыхающимся

голосом после величественной паузы, — если я попрошу тебя остаться здесь, пока я формально не сообщу миссис Дженераль как образцовой леди и... хм... доверенному члену семьи о... кха... предполагаемой перемене, если я... кха... не только попрошу, но и... хм... потребую этого...

— О папа, — перебила Фанни выразительным тоном, — если вы придаете этому такое значение, то мне остается только повиноваться. Надеюсь, впрочем, что я могу иметь свое мнение об этом предмете, так как оно не зависит от моей воли.

С этими словами Фанни уселась, приняв вид воплощенной кротости, которая, впрочем, в силу крайности, казалась вызовом, а ее отец, не удостоивая ее ответом или не зная, что ответить, позвонил мистеру Тинклеру.

— Миссис Дженераль.

Мистер Тинклер, не привыкший к таким лаконичским приказаниям, когда дело шло о прекрасной лакировщице, стоял в недоумении. Мистер Доррит, усмотрев в этом недоумении всю Маршалси со всеми приношениями, моментально рассвирепел:

— Как вы смеете? Это что значит?

— Виноват, сэр, — оправдывался мистер Тинклер. — Я не знаю...

— Вы отлично знаете, сэр, — крикнул мистер Доррит, побагровев. — Не говорите вздора... кха... отлично знаете. Вы смеетесь надо мной, сэр.

— Уверяю вас, сэр... — начал было мистер Тинклер.

— Не уверяйте меня, — возразил мистер Доррит. — Я не желаю, чтобы слуга уверял меня. Вы смеетесь надо мной. Вы получите расчет... хм... вся прислуга получит расчет. Чего же вы ждете?

— Ваших приказаний, сэр.

— Вздор, — возразил мистер Доррит, — вы слышали мое приказание. Кха... хм... передайте миссис Дженераль мое почтение и просьбу пожаловать сюда, если это ее не затруднит. Вот мое приказание.

Исполняя эту просьбу, мистер Тинклер, по всей вероятности, сообщил, что мистер Доррит в жестоком гневе, — по крайней мере юбки миссис Дженераль что-то очень скоро зашелестели в коридоре, как будто даже мчались к комнате мистера Доррита. Однако за дверью

они приостановились и вплыли в комнату с обычной величавостью.

— Миссис Дженераль, — сказал мистер Доррит, — садитесь, пожалуйста.

Миссис Дженераль с грациозным поклоном опустилась на стул, предложенный мистером Дорритом.

— Сударыня, — продолжал этот джентльмен, — так как вы были столь любезны, что взяли на себя труд.. хм... довершить образование моих дочерей, и так как я убежден, что всё, близко касающееся их, интересует и вас...

— О конечно, — заметила миссис Дженераль самым деревянным тоном.

— То я считаю приятным для себя долгом сообщить вам, что моя дочь, здесь присутствующая...

Миссис Дженераль слегка наклонила голову в сторону Фанни. Та отвечала низким поклоном, затем высокомерно выпрямилась.

— ...что моя дочь Фанни... кха... помолвлена с известным вам мистером Спарклером. Отныне, сударыня, вы освобождаетесь от половины ваших трудных обязанностей... кха... трудных обязанностей, — повторил мистер Доррит, бросив сердитый взгляд на Фанни. — Но это обстоятельство... хм... конечно, не отразится ни в каком отношении, ни прямо, ни косвенно, на положении, которое вы столь любезно согласились занять в моей семье.

— Мистер Доррит, — отвечала миссис Дженераль, не нарушая безмятежного покоя своих перчаток, — всегда снисходителен и слишком высоко ценит мои дружеские услуги.

(Мисс Фанни кашлянула, как будто говоря: «Вы правы».)

— Мисс Доррит, без сомнения, позволит мне принести ей мое искреннее поздравление. Подобные события, когда они свободны от порывов страсти, — миссис Дженераль закрыла глаза, как будто не решалась взглянуть на своих собеседников, произнося это ужасное слово, — когда они происходят с одобрения близких родственников и скрепляют основы благородного семейного здания, могут считаться счастливыми событиями. Надеюсь, мисс Доррит позволит мне принести ей мои искреннейшие поздравления.

Тут миссис Дженераль остановилась и мысленно произнесла для придания надлежащей формы губам: «Папа, помидор, птица, персики и призмы».

— Мистер Доррит, — прибавила она вслух, — всегда любезен, и я прошу позволения принести мою искреннюю признательность за то внимание, скажу больше — за ту честь, которую он и мисс Доррит оказывают мне, удостоив меня таким доверием. Моя признательность и мои поздравления относятся как к мистеру Дорриту, так и к мисс Доррит.

— Мне чрезвычайно, невыразимо приятно слышать это, — заметила мисс Фанни. — Утешительное сознание, что вы ничего не имеете против моего брака, снимает тяжесть с моей души. Я просто не знаю, что бы я стала делать, если б вы не согласились, миссис Дженераль.

Миссис Дженераль, с улыбкой, в которой сказывались персики и призмы, переложила перчатки, так что правая пришлась наверху, а левая внизу.

— Сохранить ваше одобрение, миссис Дженераль, — продолжала Фанни, также отвечая улыбкой, в которой, однако, не замечалось и следа упомянутых выше ингредиентов,¹ — будет, без сомнения, главной задачей моей жизни в замужестве; утратить его было бы, без сомнения, величайшим несчастьем. Тем не менее я уверена, что вы, со свойственной вам снисходительностью, позволите мне, и папа позволит мне, исправить одно маленькое недоразумение, маленькую ошибку, которую я заметила в ваших словах. Лучшие из нас так часто впадают в ошибки, что даже вы, миссис Дженераль, не можете быть вполне свободны от них. Внимание и честь, о которых вы так выразительно упоминали, миссис Дженераль, исходят не от меня. Обратиться к вам за советом было бы такой великой заслугой с моей стороны, что я считаю недобросовестным приписывать ее себе, раз этого не было в действительности. Она целиком принадлежит папе. Я глубоко признательна вам за одобрение и поощрение, но просил их папа, а не я. Я очень благодарна вам, миссис Дженераль, за то, что вы облегчили мое сердце от бремени, любезно согласившись на мой брак; но вам не за что благодарить меня. Надеюсь, что и

¹ Ингредиент (*лат*) — сосланный часть какого-либо сложного вещества

в будущем мои действия удостоятся вашего одобрения и что моя сестра еще долго будет предметом ваших попечений, миссис Дженераль.

Произнеся эту речь самым учтивым тоном, Фанни грациозно и весело выпорхнула из комнаты и, избежав наверх, принялась рвать и метать, накинулась на сестру, назвала ее слепым мышонком, увещевала ее пошире открыть глаза, рассказала обо всем, что произошло внизу, и спросила, что она думает теперь об отношениях папы и миссис Дженераль.

К миссис Мердль молодая леди относилась с величайшей независимостью и самообладанием, но пока еще не открывала явно враждебных действий. Время от времени происходили случайные стычки, когда Фанни казалось, что миссис Мердль начинает относиться к ней чересчур фамильярно или когда миссис Мердль выглядела особенно молодой и прекрасной; но миссис Мердль всегда умела прекратить эти поединки, откинувшись на подушки с грациозно-равнодушным видом и заведя речь о чем-нибудь другом. Общество (это таинственное существо оказалось и на Семи холмах¹) находило, что мисс Фанни значительно изменилась к лучшему после помолвки. Она сделалась гораздо доступнее, гораздо проще и любезнее, гораздо менее требовательной, так что теперь ее постоянно окружала толпа поклонников и вздыхателей, к великому негодованию маменек, обремененных дочками на выданье, решительно возмущившихся и поднявших знамя восстания против мисс Фанни. Наслаждаясь этой суматохой, мисс Фанни надменно шествовала среди них, выставляя напоказ не только собственную особу, но и мистера Спарклера, точно говорила: «Если я нахожу уместным влачить за собой в моем триумфальном шествии этого жалкого невольника в оковах, а не кого-нибудь посильнее, так это мое дело. Довольно того, что мне так вздумалось». Мистер Спарклер, со своей стороны, не требовал объяснений: шел, куда его вели, делал, что ему приказывали, чувствовал, что его успех зависит от успехов его невесты, и был очень благодарен за то, что пользуется таким широким признанием.

С наступлением весны мистеру Спарклеру пришлось

¹ Рим расположен на семи холмах.

отправиться в Англию, дабы занять предназначенное для него место в ряду лиц, руководивших гением, знанием, торговлей, духом и смыслом этой страны. Страна Шекспира,¹ Мильтона,² Бэкона,³ Ньютона,⁴ Уатта,⁵ родина философов, естествоиспытателей, властителей природы и искусства в их бесчисленных проявлениях взывала к мистеру Спарклеру, умоляя его прийти и спасти ее от гибели. Мистер Спарклер не устоял против этого отчаянного вопля родины и объявил, что ему нужно ехать.

Возникал вопрос, где, когда и каким образом мистер Спарклер обвенчается с первойшей девицей в мире, «без всяких этаких глупостей». Решение этого вопроса, обсуждавшегося втайне и под секретом, мисс Фанни сама сообщила сестре.

— Ну, дитя мое, — сказала она ей однажды, — я намерена сообщить тебе кое-что. Это сейчас только было решено, и, разумеется, я тотчас поспешила к тебе.

— Твоя свадьба, Фанни?

— Сокровище мое, — отвечала Фанни, — не забегай вперед. Позволь мне самой сообщить тебе обо всем. Что до твоего вопроса, то если понимать его буквально, так придется ответить — нет. Дело идет не столько о моей свадьбе, сколько о свадьбе Эдмунда.

Крошка Доррит взглянула на нее, не совсем понимая это тонкое различие.

— Мне незачем торопиться, — объяснила Фанни. — Меня не требуют на службу или в парламент. Эдмунда же требуют. А Эдмунд приходит в ужас при мысли, что ему придется ехать одному, да и я думаю, что его не следует отпускать одного. Потому что, если только представится возможность (а это легко может случиться) наделать глупостей, то он, конечно, их наделает.

¹ Шекспир, Вильям (1564—1616), великий английский писатель, драматург и поэт.

² Милтон, Джон (1608—1674), английский поэт, автор поэмы «Потерянный рай».

³ Бэкон, Френсис (1561—1626), английский философ-материалист.

⁴ Ньютон, Исаак (1642—1727), великий английский физик, открывший закон всемирного тяготения.

⁵ Уатт, Джеймс (1736—1819), известный английский механик-изобретатель, который усовершенствовал принципы паровой машины, изобретенной гениальным русским механиком И.И. Ползуновым (1730—1766).

Закончив эту беспристрастную оценку способностей своего будущего супруга, она с деловым видом сняла шляпку и принялась размахивать ею.

— Как видишь, этот вопрос касается больше Эдмунда, чем меня. Впрочем, довольно об этом. Дело понятно само собой. Да, моя бесценная Эми. А раз возникает вопрос, отпустить ли его одного или нет, то вместе с тем возникает и другой: обвенчаться ли нам здесь же на днях или в Лондоне через несколько месяцев.

— Видно, мы скоро расстанемся, Фанни.

— Ах, какая несносная, — воскликнула Фанни, полусердясь, — ну, что ты забегаешь вперед! Пожалуйста, милочка, слушай, что я говорю. Эта женщина, — без сомнения, она говорила о миссис Мердль, — остается здесь на Пасху; так что если мы обвенчаемся и поедем в Англию с Эдмундом, то я опережу ее. А это что-нибудь да значит. Дальше, Эми. Раз этой женщины не будет, я вероятно приму предложение мистера Мердля, чтобы мы с Эдмундом остановились... в том самом доме, помнишь, куда ты приходила с танцовщицей, пока не будет выбран и отделан наш дом. Это еще не всё, Эми. Папа собирается в Лондон, и если мы с Эдмундом обвенчаемся здесь, то можем отправиться во Флоренцию, где к нам присоединится папа, а оттуда мы все трое отправимся в Лондон. Мистер Мердль приглашал папу остановиться в том самом доме, и я думаю, что он примет его приглашение. Впрочем, он сделает, как ему заблагорассудится; да это и не существенно.

Различие между папой, который поступает, как ему заблагорассудится, и Эдмундом, который представлял собою нечто совершенно противоположное, довольно рельефно выступило в объяснениях Фанни. Впрочем, ее сестра не обратила на это внимания, томимая печалью о предстоящей разлуке и страстным желанием попасть в число возвращающихся в Англию.

— Так вот твои планы, милая Фанни?

— Планы, — повторила Фанни. — Право, дитя, с тобой потеряешь терпение. Разве я говорила что-нибудь подобное? Принимала какое-нибудь решение? Я сказала: сами собой возникают известные вопросы, — и перечислила эти вопросы.

Задумчивые глаза Крошки Доррит взглянули на нее спокойно и нежно.

— Ну, моя милая крошечка, — сказала Фанни, нетерпеливо размахивая шляпой, — нечего таращить глаза, как маленькая сова. Я жду от тебя совета, Эми. Что ты мне посоветуешь?

— Ты не думаешь, Фанни, — спросила Крошка Доррит после непродолжительного колебания, — ты не думаешь, что лучше было бы отложить свадьбу на несколько месяцев?

— Нет, маленькая черепаха, — возразила Фанни очень резко, — я не думаю ничего подобного.

Тут она бросила шляпку и кинулась в кресло. Но тотчас почувствовала прилив нежности, вскочила и, опустившись на колени, обняла сестру вместе со стулом.

— Не думай, что я сердита и зла, милочка, право, нет. Но ты такая странная! Ведь я же говорила тебе, дитя, что Эдмунда нельзя пустить одного. И сама ты знаешь, что нельзя.

— Да, да, Фанни. Ты говорила это, правда.

— И ты сама знаешь это, — возразила Фанни. — Ну, так как же, мое сокровище? Если его нельзя отпустить одного, то приходится ехать с ним и мне, — кажется, ясно?

— Да... кажется, милочка, — сказала Крошка Доррит.

— Значит, милая Эми, приняв в соображение все обстоятельства, о которых я упомянула, ты посоветуешь мне поступить сообразно с ними?

— Да... кажется, милочка, — повторила Крошка Доррит.

— Очень хорошо, — сказала Фанни с видом покорности судьбе, — в таком случае надо покориться. Я обратилась к тебе, голубка, так как меня мучили сомнения, и я никак не могла решиться. Теперь я решилась, будь что будет.

Покорившись, таким образом, настояниям сестры и силе обстоятельств, Фанни преисполнилась необыкновенной кротостью, — как человек, который пожертвовал своими личными склонностями желанию друга и чувствует сладость этой жертвы.

— В конце концов, Эми, — сказала она сестре, — ты самая милая маленькая сестренка и такая умница! Право, не знаю, что я буду делать без тебя.

Говоря это, она стиснула ее в объятиях с непритворной нежностью.

— Это не значит, что я рассчитываю обходиться без тебя, Эми, — напротив, я надеюсь, что мы всегда будем неразлучны. А теперь, милочка, я дам тебе полезный совет. Когда ты останешься одна с миссис Джeneralь...

— Так я останусь одна с миссис Джeneralь? — сказала Крошка Доррит беспокойным тоном.

— Конечно, мое сокровище, пока не вернется папа! Нельзя же считать за общество Эдуарда, даже когда он здесь; тем более, когда он уезжает в Неаполь или Сицилию. Так я говорила, — но ты всегда собьешь с толку, плутовка, — когда ты останешься с миссис Джeneralь, Эми, не допускай ее до каких-нибудь тонких намеков насчет того, что она имеет виды на папу или папа на нее. Она, наверно, попробует подъехать к тебе. Я знаю ее манеру нащупывать почву своими перчатками. Но ты делай вид, что не понимаешь. И если папа объявит тебе по возвращении, что он намерен сделать миссис Джeneralь твоей мамой (что весьма возможно, так как меня здесь не будет), то я советую тебе ответить тут же напрямик: «Папа, извини меня, но я решительно против этого. Фанни предупреждала меня об этом, она тоже против, и я против». Я не думаю, что твое возражение, Эми, произведет какое-нибудь действие; да и вряд ли у тебя хватит духу высказать его с твердостью. Но тут затронут принцип, семейный принцип, и я умоляю тебя протестовать против такой мачехи, как миссис Джeneralь, и дать понять всем окружающим, что ты протестуешь. Смело можешь рассчитывать милочка, на поддержку с моей стороны. Всё влияние, которое может иметь замужняя женщина, не лишенная привлекательности, я постараюсь обратить против миссис Джeneralь, ее фальшивых волос (я уверена, что они фальшивые при всем их безобразии, хоть и может показаться невероятным, чтобы человек в здравом уме согласился платить деньги за такую гадость).

Крошка Доррит выслушала этот совет, ничего не возражая, но и не давая повода думать, что примет его к сведению.

Решив, таким образом, формально распротиться с девической жизнью и устроив свои земные дела, Фанни со свойственным ей жаром принялась готовиться к предстоявшей ей важной перемене

Приготовление состояли в отправке горничной в Париж, под охраной проводника, для покупки разных принадлежностей гардероба невесты, которые автор не решается назвать английским именем, слишком унижительным для парижских изделий, и не желает называть французским (так как намерен, как это ни вульгарно, держаться того языка, на котором написан роман). Богатый и роскошный гардероб, закупленный этими агентами, в течение нескольких недель путешествовал из Франции в Италию, увязая в каждой таможне и осаждаемый целой армией жалких оборванцев в мундирах, непрерывно повторявших просьбу Велизария,¹ как будто каждый из воителей был этим византийским полководцем. Они являлись такими легионами, что если бы проводник не извел ровно полтора бушеля серебряной монеты на эту жадную ораву, от гардероба доехали бы только ключья вследствие беспрестанного ощупывания и переворачивания. Как бы то ни было, он благополучно избежал всех этих опасностей и, подвигаясь дюйм за дюймом, явился на место назначения в лучшем виде. Тут он был выставлен напоказ для избранных представительниц прекрасного пола и, надо сознаться, возбудил в их нежных сердцах жестокие чувства. Вместе с тем шли деятельные приготовления к торжественному дню, когда некоторые из этих сокровищ должны были явиться перед публикой. Карточки с приглашениями на завтрак были разосланы половине английского населения в городе Ромула, остальная половина готовилась явиться в качестве критиков-добровольцев в такие моменты торжества, когда его можно будет наблюдать с различных наружных пунктов. Благородный и знаменитый английский синьор Эдгардо Доррит прискакал, невзирая на грязь и бездорожье, из Неаполя (где шлифовал свои манеры в обществе неаполитанской знати), дабы участвовать в семейном празднике. Лучший отель, со всей своей кулинарной лабораторией, деятельно готовился к торжеству. Чеки мистера Доррита чуть не довели до краха банк Торлония. Британский консул не видел такой свадьбы за всё время своего консульства.

¹ Велизарий (494—565) — византийский полководец эпохи императора Юстиниана. По преданию, он попал в опалу и, обеднев, вынужден был просить милостыню.

Наступил давно ожидаемый день, и волчица в Капитолии¹ чуть не завывала от зависти, глядя, как дикие островитяне² устраивают эти дела в наши дни.

Статуи развратников-императоров преторианской эпохи,³ с их разбойничьими лицами, которым даже тогдашние скульпторы не решились польстить, чуть не соскочили со своих пьедесталов вслед за невестой. Полуразвалившийся фонтан, в котором, вероятно, мылись еще гладиаторы, чуть не ожил, чтобы почтить торжество. Храм Весты⁴ чуть не возродился из своих развалин специально для этого случая. Всё это могло бы произойти, но не произошло. Разве не происходит то же самое и с живыми существами, например, со знатными лордами и леди, которые могли бы многое сделать, но не сделали этого?

Бракосочетание совершалось необыкновенно торжественно: монахи в белых рясах, в черных рясах, в рыжих рясах останавливались и провожали глазами экипажи; бродячие крестьяне в овечьих шкурах играли на дудках и просили милостыню под окнами; англичане-добровольцы маршировали; день кончился; праздник кончился; тысячи церковных колоколов звонили без всякого отношения к этому событию; и св. Петр всем своим видом утверждал, что ничего не хочет о нем знать.

Но в это время невеста уже заканчивала свой первый этап пути по направлению к Флоренции. Особенностью этой свадьбы было то, что она вся воплощалась в невесте. Никто не заметил жениха. Никто не заметил первой подружки невесты. Немногие могли бы заметить Крошку Доррит (которая исполняла эту роль) среди ослепительного блеска, предположив даже, что многие искали ее глазами. Итак, молодая уселась в изящную коляску, случайно сопровождаемая молодым; и, прокатившись по гладкой мостовой, пошла трястись по До-

¹ Волчица в Капитолии — статуя волчицы, по преданию вскормившей своим молоком братьев Ромула и Рема; находится в римском храме Капитолий

² Дикие островитяне. Диккенс имеет в виду англичан.

³ Преторианская эпоха. Под этими словами Диккенс подразумевает период в древнеримской истории, начиная с царствования императора Октавиана Августа (30 г. до н.э. — 14 г. н.э.), когда была учреждена специальная гвардия римских императоров — преторианцы.

⁴ Храм Весты — античный храм в Риме, воздвигнутый в честь богини огня и домашнего очага Весты.

лине отчаяния¹ среди развалин и грязи. Говорят, что другие брачные экипажи и до и после этого отправлялись той же дорогой.

В этот вечер Крошка Доррит чувствовала себя немножко одинокой и грустной, и ничто бы так не облегчило ее, как возможность посидеть по-старому с работой около отца, прислуживать ему за ужином и уложить его спать. Но это было невысказано теперь, когда они сидели в экипаже приличий с миссис Джeneralь на козлах. А ужин! Если бы мистер Доррит пожелал ужинать, к его услугам был итальянец-повар и швейцарец-кондитер, которые не замедлили бы надеть колпаки величиной с папскую тиару² и приняться за алхимические таинства в своей кастрюлечной лаборатории внизу.

В этот вечер мистер Доррит был глубокомыслен и назидателен. Будь он просто ласков, ей было бы гораздо отраднее; но она принимала его таким, каким он был. Когда вообще она не принимала его таким, каким он был? И ей в голову бы не пришло упрекнуть его. Наконец миссис Джeneralь удалилась. Ее удаление всегда бывало самой ледяной из ее церемоний, как будто она считала необходимым превратить в камень человеческое воображение, чтобы оно не вздумало последовать за нею. Прodelав всё, что требовалось, с четкостью взвода солдат, совершающих военные упражнения, она удалилась. Тогда Крошка Доррит обняла отца и пожелала ему покойной ночи.

— Эми, милочка, — сказал мистер Доррит, взяв ее за руку, — этот день... кха... произвел на меня глубокое и радостное впечатление.

— Но и немножко утомил вас, дорогой мой?

— Нет, — возразил мистер Доррит, — нет, я не чувствую усталости, порожденной событием, которое... хм... исполнено такой чистейшей радости.

Крошка Доррит была рада видеть его в таком настроении и улыбнулась от всего сердца.

— Душа моя, — продолжал он, — это событие... кха .. может послужить хорошим примером. Хорошим примером, мое любимое и нежное дитя, для... хм... для тебя

¹ Долина отчаяния — одно из мест, куда попадает паломник-путешественник, герой романа «Путь паломника» английского писателя Джона Бэиньяна (1628—1688).

² Т и а р а — высокий головной убор римского папы.

Смущенная этими словами, Крошка Доррит не знала, что сказать, хотя он остановился, как бы ожидая ответа.

— Эми, — продолжал он, — твоя милая сестра, наша Фанни вступила... кха... хм... в брак, который чрезвычайно расширит наши... кха... связи и... хм... упрочит наше общественное положение. Душа моя, я надеюсь, что недалеко то время, когда и для тебя найдется... кха... подходящая партия.

— О нет! Позвольте мне остаться с вами. Прошу и умоляю, позвольте мне остаться с вами. Я хочу одного: остаться с вами и заботиться о вас.

Она проговорила это с какой-то внезапной тревогой.

— Полно, Эми, Эми, — сказал мистер Доррит. — Это слабость и ребячество, слабость и ребячество. Твое положение... кха... возлагает на тебя известную ответственность. Ты обязана упрочить это положение и... хм... быть достойной этого положения. Что касается заботы обо мне... Я могу... кха... сам позаботиться о себе. Если же, — прибавил он после непродолжительной паузы, — если мне понадобятся чьи-либо заботы, то... хм... обо мне... кха... слава богу, есть кому позаботиться. Я... кха... хм... не могу допустить, дорогое дитя, чтобы ты... кха... погубила свою молодость ради меня.

О, нашел же он время говорить о самоотверженности и выставлять ее напоказ, и уверять, что ею только и руководствуется.

— Полно, Эми. Я положительно не могу допустить это. Я... кха... не должен допускать это. Моя... хм... совесть не допустит этого. Итак, моя радость, я пользуюсь этим радостным и значительным событием, дабы... кха... торжественно заметить, что отныне мое заветное желание и цель моей жизни — видеть тебя... кха... прилично (повторяю: прилично) устроенной.

— О нет, милый, пожалуйста!

— Эми, — сказал мистер Доррит, — я совершенно убежден, что если бы по этому вопросу посоветоваться с лицом, обладающим высшим знанием света, с утонченными чувствами и умом... скажем, для примера... кха... с миссис Джeneralь, то она ни на минуту не усомнилась бы в том, что я руководюсь искренней любовью и нежностью к тебе. Но, зная твою любящую и преданную душу по... хм... по опыту, я уверен, что мне не нужно ничего прибавлять. Я ведь... хм... не предлагаю тебе

выйти замуж сейчас же и даже не имею в виду никого, кто годился бы тебе в мужья. Я только желаю, чтобы мы... кха... поняли друг друга. Хм!.. Покойной ночи, милая, единственная оставшаяся у меня дочь. Покойной ночи. Господь с тобой!

Если в эту ночь у Крошки Доррит и мелькнула мысль, как охотно готов он сбыть ее с рук теперь, в богатстве и счастье, собираясь заменить ее второй женой, то она отогнала эту мысль. Оставаясь ему верной и теперь, как в худшие времена, когда была его единственной поддержкой, она отогнала эту мысль и только с горестью думала в эту мучительную, бессонную ночь, что он теперь смотрит на всё глазами богатого человека, который считает своей обязанностью заботиться лишь об умножении богатства.

Они просидели в парадной колеснице, с миссис Джeneralь на козлах, три недели, а затем он уехал во Флоренцию к Фанни. Крошка Доррит была бы рада отправиться вместе с ним хоть до Флоренции, а потом вернуться, опять вспоминая о своей милой Англии. Но хотя проводник уехал с молодой, оставался еще камердинер, и пока можно было нанять кого-нибудь за деньги, очередь не могла дойти до нее.

Миссис Джeneralь оказалась довольно покладистой, насколько она могла быть покладистой, когда они остались вдвоем, и Крошка Доррит часто выезжала в наемном экипаже, который был оставлен для них, или блуждала одна среди развалин древнего Рима. Развалины гигантского древнего амфитеатра, древних храмов, древних триумфальных арок, древних дорог, древних гробниц были для нее — независимо от того, чем они были в действительности, — развалинами старой Маршалси, развалинами ее собственной старой жизни, развалинами фигур и лиц, когда-то окружавших ее, развалинами ее чувств, надежд, забот и радостей. Два мира развалин человеческой жизни и страданий вставали перед одинокой девушкой, когда она сидела на каком-нибудь обломке древнего памятника под голубым небом, и она не могла отделить их один от другого.

Но являлась миссис Джeneralь, обесцвечивая все окружающее, как обесцветили ее самоё природа и искусство, налагая клеймо персиков и призм на всё, к чему

она ни прикасалась, усматривая везде мистера Юстеса и К⁰ и не замечая ничего другого, выцарапывая отовсюду высохшие остатки античности и глотая их целиком, не прожевывая, как настоящий вампир в перчатках

ГЛАВА XVI

Успехи

По прибытии в Харлей-стрит, Кавендиш-сквер, Лондон, молодая парочка была принята главным дворецким. Этот великий человек не интересовался молодыми, но во всяком случае выносил их. Если люди не будут жениться и выходить замуж, то, пожалуй, упадет спрос на главных дворецких. Как нации созданы для того, чтобы было кого облагать налогами, так семьи созданы для того, чтобы содержать дворецких. Главный дворецкий, без сомнения, понимал, что природа заботится о приращении богатого населения собственно ради его интересов.

Итак, он весьма снисходительно спустился с парадной лестницы взглянуть на карету молодых и не только не хмурился, но даже сказал благодушным тоном одному из своих подчиненных: «Томас, помоги перенести вещи». Он даже проводил молодую наверх, к мистеру Мердлю, но это уже было данью поклонения прекрасному полу (главный дворецкий был его ревностным обожателем и, как всем было известно, вздыхал по одной герцогине), а не исполнением служебной обязанности.

Мистер Мердль ежился около камина, готовясь приветствовать миссис Спарклер. Рука его так далеко запряталась в рукав, когда он выступил навстречу гостье, что последней пришлось пожать только болтавшийся обшлаг, точно ее приветствовало чучело Гая Фокса.¹ Прикоснувшись губами к ее губам, он забился в кучу оттоманок, столов и стульев и судорожно ухватил себя за руки, точно собирался вести самого себя в полицию, приговаривая: «Ага, любезный, попался, пойдем-ка, пойдем на расправу!».

¹ Гай Фокс — руководитель так называемого «порохового заговора» (5 ноября 1605 г.) с целью взорвать парламент. Гай Фокс был казнен, и чучело его ежегодно 5 ноября проносилось по улицам Лондона.

Миссис Спарклер, расположившись в парадных покоех, в святилище из пуха, шелка и тонкого полотна, почувствовала, что до сих пор победа за нею и дела ее понемножку подвигаются вперед. Накануне свадьбы она с небрежной грацией подарила горничной миссис Мердль, в присутствии этой последней несколько бездельшек — браслет, шляпку и два платья (всё совершенно новое), стоивших вчетверо дороже подарка, полученного когда-то от миссис Мердль ею самою. Теперь она водворилась в собственных покоях миссис Мердль, украшенных еще кое-какими предметами роскоши, дабы достойно принять новую гостью. Блуждая по этим апартаментам, окруженная всеми ухищрениями роскоши, какие только может купить богатство или выдумать изобретательность, она видела в мечтах прекрасную грудь, бившуюся в унисон с ее радостными думами, вступающую в состязание с другим прекрасным бюстом, так долго царившим здесь, затмевала его и свергала с трона. Счастье? Должно быть, Фанни была счастлива. Теперь она не выражала желания умереть.

Проводник не одобрил намерения мистера Доррита остановиться в доме его нового родственника, а предпочел поместить его в отеле, на Брук-стрите, Гровнорсквер. Мистер Мердль распорядился, чтобы карета была готова с утра, намереваясь отправиться к мистеру Дорриту тотчас же после завтрака.

Карета выглядела красивой, лошади выглядели глянцевыми, сбруя выглядела сверкающей, ливреи выглядели роскошными и долговечными. Богатый и внушительный выезд. Выезд мистера Мердля. Ранние прохожие провожали глазами экипаж, почтительно говоря: «Вон он едет!».

Он ехал до отеля на Брук-стрите. Тут из этого великолепного футляра появился хранившийся в нем алмаз, не особенно блестящий с виду, — скорей совсем наоборот!

В отеле поднялась суматоха. Мердль!!! Хозяин, весьма важный господин, только что выезжавший в город на паре собственных породистых лошадей, вышел самолично проводить великого человека наверх. Клерки и слуги выскакивали из боковых коридоров, толпились в дверях и проходах, чтобы взглянуть на него. Мердль!! О вы, солнце, луна и звезды, это — Великий человек!

Богач, опровергнувший Новый завет и уже вошедший в царство небесное. Человек, который мог пригласить на обед кого угодно, человек, который чеканил деньги! Пока он поднимался по лестнице, люди стремились за ним по нижним ступенькам, чтобы хоть тень великого человека осенила их. Так когда-то больных приносили и клали на пути великого учителя, который не принадлежал к высшему обществу и не чеканил денег.

Мистер Доррит в халате и с газетой сидел за завтраком. Проводник взволнованным голосом доложил: «Мистер Мердль!». У мистера Доррита сердце чуть не выскочило.

— Мистер Мердль, вот уж истинно... кха... высокая честь. Позвольте мне выразить... хм... мою признательность, мою глубокую признательность... кха... за этот лестный знак внимания. Мне очень хорошо известно, сэр, как.. кха... драгоценно ваше время. — От волнения мистер Доррит не мог произнести слово «драгоценно» так выразительно, как бы ему хотелось. — Подарить мне. кха... минуту вашего драгоценного времени — это... кха... такая любезность, которую невозможно оценить достаточно высоко.

Мистер Доррит положительно дрожал, обращаясь к великому человеку.

Мистер Мердль пробормотал глухим, сдавленным, нерешительным голосом что-то нечленораздельное, прибавив в заключение:

— Рад вас видеть, сэр.

— Вы очень любезны, — сказал мистер Доррит, — истинно любезны.

Тем временем гость уселся и провел рукой по своему утомленному лбу.

— Надеюсь, вы здоровы, мистер Мердль?

— Я здоров... да... здоров... как всегда, — сказал мистер Мердль.

— Вы, должно быть, страшно заняты делами?

— Порядком. Но... о нет, это ничего не значит, — сказал мистер Мердль, блуждая глазами по комнате.

— Легкая диспепсия? — заметил мистер Доррит.

— Должно быть. Но я... О, я почти здоров, — сказал мистер Мердль.

В углах его губ виднелись темные полоски, точно следы пороха: казалось, что, будь у него темперамент

поживее, он был бы в это утро в лихорадочном состоянии. Именно это обстоятельство и усталый вид, с каким он проводил рукой по лбу, вызвали со стороны мистера Доррита беспокойные вопросы о его здоровье.

— Я оставил миссис Мердль, — вкрадчиво продолжал мистер Доррит, — предметом... кха... всеобщего внимания... хм... всеобщего поклонения... красотой и очарованием римского общества. Она наслаждалась цветущим здоровьем, когда мы расставались.

— Миссис Мердль, — сказал мистер Мердль, — вообще считается весьма привлекательной женщиной и, без сомнения, справедливо. Я очень рад этому.

— Может ли быть иначе, — отозвался мистер Доррит. Мистер Мердль пошевелил языком, не раскрывая рта, — кажется, язык был довольно жесткий и неповоротливый, — полизал им губы, снова провел рукой по лбу и обвел глазами комнату, стараясь, главным образом, заглянуть под стулья.

— Но, — сказал он, в первый раз подняв глаза на мистера Доррита и тотчас затем устремив их на жилетные пуговицы мистера Доррита, — если уж говорить о привлекательности, то надо говорить о вашей дочери. Она чрезвычайно хороша собой. Лицом и фигурой она выше всякого описания. Когда они приехали вчера вечером, я был просто поражен ее красотой.

Признательность мистера Доррита была так велика, что он не мог не высказать... кха... на словах, как уже высказывал письменно, что считает подобное родство счастьем и честью для себя. При этом он протянул руку. Мистер Мердль поглядел на нее в недоумении, потом подставил под нее свою, точно поднос или нож для рыбы, и, наконец, возвратил ее мистеру Дорриту.

— Я нарочно заехал к вам пораньше, — сказал мистер Мердль, — предложить вам свои услуги, на случай если я могу быть вам чем-нибудь полезным. Я надеюсь, что вы пообедаете со мною сегодня, а также в те дни, в течение вашего пребывания в Лондоне, когда вы не будете иметь в виду ничего лучшего.

Мистер Доррит был в восторге.

— Вы долго пробудете здесь, сэр?

— Пока я думаю остаться... кха... недели на две, не больше, — отвечал мистер Доррит.

— Это очень кратковременное пребывание после

такого продолжительного путешествия, — заметил мистер Мердль.

— Хм... да, — сказал мистер Доррит. — Но изволите видеть... кха... дорогой мистер Мердль, заграничная жизнь так полезна моему здоровью и так нравится мне, что я... хм... приехал в Лондон только ради двух целей. Первая... кха... то редкое счастье и... кха... преимущество, которым я пользуюсь и наслаждаюсь в настоящую минуту; вторая — устройство... хм... помещение, то есть наивыгоднейшее помещение... кха... хм.. моих денег.

— Что же, сэр, — сказал мистер Мердль, снова пошевелив языком, — если я могу быть вам полезен в каком-нибудь отношении, располагайте мною.

Речь мистера Доррита сделалась еще бессвязнее, когда он коснулся этой щекотливой темы, так как он не знал хорошенько, как такой могущественный человек примет его слова. Он боялся, что вопрос о капитале или состоянии частного лица покажется слишком ничтожным пустяком для такого финансового колосса. Успокоенный любезным предложением мистера Мердля, он сразу уцепился за него.

— Уверяю вас, — сказал мистер Доррит, — я.. кха.. не смел и надеяться на такое... хм... огромное преимущество, как ваш личный совет и помощь. Хотя, конечно, я во всяком случае рассчитывал, подобно... кха... хм всему цивилизованному миру, следовать по стопам мистера Мердля.

— Ведь мы, знаете, почти родственники, сэр, — сказал мистер Мердль, необычайно заинтересовавшись узором ковра, — следовательно, вы всегда можете рассчитывать на меня.

— Кха... это очень любезно с вашей стороны! — воскликнул мистер Доррит. — Кха... в высшей степени любезно.

— В настоящее время, — продолжал мистер Мердль, — не так-то легко постороннему человеку получить долю в выгодном предприятии... разумеется, я говорю о своих собственных предприятиях...

— Конечно, конечно! — воскликнул мистер Доррит таким тоном, как будто само собой подразумевалось, что нет выгодных предприятий, кроме предприятий мистера Мердля.

— Разве за высокую цену или, как у нас выражаются, за длинную цифру.

Мистер Доррит пришел в восторг от такого остроумия.

— Ха-ха-ха, за длинную цифру! Очень хорошо кха.. очень выразительно.

— Как бы то ни было, — продолжал мистер Мердль, — я сохраняю за собой право оказывать известное преимущество или протекцию, как выражаются многие, известным мне лицам, — в виде награды за мои заботы и хлопоты.

— За предприимчивость и гений, — добавил мистер Доррит.

Мистер Мердль пошевелил горлом, точно глотая эти качества, как пилюли, и прибавил:

— В виде вознаграждения. Если вам угодно, я постараюсь употребить эту ограниченную власть (она ограничена, так как люди завистливы) в вашу пользу.

— Вы очень добры, — отвечал мистер Доррит. — Вы очень добры.

— Конечно, — заметил мистер Мердль, — главным условием этого рода сделок являются безупречная честность и откровенность, полное, неограниченное доверие друг к другу; без этого не стоит и начинать дело.

Мистер Доррит с жаром одобрил эти благородные чувства.

— Итак, — сказал мистер Мердль, — я могу доставить вам преимущество лишь в известных размерах.

— Понимаю, в определенных размерах, — заметил мистер Доррит.

— В определенных размерах и совершенно открыто. Что касается моего совета, то это, конечно, совершенно другое дело. Быть может, он немногого стоит...

— О, немногого стоит! — (Мистер Доррит не мог допустить и тени сомнения в его достоинстве даже со стороны самого мистера Мердля.)

— ... но во всяком случае самая щепетильная честность не может упрекнуть меня за то, что я даю его по своему усмотрению, и мой совет, — заключил мистер Мердль, уставившись с глубоким вниманием на телегу с мусором, проезжавшую мимо окна, — к вашим услугам в любое время, когда вы найдете нужным им воспользоваться.

Мистер Доррит снова рассыпается в благодарностях. Мистер Мердль снова проводит рукой по лбу. Тишина и молчание. Мистер Мердль рассматривает жилетные пуговицы мистера Доррита.

— Я тороплюсь, — сказал мистер Мердль, внезапно вскакивая, точно во время предшествующей паузы он дожидался прибытия своих ног, которые, наконец, явились, — мне нужно в Сити. Не могу ли я подвезти вас куда-нибудь, сэр? Я буду рад подвезти вас. Мой экипаж к вашим услугам.

Мистер Доррит вспомнил, что у него есть дело к его банкиру. Контора его банкира в Сити Чудесно, мистер Мердль подвезет его в Сити. Но он задержит мистера Мердля: ему нужно одеться. О нет, несколько, мистер Мердль просит его не стесняться. Итак, мистер Доррит, удалившись в соседнюю комнату, отдался в руки камердинера и через пять минут вышел в полном блеске.

Затем мистер Мердль сказал:

— Прошу вас, сэр, возьмите мою руку!

Затем мистер Доррит, опираясь на его руку, спустился с лестницы среди поклонников, столпившихся на ступеньках, чувствуя, что свет, исходящий от мистера Мердля, окружает сиянием и его самого. Затем — экипаж мистера Мердля, поездка в Сити, прохожие, провожающие их глазами, шляпы, слетающие с седых голов, общее поклонение и падение ниц перед удивительным человеком, — раболепие, равного которому еще не было видано, клянусь небом, пет! Стоило бы подумать об этом льстецам всех наименований, собирающимся каждое воскресенье в Вестминстерском аббатстве или соборе св. Павла. Для мистера Доррита эта поездка в триумфальной колеснице, торжественно катившейся в обетованную землю — золотую улицу банков, была каким-то волшебным сном.

Тут мистер Мердль заявил, что он выйдет и пойдет пешком, оставив свой скромный экипаж в распоряжении мистера Доррита. И волшебный сон казался ему еще волшебней, когда народ смотрел на него, за неимением мистера Мердля, и ему чудились восклицания: «Этот удивительный человек — друг мистера Мердля!».

За обедом, хотя приезда молодых не ждали и никаких приготовлений не было сделано, собралась блестящая компания людей, сотворенных не из глины, а из

какого-то более ценного материала, которая озаряла лучами своего благоволения брак мистера Спарклера. А дочь мистера Доррита, не теряя времени, начала борьбу с «этой женщиной», — и так хорошо начала, что мистер Доррит мог бы дать присягу, что она всю жизнь прожила в неге и роскоши и никогда не слыхала такого грубого английского слова, как «Маршальси».

На другой день, и на третий день, и во все последующие дни, неизменно сопровождавшиеся обедами в избранном обществе, визитные карточки сыпались на мистера Доррита точно бумажный снег в театре. Адвокатура, церковь, казначейство, хор Полипов — все желали познакомиться с другом и родственником знаменитого Мердля. Каждый раз, когда мистер Доррит являлся в одну из бесчисленных контор мистера Мердля в Сити (а он заглядывал туда часто, так как его дело двигалось вперед быстро), ему достаточно было назвать свое имя, чтобы получить доступ к Мердлю. И волшебный сон с каждой минутой становился волшебнее, и мистер Доррит чувствовал, что новое родство действительно двинуло его вперед.

Одна только вещь выступала в этих грезах ярким, но далеко не радужным пятном. Это был главный дворецкий. Мистеру Дорриту казалось, что этот подавляющий своим величием человек посматривает на него за обедом вопросительно. На лестнице и в прихожей он следил за ним пристальным взглядом, который вовсе не правился мистеру Дорриту. За столом, прихлебывая вино, мистер Доррит видел сквозь стакан всё тот же ледяной, злоеущий взгляд. У него являлось подозрение, что главный дворецкий был знаком с каким-нибудь членом общества, быть может сам был в обществе и даже представлялся ему. Он всматривался в главного дворецкого, насколько это было возможно, но решительно не мог припомнить, чтобы видел его когда-нибудь. В конце концов он начинал приходить к убеждению, что у этого человека нет ни капли почтительности, никакого уважения к высшим. Но от этого ему не было легче, потому что надменный взор главного дворецкого следил за ним даже тогда, когда, повидимому, был устремлен на приборы и столовую посуду, следил неотступно и непрестанно. Намекнуть ему, что подобные наблюдения могут быть

неприятны, или спросить, что ему нужно, было бы слишком рискованно: он относился к своим господам и их гостям с неумолимой суровостью и не допускал с их стороны ни малейшей вольности.

ГЛАВА XVII

Исчез

До отъезда мистера Доррита оставалось всего два дня. Он одевался, готовясь отправиться на смотр к главному дворецкому (жертвы которого всегда одевались собственно для него), когда один из лакеев отеля подал ему визитную карточку. Мистер Доррит взял ее и прочел: «Миссис Финчинг».

Слуга безмолвно и почтительно ожидал приказаний.

— Человек... э... человек, — сказал мистер Доррит, поворачиваясь к нему с негодующим изумлением, — с какой стати вы принесли мне карточку с этой нелепой фамилией? Я в первый раз слышу ее. Финчинг, сэра, — продолжал он, быть может срывая на лакея свой гнев на главного дворецкого. — Кха... что вы хотите сказать вашей Финчинг?

Повидимому, «человек... э... человек» решительно ничего не хотел сказать своей Финчинг, так как попятился, встретив суровый взгляд мистера Доррита, и произнес:

— Дама, сэра.

— Я не знаю такой дамы, сэра, — возразил мистер Доррит. — Возьмите эту карточку. Я не знаю никаких Финчингов, ни мужского, ни женского пола.

— Прошу прощения, сэра. Дама сказала, что вы, по всей вероятности, не знаете ее фамилии; но она просила меня передать вам, сэра, что была раньше знакома с мисс Доррит. Она сказала, сэра, — с младшей мисс Доррит.

Мистер Доррит нахмурил брови и, помолчав немного, сказал: «Попросите миссис Финчинг войти», — с таким ударением на «Финчинг», как будто ответственность за нее падала на ни в чем неповинного лакея.

Ему пришло в голову, что если он не примет эту даму, то она, пожалуй, оставит какое-нибудь поручение или скажет что-нибудь насчет его прежней жизни. Вот

почему он снизошел, и вот почему Флора явилась в сопровождении человека.

— Я не имею удовольствия, — сказал мистер Доррит, стоя с карточкой в руке и с выражением, заставлявшим думать, что он и не особенно гонится за этим удовольствием, — быть знакомым с вами, ни даже с вашей фамилией, сударыня... Дайте стул, сэръ!

Злополучный человек поспешил исполнить приказание и затем на цыпочках вышел из комнаты. Флора с застенчивой робостью откинула вуаль и приступила к объяснению цели своего посещения. Вместе с тем по комнате распространился какой-то странный смешанный аромат, точно кто-нибудь по ошибке подлил водки в бутылку с лавандовой водой или лавандовой воды — в бутылку с водкой.

— Тысячу раз прошу извинения у мистера Доррита, хотя, конечно, это не оправдывает вторжения, которое, я знаю, должно показаться смелым со стороны дамы, к тому же явившейся в одиночестве; но всё-таки я решила, что так будет лучше, несмотря на кажущуюся неловкость, хотя тетка мистера Финчинга охотно согласилась бы сопровождать меня и, без сомнения, поразила бы вас своим сильным характером и умом, как человека, испытавшего столько превратностей и, следовательно, знающего свет, потому что сам мистер Финчинг говорил не раз, что, несмотря на хорошее воспитание в окрестностях Блэкхита по восьмидесяти гиней в год, не считая собственного прибора, который не был возвращен родителям, тут, разумеется, дело не в деньгах, а в низости начальства, так он говорил, что больше научился за один год жизни в качестве странствующего приказчика одной фирмы, торговавшей какими-то предметами, о которых никто не хотел и слышать, не то что покупать, задолго до винной торговли, больше научился, чем за шесть лет пребывания в школе, несмотря на то, что директором ее был холостяк, хотя почему холостяк¹ должен быть умнее женатого — я решительно не понимаю и никогда не могла понять, но, пожалуйста, извините мою болтовню.

Мистер Доррит точно прирос к ковру в виде статуи изумления.

¹ Непереводаемая игра слов у Диккенса. Bachelor — по-английски означает одновременно «холостяк» и «бакалавр» (ученая степень).

— Откровенно признаюсь, — продолжала Флора, — что у меня нет ни малейшего права являться к вам, но так как я знала милую Крошку, хотя это название при изменившихся обстоятельствах может показаться фамильярным, но сказано без всякого умысла, и, видит бог, полкроны в день — ничтожная плата за такое чудесное шитье, совершенно напротив, и видеть в этом что-нибудь унижительное смешно, ведь земледелец достоин своей заработной платы, и я только желала бы, чтобы он получал ее чаще и ел побольше мяса и не страдал ревматизмом в спине и в ногах, бедняга.

— Сударыня, — сказал мистер Доррит, собравшись кое-как с духом, когда она остановилась, чтобы, в свою очередь, перевести дух, — сударыня, — сказал он, покраснев, как рак, — если вы намекаете... кха... на какое-нибудь обстоятельство в прежней жизни... хм... моей дочери, связанное... кха... хм... с получением поденной платы, сударыня, то я прошу заметить, что этот... кха... факт оставался мне совершенно неизвестным. Хм... Я бы никогда не допустил его... кха... Никогда, никогда!

— Бесплезно продолжать разговор об этом предмете, — возразила Флора, — и я бы не упомянула о нем, если бы он не заменял мне рекомендательного письма, но это несомненный факт, и вы можете сами удостовериться, взглянув на мое платье, которое доказывает его наглядно и так прекрасно сшито, но, без сомнения, сидело бы лучше на более изящной фигуре, так как моя слишком полна, хотя я решительно не знаю, как отделаться от полноты, но я опять увлеклась, простите.

Мистер Доррит попятился и опустил на стул в почти бесчувственном состоянии, меж тем как Флора, бросив на него успокоительный взгляд, продолжала, играя зонтиком:

— Милая Крошка так страшно побледнела, похолодела и почти лишилась чувств в моем собственном доме, или, по крайней мере, в доме папы, хотя он не собственный, но всё равно нанят по долгосрочному контракту и за ничтожную плату, в то утро, когда Артур, — безумная привычка юности, и, конечно, мистер Кленнэм — гораздо приличнее при существующих обстоятельствах, тем более перед посторонним человеком и еще занимающим такое высокое положение в свете, — сообщил эту радостную

весть по поручению некоего мистера Панкса, вот я и расхрабрилась.

Услышав эти имена, мистер Доррит нахмурился, взглянул на нее, снова нахмурился, нерешительно поиграл пальцами около губ, как делал это много лет тому назад, и сказал:

— Сделайте милость, кха... объясните мне цель вашего посещения, сударыня.

— Мистер Доррит, — отвечала Флора, — с вашей стороны очень любезно позволить мне это, и меня нисколько не удивляет такая любезность, потому что я замечаю сходство, конечно вы гораздо важнее и полнее, но всё-таки — сходство, цель моего вторжения ни одной душе не известна, тем более Артуру, — пожалуйста, извините, Дойсу и Кленнэму, то есть, собственно говоря, мистеру Кленнэму, — так как для того, чтобы избавить этого человека, прикованного золотыми цепями к той розовой эпохе, когда всё передо мной плавало в небесном эфире, от малейшей неприятности, я не пожалею и королевского выкупа, то есть, положим, я и понятия не имею, сколько составляет такой выкуп, но во всяком случае отдам всё, что у меня есть, и даже более.

Мистер Доррит, очевидно не придавая особенного значения искренности этого последнего заявления, повторил:

— Объясните цель вашего посещения, сударыня!

— Конечно, — продолжала Флора, — это не совсем вероятно, но всё-таки возможно, и так как это возможно, то, прочитав в газетах, что вы приехали из Италии и возвращаетесь туда же, я и решила попытаться, так как вы можете встретить его или услышать о нем, а это было бы истинное благодеяние и облегчение для всех.

— Позвольте вас спросить, сударыня, — спросил мистер Доррит, у которого в голове всё перепуталось, — о ком... кха... о ком, — воскликнул он с энергией отчаяния, — говорите вы в настоящую минуту?

— Об иностранце из Италии, который внезапно исчез из Сити, о чем вы, конечно, читали в газетах, как и я, — отвечала Флора, — не говоря об известиях из частного источника по имени Панкс, которые показывают, на какую чудовищную и возмутительную клевету способны иные люди, вероятно судящие о других по себе,

и в каком негодовании Артур, — вечно забываюсь, Дойс и Кленнэм.

К счастью, — так как это дало возможность добиться хоть какого-нибудь толку, — мистер Доррит ничего не читал об этом происшествии. Это побудило миссис Финчинг, рассыпаясь в извинениях по поводу трудности найти свой собственный карман в складках платья, вытащить полицейское объявление, извещавшее, что джентльмен, иностранец, по имени Бландуа, недавно приехавший из Венеции, исчез необъяснимым образом вечером такого-то числа, в такой-то части Лондона; что его видели в последний раз, когда он входил в один дом в таком-то часу вечера; что, по словам обитателей этого дома, он оставил его за столько-то минут до полуночи и что с тех пор его не видали больше.

Всё это, равно как и подробное описание наружности джентльмена, скрывшегося так таинственно, мистер Доррит прочел от доски до доски.

— Бландуа! — сказал он. — Венеция! И это описание! Я знаю этого джентльмена. Он был в моем доме. Он близкий приятель одного джентльмена хорошей фамилии (это, впрочем, не важно), которому я хм... протезирую

— В таком случае я обращусь к вам с покорнейшей и убедительнейшей просьбой, — сказала Флора, — когда будете ехать обратно, пожалуйста, высматривайте этого джентльмена по всем дорогам и по всем закоулкам и спрашивайте о нем во всех гостиницах и виноградниках, и вулканах, и апельсиновых плантациях, и всяких других местах, потому что он должен же где-нибудь находиться, и узнайте, отчего он не приедет и не скажет, где он находится, и не успокоит всех.

— Скажите, пожалуйста, сударыня, — спросил мистер Доррит, взглянув на объявление, — кто такой Кленнэм и К⁰? Здесь упомянуто это имя при описании дома, где видели в последний раз господина Бландуа. Кто это такой? Неужели это тот самый господин, с которым я хм имел когда-то кха.. весьма поверхностные и непродолжительные отношения и о котором вы, если не ошибаюсь, упоминали? Это... кха... то самое лицо?

— О нет, это совсем другое лицо, — отвечала Флора, — безногое и на колесиках и самая суровая из женщин, хотя она его мать.

— У Кленнэма и К⁰ есть... хм .. мать? — воскликнул мистер Доррит

— И кроме того, старик..

Мистер Доррит имел такой вид, точно вот-вот сойдет с ума, и, очевидно, не почувствовал облегчения оттого, что миссис Финчинг со свойственной ей живостью принялась описывать галстук мистера Флинтуинча и, не отделяя личности этого джентльмена от личности миссис Кленнэм, назвала его ржавым винтом в гетрах. Этот винегрет из матери, старика, безногой, колесиков, ржавого винта, суровости и гетр до того ошеломляюще подействовал на мистера Доррита, что он представлял собой совершенно жалкое зрелище.

— Но я не задержу вас ни минутки дольше, — сказала миссис Финчинг, заметив его состояние, хотя решительно не подозревая его причин, — если вы дадите мне слово джентльмена, что на обратном пути в Италию и в самой Италии будете высматривать этого мистера Бландуа во всех углах, и если найдете или услышите о нем, то заставите его вернуться и вывести всех из недоумения.

Пока она говорила, мистер Доррит собрался с духом настолько, что мог ответить довольно связно, что сочтет это своим долгом. Обрадованная успехом своего посещения, Флора стала прощаться.

— Миллион благодарностей и карточка с моим адресом, — сказала она, — если понадобится сообщить что-нибудь лично. Я не посылаю моего привета милой Крошке, потому что это может показаться неуместным. Какая же в самом деле милая Крошка после таких превращений, но только передайте ей, что я и тетка мистера Финчинга желаем ей здоровья и вовсе не думаем, что с нашей стороны есть какая-нибудь заслуга, а совершенно напротив, потому что она делала всё, за что бралась, а многие ли из нас поступают так же, не говоря уж о том, что она делала так хорошо, как нельзя лучше, и меня самое можно упрекнуть в том же, потому что, оправившись от удара, причиненного смертью мистера Финчинга, я начала учиться играть на органе, который люблю до безумия, и, стыдно сказать, до сих пор не могу взять верно ни одной ноты. Прощайте!

Когда, проводив гостью до дверей комнаты, мистер Доррит остался один и несколько привел в порядок свои

мысли, то убедился, что это посещение пробудило в нем целый рой бессвязных воспоминаний, решительно не гармонировавших с обедом у мистера Мердля. Поэтому он написал и отправил коротенькую записку с извинением по поводу того, что не будет у него, и велел подать обед к себе в номер. Была у него и другая побудительная причина. Ему оставалось уже недолго пробыть в Лондоне; всё его время было распределено между визитами, все приготовления к отъезду закончены, а между тем он полагал, что положение обязывает его навести справки об исчезновении Бландуа и сообщить мистеру Генри Гоуэну результат своих личных розысков. Итак, он решил воспользоваться свободным вечером и съездить к Кленнэму и К⁰, адрес которых был указан в полицейском объявлении.

Пообедав настолько просто, насколько могли допустить отель и проводник, и вздремнув немножко перед камином, чтобы окончательно оправиться от посещения миссис Финчинг, он отправился один в наемном кабриолете. Колокол св. Павла прозвонил десять, когда он проезжал в тени Темплъ-бара, утратившего свои украшения из человеческих голов в нашу выродившуюся эпоху.

Когда он приближался к месту своего назначения по глухим переулкам и набережным, эта часть Лондона показалась ему еще безобразнее, чем рисовалась в его воспоминаниях. Много лет прошло с тех пор, как он видел ее в последний раз; он никогда не знал хорошо этой местности, и она показалась ему какой-то зловещей и таинственной. Впечатление было до того тягостно, что, когда кучер после многократных расспросов остановился перед воротами, мистер Доррит долго стоял в нерешительности, придерживаясь рукой за дверцу экипажа и почти напуганный мрачным видом здания.

Действительно, в эту ночь оно выглядело еще мрачнее обыкновенного. На стене по обеим сторонам двери было приклеено по объявлению, и когда лампа, коптившая у подъезда, вспыхивала, по ним пробегали тени, точно тени пальцев, водивших по строчкам. У дома, очевидно, был поставлен караул. Пока мистер Доррит стоял и раздумывал, какой-то человек перешел улицу, а другой вышел откуда-то из темного угла; оба взглянули на него, проходя мимо, и остановились неподалеку.

Так как во дворе находился только один дом, то

колебаться было нечего. Мистер Доррит подошел к подъезду и постучал. В двух окнах первого этажа виднелся слабый свет. Удары молотка раздались глухо и гулко, точно дом был пуст, но свет и шаги, послышавшиеся почти в ту же минуту, доказывали противное. Свет и шаги приближались к дверям, загремела цепочка, дверь приотворилась, и на пороге появилась женщина с закинутым на голову передником.

— Кто там? — сказала женщина.

Мистер Доррит, изумленный этим явлением, отвечал, что он приехал из Италии и желает разузнать об исчезнувшем господине, с которым он знаком.

— Ай! — крикнула женщина хриплым голосом. — Иеремия!

На этот крик появился сухой старик, в котором мистер Доррит узнал по гетрам «ржавый винт». Женщина, очевидно, боялась этого старика, так как при его приближении сдернула с головы передник и открыла бледное испуганное лицо.

— Отвори же дверь, дура, — сказал старик, — и впусти джентльмена.

Мистер Доррит, бросив нерешительный взгляд через плечо на своего кучера и кабриолет, вошел в темную прихожую.

— Ну, сэръ, — сказал мистер Флинтуинч, — можете спрашивать, о чем угодно, у нас нет секретов, сэръ.

Не успел мистер Доррит ответить, как сверху раздался суровый и громкий, хотя, очевидно, женский голос:

— Кто там?

— Кто там? — повторил Иеремия. — Опять за справками. Джентльмен из Италии.

— Приведите его сюда.

Мистер Флинтуинч что-то пробормотал, повидному не одобряя ее требования, но всё-таки сказал, повернувшись к мистеру Дорриту:

— Миссис Кленнэм. То, что она захочет, она сделает по-своему. Я вас провожу.

Он пошел вперед по закоптелой лестнице, а мистер Доррит последовал за ним, беспокояно оглядываясь на женщину, которая тоже отправилась с ними, попрежнему закинув передник на голову.

Миссис Кленнэм сидела перед раскрытой книгой за маленьким столиком.

— О, — сказала она отрывисто, устремив на посетителя пристальный взгляд, — вы из Италии, сэр, да? Ну и что же?

Мистер Доррит не нашел другого ответа, кроме:

— Кха... Ну и что же?

— Где этот пропавший человек? Вы пришли сообщить нам, где он находится? Надеюсь, да.

— Напротив, я... пришел за справками.

— К несчастью, мы ничего не знаем о нем. Флинтуинч, покажите этому джентльмену объявление. Дайте ему несколько экземпляров с собой. Посветите ему, пусть прочтет.

Мистер Флинтуинч повиновался, и мистер Доррит снова прочел объявление, как будто не читал его раньше, радуясь случаю собраться с духом и оправиться несколько от смущения, в которое привел его этот дом со своими странными обитателями. Читая, он чувствовал, что глаза миссис Кленнэм и мистера Флинтуинча устремлены на него. Кончив чтение, он убедился, что это чувство не было воображаемым.

— Ну-с, теперь вы знаете столько же, сколько и мы, сэр, — сказала миссис Кленнэм. — Мистер Бландуа — ваш друг?

— Нет... хм... просто знакомый, — отвечал мистер Доррит.

— Может быть, вы явились от него с каким-нибудь поручением?

— Я... кха... Вовсе нет.

Ее пытливый взгляд мало-помалу опустился к полу, скользнув по лицу мистера Флинтуинча. Мистер Доррит, несколько смущенный тем, что ему пришлось оказаться в роли допрашиваемого вместо того, чтобы спрашивать самому, изменил это неожиданное распределение ролей:

— Я... кха... джентльмен с независимым состоянием и в настоящее время проживаю в Италии с моим семейством, моей прислугой, моим... хм... довольно обширным домом. Приехав в Лондон на короткое время... кха... по делам и услышав об этом странном исчезновении, я решил разузнать обстоятельства дела из первых рук, так как... кха... хм... у меня есть знакомый в Италии, англий-



Мистер Доррит пришел за справками.

ский джентльмен, с которым я, без сомнения, увижусь по возвращении в эту страну и который находился в близких и тесных отношениях с господином Бландуа Мистер Генри Гоуэн Вы, может быть, слышали эту фамилию?

— Никогда не слыхала.

Мистер Флинтуинч повторил те же слова вслед за миссис Кленнэм.

— Желая сообщить ему.. кха.. по возможности точные и обстоятельные сведения об этом господине, — продолжал мистер Доррит, — я попрошу позволения предложить вам... три вопроса

— Тридцать, если угодно.

— Вы давно знакомы с господином Бландуа?

— Не более года. Мистер Флинтуинч справится в книгах и сообщит вам, когда и от кого он явился к нам из Парижа, если вы можете извлечь что-нибудь из этих сведений. Нам они ничего не говорят.

— Вы часто виделись с ним?

— Нет. Дважды. Один раз раньше и...

— Один раз потом, — подсказал мистер Флинтуинч

— Могу я спросить, сударыня, — продолжал мистер Доррит, понемногу возвращаясь к своей внушительности и проникаясь сознанием своей важной роли чуть ли не охранителя общественного спокойствия, — могу я спросить, сударыня, в интересах джентльмена, которому я имею честь... кха.. оказывать поддержку, или протезировать, или с которым я знаком, скажем просто, с которым я... хм.. знаком... господин Бландуа был здесь по делу в день, указанный в этом печатном листке?

— По делу, то есть он называл это делом, — отвечала миссис Кленнэм.

— Вы можете... кха... виноват... сообщить мне, в чем оно заключалось?

— Нет.

Очевидно, этот ответ был барьером, за который не следовало переходить.

— Нам уже предлагали этот вопрос, — продолжала миссис Кленнэм, — и мы ответили: «Нет». Мы не желаем разглашать на весь город наши торговые операции, как бы они ни были ничтожны. Мы сказали: «Нет».

— Я, собственно, хотел спросить, не получил ли он каких-нибудь денег? — сказал мистер Доррит.

— От нас он ничего не получил, сэр, и нам ничего не оставил.

— Я полагаю, — сказал мистер Доррит, переводя взгляд с миссис Кленнэм на мистера Флинтуинча и с мистера Флинтуинча на миссис Кленнэм, — что вы не можете объяснить себе это таинственное исчезновение?

— Почему вы так полагаете? — возразила миссис Кленнэм.

Озадаченный холодным и резким тоном этого ответа, мистер Доррит не мог объяснить, почему он так полагал.

— Я объясняю это, сэр, — продолжала она после не ловкого молчания со стороны мистера Доррита, — тем, что он отправился в путешествие или нашел нужным скрыться где-нибудь.

— Вы не знаете... кха... какая причина могла заставить его скрыться?

— Нет.

Это «нет» было сказано таким же тоном, как первое, и являлось новым барьером.

— Вы спросили меня, как я объясняю себе это исчезновение, — продолжала миссис Кленнэм, — себе, а не вам. Я не берусь объяснить его вам, сэр. Я полагаю, что с моей стороны так же неосновательно навязывать вам мои объяснения, как с вашей — требовать их.

Мистер Доррит наклонил голову в знак извинения. Отступив немного и собираясь заявить, что не имеет более вопросов, он не мог не заметить, как угрюмо и неподвижно она сидела, устремив глаза на пол и как будто выжидая чего-то. Точь-в-точь такое же выражение заметил он у мистера Флинтуинча, который стоял около ее кресла, тоже уставившись на пол и почесывая подбородок правой рукой.

В эту минуту миссис Эффри уронила подсвечник и воскликнула:

— Опять, боже мой, опять! Слушай, Иеремия, вот!

Может быть, и был какой-нибудь легкий звук, который она расслышала по своей привычке прислушиваться ко всяким звукам. Впрочем, и мистеру Дорриту послышался как бы шум падающих листьев. Испуг женщины, повидимому, на мгновение сообщился и им, так как все трое прислушались.

Мистер Флинтуинч первый опомнился.

— Эффри, жена, — сказал он, пододвигаясь к ней,

стиснув кулаки, дрожавшие от нетерпеливого желания вцепиться в нее, — ты опять за свои штуки. Опять ты бредишь наяву и разыгрываешь старые комедии. Тебе нужно лекарство! Дай только проводить этого джентльмена, и тогда я закачу тебе порцию, ха-арошую порцию!

Повидимому это обещание вовсе не утешило миссис Флинтуинч, но Иеремия, не упоминая больше о своем лекарстве, взял другую свечку со столика миссис Кленнэм и сказал:

— Я вам посвечу, сэр.

Мистер Доррит поблагодарил и отправился вниз. Мистер Флинтуинч выпроводил его и заложил цепочку, не теряя ни минуты. На улице мистер Доррит снова заметил двух человек, которые прошли мимо него навстречу друг другу, уселся в экипаж и уехал.

Отъехав немного, кучер сообщил ему, что, по требованию караульных, сказал им свое имя, номер и адрес, а также где и когда его наняли и по какой дороге он ехал. Это обстоятельство только усилило тягостное впечатление, произведенное на мистера Доррита всем этим приключением, — впечатление, от которого он не мог отделаться, ни сидя перед камином в своем номере, ни позднее, когда улегся спать. Всю ночь он блуждал по мрачному дому, видел его хозяев, застывших в угрюмом ожидании, слышал крик женщины, закрывавшей лицо передником и пугавшейся каких-то звуков, и натыкался на труп исчезнувшего Бландуа, то зарытый в погребке, то замурованный в стене.

ГЛАВА XVIII

Воздушный замок

Богатство связано с самыми разнообразными заботами. Удовольствие мистера Доррита при мысли, что ему не пришлось называть себя у Кленнэма и К⁰ или упоминать о своем знакомстве с одним назойливым господином, носившим ту же фамилию, быстро испарилось вследствие внутренней борьбы, которая возникла в нем на обратном пути. Он спрашивал себя, следует ли ему проехать мимо Маршалси и взглянуть на старые ворота. Наконец он решил, что не поедет, и удивил кучера, набросившись на него с бранью за предложение ехать через

Лондонский, а потом через Ватерлооский мост, потому что пришлось бы проехать мимо самой тюрьмы. Как бы то ни было, эта внутренняя борьба не унялась, и он чувствовал себя не в своей тарелке. Даже за обедом у Мердля, на другой день, он никак не мог отделаться от этого мучительного вопроса и часто задумывался над ним, что было совершенно неприлично ввиду окружавшего его блестящего общества. Его бросало в жар при мысли, что бы подумал главный дворецкий, если бы тяжелые взоры этой великолепной персоны могли проникнуть в водоворот его мыслей.

Прощальный банкет отличался пышностью и завершился пребыванием мистера Доррита в Лондоне самым блистательным образом. Фанни соединяла с чарами юности и красоты такое внушительное самообладание, точно уже лет двадцать была замужем. Мистер Доррит чувствовал, что может положиться на нее, что она будет достойно занимать свое высокое положение, и желал только, чтобы младшая сестра походила на нее, не забывая, впрочем, о скромных достоинствах своей любимицы.

— Душа моя, — сказал он, прощаясь с Фанни, — наша семья надеется, что ты поддержишь... кха.. ее достоинство и... хм... не уронишь ее значения. Я знаю, что нам не придется разочароваться в этих надеждах.

— Нет, папа, — отвечала Фанни, — вы можете положиться на меня. Передайте Эми мой сердечный привет и скажите, что я вскоре напишу ей.

— Быть может, ты дашь мне поручение... кха .. еще к кому-нибудь? — спросил мистер Доррит вкрадчивым тоном.

— Нет, папа, — отвечала Фанни, которой сейчас же вспомнилась миссис Дженераль, — благодарю вас. Вы очень любезны, папа, но извините меня. У меня нет никакого другого поручения, дорогой папа, которое вам приятно было бы передать.

Они прощались в гостиной около передней; единственным свидетелем этого прощания был мистер Спарклер, терпеливо поджидавший своей очереди пожать руку тестю. Когда мистер Спарклер был допущен к этой прощальной церемонии, в комнату пробрался мистер Мердль, руки которого совершенно исчезли в рукавах. Он объявил, что намерен проводить мистера Доррита вниз.

Несмотря на все протесты мистера Доррита, великий человек оказал ему эту высокую честь и проводил его до самого подъезда, где они и простились, причем мистер Доррит заявил, что он буквально подавлен вниманием и любезностью мистера Мердля. Затем он уселся в карету, в полном восторге и ничуть не сожалея о том, что проводник, тоже прощавшийся где-то в более низких сферах, был свидетелем его величественного отъезда.

Он еще находился под впечатлением этого величия, когда карета остановилась у подъезда отеля. Проводник и полдюжины лакеев помогли ему выйти; с величаво-благодарным видом вступил он в переднюю и вдруг... замер на месте, немой и неподвижный. Перед ним стоял Джон Чивери, в своей парадной паре, с цилиндром подмышкой, с знаменитой тросточкой, изящно стеснявшей его движения, и с пачкой сигар в руке.

— Ну-с, молодой человек, — сказал швейцар, — вот и джентльмен. Этот молодой человек во что бы то ни стало хотел дожидаться вас, сэр, уверяя, что вы будете рады его видеть.

Мистер Доррит грозно взглянул на молодого человека, поперхнулся и сказал самым кротким тоном:

— А, юный Джон! Кажется, я не ошибаюсь, это юный Джон?

— Да, сэр, — отвечал юный Джон.

— Я так и думал, что это юный Джон! — сказал мистер Доррит. — Этот молодой человек может войти, — прибавил он, обращаясь к своей свите, — о да, может войти. Пропустите юного Джона, я хочу поговорить с ним.

Юный Джон последовал за ним с сияющей улыбкой. Они вошли в номер мистера Доррита. Слуги зажгли свечи и удалились.

— Ну-с, сэр, — сказал мистер Доррит, внезапно поворачиваясь к нему и ухватив его за шиворот, — это что значит?

Изумление и ужас на лице злополучного Джона, который ожидал скорее объятий, были так выразительны, что мистер Доррит отнял руку и только смотрел на него гневными глазами.

— Как вы смеете? — продолжал он. — Как вы осмелились прийти сюда? Как вы смеете оскорблять меня?

— Я — оскорблять вас, сэр! — взмолился юный Джон. — О!

— Да, сэр, — возразил мистер Доррит, — оскорблять меня. Ваше посещение — оскорбление, дерзость, наглость. Вас здесь не требуется. Кто вас прислал сюда? За каким... кха... чёртом вы явились сюда?

— Я думал, сэр, — пролепетал юный Джон с таким бледным и расстроенным лицом, какого мистеру Дорриту еще не приходилось видеть даже в коллегии, — я думал, сэр, что вы, может быть, не откажетесь принять пачку...

— Чёрт бы побрал вашу пачку, сэр! — крикнул мистер Доррит с неудержимым бешенством. — Я... кха... не курю.

— Простите, пожалуйста, сэр. Прежде вы курили.

— Скажите это еще раз, — крикнул мистер Доррит вне себя, — и я огрею вас кочергой!

Юный Джон попятился к двери.

— Стойте, сэр! — закричал мистер Доррит. — Стойте! Садитесь! Садитесь же, чёрт вас побери!

Юный Джон опустил на ближайший к двери стул, а мистер Доррит прошелся взад и вперед по комнате, сначала быстро, потом тише; затем он подошел к окну и прижался лицом к стеклу, а потом, внезапно повернувшись, спросил:

— С какой целью вы явились сюда, сэр?

— Без всякой цели, сэр! Боже мой! Я только хотел узнать, сэр, здоровы ли вы и здорова ли мисс Эми?

— Какое вам дело до этого, сэр? — возразил мистер Доррит.

— Никакого, сэр, вы совершенно правы. Я никогда не забывал, какое огромное расстояние между нами. Я знаю, что это вольность с моей стороны, сэр, но я никак не думал, что вы так ее примете. Честное слово, сэр, — проговорил юный Джон с глубоким волнением, — я беден, но настолько горд, что не пришел бы сюда, если бы мог это предвидеть.

Мистер Доррит был пристыжен. Он повернулся к окну и простоял несколько минут, прижавшись лбом к стеклу. Когда он снова отвернулся от него, в руках его был платок, которым он вытирал глаза, и вид у него был усталый и больной.

— Юный Джон, мне очень жаль, что я так вспылал,

но... кха... бывают тяжелые воспоминания, и... хм... вам не следовало приходиться.

— Я и сам это вяжу, сэр, — возразил Джон Чивери, — но я не сообразил этого раньше и, видит бог, не хотел оскорбить вас, сэр.

— Нет, нет, — сказал мистер Доррит, — я... хм... уверен в этом. Кха... дайте мне вашу руку, юный Джон, дайте мне вашу руку!

Юный Джон подал свою руку, но мистер Доррит поразил его в самое сердце, и лицо его оставалось бледным и расстроенным.

— Так! — сказал мистер Доррит, пожав ему руку. — Садитесь, юный Джон.

— Благодарю вас, сэр, я лучше постою.

Мистер Доррит сел вместо него. Он схватился за голову с болезненным жестом и, помолчав немного, сказал, стараясь быть любезным:

— Как поживает ваш отец, юный Джон? Как... кха... как они все там поживают, юный Джон?

— Благодарю вас, сэр. Ничего, помаленьку, сэр. Никто не жалуется.

— Хм.. вы, как я вижу, попрежнему занимаетесь... кха... торговлей, Джон? — продолжал мистер Доррит, взглянув на оскорбительную пачку, которую только что посылал к чёрту.

— Отчасти, сэр. Я тоже, — Джон слегка запнулся, — помогаю отцу.

— О, в самом деле? — сказал мистер Доррит. — Значит, вы... кха... состоите при... кха...

— При сторожке, сэр? Да, сэр.

— Много работы, Джон?

— Да, сэр, порядочно. Не знаю почему, но у нас вообще порядочно работы.

— В это время года, юный Джон?

— Во все времена года, сэр. Я не замечал разницы. Прощайте, сэр.

— Постоите минутку, Джон... кха... постоите минутку... кха. Оставьте мне сигары, Джон... кха... прошу вас.

— Охотно, сэр.

Джон положил их на стол дрожащей рукой.

— Постоите минутку, Джон, постоите еще минутку. Мне... кха... было бы приятно переслать небольшой... хм...

подарок через такого надежного посредника, с тем чтобы он был разделен... кха... хм... между ними... между ними... сообразно их нуждам. Вы не откажетесь исполнить это поручение, Джон?

— Конечно, сэр. Я знаю, что многие из них очень нуждаются.

— Благодарю вас, Джон. Я... кха... сейчас напишу, Джон.

Руки его так дрожали, что он долго не мог ничего написать, наконец кое-как нацарапал. Это был чек на сто фунтов. Он сложил его, вложил в руку юного Джона и пожал ему руку.

— Надеюсь, вы... кха... забудете... хм... о том, что здесь произошло, Джон?

— Не говорите об этом, сэр. Я ничуть не в претензии на вас, сэр.

Однако ничто не могло вернуть физиономии юного Джона ее естественный цвет и выражение.

— Надеюсь также, Джон, — прибавил мистер Доррит, в последний раз пожимая ему руку и выпуская ее, — надеюсь, что... кха... всё это останется между нами и что, уходя отсюда, вы не скажете никому из здешних... хм... где я... кха... в прежнее время...

— О, будьте покойны, сэр, — отвечал Джон Чивери. — Я жалкий бедняк, сэр, но я слишком горд и честен, чтобы дойти до этого, сэр.

Мистер Доррит не был настолько горд и честен, чтобы не подслушивать у дверей, действительно ли Джон ушел немедленно или остановился поговорить с кем-нибудь. Сомнения не было: он быстрыми шагами спустился с лестницы и вышел на улицу. Примерно через час мистер Доррит позвал проводника, который застал его в кресле перед камином, лицом к огню.

— Можете взять себе эту пачку сигар, — сказал мистер Доррит, указывая на нее небрежным жестом и не оборачиваясь. — Это принес мне... кха... в подарок... хм... сын одного из моих старых арендаторов.

Солнце следующего дня застало экипаж мистера Доррита на Дуврской дороге, где каждый почтальон в красной куртке являлся вестником жестокого учреждения, основанного в целях беспощадного грабежа путешественников. Так как этот грабеж составляет единственное занятие населения между Лондоном и Дувром, то мистер

Доррит был ограблен в Дортфорде, обобран в Гревсенде, обворован в Рочестере, ошипан в Ситтингборне и острижен в Кентербери.

Как бы то ни было, проводник, обязанный выручать его из рук бандитов, выкупал мистера Доррита при каждой остановке; и красные куртки отправлялись вперед, выделяясь яркими пятнами на фоне весеннего ландшафта, между мистером Дорритом в его уютном уголке и ближайшим меловым холмом на пыльной дороге.

Солнце следующего дня застало его в Кале. Теперь, оставив Ла-Манш между собой и Джоном Чивери, он начал собираться с духом и находить, что заграничным воздухом дышать гораздо легче, чем английским.

Снова потянулись тяжелые французские дороги по направлению к Парижу. Совершенно оправившись, мистер Доррит, сидя в своем уютном углу, принялся строить воздушный замок. По его лицу было видно, что он воздвигает громадное здание. Целый день он строил башни, разрушал их, здесь пристраивал флигель, там выводил зубцы, исправлял стены, укреплял бойницы, украшал внутренние покои, словом — воздвигал нечто во всех отношениях великолепное. Его озабоченное лицо так ясно выдавало внутреннюю работу мысли, что каждый калека на почтовой станции, исключая слепых, совавший в окно кареты жестяную кружку с просьбой о милостыне во имя богородицы и во имя всех святых, очень хорошо знал, о чем он думает, как узнал бы это их соотечественник Лебрен,¹ если бы сделал этого английского путешественника предметом специального физиономического исследования.

Приехав в Париж и остановившись здесь на трое суток, мистер Доррит часто бродил один по улицам, рассматривая витрины лавок, особенно ювелирных. В конце концов он зашел в магазин самого знаменитого ювелира и сказал, что желает купить маленький подарок для дамы.

Он сказал это очаровательной маленькой женщине, веселой, как день, одетой с безукоризненным вкусом, появившейся из зеленой бархатной ниши с изящной маленькой книжечкой, о которой никто бы не подумал, что

¹Лебрен, Шарль (1619—1690) — французский художник классического направления, автор картин на исторические темы.

в ней можно записывать какие-нибудь коммерческие счета, кроме разве счета поцелуев. Эту книжечку она положила на изящнейшую маленькую конторку вроде бон-боньерки.

— Какого рода подарок желает сделать мсьё? — спросила она. — Быть может, любовный подарок?

Мистер Доррит усмехнулся и сказал:

Что ж, может быть! Как знать? Это всегда возможно: прекрасный пол так очарователен. Не может ли она показать ему что-нибудь в этом роде?

С величайшим удовольствием, — сказала маленькая женщина. — Ей очень приятно показать ему всё, что у них есть. Но, pardon! Прежде всего она просит мсьё заметить, что есть любовные подарки и есть свадебные подарки. Вот, например, эти восхитительные серьги и это пышное ожерелье могут быть названы любовным подарком, а эти брошки и эти кольца такой изысканной, небесной красоты — это, с позволения мсьё, подарки свадебные.

— Не лучше ли, — заметил мистер Доррит, улыбаясь, — купить и то и другое, чтобы начать с любовного подарка, а закончить свадебным.

— О небо! — восклицает маленькая женщина, складывая свои маленькие ручки. — Вот истинно рыцарская любезность! Без сомнения, дама, осыпанная такими подарками, найдет их неотразимыми.

Мистер Доррит не был уверен в этом. Но веселая маленькая женщина была совершенно уверена. Итак, мистер Доррит купил подарки обоих родов и заплатил за них кругленькую сумму.

Затем он отправился в отель, гордо подняв голову; без сомнения, к этому времени его воздушный замок далеко превзошел по высоте две квадратные башни собора Парижской богородицы.

Продолжая свою постройку, но сохраняя в тайниках своей души ее план, мистер Доррит выехал в Марсель. Он строил и строил изо всех сил, с утра до ночи. Засыпая, он оставлял огромные глыбы строительного материала висящими в воздухе; пробуждаясь, принимался за работу и размещал их на места. Тем временем проводник, сидя на заднем сиденье, покуривал лучшие сигары Джона Чивери, оставляя за собой легкую струйку дыма,

и, быть может, тоже строил свои маленькие замки на деньги мистера Доррита.

Ни одна крепость, попавшаяся им на пути, не была так крепка, ни один собор так высок, как замок мистера Доррита. Воды Соны и Роны струились не так быстро, как подвигалась вперед его постройка; Средиземное море было не так глубоко, как фундамент этого замка; холмы и залив пышной Генуи не могли сравняться с ним красотой. Мистер Доррит и его несравненный замок высадились с парохода среди грязных белых домов и еще грязнейших жуликов Чивита-Веккьи, а отсюда потащились в Рим по самой грязной из дорог.

ГЛАВА XIX

Крушение воздушного замка

Прошло уже добрых четыре часа после захода солнца, и редкий путешественник согласился бы очутиться в такую позднюю пору за пределами Рима, когда карета мистера Доррита, еще не окончившая своего последнего утомительного переезда, катилась по пустынной Кампанье. Полудикие пастухи и угрюмые крестьяне, оживлявшие дорогу днем, исчезли с наступлением ночи, и кругом не было видно ни души. Иногда на поворотах мелькало на горизонте бледное зарево, точно испарение этой усеянной развалинами пустыни, показывавшее, что город еще далеко; но оно появлялось лишь изредка и на самое короткое время. Карета снова погружалась в мрачное каменное море, и ничего не было видно, кроме его окаменевших волн и хмурого неба.

Мистер Доррит, хотя и занятый постройкой замка, чувствовал себя довольно скверно в этой пустыне. При каждом толчке, при каждом крике кучера он тревожился сильнее, чем за весь путь с момента отъезда из Лондона. Слуга на козлах, очевидно, трусил. Проводник на запятках был не в своей тарелке. Всякий раз, когда мистер Доррит опускал стекло и смотрел на проводника (что случалось очень часто), он видел, что тот хоть и покуривает с беззаботным видом сигару Джона Чивери, но в то же время зорко оглядывается по сторонам, как человек, подозревающий недоброе. Мистер Доррит поднимал окно и думал, что у возниц самые разбойничьи физионо-

мии и что лучше бы ему было переночевать в Чивита-Веккье, а утром тронуться дальше. Но при всем том он продолжал заниматься постройкой своего замка.

Наконец развалившиеся изгороди, зияющие отверстия окон, ветхие стены, заброшенные дома, пересохшие колодцы, изломанные водоемы, кипарисы, подобные призракам, группы перепутанных виноградных кустов, дорога, превратившаяся в узкую, извилистую, неправильную улицу, — где всё от невзрачных построек до тряской мостовой грозило разрушением, — возвестили о близости Рима. Внезапный толчок и остановка экипажа внушили мистеру Дорриту мысль, что разбойники решились, наконец, ограбить его и выбросить в ров; но, опустив окно и выглянув наружу, он убедился, что карета попросту задержана похоронной процессией, которая переходила улицу с монотонным пением. Тускло мерцавшие факелы озаряли неясным светом грязные облачения, раскачивающиеся кадила и большой крест перед священником. Странно выглядел этот священник при свете факелов; угрюмый, с нахмуренным лбом, он встретился глазами с мистером Дорритом, и губы его, продолжавшие тянуть псалом, точно угрожали важному путешественнику, а движение руки, которым он ответил на поклон мистера Доррита, подчеркивало эту угрозу. Так, по крайней мере, казалось мистеру Дорриту, воображение которого разыгралось под влиянием путешествия и постройки замка. Между тем священник прошел мимо, и процессия удалилась своим путем, унося с собой своего мертвеца. Компания мистера Доррита тоже двинулась своим путем, увозя с собой предметы роскоши из двух великих столиц Европы, и вскоре вступила в ворота Рима.

Мистера Доррита не ожидали в эту ночь. Его ждали, но только завтра, так как не думали, что он решится выехать в такую позднюю пору. Поэтому, когда экипаж остановился у ворот, никто, кроме привратника, не вышел навстречу.

— Разве мисс Доррит нет дома? — спросил он.

— Как же! Она дома.

Хорошо, — сказал мистер Доррит собравшимся слугам, — не нужно его провожать: пусть лучше помогут разгрузить карету, он сам пройдет к мисс Доррит.

Он тихонько поднялся по большой лестнице, заглядывая в пустые комнаты, пока не заметил в одной из них

свет. Это была маленькая комнатка, задрапированная занавесками, в виде палатки, между двух больших зал. Она казалась ему такой теплой и уютной, пока он приближался к ней по темному коридору.

В ней не было двери, были только занавески. Он остановился перед ней, и что-то кольнуло его в сердце. Странное чувство, вроде ревности. Но, конечно, не ревность? С какой стати — ревность? Там были только его дочь и его брат: он грелся у камина, в кресле, она вышивала за маленьким столиком. При громадном различии в обстановке картины фигуры оставались прежними: братья так походили друг на друга, что мистер Фредерик мог сойти за Вильяма. Так он сам сживал когда-то по вечерам перед тлеющими углями; так сидела она, ухаживая за ним.

Но, конечно, ничего завидного не могло быть в старой гнусной нищете. Откуда же, в таком случае, эта боль в сердце?

— Знаете, дядя, вы, право, помолодели.

Дядя покачал головой и сказал:

— С каких это пор, милочка, с каких это пор?

— По-моему, — возразила Крошка Доррит, работая иглой, — вы положительно молодеете в последнее время. Вы стали такой веселый, бодрый, деятельный.

— Всё ты, милое дитя!

— Всё я, дядя?

— Да, да. Ты так балуешь меня. Так внимательна ко мне, так ласкова со мной, так деликатно стараешься скрыть свои заботы, что я... ну, ну, ну! Это тебе зачтется, милочка, зачтется!

— Всё это только ваша фантазия, дядя, — сказала Крошка Доррит, смеясь.

— Ну, ну, ну, — пробормотал старик. — Слава богу!

Она на минутку оторвалась от работы, чтобы взглянуть на него, и этот взгляд растравил боль в сердце ее отца, в бедном слабом сердце, полном противоречий, колебаний, несообразностей, мелких ребяческих тревог, тумана, который мог рассеяться только с наступлением вечного утра.

— Мне так легко с тобой, голубка, — сказал старик, — с тех пор как мы остались одни. Я говорю — одни, так как миссис Дженераль не идет в счет; мне до нее, а ей до меня нет дела. Но Фанни была недовольна

мной. Я не удивляюсь этому и не жалуясь; я сам чувствую, что должен раздражать ее, хоть и стараюсь всегда держаться где-нибудь подальше. Я не под стать общей компании. Мой брат Вильям, — прибавил старик тоном восторженного удивления, — мог бы вести знакомство с монархами, но не твой дядя, милочка, — Фредерик Доррит может только компрометировать Вильяма Доррита и отлично понимает это. Ах, да здесь твой отец, Эми! Милый Вильям, добро пожаловать! Я рад тебя видеть, дорогой брат!

(Повернув голову во время разговора, он увидел брата, стоявшего в дверях.)

Крошка Доррит с радостным криком обвила руками шею отца и осыпала его поцелуями. Отец был немножко не в духе и немножко сварлив.

— Я рад, что нашел тебя наконец, Эми, — сказал он. — Кха... право, рад, что нашел... хм... хоть кого-нибудь наконец. Кажется, меня... кха... вовсе не ждали, и, право, я начинаю... хм... начинаю думать, что мне следует извиниться... кха... что я позволил себе приехать

— Мы не ждали тебя так поздно, дорогой Вильям, — сказал его брат, — мы думали, что ты приедешь завтра.

— Я покрепче тебя, милый Фредерик, — возразил приезжий, скрывая суровость под видом братской нежности, — и, кажется, могу путешествовать без вреда для здоровья в какой угодно час дня.

— Конечно, конечно, — подхватил Фредерик со смутным сознанием, что чем-то обидел брата. — Конечно, Вильям.

— Благодарю, Эми, — продолжал мистер Доррит, между тем как она помогала ему снять пальто, — я бы и сам разделся. Я... кха.. не хочу утруждать тебя, Эми. Могу я получить кусок хлеба и стакан вина, или... хм... это слишком хлопотливо?

— Дорогой отец, вам сейчас дадут ужинать.

— Благодарю, милочка, — сказал мистер Доррит, всей своей фигурой изображая упрек, — я... кха... боюсь, что причиняю слишком много хлопот. Хм... как здоровье миссис Дженераль?

— Миссис Дженераль жаловалась на головную боль и усталость, и потому, когда мы решили, что вы не приедете сегодня, ушла спать.

Может быть, мистеру Дорриту было приятно, что

огорчение по случаю его отсутствия так подействовало на миссис Дженераль. Во всяком случае, лицо его просветлело, и он сказал с очевидным удовольствием:

— Крайне грустно слышать, что миссис Дженераль нездорова.

В течение этого непродолжительного разговора дочь всматривалась в него с необычайным вниманием. Повидимому, он заметил это и рассердился, так как сказал с новым приливом старческой брюзгливости:

— Что ты так смотришь на меня, Эми? Что такое в моей наружности заставляет тебя так странно... кха... сосредоточивать на мне свое внимание?

— Ничего, отец, простите. Я рада вас видеть, вот и всё.

— Не говори «вот и всё», потому что... кха... это не всё. Тебе... хм... тебе кажется, — продолжал мистер Доррит обличительным тоном, — что у меня болезненный вид?

— Мне кажется, вы немножко утомлены, милый.

— Ты ошибаешься, — возразил мистер Доррит. — Кха... я не утомлен. Кха... хм... я гораздо бодрее, чем был при отъезде.

Видя, что он в раздражительном настроении, она ничего не сказала в свою защиту, но спокойно оставалась около него, взяв его за руку. Внезапно он впал в тяжелое забытие, но, спустя минуту, вздрогнул и очнулся.

— Фредерик, — сказал он, обращаясь к брату, — советую тебе идти спать.

— Нет, Вильям, я посижу, пока ты будешь ужинать.

— Фредерик, — повторил мистер Доррит, — я прошу тебя идти спать. Я... кха... лично требую, чтобы ты шел спать. Тебе давно следовало лечь спать, ты такой слабый.

— Ну, да! — сказал тот, готовый на всё, только бы угодить брату. — Ну, ну, ну, правда, я очень слаб.

— Милый Фредерик, — продолжал мистер Доррит тоном подавляющего превосходства, вызванного упадком сил брата, — в этом не может быть сомнения. Мне грустно видеть тебя таким слабым. Кха... это ужасно огорчает меня. Хм... ты очень нехорошо выглядишь. Подобные вещи тебе не по силам. Ты должен остерегаться, очень остерегаться.

— Так я пойду спать? — спросил Фредерик,

— Да, милый Фредерик, — сказал мистер Доррит, — умоляю тебя! Покойной ночи, брат. Надеюсь, ты будешь бодрее завтра. Мне очень не нравится твой вид. Покойной ночи, дорогой мой.

Отпустив так любезно брата, он снова впал в забытие, прежде чем тот успел выйти из комнаты, и упал бы прямо лицом в камин, если бы дочь не поддержала его.

— Твой дядя впадает в детство, Эми, — сказал он, очнувшись. — Его разговор... кха... несвязен, и язык... хм... заплетается, как... хм... как никогда. Он не был болен в мое отсутствие?

— Нет, отец.

— Ты... кха... замечаешь в нем перемену, Эми?

— Я ничего не заметила, милый.

— Ужасно одряхлел, — сказал мистер Доррит, — ужасно одряхлел. Мой бедный, слабый, чувствительный Фредерик! Кха... Даже в сравнении с тем, чем он был раньше, он... хм... ужасно одряхлел.

Ужин, который подали в эту минуту, отвлек его внимание. Дочь села рядом с ним, как сживала в былые дни. Она накладывала ему кушанье, наливала вино, как делала это в тюрьме. С тех пор как они получили богатство, это случилось в первый раз. Она старалась не смотреть на него, опасаясь, что он опять рассердится, но заметила, что раза два в течение ужина он взглядывал на нее, а потом озирался по сторонам, как будто хотел увериться, точно ли они не в тюрьме. Оба раза он хватался за голову, точно ему доставало старой черной шапочки, хотя она была с презрением брошена в Маршалъси и украшала теперь голову его преемника.

Он мало ел, но долго сидел за ужином, то и дело возвращаясь к плачевному состоянию брата. Высказывая глубокое сожаление, он, однако, отзывался о нем почти резко. Он говорил, что бедняга Фредерик... кха... хм... выжил из ума. Да, именно, другого выражения не подберешь: выжил из ума. Бедняжка! Грустно подумать, что Эми должна томиться в его обществе, слушать его несносный лепет; да, бедный, бедный старикашка, несносный лепет! Хорошо еще, что она может отдохнуть в обществе миссис Дженераль.

— Ужасно жаль, — прибавил он с прежним удовольствием, — что эта... кха... превосходная женщина больна.

Крошка Доррит в своей заботливой любви запомнила бы каждое его слово, каждый его жест, если бы даже у нее не было повода вспоминать этот вечер впоследствии. Она помнила, как он озирался кругом под влиянием старых воспоминаний и тотчас же старался отогнать от нее, а может быть и от себя, это впечатление, распространялся о богатом и блестящем обществе, которое окружало его в Лондоне, и о высоком положении его семьи. Она помнила также, что в его речах, в его рассказах беспрерывно пробивались две противоречивые мысли: с одной стороны, он как будто старался дать ей понять, как отлично обходился без нее; с другой, бессвязно и непоследовательно жаловался на недостаток заботливости с ее стороны.

Рассказывая о пышности мистера Мердля, окруженного целым двором поклонников, он, естественно, вспомнил о миссис Мердль. Настолько естественно, что, хотя его разговор в этот вечер отличался особенной непоследовательностью, к ней он перешел прямо от мистера Мердля и спросил, как она поживает.

— Она здорова. Уезжает на будущей неделе.

— На родину? — спросил мистер Доррит.

— Да, но не прямо, она пробудет в дороге несколько недель.

— Ее отсутствие будет огромной потерей здесь, — сказал мистер Доррит, — а ее присутствие... кха... огромным приобретением на родине. Для Фанни и для... хм... всего... кха.. светского общества.

Крошка Доррит подумала о войне, которая начнется по возвращении миссис Мердль на родину, и очень нерешительно выразила свое согласие.

— Миссис Мердль устраивает большой прощальный обед и вечер. Она очень беспокоилась, вернетесь ли вы во-время. Она приглашала к обеду нас обоих.

— Она... кха... очень любезна. Когда же?

— Послезавтра.

— Напиши ей утром, что я вернулся и... хм... весьма польщен приглашением.

— Я провожу вас наверх, милый?

— Нет! — отвечал он, сердито оглядываясь и тут только заметив, что уходит, не простившись с нею. — Не нужно, Эми. Мне не надо помощи. Я твой отец, а не

но, как рассердился, и прибавил: — Ты забыла поцеловать меня, Эми. Покойной ночи, дорогая моя. Теперь остается только сыграть свадьбу... кха... твою свадьбу.

С этими словами он ушел, медленно и с трудом поднялся в свою комнату и тотчас же отпустил камердинера. Затем он достал свои парижские покупки, открыл футляры, полюбовался на драгоценности и снова закрыл их и спрятал под замок. После этого он забылся не то в дремоте, не то в постройке воздушного замка, и утро уже забрезжило над пустынной Кампаньей, когда он улегся в постель.

На другой день к нему явился в надлежащее время слуга от миссис Дженераль, которая свидетельствовала мистеру Дорриту свое почтение и выражала надежду, что он хорошо отдохнул после утомительного путешествия. Мистер Доррит, со своей стороны, поручил передать ей поклон и сообщить, что он вполне отдохнул и чувствует себя как нельзя лучше. Тем не менее он не выходил из своих апартаментов до самого обеда, а когда вышел в полном блеске и отдал распоряжение насчет прогулки в экипаже с дочерью и миссис Дженераль, то вид у него был далеко не соответствовавший его словам.

Так как гостей в этот день не было, то они обедали вчетвером. Он подвел миссис Дженераль к ее месту, по правую руку от него, с самым церемонным видом, и Крошка Доррит, следовавшая за ними с дядей, не могла не заметить, что отец был одет очень тщательно и что в его обращении с миссис Дженераль было нечто совсем особенное. Безукоризненная внешность этой образцовой леди не изменилась ни на атом, но Крошке Доррит всё-таки показалось, что в глубине ее ледяных глаз сверкают оттаявшие росинки торжества.

Несмотря на персиковый и призмовый, если можно так выразиться, характер этого семейного банкета, мистер Доррит в течение его засыпал несколько раз. Эти приступы дремоты были так же неожиданны, как и накануне, и так же кратковременны и глубоки. Когда случился первый приступ, миссис Дженераль взглянула почти с удивлением; но при каждом последующем она произносила мысленно свое всегдашнее заклинание: папа, помидор, птица, персики и призмы; и после непродолжительного упражнения научилась произносить

эту формулу так медленно, что заканчивала ее как раз в ту минуту, когда он просыпался.

Он снова выражал сожаление по поводу сонливости Фредерика (существовавшей только в его воображении) и после обеда, когда Фредерик удалился, извинился перед миссис Дженераль за этого беднягу.

— Достойнейший человек, любящий брат, — сказал он, — но... кха... хм... совсем опустился. Совсем одряхлел, и как рано!

— Мистер Фредерик, сэр, — согласилась миссис Дженераль, — всегда несколько рассеян и вял, но, будем надеяться, не так плох, как можно думать.

Но мистер Доррит не хотел отпустить его так легко.

— Дряхлеет, сударыня; развалина, руина. Разрушается на наших глазах... Хм... Добрый Фредерик!

— Надеюсь, миссис Спарклер здорова и счастлива? — спросила миссис Дженераль, испустив равнодушный вздох о мистере Фредерике.

— Она окружена, — отвечал мистер Доррит, — кха... всем, что может очаровать чувства и... хм... облагородить ум. Она счастлива, дорогая миссис Дженераль... хм... любовью своего мужа.

Миссис Дженераль слегка смутилась и деликатно отмахнулась перчаткой, как бы отгоняя слово, которое могло завести бог знает куда.

— Фанни, — продолжал мистер Доррит, — Фанни, миссис Дженераль, обладает высокими качествами... кха... честолюбием... хм... сознанием... кха... своего положения, решимостью оставаться на высоте этого положения... кха... хм... грацией, красотой и прирожденным благородством.

— Без сомнения, — заметила миссис Дженераль (весьма сухо).

— Наряду с этими качествами, сударыня, — продолжал мистер Доррит, — у Фанни оказался... кха... крупный недостаток, который... хм... огорчил и... кха... должен прибавить, рассердил меня. Но я надеюсь, что теперь этот недостаток не будет проявляться и уж во всяком случае не будет иметь значения... кха... для других.

— Что вы хотите сказать, мистер Доррит? — спросила миссис Дженераль, перчатки которой снова обнаружили некоторое волнение. — Я, право, не понимаю, на что...

— Не говорите этого, дорогая миссис Дженераль, — перебил мистер Доррит.

— На что вы намекаете? — закончила миссис Дженераль едва слышным голосом. В это время мистер Доррит опять на минуту задремал, но сейчас же очнулся и заговорил с каким-то судорожным оживлением:

— Я намекаю, миссис Дженераль, на... кха... дух противоречия или... хм... смею сказать... кха... ревности со стороны Фанни, проявившийся по временам и направленный против.. кха... тех чувств, какие я питаю в отношении... хм.. достойной... кха... леди, с которой имею честь беседовать в настоящую минуту.

— Мистер Доррит, — возразила миссис Дженераль, — всегда слишком любезен, слишком снисходителен. Если и бывали минуты, когда мне казалось, что мисс Доррит относится с раздражением к благосклонному мнению, которое мистеру Дорриту угодно было составить себе о моих услугах, то я всегда находила утешение и вознаграждение в этом, конечно, слишком высоком мнении.

— Высоком мнении о ваших услугах, сударыня? — спросил мистер Доррит.

— О моих услугах, — повторила миссис Дженераль с выразительной грацией.

— Только о ваших услугах, дорогая миссис Дженераль? — настаивал мистер Доррит.

— Я полагаю, — возразила миссис Дженераль тем же выразительным тоном, — только о моих услугах. Так чему же другому, — продолжала она, с легким вопросительным движением перчаток, — могла бы я приписать...

— Вам... кха .. вам самим, миссис Дженераль... кха... хм.. вам и вашим достоинствам, — отвечал мистер Доррит.

— Мистер Доррит извинит меня, — сказала миссис Дженераль, — если я замечу, что время и место не допускают продолжения настоящего разговора. Мистер Доррит не осудит меня, если я замечу, что мисс Доррит находится в соседней комнате и я вижу ее в настоящую минуту. Мистер Доррит не рассердится на меня, если я замечу, что чувствую себя взволнованной и что бывают минуты, когда человеческие слабости, от которых я уже считала себя застрахованной, овладевают мною с удвоенной силой. Мистер Доррит позволит мне удалиться.

— Хм... быть может, мы возобновим этот... кха... интересный разговор в другое время, — сказал мистер Доррит, — если только, как я надеюсь, он не... хм... не неприятен для... кха... для миссис Джeneralь.

— Мистер Доррит, — отвечала миссис Джeneralь, вставая и опуская глаза, — может рассчитывать на мою преданность и уважение.

Затем миссис Джeneralь удалилась с обычной величавостью и не обнаруживая волнения, какого можно было бы ожидать при подобных обстоятельствах от менее замечательной женщины. Мистер Доррит, который держал себя во время этого разговора с величественной снисходительностью, не лишенной, впрочем, оттенка благоговения — совершенно так, как многие держат себя в церкви, — остался, повидимому, очень доволен собой и миссис Джeneralь. К вечернему чаю эта леди появилась припудренной и напомаженной и сверх того обнаружила известный подъем духа, проявившийся в ласково-покровительственном обращении с Крошкой Доррит и в нежной заботливости о мистере Доррите, насколько то и другое было совместимо со строгими приличиями. В конце вечера, когда она собралась уходить, мистер Доррит предложил ей руку, точно намеревался отправиться с нею на Пьяцца дель-Пополо¹ протанцевать менуэт при свете луны, и необыкновенно торжественно проводил ее до дверей комнаты, где галантно поднес к губам кончики ее пальцев. Приложившись к этой довольно костлявой, но надушенной ручке, он милостиво простился с дочерью. И, дав таким образом понять, что готовится нечто замечательное, ушел спать.

На другое утро он не выходил из своей комнаты, но послал мистера Тинклера засвидетельствовать свое глубочайшее почтение миссис Джeneralь и передать ей, что он просит ее отправиться на прогулку с мисс Доррит без него. Его дочь уже оделась к обеду у миссис Мердль, а он еще не выходил. Наконец появился и он в безукоризненном костюме, но как-то странно опустившийся и дряхлый. Как бы то ни было, зная, что выразить беспокойство по поводу его здоровья значило бы рассердить его, она только поцеловала его в щеку и от-

¹ Пьяцца дель-Пополо (*итал.*) — площадь Народа, одна из главных площадей в Риме

нравилась вместе с ним к миссис Мердль, затаив тревогу в душе.

Им нужно было проехать незначительное расстояние, но он уже успел погрузиться в постройку своего замка, прежде чем они проехали полдороги. Миссис Мердль приняла их с отменной любезностью, бюст оказался в лучшем виде и был вполне доволен собой; обед отличался изысканностью; общество собралось избранное.

Оно состояло, главным образом, из англичан, исключая французского графа и итальянского маркиза — неизбежных украшений общества, которые всегда оказываются в известных местах и всегда бывают на одно лицо. Стол был длинный, обед тоже длинный, и Крошка Доррит, затерявшаяся в тени огромных черных бакенбард и белого галстука, совсем не видела отца, как вдруг лакей подал ей записочку и шёпотом сообщил, что миссис Мердль просит прочитать ее немедленно. Миссис Мердль написала наскоро карандашом: «Пожалуйста, подойдите к мистеру Дорриту, кажется, ему нехорошо».

Она поспешила к нему, как вдруг он поднялся со стула и, наклонившись над столом, крикнул, думая, что она всё еще сидит на своем месте:

— Эми, Эми, дитя мое!

Этот поступок был так неожидан, не говоря уже о странной, взволнованной наружности и странном, взволнованном голосе старика, что за столом моментально воцарилась глубокая тишина.

— Эми, милочка, — повторил он. — Сходи в сторожку, — узнай, не Боб ли сегодня дежурный!

Она стояла рядом с ним и прикасалась к нему рукой, но он упорно думал, что она всё еще сидит на своем месте, и звал ее, наклонившись над столом:

— Эми, Эми! Мне что-то не по себе... кха. Не понимаю, что со мной делается. Мне бы хотелось видеть Боба... кха... Из всех тюремщиков он наиболее расположен к нам обоим. Посмотри, в сторожке ли Боб, и попроси его зайти ко мне!

Гости поднялись в смятении.

— Дорогой отец, я здесь, я здесь, подле тебя.

— О, ты здесь, Эми, хорошо... хм... кха... Позови Боба; если его нет в сторожке, пошли за ним миссис Бангэм.

Она пыталась увести его, но он сопротивлялся и не хотел уходить.

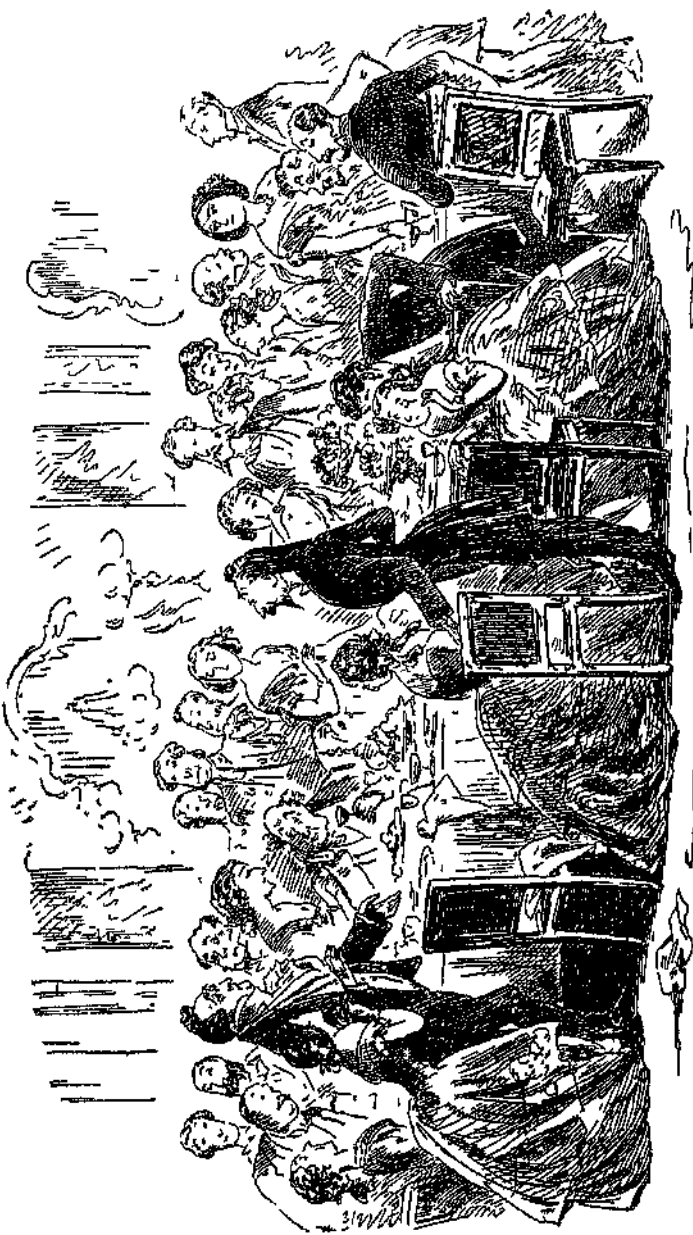
— Говорят тебе, дитя, — сказал он раздражительно, — я не могу подняться по этой узкой лестнице без его помощи... кха .. Пошли за Бобом... хм .. пошли за Бобом... лучший из всех тюремщиков... пошли за Бобом!

Он обвел гостей смутным взглядом и, видя вокруг себя множество лиц, обратился к ним:

— Леди и джентльмены, на мне... кха... лежит обязанность .. хм... приветствовать вас в Маршалъси. Милости просим в Маршалъси! Пространство здесь... кха... ограничено... ограничено... желательно бы больше простора; но оно покажется вам обширнее со временем, со временем, леди и джентльмены, а воздух здесь, принимая во внимание местные условия, весьма хороший. Он веет к нам... кха... с Серрейских высот, веет с Серрейских высот. Эта буфетная... хм... содержится на средства... кха... членов общежития, собираемые по подписке. За это они пользуются горячей водой, общей кухней, мелкими домашними удобствами. Обитатели... кха... Маршалъси называют меня ее отцом. Посетители относятся ко мне как к Отцу Маршалъси. Конечно, если многолетнее пребывание дает право на такой... кха... почетный титул, я могу принять это... хм... звание. Мое дитя, леди и джентльмены, моя дочь... родилась здесь.

Она не стыдилась его слов или его самого. Она была бледна и испугана, но единственной ее заботой было успокоить и увести его, ради него самого. Она стояла между ним и изумленными гостями, подняв к нему свое лицо. Он обнял ее левой рукой, и время от времени слышался ее нежный голос, умолявший его уйти с нею.

— Родилась здесь, — повторял он сквозь слезы. — Здесь воспитывалась. Леди и джентльмены, моя дочь... дочь несчастного отца, но... кха... джентльмена... бедняка, без сомнения, но... хм... гордого... всегда сохранявшего гордость. Среди моих почитателей, только моих личных почитателей, вошло... хм... вошло в обычай выражать свое уважение к моему... кха... полуофициальному положению здесь... кха... небольшими знаками внимания, которые принимают обыкновенно форму.. кха... приношений... денежных приношений. Принимая эти... кха... добровольные изъявления уважения к моим скромным усилиям... хм... поддержать достоинство... достоинство



Неожиданная речь на обеде.

этого учреждения... я, прошу заметить, отнюдь не считаю себя скомпрометированным... кха... нимало!.. Хм... я не нищий! Нет, я отвергаю это название! При всем том я отнюдь не хочу сказать... хм... что деликатные чувства моих друзей, побуждающих их к таким приношениям, встречаются с моей стороны... кха... высокомерное отношение. Напротив, они принимаются с благодарностью. От имени моей дочери, если не от своего собственного, я принимаю их, вполне сохраняя вместе с тем... кха... мое личное достоинство. Леди и джентльмены, да благословит вас бог!

Тем временем большинство гостей разошлось по соседним комнатам, из уважения к бюсту, который был страшно скандализован. Немногие, дождавшиеся окончания речи, последовали за ними, и Крошка Доррит с ее отцом были предоставлены самим себе и слугам. Милый, дорогой, теперь он пойдет с нею, пойдет? Он отвечал на ее горячие мольбы, что ему не подняться по крутой лестнице без помощи Боба... где же Боб?.. Почему никто не сходит за Бобом? Под тем предлогом, что они посмотрят, где Боб, она свела его с лестницы, по которой уже поднимался шумный поток гостей, съезжавшихся на вечер, усадила в экипаж и отвезла домой.

Широкая лестница римского палаццо сузилась в его помутившихся глазах в тесную лестницу лондонской тюрьмы, и он никому не позволял дотрагиваться до себя, кроме дочери и брата. Они отвели его в спальню и уложили в постель. С этого момента его бедный поврежденный дух, сохранивший память лишь о том месте, которое подрезало его крылья, расстался с грезами, охватившими его в последнее время, и не признавал ничего, кроме Маршалъси. Шаги на улице казались ему шагами арестантов, слоняющихся по тюремному двору. Когда наступал час запираеть ворота, он думал, что посторонним пора уходить. Когда же наступало время отворять их, он так настойчиво требовал Боба, что домашние должны были уговаривать его, говоря, что Боб (много лет тому назад умерший) простудился, но придет завтра или послезавтра или в самом непродолжительном времени.

Он так ослабел, что не мог поднять руки. Тем не менее он по старой привычке относился покровительственно к брату и говорил ему снисходительным тоном раз пятьдесят в день, когда замечал его стоящим около кровати:

— Мой добрый Фредерик, присядь, ты такой слабый. Попробовали привести миссис Дженераль, но оказалось, что он не сохранил о ней ни малейшего воспоминания. Мало того, у него почему-то явилось оскорбительное подозрение, что она рассчитывает заместить миссис Бангэм и предается пороку пьянства. Он накинулся на нее в таких неумеренных выражениях и так настойчиво требовал, чтобы дочь отправилась к директору и попросила его выгнать ее, что эта попытка после первой неудачи, уже не повторялась.

Только раз он спросил случайно, дома ли Тип, но вообще воспоминание о двух отсутствовавших детях, по-видимому, покинуло его. А дочь, которая сделала для него так много и была так плохо вознаграждена, ни на минуту не выходила из его головы. Не то чтобы он жалел ее или боялся, что она захворает от усталости и хлопот; на этот счет он беспокоился так же мало, как прежде. Нет, он любил ее на свой лад, по-старому. Они снова были вместе в тюрьме, и она ухаживала за ним, и он не мог обойтись, не мог шагу ступить без нее и даже говорил ей не раз, как приятно ему сознавать, что он так много перенес ради нее. А она сидела подле кровати, наклоняя к нему свое спокойное лицо и готовая отдать за него свою жизнь.

Он провел в этом состоянии два или три дня; на третий день она заметила, что его беспокоит тиканье часов, великолепных золотых часов, которые так шумно заявляли о своей деятельности, точно во всем свете только они да время двигались вперед. Она остановила их, но он не успокоился, показывая жестаами, что ему требуется вовсе не то. Наконец она догадалась, что он просит заложить их или продать. Он весь просиял, когда она сделала вид, что уносит их с этой целью, и после этого с удовольствием выпил вина и поел желе, к которым не прикасался раньше.

Вскоре оказалось, что это его главная забота; на следующий день он точно так же распорядился с запонками, потом с перстнями. Он с видимым удовольствием давал ей эти поручения, очевидно считая их крайне благоразумными и предусмотрительными. После того как все безделушки, — по крайней мере, все, которые попадались на глаза, — были унесены, он принялся за гардероб и, может быть, протянул несколько лишних дней

благодаря удовольствию, которое находил в отправке вещей, штука за штукой, к воображаемому закладчику.

Десять дней провела Крошка Доррит около постели, прижавшись щекой к его щеке. Иногда, истомленная усталостью, она засыпала на несколько минут, потом пробуждалась, вспоминала с безмолвными слезами, чье лицо покоится рядом с ее лицом на подушке, и видела, как на него спускается тень более глубокая, чем тень стены Маршалси.

Тихо, тихо расплывались и таяли в воздухе очертания громадного замка. Тихо, тихо светлело его изборожденное морщинами лицо. Тихо, тихо исчезали с него следы тюремной решетки и зубцов на верхушке стены. Тихо, тихо лицо молодело и становилось похожим на ее собственное лицо, пока не застыло в вечном покое.

В первые минуты дядя был безутешен

— О брат мой! О Вильям, Вильям! Уйти раньше меня, уйти одному; уйти, когда я остаюсь! Ты такой благородный, такой одаренный, такой умный; а я жалкое бесполезное существо, никуда не годное, никому не нужное!

Она старалась утешить его и в этом находила облегчение:

— Дядя, милый дядя, пожалейте себя, пожалейте меня!

Старик не был глух к этим последним словам. Он пытался овладеть собой, чтобы не огорчать ее. Он не заботился о себе, но всеми оставшимися силами своего честного сердца, так долго бывшего окоченелым, а теперь ожившего, чтобы разбиться, благословлял ее и молился за нее.

— Боже, — воскликнул он, скрестив над нею свои морщинистые руки, — ты видишь дочь моего дорогого умершего брата! Всё, что я заметил моими полуслепыми грешными глазами, всё это ясно и светло для тебя. Волосок с ее головы не упадет без твоей воли. Ты поддержишь ее до последнего часа. И я знаю, что ты наградишь ее потом!

Они оставались в потемневшей комнате почти до полуночи. Иногда его скорбь изливалась бурным порывом, как в первые минуты; но помимо того, что его слабые силы истощились в этих порывах, он каждый раз старался овладеть собой, упрекал себя и успокаивался.

Одно лишь он твердил постоянно: что его брат ушел один, один, что они оба находились на склоне жизни, что они вместе пережили обрушившееся на них несчастье, вместе терпели бедность, оставались вместе до этого дня, а теперь его брат ушел один, один!

Они расстались грустные, подавленные печалью Крошка Доррит не хотела оставить старика одного, пока не довела его до спальни, где он улегся одетый, а она прикрыла его одеялом.

Потом она ушла к себе, упала на постель и заснула глубоким сном, сном истощения и усталости, спокойным, хотя не заглушившим вполне сознания горя. Спи, дорогая Крошка Доррит! Спи спокойно!

Была лунная ночь, но луна поднялась поздно, так как была на ущербе. Когда она поднялась высоко на мирном небосклоне, лучи ее проникли сквозь полузакрытые ставни в комнату, где так недавно закончились ошибки и скитания одной человеческой жизни. Две спокойные фигуры виднелись в этой комнате; две фигуры, одинаково безмолвные и бесстрастные, удаленные на неизмеримое расстояние от этой грешной земли с ее суетой.

Одна из них лежала на кровати. Другая, стоявшая на коленях, опустила голову на кровать, прильнув губами к руке, над которой склонилась, испуская последний вздох. Оба брата были теперь перед своим отцом, далеко от здешнего суда, высоко над туманом и тьмой этого мира.

ГЛАВА XX

Служит введением к следующей

Пассажиры высаживались на пристань в Кале с парохода. Вода убывала с отливом, и Кале выглядел как-то плоским и унылым. Воды оставалось как раз настолько, чтобы можно было подойти пароходу, и отмель, просвечивавшая сквозь мелкую воду, казалась каким-то неповоротливым морским чудовищем, дремавшим у самой поверхности моря. Тонкий белый маяк виднелся на берегу бледным призраком, точно дух здания, когда-то имевшего цвет и округлость, печально роняя слезы вслед удаляющимся волнам. Длинные ряды ветхих черных свай, мокрых, скользких, изъеденных непогодой, с погре-

бальными гирляндами водорослей, нанесенных последним приливом, могли бы сойти за старое, заброшенное кладбище. Всё, каждый предмет, источенный волнами, истерзанный бурями, казался таким невзрачным и мизерным под этим бесконечным свинцовым небом, под шумом ветра и моря, в раскатах пенистых валов прибоя, что можно было только удивляться, как еще не исчез Кале, как могли устоять его низенькие стены и низенькие ворота, низенькие крыши и низенькие валы, низенькие песчаные холмы, низенькие укрепления, плоские улицы, — как могли они устоять против неодолимого моря и как оно не смыло их, подобно тем крепостям, которые ребятишки строят из прибрежного песка.

Скользя по грязным мосткам, спотыкаясь на мокрых ступеньках, пассажиры кое-как перебрались на набережную, где на них тотчас же набросились, не давая им опомниться, французские оборванцы и английские бродяги — подонки городского населения (составлявшие его добрую половину). Подвергшись подробнейшему осмотру со стороны англичан, возбудив бесконечные споры, перебранки и потасовки среди французов, отнимавших друг у друга добычу на протяжении добрых трех четвертей мили, они вырвались, наконец, на свободу и разбрелись в разные стороны, преследуемые по пятам гостеприимными туземцами.

Кленнэм, удрученный самыми разнообразными заботами, был в толпе этих жертв. Выручив наиболее беспомощных соотечественников из критического положения, он, наконец, пошел своим путем один — или почти один, так как какой-то туземный джентльмен в пальто, сшитом, повидимому, из одной грязи, и в фуражке из того же материала, гнался за ним, неумолчно взывая: «Эй, па-а-слушайте, господин! Па-а-слушайте! Лучший отель!».

В конце концов, однако, этот гостеприимный субъект отстал, и Кленнэм продолжал свой путь без всякой помехи. После шума и суматохи на пароходе и на набережной город казался очень тихим, и его безлюдье было приятно в силу этого контраста. Кленнэму попадались новые группы соотечественников, которые все имели какой-то странный вид, точно едва распустившиеся цветы, уже увядшие и превратившиеся в простую сорную траву. Кроме того, у всех был такой вид, словно они изо дня в день топтались на одном месте, так что ему невольно

вспомнилась Маршалльси. Впрочем, он не обратил на них особого внимания, разыскивая улицу и номер, которые ему были нужны.

— Так уверял Панкс, — пробормотал он, остановившись перед домом мрачного вида. — Я думаю, что его сведения точны и что открытие, сделанное им среди старых бумаг мистера Кэсби, неоспоримо; но если бы не это, я бы никак не подумал, что она живет здесь.

Глухой дом, в глухом углу, с глухой стеной на улицу, с глухой калиткой, с висячим звонком, глухо дребезжавшим, когда его дергали, и с молотком, глухие удары которого, казалось, не проникали за ветхую дверь. Как бы то ни было, калитка распахнулась с глухим звуком и пропустила его в полутемный дворик, упирившийся тоже в глухую стену и украшенный засохшими кустиками, заглохшим фонтаном в гроте и свалившейся статуей.

Подъезд находился с левой стороны дома и был украшен так же, как калитка, двумя объявлениями на французском и английском языках о мебелированных комнатах. Веселая плотная крестьянка в пестрой юбке, чулках и белом чепчике появилась в темном проходе и сказала, сверкнув белыми зубами.

— Послушайте, господин, вам кого?

Кленнэм ответил по-французски, что ему нужно видеть английскую леди.

— Войдите, пожалуйста, навверх, — отвечала крестьянка на том же языке.

Он последовал за ней по темной лестнице в приемную первого этажа. Отсюда открывался вид на унылый дворик, на засохшие кустики, на заглохший фонтан и на пьедестал свалившейся статуи.

— Доложите: господин Бландуа, — сказал Кленнэм.

— Очень хорошо, сударь.

Женщина ушла, оставив его одного. Он оглядел комнату, которая не отличалась от обычного типа комнат в подобных домах. Холодная, угрюмая, темная, со скользким воощенным полом, недостаточно обширная для катанья на коньках и не пригодная ни для какого другого занятия; окна с красными и белыми занавесками, узенькая соломенная дорожка, маленький круглый стол с целой коллекцией ножек, неуклюжие стулья с плетеными сиденьями, два больших кресла, обитых красным бархатом, в которых можно было расположиться с достаточ-

ным неудобством, письменный стол, каминное зеркало из нескольких кусков, делавшее вид, будто состоит из одного; две пестрые вазы с весьма искусственными цветами, а между ними греческий воин со шлемом в руке, приносящий часы в жертву гению Франции.

После непродолжительного ожидания дверь соседней комнаты отворилась, и в приемную вышла леди. Она очень удивилась при виде Кленнэма и обвела взглядом комнату, повидимому отыскивая кого-то другого.

— Простите, мисс Уэд, я один.

— Мне назвали не вашу фамилию

— Да, я знаю. Извините меня. Мне известно по опыту, что моя фамилия вряд ли внушила бы вам желание принять меня, и потому я позволил себе назваться именем человека, которого разыскиваю.

— Скажите, пожалуйста, — возразила она, приглашая его сесть таким холодным жестом, что он остался на ногах, — какое имя вы назвали?

— Бландуа

— Бландуа?

— Вам оно знакомо?

— Странно, — сказала она, нахмурившись, — что вы продолжаете относиться с таким непрошенным участием ко мне и моим знакомым, ко мне и моим делам, мистер Кленнэм. Не понимаю, чего вы добиваетесь?

— Виноват, вам знакомо это имя?

— Какое вам дело до этого имени? Какое мне дело до этого имени? Какое вам дело до того, знакомо ли мне имя или незнакомо? Я знаю много имен, я забыла много имен. Может быть, я знаю и это, может быть — знала и забыла, может быть — никогда не знала. Решительно не вижу причины спрашивать себя об этом или подвергаться допросу по этому поводу.

— Если позволите, — сказал Кленнэм, — я объясню вам причину, побуждающую меня к такой назойливости; я согласен, что это назойливость, и искренно прошу у вас извинения. Но у меня чисто личные побуждения. Я отнюдь не желаю вмешиваться в ваши дела.

— Хорошо, сэр, — отвечала она, снова приглашая его садиться менее высокомерным жестом, чем раньше. Видя, что она уселась сама, он последовал ее примеру. — Я рада и тому, что вы не заводите речи о какой-нибудь новой рабыне какого-нибудь из ваших друзей, которая

лишена права свободного выбора и которую я сманила. Говорите, я готова слушать.

— Во-первых, для удостоверения личности человека, о котором мы говорим, — начал Кленнэм, — позвольте мне заметить, что это то самое лицо, с которым вы встретились в Лондоне несколько времени тому назад, — встретились, если помните, на набережной в Адельфи.

— Вы, однако, вмешиваетесь в мои дела с самым непостижимым упорством, — возразила она, бросив на него недовольный взгляд. — Как вы узнали это?

— Прошу вас не приписывать мне ничего дурного. Совершенно случайно.

— А именно?

— Вас видели с этим господином на улице.

— Вы сами видели или кто-нибудь другой?

— Я сам видел.

— Правда, это было на улице, — сказала она не так сердито. — Пятьдесят человек могли это видеть. Это ничего не значит.

— Я и не придаю значения этому обстоятельству и упомянул о нем только для объяснения своего визита и просьбы, с которой я намерен к вам обратиться.

— О, у вас есть просьба! То-то мне показалось, — ее красивое лицо искривилось насмешкой, — что ваши манеры сделались как будто мягче, мистер Кленнэм.

Он ничего не возразил, ограничившись легким отрицательным жестом, и перешел к исчезновению Бландуа. Возможно, она слышала об этом исчезновении? Нет. Хотя он считал это возможным, она ничего не слыхала. Пусть он взглянет кругом (прибавила она) и спросит себя, можно ли думать, что известия из внешнего мира достигают ушей женщины, которая заперлась здесь наедине с собственным сердцем? Высказав это тоном, который убедил его в ее искренности, она спросила, что он подразумевает под исчезновением? Он рассказал подробно об обстоятельствах дела, прибавив, что ему хочется разъяснить эту загадку и уничтожить темные подозрения, нависшие над домом его матери. Она выслушала его с очевидным удивлением и, повидимому, заинтересовалась происшествием, но всё-таки старалась скрыть это, не изменяя своей сдержанной, гордой, замкнутой манере. Когда он окончил свой рассказ, она отвечала только:

— Вы еще не сообщили мне, сэр, какое мне дело до

всего этого и в чем заключается ваша просьба? Потрудитесь объяснить.

— Я полагаю, — сказал Кленнэм, упорствуя в своей попытке смягчить ее гнев, — что, находясь в отношениях, — я, кажется, могу сказать, в близких отношениях, с этим человеком...

— Вы, разумеется, можете говорить, что вам вздумается, — заметила она, — но я не ручаюсь за верность ваших или чьих бы то ни было предположений, мистер Кленнэм.

— Находясь во всяком случае в личных отношениях с ним, — продолжал Кленнэм, изменяя форму своего заявления в надежде сделать его более приемлемым, — вы можете сообщить мне что-нибудь о его прошлом, о его стремлениях и привычках, постоянном месте жительства. Можете дать хоть какие-нибудь указания, с помощью которых я отыщу его или узнаю, что с ним случилось. Вот моя просьба, и я обращаюсь к вам в крайне тяжелом душевном состоянии, к которому, надеюсь, вы не отнесетесь безучастно. Если вы найдете необходимым поставить мне какие-нибудь условия, я заранее принимаю их.

— Вы случайно встретили меня на улице с этим человеком, — заметила она, очевидно, к его огорчению, более занятая своими собственными размышлениями об этом предмете, чем его просьбой. — Стало быть, вы видели его раньше?

— Не раньше, — потом. Я никогда не видал его раньше, но встретился с ним в тот же вечер, после которого он исчез. Встретился в доме моей матери. Там я и оставил его. Вы прочтете в этом объявлении всё, что известно о нем.

Он подал ей печатное объявление, которое она прочла, повидимому, с большим вниманием.

— Это больше, чем я знаю о нем, — сказала она, возвращая листок.

В глазах Кленнэма отразилось горькое разочарование, может быть даже недоверие, потому что она прибавила тем же враждебным тоном:

— Вы не верите? Л между тем я сказала правду. Что касается отношений, то они существовали, повидимому, между ним и вашей матерью. А между тем вы поверили ее заявлению, будто она ничего не знает о нем.

Двусмысленный тон этих слов и улыбка, которой они сопровождалась, вызвали краску на лице Кленнэма.

— Видите ли, сэр, — продолжала она с каким-то жестоким удовольствием, — я буду с вами откровенна, как вы того желаете. Сознаюсь, что если бы я заботилась о мнении других (я о нем не забочусь), о сохранении доброго имени (мне решительно все равно, доброе ли у меня имя или нет), то я сочла бы себя в высшей степени скомпрометированной близкими отношениями с подобным субъектом. Но он никогда не входил в мою комнату, никогда не засиживался у меня за полночь.

Она вымещала на нем свою злобу, обратив против него его же сообщение. Не в ее натуре было щадить человека; совесть ее не мучила.

— Не считаю нужным скрывать от вас, что это низкий продажный негодяй, которого я встретила в Италии (я была там недавно) и которым воспользовалась как подходящим орудием для моих целей. Скажу вкратце: мне требовался для моей прихоти, для удовлетворения сильного желания шпион, готовый на всё ради денег. Я наняла эту тварь. Могу вас уверить, что если бы требовалось зарезать кого-нибудь, и у меня хватило бы денег заплатить ему (а он мог совершить убийство в темноте без всякого риска), он ни на минуту не остановился бы перед ним. По крайней мере, таково мое мнение о нем, и, кажется, оно не слишком расходится с вашим. Полагаю (следуя вашему примеру), что мнение о нем вашей матушки совершенно иного рода.

— Позвольте вам напомнить, — сказал Кленнэм, — что мою мать свели с этим человеком торговые дела.

— Повидимому, весьма настоятельные, — заметила мисс Уэд, — в довольно поздний для деловых переговоров час.

— Вы хотите сказать, — возразил Артур, чувствуя почти физическую боль от этих хладнокровных уколов, силу которых он уже раньше почувствовал, — что тут есть что-нибудь...

— Мистер Кленнэм, — спокойно перебила она, — вспомните, что я говорила об этом человеке. Повторяю, это подлый, продажный негодяй. Такая тварь не пойдет туда, где не ожидает для себя выгоды. Если бы он не рассчитывал на выгоду, вы бы не увидели нас вместе.

Утомленный этим настойчивым подчеркиванием тем-

ной стороны дела, возбуждавшего глухие подозрения в нем самом, Кленнэм молчал.

— Я говорю о нем, как будто бы он был жив, — прибавила она, — но, может быть, его уже прикончил кто-нибудь. Почему я знаю? Мне он больше не нужен.

Артур Кленнэм медленно поднялся с тяжелым вздохом и печальным лицом. Она не встала, но, поглядев на него подозрительным взглядом и гневно сжав губы, сказала:

— Ведь он, кажется, приятель вашего дорогого друга, мистера Гоуэна? Отчего бы вам не обратиться к вашему другу?

Артур хотел было ответить, что Гоуэн — вовсе не друг ему, но, вспомнив свою старую борьбу и решение, к которому она привела его, удержался и сказал:

— Во-первых, он не видал Бландуа с тех пор, как тот уехал в Англию; во-вторых, ничего о нем не знает. Бландуа — только его случайный знакомый, встретившийся с ним за границей.

— Случайный знакомый, встретившийся за границей! Да, вашему другу остается только развлекаться знакомыми, какие подвернутся под руку, имея такую жену. Я ненавижу его жену, сэр.

Она сказала это с такой сосредоточенной подавленной злобой, что Кленнэм невольно остановился. Злоба сверкала в ее темных глазах, дрожала в ее ноздрях, воспаляла даже ее дыхание; но лицо ее оставалось спокойным и ясным, а поза — непринужденной и высокомерно-изящной, как будто она находилась в самом равнодушном настроении.

— Не может быть, чтобы вам подали повод к такому чувству, которого, я уверен, никто не разделяет с вами; вот всё, что я могу сказать вам, — отвечал Кленнэм.

— Вы можете, если вам угодно, спросить у вашего дорогого друга, что он думает об этом, — возразила она.

— Я не в таких близких отношениях с моим дорогим другом, — сказал Кленнэм, не выдержав характера, — чтобы разговаривать с ним об этом предмете, мисс Уэд.

— Я ненавижу его, — отвечала она, — еще сильнее, чем его жену, потому что я была так глупа одно время и так неверна самой себе, что почти влюбилась в него. Вы встречались со мной, сэр, только при обычных обстоятельствах и наверно приняли меня за обыкновенную

женщину, быть может несколько более своенравную, чем другие. Если так, то вы не знаете, что такое моя ненависть; да и не можете знать, не зная, как тщательно я изучала самоё себя и окружающих. Потому-то мне и хотелось рассказать вам свою жизнь, не ради вашего участия, которым я не дорожу, а для того, чтобы, вспоминая о вашем дорогом друге и его жене, вы вспоминали и о том, что такое моя ненависть. Дать вам то, что я написала для вас, или не нужно?

Артур попросил дать ему эти записки. Она подошла к столу, открыла его и достала из ящика несколько листов бумаги. Протянув их Кленнэму, она сказала, ничуть не смягчившись, почти не обращаясь к нему, а точно разговаривая со своим собственным отражением в зеркале и стараясь оправдать перед ним свою злобу:

— Теперь вы узнаете, что такое моя ненависть. Довольно об этом. Сэр, в Лондоне ли, во время моей случайной остановки в дешевой квартире заброшенного дома, или в Кале — вы везде найдете со мною Гарриэт. Быть может, вам желательно ее увидеть? Гарриэт, подите сюда!

Она позвала вторично. Вошла Гарриэт, бывшая Тэттикорэм.

— Здесь мистер Кленнэм, — сказала мисс Уэд, — он явился не за вами; он отказался от мысли вернуть вас... Я полагаю, вы отказались?

— Не имея ни власти, ни влияния, — да, — отвечал Кленнэм.

— Как видите, он явился не за вами, но всё-таки он ищет одного человека. Ему нужен Бландуа.

— С которым я видел вас на Стрэнде, — напомнил Кленнэм.

— Если вы знаете о нем что-нибудь, Гарриэт, кроме того, что он приехал из Венеции (это мы все знаем), скажите мистеру Кленнэму.

— Я ничего больше не знаю о нем, — сказала девушка.

— Довольно с вас? — спросила мисс Уэд у Кленнэма. Он не имел причины не верить им, манеры девушки были так естественны и голос звучал так искренно, что его последние сомнения рассеялись. Он отвечал только:

— Мне приходится разузнавать повсюду.

Он еще не собирался уходить, но, видя, что он

встал, девушка подумала, что он уходит. Она быстро взглянула на него и спросила:

— Здоровы ли они, сэр?

— Кто?

Она хотела было сказать «да все они», но остановилась, взглянула на мисс Уэд и сказала:

— Мистер и миссис Мигльс.

— Они были здоровы, когда я в последний раз получил о них известие. Они за границей. Кстати, позвольте мне предложить вам один вопрос. Правда ли, что вас видели там?

— Где? Где меня видели? — спросила девушка, угрюмо опуская глаза.

— В коттедже, у садовой калитки.

— Нет, — сказала мисс Уэд. — Она там и близко не была.

— Вы ошибаетесь, — сказала девушка. — Я была там в последний раз, когда мы были в Лондоне. Я ездила туда вечером, когда вас не было дома, и смотрела в калитку.

— Малодушная девочка, — сказала мисс Уэд с бесконечным презрением. — Так вся наша дружба, все наши разговоры, все ваши прежние жалобы привели к такому результату?

— Нет ничего дурного в том, что я заглянула в калитку, — возразила девушка. — Я видела по окнам, что хозяев нет дома.

— Зачем вы туда отправились?

— Потому что мне хотелось видеть это место, взглянуть еще раз на старый дом.

При виде двух красивых лиц, смотревших друг на друга, Кленнэм понял, как должны были терзать друг друга эти две женщины.

— О, — сказала мисс Уэд с холодным спокойствием, отводя взгляд от лица Гарриэт, — если вам приятно видеть то место, где вы вели жизнь, от которой я избавила вас, потому что вы поняли, что это за жизнь, тогда другое дело. Но где же ваша откровенность со мной? Где же ваша верность? Где наше общее дело? Вы недостойны участия, с которым я отнеслась к вам. Вы не лучше комнатной собачонки и хорошо сделаете, если вернетесь к людям, которые обращались с вами хуже, чем с собачонкой.

— Если вы будете так говорить о них при посторонних, вы заставите меня принять их сторону, — сказала девушка.

— Ступайте к ним, — возразила мисс Уэд. — Ступайте к ним!

— Вы очень хорошо знаете, — возразила Гарриэт, в свою очередь, — что я не пойду к ним. Вы очень хорошо знаете, что я бросила их и не могу, не хочу, не соглашусь вернуться к ним. Не трогайте же их, мисс Уэд.

— Вы предпочитаете обеспеченную жизнь у них стесненному существованию со мной, — отвечала та. — Вы превозносите их и унижаете меня. Но я должна была приготовиться к этому. Я не могла и ждать ничего другого!

— Неправда, — отвечала девушка, вспыхнув, — вы совсем не думаете то, что говорите. Вы укоряете меня тем, что я живу на ваш счет; потому что мне некуда деваться, вы считаете себя вправе помыкать мной и оскорблять меня как угодно. Вы ничуть не лучше их, ни капли. Но я не намерена терпеть обиды молча. Опять-таки скажу, я была там, чтобы взглянуть на старый дом, я давно думала, что мне следует побывать там. Я хочу знать, как они поживают, потому что я любила их когда-то, а они всегда были ласковы со мной.

Кленнэм заметил, что они наверно и теперь примут ее ласково, если она вернется.

— Никогда! — сказала девушка страстно. — Никогда я не вернусь к ним. Мисс Уэд знает это лучше любого другого и терзает меня только потому, что я живу на ее счет. Я и сама знаю это, но она всегда рада колоть мне глаза.

— Ловкие увертки, — сказала мисс Уэд с прежним гневом, высокомерием и горечью, — но я вижу ясно, что под ними скрывается. Моя бедность — не то, что их богатство. Ступайте же к ним, ступайте к ним — и кончим это дело!

Они стояли друг против друга в тесной, темной комнате, разжигая свой гнев, не уступая друг другу, терзаясь и терзая. Кленнэм пробормотал несколько прощальных слов, но мисс Уэд ответила только холодным кивком, а Гарриэт, с преувеличенным смирением униженной и бесправной рабы (в котором, однако, сквозил

ясный вызов), сделала вид, что она слишком ничтожна, чтобы принять на свой счет его слова.

Он спустился по темной извилистой лестнице во двор, еще более подавленный унылым видом этой глухой стены, засохших кустиков, заглохшего фонтана, исчезнувшей статуи. Раздумывая о том, что он видел и слышал в этом доме, и о своей неудачной попытке разыскать этого подозрительного человека, он возвратился в Лондон с тем же пароходом, который доставил его в Кале. По дороге он развернул листки, полученные от Мисс Уэд, и прочел в них то, что изложено в следующей главе.

ГЛАВА XXI

История самоистязания

К несчастью, я родилась неглупой. С самого раннего детства я видела то, что окружающие пытались скрыть от меня. Если бы я поддавалась обману вместо того, чтобы доискиваться истины, я могла бы прожить так же спокойно, как большинство глупцов.

Детство я провела с бабушкой, то есть с дамой, которая играла роль моей бабушки. Она не имела никаких прав на этот титул, но я, в то время еще глупая девочка, верила ей. У ней жило несколько человек детей, и ее родных, и посторонних, — все девочки, десять человек, считая меня. Мы жили вместе и вместе воспитывались.

Мне было лет двенадцать, когда я впервые начала замечать, как покровительственно относились ко мне эти девочки. Я слышала, что меня называли сироткой. Кроме меня, среди нас не было сироты, и я заметила (первая неприятность, которую я испытала от недостатка глупости), что все они относятся ко мне с нахальным состраданием, в котором сказывалось, в сущности, их сознание превосходства. Я не сразу поверила этому открытию. Я часто испытывала их. Я убедилась, что не могу заставить их поссориться со мной. Если это и удавалось, то через час, через два они прибегали ко мне мириться. Я испытывала их снова и снова — и ни разу не могла заставить их дожидаться, пока я приду первая. Они

всегда прощали меня в своем снисходительном тщеславии. Миниатюрные копии взрослых!

Одна из них была моей любимой подругой. Я любила эту дурочку так страстно, что мне стыдно и вспоминать об этом, хотя я была еще мала. У ней был, как говорится, кроткий характер, нежный характер. Она могла расточать — и расточала — ласковые улыбки и взгляды всем нам, и, разумеется, ни одна душа в нашем доме, кроме меня самой, не догадывалась, что она делает это нарочно для того, чтобы терзать и злить меня.

Тем не менее я так любила это недостойное существо, что моя любовь стала мученьем моей жизни. Мне читали нотации, меня бранили за то, что я будто бы «дразню ее», то есть уличаю в коварстве и довожу до слез тем, что читаю в ее сердце. И всё-таки я любила ее и однажды даже поехала с ней на праздники к ее родителям.

Дома она вела себя еще хуже, чем в школе. У нее была целая толпа двоюродных братьев и просто знакомых, в их доме часто устраивались танцы; кроме того, мы бывали и в других домах, и тут она испытывала мою любовь свыше всякой меры. Ее цель была очаровать всех — и таким образом свести меня с ума от ревности, быть со всеми доброй и ласковой — и таким образом заставить меня завидовать. Когда мы оставались одни вечером в нашей спальне, я изобличала всю ее низость, но она принималась плакать, — плакать и упрекать меня в жестокости, и я обнимала ее и не выпускала из своих объятий до утра, изнывая от любви, и часто думала, что лучше, чем терпеть эту муку, броситься вот так, обнявшись, в реку, чтобы не выпускать ее и после смерти.

Наконец это кончилось, и мне стало легче. В их семье была тетка, которая не любила меня. Кажется, и остальные члены семьи не любили меня; но я не нуждалась в их любви, так как не хотела знать никого, кроме моей подруги. Тетка была молодая женщина с серьезным лицом, которая следила за мной очень внимательно. Она отличалась дерзостью и не скрывала своего сострадания ко мне. Как-то раз после одной из тех ночей, о которых я говорила выше, я пошла перед завтраком в оранжерею. Шарлотта (имя моей коварной подруги) спустилась туда прежде меня, и, входя, я услышала ее голос. Она разговаривала с теткой. Я спряталась среди растений и прислушалась.

Тетка говорила:

— Шарлотта, мисс Уэд замучит тебя до смерти, так не может дальше продолжаться.

Я повторяю слово в слово то, что я слышала.

Что же отвечала Шарлотта? Сказала ли она: «Это я замучу ее до смерти, — я, которая пытаю ее с утра до вечера, я, ее палач, которую она любит, несмотря ни на что, хоть и видит всё насквозь». Нет, я не ошиблась в ней, она оказалась тем, что я думала. Она принялась плакать и всхлипывать (чтобы разжалобить тетку) и сказала:

— Милая тетя, у нее несчастный характер; другие девочки тоже стараются смягчить ее, — и всё напрасно.

Тетка принялась ее ласкать, точно она сказала что-то благородное, а не фальшивое и лицемерное, и ответила ей так же лицемерно:

— Но, дитя мое, всему есть границы. Эта несчастная, жалкая девочка доставляет тебе столько ненужного и постоянного горя, что все твои усилия, очевидно, останутся бесплодными.

Как вы можете легко себе представить, несчастная, жалкая девочка вышла из своей засады и сказала: «Отошлите меня домой». Больше я ничего не сказала им, а твердила только: «Отошлите меня домой — или я уйду пешком, днем или ночью, всё равно». Вернувшись домой, я сказала своей названной бабушке, что если она не отправит меня заканчивать образование куда-нибудь в другое место, прежде чем та девочка или кто бы то ни было из них вернется, то я скорее выжгу себе глаза, чем соглашусь взглянуть на их фальшивые лица.

После этого я попала в кружок взрослых девушек и убедилась, что они несколько не лучше. Красивые слова и отговорки, но я различала под ними желание похвастать своими добродетелями и унижить меня. Нет, они были несколько не лучше. Прежде чем я рассталась с ними, я узнала, что у меня нет бабушки и никаких родственников вообще. Это осветило мне многое в моей прошлой и дальнейшей жизни и указало мне много других случаев, когда люди торжествовали надо мной, делая вид, будто относятся ко мне с уважением или оказывают мне услугу.

У меня были небольшие деньги, отданные на хранение одному дельцу. Я поступила в семью небогатого

лорда, у которого были две дочери, маленькие девочки. Родителям хотелось воспитать их, если возможно, под руководством одной наставницы. Мать была молода и хороша собой. С первых же дней она принялась выставлять мне на вид свою крайнюю деликатность. Я затаила свою злобу, но была совершенно уверена: это только ее манера напоминать мне, что она моя госпожа и могла бы обращаться со мной совершенно иначе, если бы ей вздумалось.

Я затаила свою злобу, но отвергала все ее любезности и тем самым показывала ей, что отлично понимаю ее. Когда она предлагала мне выпить вина, я пила воду. Когда за обедом было что-нибудь особенно вкусное, она всегда предлагала мне, а я всегда отказывалась и ела самые невкусные кушанья. Так отвергая на каждом шагу ее покровительство, я чувствовала себя независимой.

Я любила детей. Они были застенчивы, но всё-таки могли бы привязаться ко мне. Но в доме жила нянька, краснощекая женщина, вечно напускавшая на себя веселый и добродушный вид, которая вынянчила обеих девочек и ухитрилась привязать их к себе, прежде чем я с ними встретилась. Не будь этой женщины, я бы, пожалуй, примирилась со своей судьбой. Уловки, к которым она прибегала, чтобы вечно торчать на глазах у детей, могли бы обмануть многих на моем месте, но я с самого начала раскусила их. Она вечно мозолила мне глаза под тем предлогом, что убирает мою комнату или прислуживает мне или приводит в порядок мои платья (всё это она делала очень усердно) Но самым ловким ее маневром было делать вид, будто она старается внушить детям любовь ко мне. Она приводила их ко мне, гнала их ко мне: «Ступайте к мисс Уэд, к доброй мисс Уэд, к милой мисс Уэд Она вас так любит. Мисс Уэд — умная барышня, она прочла целую кучу книг; она расскажет вам разные истории, намного лучше и интереснее, чем мои. Ступайте к мисс Уэд!». Могла ли я овладеть их вниманием, когда мое сердце пылало злобой к этой лукавой женщине? Могла ли я удивляться, видя, что их невинные личики отворачиваются от меня, их руки обвиваются вокруг ее, а не моей шеи? Тогда она отстраняла их локоны от своего лица и говорила, глядя на меня издеваясь надо мной: «Они скоро привыкнут к вам, мисс

Уэд; они такие милые и простые, сударыня; не огорчайтесь, сударыня».

Но этим не ограничивались ее проделки. По временам, когда ей удавалось довести меня до полного отчаяния, она старалась обратить внимание детей на мое настроение, чтобы указать им разницу между мной и ею: «Тс!. Бедная мисс Уэд нездорова. Не шумите, милочка, у нее голова болит. Подите, утешьте ее. Подите, узнайте, лучше ли ей; подите, уговорите ее лечь. Надеюсь, с вами не случилось ничего неприятного, сударыня? Не огорчайтесь, сударыня!».

Это становилось невыносимым. Однажды, когда миледи, моя госпожа, зашла ко мне во время такого припадка, я сказала ей, что не могу больше оставаться у них, не могу выносить присутствия этой женщины, Доус.

— Мисс Уэд! Бедняжка Доус так любит вас, так предана вам!

Я знала, что она это скажет; я приготовилась к этому и отвечала только, что не стану противоречить моей госпоже, а просто уйду.

— Надеюсь, мисс Уэд, — сказала она, тотчас же принимая высокомерный тон, которого раньше так ловко избегала, — что я ничем не подавала вам повода употреблять такое слово, как «госпожа». Может быть, я обидела вас как-нибудь неумышленно? Пожалуйста, скажите — чем?

Я отвечала, что меня ничем не обидели, что я не жалею ни на свою госпожу, ни своей госпоже, но что я должна уйти.

Она колебалась с минуту, потом села рядом со мной и взяла меня за руку, как будто эта милость должна была изгладить всё.

— Мисс Уэд, я боюсь, что вы несчастливы вследствие каких-либо причин, над которыми я не властна.

Я улыбнулась воспоминанию, которое пробудили го мне эти слова, и сказала:

— Должно быть, у меня несчастный характер.

— Я не говорила этого.

— Это такой легкий способ объяснить всё, что угодно, — сказала я.

— Может быть, но я не говорила этого. Я хотела поговорить с вами совсем о другом. Мы с мужем гово-

рили о вас, так как оба заметили, что вам как будто не по себе в нашем обществе.

— Не по себе! О, вы такие важные люди, миледи, — отвечала я.

— К несчастью, я употребила слово, которое можно понять, как вы и поняли, в превратном смысле. — (Она не ожидала моего ответа, и ей стало стыдно) — Я хотела сказать: вы как будто не чувствуете себя счастливой у нас. Конечно, это щекотливый вопрос, но, может быть, между двумя молодыми женщинами.. словом, мы боимся, что вас угнетает мысль о каких-нибудь семейных обстоятельствах, в которых вы неповинны. Если так, поверьте, что мы не придаем им никакого значения. У моего мужа была сестра, которую он очень любил и которая, в сущности, не была его законной сестрой, что не мешало ей пользоваться общим уважением и любовью...

Я тотчас поняла, что они взяли меня ради этой покойницы, кто бы она ни была, чтобы похвастаться своим великодушием; я поняла, что кормилица знает об этом и только потому позволяет себе издеваться надо мной, я поняла, что дети отворачиваются от меня под влиянием смутного сознания, что я не такая, как другие. Я в тот же день оставила их дом.

После двух или трех таких же опытов, о которых не стоит распространяться, я попала в семью, где была одна-единственная дочь, девушка лет пятнадцати. Родители были пожилые люди, богатые и занимавшие высокое положение в обществе. Их племянник, получивший воспитание на их счет, часто бывал у них в числе других гостей и начал ухаживать за мной. Я упорно отталкивала его, так как, поступая к ним, решила, что никому не позволю жалеть меня или относиться ко мне снисходительно. Но он написал письмо. Оно повело к объяснению и помолвке.

Он был годом моложе меня и, к тому же, выглядел моложе своих лет. Он служил в Индии и вскоре должен был получить хорошее место. В то время он находился в отпуску. Через полгода мы должны были обвенчаться и ехать в Индию. До тех пор я должна была жить в их доме; в нем же решено было сыграть свадьбу. Все одобрили этот план.

Я должна сказать: он восхищался мной. Я не сказала

бы этого, если бы могла. Тщеславие тут ни при чем: его восхищение надоедало мне. Он не скрывал его, и, когда мы находились в кругу его богатых родственников, мне всегда казалось, будто он купил меня за мою красоту и хвастается своей покупкой. Я видела, что они стараются оценить меня, узнать мою настоящую стоимость. Я решила, что они никогда не узнают ее. Я была с ними сдержанна и молчалива и скорее позволила бы любому из них убить себя, чем стала бы добиваться их одобрения.

Он говорил мне, что я недостаточно ценю себя.

Я отвечала, что он ошибается, что я ценю себя достаточно высоко и всегда буду ценить, и именно потому и шагу не сделаю для того, чтобы расположить их в свою пользу. Он был поражен и даже огорчен, когда я прибавила, что прошу его не выставлять напоказ свою любовь, но сказал, что готов пожертвовать своими стремлениями ради моего спокойствия.

Под этим предлогом он начал мстить мне. Когда нам случалось быть вместе в обществе, он по целым часам не подходил ко мне и говорил с кем угодно, только не со мной. Я сидела одна, всеми оставленная, пока он болтал со своей двоюродной сестрой, моей воспитанницей. Я видела по глазам окружающих, что они считают их более подходящей парой. Я сидела, угадывая их мысли, пока не начинала чувствовать себя смешной и злиться на себя за то, что полюбила его.

Да, я любила его одно время. Как ни мало он этого заслуживал, как ни мало он думал о муках, которые доставила мне эта любовь, — муках, которые должны были бы сделать его моим преданным рабом на всю жизнь, — но я любила его. Я выслушивала похвалы, которые расточала ему в моем присутствии его двоюродная сестра, делая вид, что хочет доставить мне удовольствие, но отлично зная, что они только терзали меня; я выслушивала их молча ради него. Сидя подле него, вспоминая свои ошибки и промахи и спрашивая себя, не уйти ли мне сейчас же из дома, — я любила его.

Его тетка (моя госпожа) сознательно, обдуманно усиливала мои терзания и мучения. Любимым ее удовольствием было распространяться, как мы славно заживем в Индии, какой у нас будет богатый дом, какое избранное общество, когда он получит ожидаемое место. Моя

гордость возмущалась этой бесцеремонной манерой подчеркивать разницу между моей жизнью в замужестве и моим теперешним зависимым, нищенским положением. Я подавляла свое негодование, но старалась дать ей понять, что ее намерения не тайна для меня, и отвечала на ее приставания притворным смирением. Я говорила ей, что такая блестящая жизнь — слишком высокая честь для меня, что я, пожалуй, не вынесу такой перемены. Подумать только — простая гувернантка, гувернантка ее дочери, займет такое высокое положение. Ей становилось неловко, и всем им становилось неловко. Они видели ясно, что я понимаю ее.

В то время, когда мои терзания дошли до предела и когда я стала почти ненавидеть моего жениха за его равнодушное отношение к бесчисленным оскорблениям и унижениям, которым я подвергалась, ваш дорогой друг, мистер Гоуэн, появился у нас в доме. Он давно уже был знаком с моими хозяевами, но долгое время находился в отлучке за границей. Он с первого взгляда понял наши отношения и понял меня.

Это был первый человек за всю мою жизнь, который понял меня. Он не побывал в доме и трех раз, а уже видел меня насквозь, следил за всеми моими душевными движениями. Я видела это в его холодной, непринужденной манере, в его отношении к ним, ко мне, ко всем. Я видела это в его восхищении моим будущим мужем, в энтузиазме, с каким он относился к нашей помолвке и видам на будущее, в поздравлениях, которыми он осыпал нас по поводу нашего будущего богатства, сравнивая его со своей бедностью, — всё это шутливым тоном, плохо прикрывавшим иронию и насмешку.

Вы поймете, что, поздравляя меня — ваш дорогой друг в сущности сожалел обо мне, утешая меня — обнажал мои раны, называя моего «нежного пастушка» самым влюбленным юношей в мире с нежнейшим сердцем, какое когда-либо билось, и тем самым подчеркивал мое смешное положение.

Услуга небольшая, скажете вы. Но я была признательна за нее, потому что она находила отголосок в моей душе и согласовалась с моими мыслями. Я вскоре стала предпочитать общество вашего дорогого друга всякому другому.

Заметив (очень скоро), что результатом этого явилась ревность со стороны моего жениха, я стала еще больше любить это общество. Разве я не мучилась ревностью и разве справедливо было мучиться мне одной? Нет, пусть и он узнает, каково выносить эти муки. Я рада была, что он узнает их, я рада была, что он почувствует всю горечь их, как я надеялась. Но это еще не всё. Он был так бесцветен в сравнении с мистером Гоуэном, который умел относиться ко мне как к равной и анатомировать жалких людишек, которые окружали нас.

Это продолжалось некоторое время; наконец тетка моего жениха, моя госпожа, решила поговорить со мной. Конечно, об этом не стоило говорить; она знала, что я делаю это без всякого намерения, но всё-таки решила мне заметить, зная, что одного намека будет достаточно, не лучше ли мне поменьше бывать в обществе мистера Гоуэна.

Я спросила ее, откуда она знает мои намерения. Она всегда была уверена в том, что я не способна умышленно сделать что-нибудь дурное. Я поблагодарила ее, но сказала, что предпочитаю отвечать сама за себя и перед собой. Другие ее слуги, по всей вероятности, были бы благодарны за такую хорошую аттестацию, но я в ней не нуждалась.

За этим последовал другой разговор. Я спросила ее, с чего она взяла, что я послушаюсь ее по первому ее намеку? Что она имела в виду, говоря это: мое рождение или мое зависимое положение? Я не продаюсь ни телом, ни душой. Повидимому, она думает, что ее знатный племянник купил себе жену на невольничьем рынке.

По всей вероятности, дело кончилось бы рано или поздно именно так, как оно кончилось, но она ускорила развязку. Она сказала мне с притворным состраданием, что у меня несчастный характер. Я не выдержала этого гнусного оскорбления вторично, я выложила ей всё, — всё, что разгадала и заметила в ней самой, всё, что я вытерпела с тех пор, как заняла позорное положение невесты ее племянника. Я сказала ей, что мистер Гоуэн был единственным человеком, с которым я могла отвести душу, что я не намерена больше выносить это унижительное положение, что я отрекаюсь от него, к сожалению

слишком поздно, но больше нога моя не будет в их доме. И я исполнила свое обещание.

Ваш друг посетил меня в моем уединении и очень остроумно шутил по поводу моего разрыва с женихом, хотя в то же время сожалел об этих прекрасных людях (превосходнейших людях в своем роде). Затем он стал говорить, и совершенно справедливо, как я потом убедилась, что он, конечно, не достоин внимания женщины с таким дарованием и с таким характером, но..

Ваш друг забавлял меня и забавлялся сам, пока ему это нравилось, а затем напомнил мне, что оба мы люди, знающие жизнь, оба понимаем, что в действительной жизни романов не бывает, и оба настолько рассудительны, что можем разойтись по своим дорогам, и если когда-нибудь встретимся, то встретимся наилучшими друзьями. Он говорил это, а я не противоречила.

Незадолго перед тем я узнала, что он ухаживает за своей теперешней женой и что родители увезли ее за границу, желая помешать этому браку. Я тогда же возненавидела ее так же, как ненавижу теперь, и, конечно, могла только желать от души, чтобы их брак состоялся. Но мне ужасно хотелось видеть ее, так хотелось, что, я чувствовала: исполнение этого желания послужит для меня развлечением. Я отправилась за границу и путешествовала, пока не встретилась с нею и с вами. Вы, кажется, еще не были знакомы в то время с вашим дорогим другом, и он еще не наградил вас своей дружбой.

В вашей компании я встретила девушку, судьба которой во многих отношениях представляла разительное сходство с моей судьбой. Она возбудила мое участие, так как я заметила в ней тот же протест против чванливого покровительства и эгоизма, называющих себя нежностью, участием, снисхождением и другими красивыми именами, — протест, который всегда составлял основную черту моей натуры. Я часто слышала, как о ней говорили, будто у нее «несчастный характер». Отлично понимая истинный смысл этого условного выражения и чувствуя потребность в подруге, которая могла бы понять меня, я попыталась освободить ее от цепей рабства. Нет надобности прибавлять, что это мне удалось. С тех пор мы живем вместе на мои маленькие средства.

ГЛАВА XXII

Кто проходит здесь так поздно?

Артур Кленнэм предпринял свою неудачную поездку в Кале в самое горячее время. Одной варварской державе,¹ занимающей порядочное пространство на карте земного шара, понадобились услуги двух-трех инженеров, — людей сообразительных и энергичных, умеющих создавать силы и средства из тех материалов, какие окажутся под рукой, применять их к делу и добиваться, по мере возможности, наилучших результатов. Эта держава, в качестве варварской, не знала мудрого обычая прятать великие национальные предприятия под сукно министерства околичностей, как крепкое вино прячут в погреб и держат в темноте, пока оно не выдохнется, пока сами работники, выжимавшие виноград, не обратятся в прах. Напротив, закоренелая в своем невежестве, эта держава решительно и энергично добивалась выполнения дела и не придавала никакого значения великому политическому учению о том, «как не делать этого». Она самым варварским образом поражала на смерть эту систему в лице каждого своего просвещенного подданного, который пытался пустить ее в ход.

Соответственно этим понятиям, людей, как только они понадобились, стали искать и отыскивали, что уже само по себе было в высшей степени неправильным и недостойным цивилизованного государства приемом. Отыскав, отнеслись к ним с доверием (опять-таки признак глубокого политического невежества) и пригласили их явиться немедленно и взяться за дело, которое им было поручено. Словом, к ним отнеслись как к людям, которые должны сделать то, что их доверители считают необходимым сделать.

Даниэль Дойс был в числе приглашенных. Ему пришлось поехать за границу на несколько месяцев, быть может на несколько лет. Перед отъездом Артур хотел представить ему подробный отчет о результатах их совместной деятельности и, так как времени оставалось немного, просиживал над ним дни и ночи. При первой воз-

¹ Диккенс имеет в виду одно из государств в Африке или в Аравии.

возможности он совершил поездку через канал и тотчас же вернулся обратно — проститься с Дойсом.

Артур показал ему отчет об их прибылях и убытках, платежах и получках. Дойс прочел его со своим обычным терпеливым вниманием и пришел в восторг. Он рассматривал счета точно какой-нибудь остроумнейший механизм, превосходивший всё, что он мог придумать до сих пор, и затем долго любовался отчетом, ухватившись за поля своей шляпы, точно поглощенный созерцанием какой-нибудь удивительной машины.

— Это великолепно, Кленнэм, такая точность и порядок! Ничего не может быть яснее! Ничего не может быть лучше!

— Я рад, что вы одобряете, Дойс. Теперь относительно распоряжения нашим свободным капиталом во время вашего отсутствия...

Дойс перебил его:

— Распоряжайтесь им и вообще денежными делами по собственному усмотрению. Действуйте за себя и за меня, как было до сих пор, и избавьте меня от этой обузы.

— Хотя, как я не раз говорил, — заметил Кленнэм, — вы совершенно напрасно умяляете ваши деловые способности.

— Может быть, вы и правы, — с улыбкой сказал Дойс, — а может быть, и неправы. Во всяком случае, у меня есть профессия, которую я изучил лучше, чем эти дела, и к которой у меня больше способностей. Я вполне доверяю своему компаньону и уверен, что он распорядится наилучшим образом. Если у меня есть какой-нибудь предрассудок, связанный с деньгами и ценными бумагами, — продолжал Дойс, дотрагиваясь своим гибким рабочим пальцем до обшлага своего компаньона, так это недоверие к спекуляции. Другого, кажется, нет. Должно быть, я держусь этого предрассудка только потому, что никогда серьезно не размышлял об этом предмете.

— Но это вовсе не предрассудок, — заметил Кленнэм, — это вывод здравого смысла, дорогой мой Дойс.

— Очень рад, что вы так думаете, — отвечал Дойс, весело и дружелюбно поглядывая на него своими серыми глазами.

— Не далее как полчаса тому назад я говорил об

этом самом предмете с Панксом, который заглянул к нам на минутку. Мы оба пришли к заключению, что отказываться от верного помещения денег ради рискованных спекуляций — одно из самых опасных и самых распространенных увлечений, граничащих с пороком,

— Панкс? — сказал Дойс, сдвигая шляпу на затылок и одобрительно кивая головой. — Да, да, да. Он осторожный человек.

— Очень осторожный человек, — подхватил Кленнэм. — Идеал осторожности.

Повидимому, осторожность мистера Панкса доставляла им какое-то особенное удовольствие.

— А теперь, — сказал Дойс, — так как время и прилив никого не ждут, мой верный товарищ, и я готов к отъезду, позвольте сказать вам одно словечко на прощанье. У меня есть к вам просьба.

— Все, что вам угодно, — быстро прибавил Кленнэм, угадав по лицу Дойса, в чем дело, — кроме одного: я ни за что не соглашусь прекратить хлопоты по поводу вашего изобретения.

— А я именно об этом хотел просить вас, как вы сами догадались, — сказал Дойс.

— В таком случае я отвечаю: нет. Решительно нет! Раз начав, я добьюсь объяснений, ответственного заявления, или вообще хотя бы какого-нибудь ответа от этих людей.

— Не добьетесь, — сказал Дойс, качая головой. — Помяните мое слово, не добьетесь.

— По крайней мере, попытаюсь, — возразил Кленнэм. — От этого меня не убудет.

— Ну, не скажите, — отвечал Дойс, положив руку ему на плечо. — Мне эти попытки принесли много неприятностей, друг мой. Они состарили меня, утомили, измучили, разочаровали. Нельзя безнаказанно испытывать свое терпение, чувствуя себя жертвой несправедливости. Мне кажется, что безуспешные хлопоты, постоянные разочарования уже отразились и на вас: вы выглядите не таким бодрым, как раньше.

— Это зависит, быть может, от личных огорчений, — сказал Кленнэм, — а не от возни с чиновниками. Нет, я еще не сдался.

— Так вы не хотите исполнить мою просьбу?

— Нет и нет, — сказал Кленнэм. — Стыдно было бы

мне так скоро сложить оружие, когда человек, гораздо старше меня и гораздо больше заинтересованный в деле, боролся так долго.

Видя, что его не убедишь, Даниэль Дойс пожал ему руку и, бросив прощальный взгляд на окружающие предметы, спустился вместе с Кленнэмом вниз. Он должен был отправиться в Соутгэмптон и там присоединиться к своим попутчикам. Карета уже стояла у ворот, нагруженная багажом и готовая к отъезду. Рабочие, гордившиеся своим изобретателем, собрались у ворот проститься с ним.

— Счастливого пути, мистер Дойс! — сказал один из них. — Где бы вы ни были, везде скажут: вот это настоящий человек, который знает свое дело и которого дело знает, человек, который захочет сделать — и делает, и если уж это не настоящий человек, так мы не знаем, где и искать настоящего.

Эта речь скромного работника, стоявшего в задних рядах, за которым никто не подозревал ораторских способностей, была встречена оглушительным троекратным «ура» и доставила оратору неувядаемую славу. Среди оглушительных криков Даниэль обратился к рабочим с сердечным: «Прощайте, ребята!» — и карета почти мгновенно исчезла из виду, точно ее выдуло вихрем из подворья Разбитых сердец.

Мистер Батист, человек, знавший чувство благодарности, и занимавший ответственную должность, находился среди рабочих и вместе с ними кричал «ура», насколько это возможно для иностранца. Мистер Батист сразу же выбыл из строя и едва переводил дух, когда Кленнэм позвал его наверх прибрать книги и бумаги.

В первые минуты после отъезда — тоскливые минуты, которые следуют за разлукой, предвестницей великой последней разлуки, вечно грозящей человеку, — Артур стоял у своего стола, задумчиво глядя на полосу солнечного света. Но вскоре его мысли вернулись к теме, которая больше всего занимала его в последнее время. Он в сотый раз начал припоминать мельчайшие подробности загадочной встречи в доме матери. Он снова видел перед собой человека, который толкнул его плечом в извилистой улице; он гнался за ним, терял его из виду, снова находил во дворе дома и догонял на крыльце.

Кто так поздно здесь проходит?
Это спутник Мажолэн;
Кто так поздно здесь проходит?
Смел и весел он всегда.

Не в первый раз вспоминал он эту детскую песенку, которую напевал незнакомец, стоя на крыльце; но на этот раз он бессознательно произнес ее вслух и вздрогнул, услышав следующий стих:

Цвет всех рыцарей придворных, —
Это спутник Мажолэн;
Цвет всех рыцарей придворных,
Смел и весел он всегда

Кавалетто почтительно подсказал эту строфу, думая, что Кленнэм остановился потому, что забыл слова песни.

— А, вы знаете эту песенку, Кавалетто?

— Клянусь Вакхом, да, сэр! Ее все знают во Франции. Я слышал много раз, как ее пели дети. В последний раз, когда ее я слышал, — прибавил мистер Батист, некогда именовавшийся Кавалетто, который всегда возвращался к порядку слов речи родного языка, когда его мысли обращались к родной стране, — ее пел нежный детский голосок, милый, невинный детский голосок *Altro!*

— А когда я слышал ее в последний раз, — заметил Артур, — ее пел вовсе не милый и вовсе не невинный голос. — Он сказал это скорее самому себе, чем своему собеседнику, и прибавил, повторяя слова знакомого: — Чёрт побери, сэр, да, я нетерпелив, это в моем характере!

— Э! — воскликнул Кавалетто с изумлением, побледнев, как полотно.

— В чем дело?

— Сэр, знаете ли вы, где я слышал эту песенку в последний раз?

Со свойственной итальянцам живостью движений он очертил крючковатый нос, сдвинул глаза, взъерошил волосы, выпятил верхнюю губу, изображая густые усы, и перекинул через плечо конец воображаемого плаща. Прюделав это с быстротой, невероятной для всякого, кому не случалось видеть итальянских крестьян, он изобразил на своем лице зловещую улыбку и спустя мгновение стоял

Перед своим другом и покровителем, бледный и испуганный.

— Ради всего святого, — сказал Кленнэм, — что это значит? Вы знаете человека по имени Бландуа?

— Нет! — отвечал мистер Батист, качая головой.

— Вы сейчас изобразили человека, который был с вами, когда вы слышали эту песню, — не так ли?

— Да! — отвечал мистер Батист, кивнув головой раз пятьдесят подряд.

— Его звали не Бландуа?

— Нет! — сказал мистер Батист. — *Altro, altro, altro, altro!* — Он даже замахал головой и указательным пальцем правой руки в знак отрицания.

— Пойдите, — воскликнул Кленнэм, развернув на столе объявление, — не этот ли? Вы поймете, если я прочту вслух?

— Совершенно. Вполне.

— Но всё-таки смотрите и вы. Следите глазами, пока я буду читать.

Мистер Батист подошел к нему поближе, следя за каждым словом своими быстрыми глазами, выслушал всё с величайшим нетерпением, хлопнул руками по объявлению, точно хотел прищелкнуть какую-нибудь вредную гадину, и воскликнул, поглядывая на Кленнэма сверкающими глазами:

— Это он! Он самый!

— Это гораздо важнее для меня, — сказал Кленнэм с волнением, — чем вы можете себе представить. Скажите, где вы познакомились с этим человеком?

Мистер Батист медленно и с очевидным смущением отвел руки от бумаги, отступил шага на два, потер руки, точно стряхивая с них пыль, и ответил очень неохотно:

— В Марсилья.. в Марселе.

— Что же он там делал?

— Сидел в тюрьме. Он — *altro*, это верно, — (мистер Батист подошел поближе к Кленнэму и закончил шёпотом), — убийца!

Кленнэм отшатнулся, точно от удара, — такой злоедающий характер принимали в его глазах отношения его матери с этим человеком. Кавалетто опустился на колени и с самыми бурными жестами умолял выслушать, что привело его самого в такое гнусное общество.

Он рассказал Кленнэму, ничего не утаив, как попался в контрабанде, был арестован, встретился в тюрьме с этим человеком и как потом, после освобождения из тюрьмы, ушел из города, надеясь никогда больше с ним не встречаться. Как в гостинице «Рассвет», в Шалоне на Соне, его разбудил ночью тот же самый убийца, принявший фамилию Ланье, хотя его настоящее имя было Риго; как убийца предложил ему вместе искать счастья; как он убежал на рассвете, гонимый ужасом и отвращением, и с тех пор живет под вечным опасением встречи с этим человеком. Рассказав всё это, с особенным ударением и подчеркиванием слова «убийца», свойственным его языку и ничуть не уменьшавшим для Кленнэма страшное значение этого слова, он внезапно вскочил, ринулся на объявление с азартом, который у северянина был бы несомненным признаком помешательства, и воскликнул:

— Вот он! Он самый, убийца!

В своем волнении он забыл о встрече с этим самым убийцей в Лондоне. Когда он вспомнил об этом, у Кленнэма явилась надежда, что эта встреча, быть может, произошла после посещения убийцей дома его матери; но Кавалетто хорошо помнил время и место встречи, и нельзя было сомневаться, что она случилась раньше.

— Слушайте, — сказал Артур очень серьезно. — В объявлении сказано, что этот человек пропал без вести

— Я очень рад этому! — воскликнул Кавалетто, поднимая глаза с набожным видом. — Слава богу! Проклятый убийца!

— Нет, — сказал Кленнэм, — потому что, пока я не узнаю, что с ним случилось, у меня не будет минуты покоя.

— Довольно, благодетель, это совсем другое дело. Тысяча извинений!

— Слушайте, Кавалетто, — продолжал Кленнэм, тихонько поворачивая его за руку, так что их глаза встретились. — Я убежден, что вы искренно благодарны мне за те ничтожные услуги, которые я мог вам оказать

— Клянусь в этом! — воскликнул Кавалетто.

— Я знаю. Если бы вы могли отыскать этого человека или узнать, что с ним случилось, или вообще раздобыть какие-нибудь сведения о нем, вы оказали бы мне величайшую услугу, за которую я был бы благодарен

вам так же, как вы мне, и с гораздо большим основанием.

— Я не знаю, куда направиться, — воскликнул итальянец, поцеловав руку Кленнэма в порыве восторга. — Не знаю, с чего начать. Не знаю, к кому обратиться. Но смелей, довольно. Сейчас же примусь за поиски!

— Только никому ни слова, Кавалетто.

— Altro! — крикнул Кавалетто. И очень быстро куда-то убежал.

ГЛАВА XXIII

Миссис Эффри дает условное обещание относительно своих снов

Оставшись один под впечатлением выразительных взглядов и жестов мистера Батиста, иначе Джованни-Батиста Кавалетто, Кленнэм вскоре пришел в очень мрачное настроение. Напрасно он старался сосредоточить свои мысли на каком-нибудь деловом вопросе: они неизменно возвращались всё к той же мучительной теме. Точно убийца, прикованный к лодке, неподвижно стоящей на глубокой светлой реке, осужденный вечно видеть сквозь струи неустанно бегущего потока тело утопленной им жертвы на дне, неподвижное и только слегка изменяющее свои ужасные очертания, то удлиняясь, то расширяясь по воле прихотливых струй, — так точно Кленнэм сквозь быстрый, прозрачный поток мыслей и образов, сменявшихся одни другими, различал всё тот же мрачный, неподвижный предмет, от которого тщетно пытался отделаться.

Уверенность, что Бландуа, каково бы ни было его настоящее имя, действительно отъявленный негодяй, усиливала его тревогу. Хотя бы его исчезновение и объяснилось, — всё же оставался факт отношений его с матерью Кленнэма. Что эти отношения были тайные, что она зависела от него и боялась его, было для него несомненно. Он надеялся, что никто, кроме него, не знает об этом; но, зная это, мог ли он забыть о своих старых подозрениях и поверить, что в этих отношениях не было ничего дурного?

Ее решительный отказ вступать с ним в какие-либо объяснения по этому вопросу заставлял его ясно чувствовать свое бессилие. Он знал ее непреклонный харак-

тер. Это был просто кошмар: подозревать, что позор и бесславие угрожают ей и памяти его отца, — и быть отрезанным от них точно каменной стеной и не иметь возможности явиться к ним на помощь. Цель, которая привела его домой и которую он постоянно имел в виду, встречала непреодолимое препятствие со стороны его матери в самую решительную минуту. Его опыт, энергия, деньги, кредит — все его ресурсы оказывались бесполезными. Если бы она обладала сказочной способностью превращать в камень тех, на кого глядела, то не могла бы сделать его более беспомощным (так, по крайней мере, ему казалось в его унылом настроении), чем теперь, когда обращала на него свои непроницаемые глаза в угрюмой комнате.

Однако сведения, полученные им в этот день, побудили его действовать более решительно. Уверенный в правоте своей цели и побуждаемый сознанием грозящей опасности, он решил, если мать категорически откажется от объяснений, приняться за Эффри. Если ему удастся вызвать ее на разговор и выведать от нее всё, что она могла сообщить ему по поводу тайны, тяготевшей над их домом, то, может быть, он получит возможность порвать с бездействием, которое с каждой минутой становилось для него всё более и более мучительным. Придя к такому решению после всех тревог этого дня, он не стал откладывать его исполнение и в тот же вечер отправился к матери.

Когда он подошел к дому, дверь оказалась открытой и мистер Флинтуинч сидел на пороге, покуривая трубочку. Это было первой неудачей. При благоприятных обстоятельствах дверь оказалась бы запертой, как обыкновенно бывало, и ему отворила бы Эффри. При неблагоприятных обстоятельствах дверь оказалась открытой, чего никогда не бывало, и мистер Флинтуинч сидел на пороге, покуривая трубочку.

— Добрый вечер, — сказал Артур.

— Добрый вечер, — сказал мистер Флинтуинч.

Дым выходил извилистой струей изо рта мистера Флинтуинча, как будто проходил через всю скрюченную фигуру этого джентльмена и возвращался обратно через его скрюченную глотку, прежде чем смешаться с дымом извилистых труб и с туманами извилистой реки.

— Есть какие-нибудь известия? — спросил Артур

— Нет никаких известий, — отвечал Иеремия.

— Я говорю об иностранце, — пояснил Артур.

— Я говорю об иностранце, — сказал Иеремия.

Его кривая фигура с болтавшимися под ухом концами галстука имела такой зловещий вид, что у Кленнэма мелькнула мысль, впрочем уже не в первый раз, мог ли бы Флинтуинч отделаться от Бландуа? Уж не его ли тайне грозила опасность быть открытой и не его ли благополучие было поставлено на карту? Он был мал ростом и сутуловат и, вероятно, не особенно силен, но крепок, как старый дуб, и хитер, как старый ворон. Такой человек, подойдя сзади к более молодому и сильному противнику и решившись покончить с ним не теряя времени, мог бы превосходно обделать это дельце в глухом месте в позднюю пору.

Пока эти мысли, соответствовавшие мрачному настроению Кленнэма, проносились в его голове, не вытесняя другой главной мысли, мистер Флинтуинч, поглядывая на противоположный дом, скривив шею и зажмурив один глаз, курил свою трубку с таким видом, как будто старался перекусить мундштук, а отнюдь не наслаждаться ею. Тем не менее он наслаждался по-своему.

— Вы будете в состоянии нарисовать мой портрет, когда придете в следующий раз, — сказал он сухо, выколачивая пепел из трубки.

Артур смутился и извинился за такое бесцеремонное рассматривание.

— Но я так озабочен этим происшествием, — прибавил он, — что голова идет кругом.

— А! Не понимаю, однако, — сказал мистер Флинтуинч самым спокойным тоном, — почему он так заботит вас?

— Нет?

— Нет, — отвечал мистер Флинтуинч отрывисто и решительно, точно он был представителем собачьей породы, и цапнул Кленнэма за руку.

— Так для меня ничего не значит видеть эти объявления? Знать, что имя и дом моей матери всюду упоминаются в связи с именем подобного субъекта?

— Не вижу, — возразил мистер Флинтуинч, царапая свою жесткую щеку, — почему это должно много значить для вас. Но я скажу вам, что я вижу, Артур, — приба-

вил он, взглянув вверх на окна: — я вижу свет свечи и отблеск огня из камина в комнате вашей матери.

— Что же из этого следует?

— Видите ли, сэр, — сказал мистер Флинтуинч, подвигаясь к нему винтообразным способом, — он напоминает мне, что если спящую собаку следует оставить в покое (как говорит пословица), то и сбежавшую собаку следует оставить в покое. Пусть себе бежит. Прибежит обратно в свое время.

С этими словами мистер Флинтуинч повернулся и вошел в темную переднюю. Кленнэм оставался на месте и следил за ним глазами, пока он чиркал спичками в маленькой боковой комнате и, наконец, зажег тусклую стенную лампу. Всё это время Кленнэм обдумывал — почти против своей воли, — каким способом мистер Флинтуинч мог совершить свое черное дело и в каких темных углах он мог запрятать его следы.

— Ну, сэр, — брюзгливо сказал Иеремия, — угодно вам пожаловать наверх?

— Матушка, я полагаю, одна?

— Не одна, — сказал мистер Флинтуинч, — у нее мистер Кэсби с дочерью. Я курил, когда они пришли, и остался докуривать трубку.

Вторая неудача. Артур не высказал этого и отправился в комнату матери, где мистер Кэсби и Флора угощались чаем, анчоусами и горячими гренками. Следы этого угощения еще виднелись на столе и на раскрасневшемся от огня лице миссис Эффри, которая стояла у камина с вилкой для поджаривания гренков в руке, напоминая аллегорическую фигуру, но выгодно отличаясь от обычных изображений в этом роде ясностью аллегии.

Флора положила шляпку и шаль на кровать, очевидно намереваясь посидеть подольше. Мистер Кэсби сиял благодушием, расположившись поближе к камину, шишки на его лучезарной голове блестели, точно масло гренков просачивалось сквозь патриарший череп, а лицо раскраснелось, как будто красящее вещество анчоусного соуса проступило сквозь патриаршую кожу. Видя, что свободной минуты всё равно не улучшить, Кленнэм решил поговорить с матерью немедленно.

Издавна вошло в обычай, так как она никогда не покидала этой комнаты, что те, кто хотел поговорить

с нею, подкатывали ее кресло к высокому столу; тут она сидела спиной к остальным присутствующим, а ее собеседник усаживался в уголке на стуле, который всегда стоял здесь для этой цели. Поэтому гости, привыкшие к порядкам этого дома, ничуть не удивились, когда Артур, извинившись, обратился к матери с вопросом, может ли она уделить ему несколько минут, и, получив утвердительный ответ, подкатил ее кресло к столу. Но это могло показаться странным хотя бы потому, что он уже давно не разговаривал с матерью без вмешательства третьего лица.

Итак, когда он это сделал, миссис Финчинг только начала говорить громче и быстрее, в виде деликатного намека на то, что она ничего не слышит, а мистер Кэсби с безмятежно-сонливым видом принялся разглаживать свои серебристые кудри.

— Матушка, сегодня я узнал кое-какие подробности, которых вы, наверно, не знаете и о которых я считаю своим долгом сообщить вам, относительно прошлого того человека, которого я видел у вас.

— Я ничего не знаю о прошлом человека, которого ты видел у меня, Артур.

Она говорила громко. Он было понизил голос, но она отвергла эту попытку к интимной беседе, как отвергала все другие, и говорила своим обычным тоном, своим обычным резким голосом.

— Я получил эти сведения не косвенным путем, а из первых рук.

Она спросила прежним тоном, намерен ли он передать ей их содержание.

— Я полагал, что вам следует знать его.

— В чем же дело?

— Он сидел в тюрьме во Франции.

Она отвечала совершенно спокойно:

— Этого можно было ожидать.

— В тюрьме для уголовных преступников, матушка, по обвинению в убийстве.

Она вздрогнула, и в глазах ее мелькнуло невольное отвращение. Однако она спросила, ничуть не понизив голоса:

— Кто тебе сказал это?

— Человек, который был его товарищем по заключению.

— Я полагаю, ты не знал раньше о прошлом этого человека?

— Нет.

— А его самого знал?

— Да.

— Те же отношения, что у меня и Флинтуинча к этому человеку! Сходство окажется еще ближе, если твой знакомый явился к тебе впервые с рекомендательным письмом от твоего корреспондента, поручившего выдать ему деньги. Скажи, так ли это было?

Артуру оставалось только сознаться, что их знакомство произошло без всяких рекомендательных писем. Выражение внимания на хмуром лице миссис Кленнэм сменилось выражением сурового торжества.

— Не суди же других так поспешно. Говорю тебе, Артур, для твоего же блага, не суди других так поспешно!

Суровый пафос, которым дышали эти слова, светился в ее взгляде. Она глядела на него, и если раньше, когда он входил в этот дом, в его сердце таилась надежда смягчить ее, то своим взглядом она погасила всякую надежду.

— Матушка, неужели я ничем не могу помочь вам?

— Ничем.

— И вы не имеете ничего доверить мне, поручить, объяснить? Вы не хотите посоветоваться со мной? Не позволите мне лучше понять вас?

— Как у тебя хватает духа спрашивать меня об этом? Ты сам отказался от участия в моих делах. Это было твое решение, не мое. И после этого ты можешь обращаться ко мне с подобным вопросом? Ты добровольно уступил свое место Флинтуинчу.

Взглянув на Иеремию, Кленнэм убедился, что даже самые гетры его прислушивались к их разговору, хотя он стоял беззаботно, прислонившись к стене, почесывая щеку и делая вид, что слушает Флору, которая в это время увязла по уши в хаосе разнообразнейших вещей, где макрель и тетка мистера Финчинга переплетались с майскими жуками и торговлей вином.

— Арестант, во французской тюрьме, по обвинению в убийстве, — повторила миссис Кленнэм. — Это всё, что ты узнал от его товарища по заключению?

— По существу, всё.

— А этот товарищ был его соучастником и тоже обвинялся в убийстве? Впрочем, нет; конечно, он отзывался о себе лучше, чем о своем товарище, об этом и спрашивать незачем. Ну, по крайней мере, мне есть о чем рассказать гостям Кэсби, Артур сообщил мне.

— Остановитесь, матушка, остановитесь! — торопливо перебил он, так как в его расчеты вовсе не входило объявлять во всеуслышание то, о чем они говорили.

— Что такое? — спросила она с неудовольствием — Что еще?

— Извините, пожалуйста, мистер Кэсби .. и вы, мисс Финчинг... мне нужно сказать матушке еще два слова...

Он положил руку на спинку ее кресла, так как она хотела откатить его от стола, упираясь ногой о пол. Они всё еще сидели лицом к лицу. Она взглянула на него, между тем как он торопливо обдумывал, не приведет ли огласка сведений, доставленных Кавалетто, к каким-нибудь неожиданным и непредвиденным последствиям. Он решил, что лучше избежать огласки, хотя единственным мотивом этого решения была его прежняя уверенность, что мать не сообщит об этом никому, кроме своего компаньона.

— Что же? — спросила она нетерпеливо. — Что такое?

— Я не имел в виду, матушка, что вы будете сообщать другим полученные от меня сведения. Мне кажется, лучше этого не делать.

— Ты ставишь это условием?

— Пожалуй, да.

— Помни же, ты делаешь из этого тайну, — сказала она, поднимая руку, — а не я. Ты, Артур, явился сюда с сомнениями, подозрениями и требованиями объяснений, ты же являешься сюда и с тайнами. Почему ты вообразил, что меня интересует, где жил или чем был раньше этот человек? Какое мне дело до этого? Пусть целый свет узнает об этом, если ему интересно знать; меня это ничуть не касается. Теперь довольно, позволь мне вернуться к гостям!

Он повиновался ее повелительному взгляду и откатил кресло на прежнее место. При этом он заметил выражение торжества на лице мистера Флинтуинча, без сомнения вызванное не Флорой. Этот результат, ясно показывавший, что все его планы и намерения обратились

против него самого, убедил его сильнее, чем упорство и непреклонность матери, в тщетности его усилий. Оставалось только обратиться к его старому другу, Эффри.

Но даже приступить к исполнению этого сомнительного и малообещающего плана казалось одной из безнадежнейших человеческих задач. Она до того подпала под влияние обоих хитрецов, находилась под таким строгим наблюдением, так боялась ходить одна по дому, что поговорить с ней наедине казалось решительно невозможным.

В довершение всего миссис Эффри (надо полагать, под влиянием энергичных аргументов своего повелителя) до такой степени прониклась убеждением в рискованности каких-либо заявлений со своей стороны, что сидела в уголке, защищаясь своим символическим инструментом от всяких попыток подойти к ней. Когда Флора или даже сам бутылочно-зеленый патриарх обращались к ней с каким-нибудь вопросом, она только отмахивалась вилкой.

После нескольких неудачных попыток встретиться с ней глазами, пока она мыла и убирала посуду, Артур решил обратиться за помощью к Флоре. С этой целью он шепнул ей:

— Скажите, что вам хотелось бы осмотреть дом.

Бедная Флора, вечно пребывавшая в трепетном ожидании той минуты, когда Кленнэм вернется к годам своей юности и снова обезумеет от любви к ней, отнеслась к этому шёпоту с величайшим восторгом не только потому, что радовалась вообще всякой тайне, но и потому, что за ним должно было последовать нежное объяснение, причем он, конечно, признается в своей страсти. Она тотчас начала действовать.

— Ах, эта бедная старая комната, — сказала она, оглядываясь, — всегда одинакова, миссис Кленнэм, даже трогательно видеть, только сильнее закопчена дымом, но это вполне естественно, и со всеми нами то же будет, приятно ли нам, нет ли, вот и я, например, если не закопчена, то стала гораздо толще, а это то же самое и даже, пожалуй, еще хуже, ведь было же время, когда папа приносил меня сюда крошечной девочкой с отмороженными щеками и сажал на стул с подножкой, и я всё смотрела на Артура, — пожалуйста, извините — на мистера Кленнэма, — тоже крошечного мальчика в кур-

точке с огромнейшим воротником, а мистер Финчинг еще не показывался в туманной дали с своим предложением, как известный призрак в Германии, в местечке, название которого начинается на Б, — нравственный урок, который показывает, что все жизненные пути подобны дорогам в северной Англии, где добывают уголь, делают железо и всё покрыто пеплом! — Испустив вздох по поводу не прочности всего земного, Флора продолжала:

— Конечно, даже злейший враг этого дома не скажет, чтобы он выглядел когда-нибудь веселым, да и не для того он был выстроен, но всё-таки всегда оставался крайне внушительным, и притом с ним связаны нежные воспоминания, особенно один случай, когда мы были еще совсем глупенькие, и Артур, — неистребимая привычка — мистер Кленнэм, — завел меня в старую кухню с удивительным количеством плесени и предложил спрятать меня тут на всю жизнь, и кормить тем, что ему удастся спрятать от обеда, а когда будет наказан, что случилось очень часто в те блаженные времена, сухим хлебом, не будет ли неприлично или слишком смело с моей стороны, если я попрошу позволения осмотреть дом и оживить в моей памяти эти сцены?

Миссис Кленнэм, которая к посещению Флоры относилась скрепя сердце, хотя это посещение служило только доказательством доброго сердца гостыи (так как она не могла рассчитывать на встречу с Кленнэмом), сказала, что весь дом к ее услугам. Флора встала и взглянула на Артура.

— Конечно, — сказал он громко, — а Эффри нам поведет.

Эффри ответила было: «Не требуйте от меня ничего, Артур!» — но мистер Флинтуинч перебил ее:

— Это почему? Эффри, жена, что с тобой? Почему же нет, кляча?

Повинуясь этому приказанию, она неохотно вышла из своего угла, отдала вилку мужу и взяла от него свечку

— Ступай вперед, дура! — сказал Иеремия. — Куда вы пойдете, вниз или вверх, миссис Финчинг?

Флора отвечала:

— Вниз.

— Ступай же вперед, Эффри, — сказал Иеремия, — да свети хорошенько, а не то я скачусь прямо на тебя по перилам!

Эффри возглавляла исследовательскую экспедицию. Иеремия замыкал шествие. В его намерения не входило оставить их одних. Кленнэм оглянулся и, убедившись, что он следует за ними шагах в трех со спокойным и методическим видом, шепнул Флоре:

— Неужели нельзя избавиться от него!

Флора поспешила ответить успокоительным тоном:

— Ничего, Артур, конечно, это было бы неприлично перед молодым или чужим человеком, но при нем можете, только не обнимайте меня слишком крепко.

Не решаясь объяснить, что ему вовсе не это нужно, Артур обвил рукой ее талию.

— Какой вы послушный и милый, — сказала она, — это очень благородно с вашей стороны, но если вы обнимете меня покрепче, то я не приму этого за дерзость.

В таком нелепом положении, совершенно не соответствовавшем его душевному настроению, Кленнэм спустился с лестницы, чувствуя, что в темных местах Флора становилась заметно тяжелее. Так осмотрели они грязную и мрачную кухню, потом бывший кабинет отца Кленнэма и старую столовую, причем миссис Эффри всё время шла впереди со свечкой, безмолвная как призрак, не оборачиваясь и не отвечая, когда Артур шептал ей: «Эффри, мне нужно поговорить с вами!».

Когда они были в столовой, у Флоры явилось сентиментальное желание заглянуть в чуланчик, куда Артура часто запирали в детстве. Весьма возможно, что это желание было вызвано темнотой чуланчика, благодаря которой представлялся случай повиснуть еще тяжелее на руке Артура. Последний в полном отчаянии отворил дверь чулана, как вдруг послышался стук в наружную дверь.

Миссис Эффри с глухим криком набросила передник на голову.

— Что такое? Тебе хочется еще порцию? — сказал мистер Флинтуинч. — Ты получишь ее, жена, ты получишь ха-а-рошую порцию! О, я тебя попотчую!

— А пока не пойдет ли кто-нибудь отворить дверь? — спросил Артур.

— А пока я пойду отворить дверь, сэр, — отвечал мистер Флинтуинч с такой злобой, что видно было — делает он это только по необходимости. — Подождите меня



Флора отправляется осматривать дом

здесь. Эффри, жена, попробуй сойти с места или пикнуть хоть слово, получишь та-акую порцию!

Как только он ушел, Артур выпустил миссис Финчинг — не без труда, потому что эта леди, совершенно превратно понявшая его намерения, приготовилась было повиснуть на нем еще сильнее.

— Эффри, теперь говорите.

— Не трогайте меня, Артур! — крикнула она, отскакивая. — Не подходите ко мне. Он увидит, Иеремия увидит. Не трогайте!

— Он ничего не увидит, если я погашу свечу, — сказал Артур, приводя в исполнение эти слова.

— Он услышит вас, — крикнула Эффри.

— Он ничего не услышит, если я отведу вас в чуланчик, — возразил Артур, исполняя эти слова. — Почему вы закрываете свое лицо?

— Потому что боюсь увидеть что-нибудь!

— Вы не можете ничего увидеть в темноте, Эффри

— Нет, могу. Еще скорее, чем при свете.

— Да почему же вы боитесь?

— Потому что дом наполнен тайнами и секретами, перешептываниями и совещаниями, потому что в нем то и дело слышатся шорохи. Я думаю, не найдется другого дома, где бы слышалось столько шорохов и шумов. Я умру от страха, если Иеремия не задушит меня раньше. Но он, наверно, задушит.

— Я никогда не слышал тут шумов, о которых стоило бы говорить.

— Ах, если бы вы пожили столько, сколько я в этом доме, так услышали бы, — сказала Эффри, — и не сказали бы, что о них не стоит говорить. Нет, вы так же, как я, готовы были бы лопнуть из-за того, что вам не позволяют говорить. Вот Иеремия, вы добьетесь того, что он убьет меня.

— Милая Эффри, уверяю вас, что я вижу свет отворенной двери на полу передней, и вы могли бы видеть его, если бы сняли передник с головы.

— Не смею, — сказала Эффри, — не смею, Артур Я всегда закрываюсь, когда нет Иеремии, и даже иногда при нем

— Я увижу, когда он закроет двери, — сказал Артур. — Вы в такой же безопасности, как если бы он был за пятьдесят миль отсюда.

— Желала бы я, чтобы он был за пятьдесят миль! — воскликнула Эффри.

— Эффри, я хочу знать, что тут такое происходит, хочу пролить свет на здешние тайны.

— Говорю же вам Артур, — перебила она, — это шорохи, шумы, шелест и шёпот, шаги внизу и шаги над головой.

— Но не в одном же этом тайны?

— Не знаю, — сказала Эффри. — Не спрашивайте меня больше! Ваша прежняя зазноба здесь, а она болтушка.

Его прежняя зазноба, действительно находившаяся здесь, повиснув на его руке под углом в сорок пять градусов, вмешалась в разговор, и если не особенно толково, то горячо принялась уверять миссис Эффри, что она сохранит всё в тайне и ничего не разболтает, «если не ради других, то ради Артура, — но это слишком фамильярно, — Дойса и Кленнэма».

— Умоляю вас, Эффри, — вас, одну из тех, которой я обязан немногими светлыми воспоминаниями детства, — расскажите мне всё ради моей матери, ради вашего мужа, ради меня самого, ради всех нас. Я уверен, что вы можете сообщить мне что-нибудь об этом человеке, если только захотите.

— Ну, так я вам скажу, Артур... — отвечала Эффри. — Иеремия!

— Нет, нет, дверь еще открыта, и он разговаривает с кем-то на крыльце.

— Так я вам скажу, — повторила Эффри, прислушавшись, — что в первый раз, как он явился, он сам слышал эти шорохи и шумы. «Что это такое?» — спросил он. «Я не знаю, что это такое, — отвечала я, — но постоянно их слышу». Пока я говорила это, он стоял и смотрел на меня, а сам трясется, да!

— Часто он бывал здесь?

— Только в ту ночь да еще в последнюю ночь

— Что же он делал в последний раз, когда я ушел?

— Хитрецы заперлись с ним в ее комнате. Когда я затворила за вами дверь, Иеремия подобрался ко мне бочком (он всегда подбирается ко мне бочком, когда хочет поколотить меня) и говорит: «Ну, Эффри, — говорит, — пойдём со мной, жена, вот я тебя подбодрю». Потом схватил меня сзади за шею, стиснул, так что я

даже рот разинула, да так и проводил до постели и всё время душил. Это он называет — подбодрить. О, какой он злощий!

— И больше вы ничего не видали и не слышали, Эффри?

— Ведь я же сказала, что он меня послал спать, Артур!.. Идет!

— Уверяю вас, он всё еще стоит за дверью. Но вы говорили, что тут перешептываются и совещаются. О чем?

— Почему я знаю. Не спрашивайте меня об этом, Артур. Отстаньте!

— Но, дорогая Эффри, я должен узнать об этих тайнах, иначе произойдет несчастье.

— Не спрашивайте меня ни о чем, — повторила Эффри. — Я всё время вижу сны наяву. Ступайте, ступайте!

— Вы и раньше говорили это, — сказал Артур. — Вы то же самое сказали в тот вечер, когда я спросил вас, что вы делаете. Что же это за сны наяву?

— Не скажу. Отстаньте. Я не сказала бы, если бы мы были одни, а при вашей старой зазнобе и подавно не скажу!

Напрасно Артур уговаривал ее, а Флора протестовала. Эффри, дрожавшая как лист, оставалась глухой ко всем увещаниям и рвалась вон из чуланчика.

— Я скорей крикну Иеремию, чем скажу хоть слово! Я позову его, Артур, если вы не отстанете. Ну, вот вам последнее слово: если вы вздумаете когда-нибудь расправиться с хитрецами (вам следовало бы сделать это, я вам говорила в первый же день, когда вы приехали, потому что вы не жили здесь и не запуганы так, как я), тогда сделайте это при мне, и скажите мне: «Эффри, расскажите ваши сны!». Может быть, тогда я расскажу.

Стук затворяемой двери помешал Артуру ответить. Они вернулись на то же место, где Иеремия оставил их, и Кленнэм сказал ему, что погасил свечку нечаянно. Мистер Флинтуинч смотрел на него, пока он зажигал ее снова о лампу, и хранил глубокое молчание насчет посетителя, с которым беседовал на крыльце. Быть может, его раздражительный характер требовал возмездия за скуку, доставленную этим гостем; только он страшно разозлился, увидев свою супругу с передником на голове, подскочил к ней и, ущемив ее нос между большим и указ-

зательным пальцами, повернул его так, точно собирался вывинтить прочь.

Флора, окончательно отяжелевшая, не хотела отпустить Кленнэма, пока они не осмотрели весь дом, вплоть до его старой спальни на чердаке. Хотя голова его была занята совсем другим, но всё-таки он не мог не обратить внимания — и вспомнил об этом впоследствии — на спертый затхлый воздух, на густой слой пыли в верхних этажах, на дверь одной из комнат, отворявшуюся с таким трудом, что Эффри вообразила, будто за нею кто-то прячется, и осталась при этом убеждении, хотя, осмотрев комнату, они не нашли никого. Когда, наконец, они вернулись в комнату миссис Кленнэм, она вполголоса разговаривала с патриархом, стоявшим у камина. Его голубые глаза, отполированная голова и шелковые кудри придавали необыкновенно глубокое и любвеобильное выражение немногим словам, с которыми он обратился к ним:

— Итак, вы осмотрели постройку, осмотрели постройку... постройку... осмотрели постройку.

Сама по себе эта фраза, конечно, не была перлом мудрости или благосклонности, но в устах патриарха казалась образцом того и другого, так что иному слышавшему захотелось бы даже записать ее.

ГЛАВА XXIV

Вечер долгого дня

Знаменитый муж, украшение отечества, мистер Мердль продолжал свое ослепительное шествие. Мало-помалу все начинали понимать, что человек с такими заслугами перед обществом, из которого он выжал такую кучу денег, не должен оставаться простым гражданином. Говорили, что его сделают баронетом, поговаривали и о звании пэра. Молва утверждала, будто мистер Мердль отвратил свой золотой лик от баронетства, будто он объявил лорду Децимусу, что баронетства для него мало, прибавив: «Нет, или пэр, или просто Мердль». Говорили, будто это заявление повергло лорда Децимуса в пучину сомнений, где он увяз бы по самый подбородок, если бы это было возможно для такой высокой особы, потому что Полипы, как совершенно самостоятельная группа су-

ществ в мироздании, были твердо уверены, что все подобные отличия принадлежат собственно им, и если какой-нибудь военный, моряк или юрист получал титул лорда, они единственно из снисхождения впускали его в семейную дверь и тотчас же захлопывали ее. Но (говорила молва) не одно это обстоятельство смущало Децимуса, он знал, что несколько человек Полипов уже заявили права на тот же титул. Правдивая или, быть может, лживая молва во всяком случае была очень деятельна, и лорд Децимус, размышляя — по крайней мере делая вид, что размышляет, — над своим затруднительным положением, доставлял ей новую пищу, пускаясь при каждом удобном случае ковылять своей слоновой походкой по зарослям шаблонных фраз насчет колоссальных предприятий мистера Мердля, столь важных для национального богатства Англии, ее благосостояния, процветания, кредита, капитала и пр.

Между тем старый серп времени пожинал понемногу свою жатву, и вот прошло полных три месяца с того дня, как тела двух братьев-англичан были опущены в одну могилу на иностранном кладбище в Риме. Мистер и миссис Спарклер водворились на собственной квартире, в небольшом домике во вкусе Тита Полипа, истинном шедевре неудобства, с вечным ароматом позавчерашнего обеда и конюшни, но страшно дорогое, так как именно в этом месте находился центр земного шара. Водворившись в этом завидном приюте (которому, действительно, завидовали многие), миссис Спарклер решила немедленно приступить к уничтожению бюста, когда приезд посланца с печальными вестями заставил ее приостановить активные военные действия. Миссис Спарклер отнюдь не была бесчувственной и встретила печальную весть настоящим взрывом отчаяния, длившимся ровно двенадцать часов, после чего воспрянула духом и принялась обдумывать свой траур, который должен был оказаться не хуже, чем у миссис Мердль. Затем многие аристократические семьи были опечалены прискорбным известием (если верить благороднейшим источникам), и посланец уехал обратно.

Мистер и миссис Спарклер только что пообедали вдвоем в атмосфере скорби, окружавшей их, и миссис Спарклер перешла в гостиную, на кушетку. Был жаркий летний вечер. Резиденция в центре земного шара всегда

отличавшаяся спертым и затхлым воздухом, в этот вечер была особенно убийственна. Церковные колокола отзвонили, сливаясь в нестройное целое с уличным шумом, освещенные церковные окна, казавшиеся желтыми в сером тумане, угасли и потемнели. Миссис Спарклер, лежащая на кушетке, глядя через горшки с цветами на противоположную сторону улицы, была утомлена этим зрелищем. Миссис Спарклер, поглядывавшая в другое окно, сквозь которое виднелся на балконе ее муж, была утомлена и этим зрелищем. Миссис Спарклер, окинув взглядом себя самоё в траурном платье, была утомлена даже этим зрелищем, хотя не так, как первыми двумя.

— Точно в колодце лежишь, — сказала миссис Спарклер, сердито меняя позу. — Господи, Эдмунд, если у тебя есть что сказать, отчего ты не говоришь?

Мистер Спарклер мог бы ответить совершенно искренно: «Жизнь моя, мне нечего сказать». Но так как этот ответ не пришел ему в голову, он только перешел с балкона в комнату и остановился подле кушетки.

— Боже милостивый, Эдмунд, — сказала миссис Спарклер еще сердитее, — ты совсем засунул резеду себе в нос. Пожалуйста, не делай этого!

Мистер Спарклер в рассеянности так крепко прижимал к носу веточку резеды, что, пожалуй, оправдывал это замечание. Он улыбнулся, сказав: «Извини, милочка», — и выбросил веточку за окно.

— У меня голова болит, когда я гляжу на тебя, Эдмунд, — сказала миссис Спарклер минуту спустя, поднимая на него глаза. — Ты такой огромный при этом освещении, когда стоишь. Сядь, пожалуйста!

— Изволь, милочка, — сказал Спарклер и уселся на стул.

— Если бы я не знала, что самый длинный день в году уже прошел, — заметила миссис Спарклер, отчаянно зевая, — то подумала бы, что сегодня самый длинный день. Я не запомню такого дня.

— Это твой веер, радость моя? — спросил мистер Спарклер, поднимая с пола веер.

— Эдмунд, — простонала его супруга, — сделай милость, не предлагай глупых вопросов. Чей же он может быть, если не мой?

— Да, я и думал, что это твой, — сказал мистер Спарклер.

— Так незачем было спрашивать, — возразила Фанни. Немного погодя она повернулась на кушетке и воскликнула:

— Боже мой, боже мой. Никогда еще не бывало такого длинного дня! — После непродолжительной паузы она встала, прошлась по комнате и вернулась на прежнее место.

— Милочка, — сказал мистер Спарклер, внезапно озаренный оригинальной мыслью, — я думаю, что ты немножко расстроена.

— О, расстроена! — сказала миссис Спарклер. — Не говори глупостей!

— Бесценная моя, — убеждал мистер Спарклер. — понюхай туалетного уксуса. Я часто слышал от моей матери, что он очень освежает. А ведь ты знаешь, она замечательная женщина, без всяких этаких...

— Боже милостивый, — воскликнула Фанни, снова вскакивая с кушетки, — это свыше всякого терпения! Я уверена, что такого скучного дня еще не бывало с начала мира.

Мистер Спарклер жалобно следил за ней глазами, пока она металась по комнате, и казался несколько испуганным. Разбросав во все стороны несколько безделушек и выглянув из всех трех окон на потемневшую улицу, она снова бросилась на кушетку.

— Ну, Эдмунд, поди сюда. Поди ближе, чтобы я могла достать до тебя веером, когда буду говорить: так ты лучше поймешь. Вот так, довольно. О, какой ты громадный!

Мистер Спарклер извинился, оправдываясь тем, что он не в силах исправить этот недостаток, и прибавил, что «наши ребята» (не указывая точнее, кто именно были эти ребята) обыкновенно называли его Куинбусом Флестрином, или Человеком-Горою Младшим.¹

— Ты бы должен был сказать мне об этом раньше, Эдмунд, — упрекнула его Фанни.

— Душа моя, — отвечал польщенный мистер Спарклер, — я не думал, что это будет интересно для тебя, а то бы непременно сказал.

— Ну, хорошо. Помолчи, ради бога, — сказала Фан-

¹ Куинбус Флестрин-Человек-гора, Так называли лилпуты Гулливера в романе английского писателя-сатирика Джона-тана Свифта (1667—1745).

ни, — я сама хочу поговорить с тобой Эдмунд, мы не можем больше жить отшельниками. Надо принять меры, чтобы не повторялись такие невыносимые вечера, как сегодняшний.

— Душа моя, — ответил мистер Спарклер, — конечно, такая чертовски красивая женщина, как ты, без всяких этаких...

— О боже мой — воскликнула Фанни.

Мистер Спарклер был так смущен энергией этого восклицания, сопровождавшегося прыжком с кушетки и обратно, что прошло минуты две, пока он собрался с духом и объяснил:

— Я хочу сказать, дорогая моя, что твое назначение, как всякий понимает, — блистать в обществе.

— Мое назначение — блистать в обществе, — возразила Фанни с гневом, — да, конечно! А что же выходит на самом деле? Не успела я оправиться — с светской точки зрения — от удара, нанесенного мне смертью бедного папы и бедного дяди, хотя я не стану скрывать от себя, что смерть дяди была, пожалуй, счастливой случайностью, так как если ты не представителен, то лучше уж умереть..

— Надеюсь, ты это не про меня, душечка? — смиренно перебил мистер Спарклер.

— Эдмунд, Эдмунд, ты святого выведешь из терпения. Ведь ты же слышал, что я говорю о дяде.

— Ты так выразительно посмотрела на меня, моя милая крошечка, — сказал мистер Спарклер, — что мне стало не по себе. Спасибо, радость моя

— Ну вот, ты сбил меня с толку, — заметила Фанни, потрянув веером с видом покорности судьбе. — Пойду-ка я лучше спать.

— Нет, не уходи, радость моя, — упрашивал мистер Спарклер. — погоди, может быть вспомнишь.

Фанни вспоминала довольно долго, лежа на спине, закрыв глаза и подняв брови с безнадежным выражением, как будто окончательно отрешилась от всего земного. Наконец совершенно неожиданно она открыла глаза и заговорила сухим, резким тоном:

— Да, так что же выходит на самом деле? Что выходит на деле? В то самое время, когда я могла бы блистать в обществе и когда мне хотелось бы, по самым основательным причинам, блистать в обществе, я оказыва-

ваюсь в таком положении, которое до некоторой степени мешает мне являться в обществе. Право, это уж чересчур!

— Душа моя, — сказал мистер Спарклер, — мне кажется, твое положение не обязывает тебя сидеть дома.

— Эдмунд, ты просто смешон, — возразила Фанни с негодованием. — Неужели ты думаешь, что женщина в цвете лет и не лишенная привлекательности может, находясь в таком положении, соперничать в отношении фигуры с другой женщиной, хотя бы та и уступала ей во всех остальных отношениях; если ты действительно так думаешь, — ты безгранично глуп.

Мистер Спарклер решил наекнуть, что на ее положение «быть может, не обратят внимания».

— Не обратят внимания! — повторила Фанни с бесконечным презрением.

— Пока, — заметил мистер Спарклер.

Не обратив внимания на эту жалкую поправку, миссис Спарклер с горечью объявила, что это положительно слишком и что от этого поневоле захочется умереть.

— Во всяком случае, — сказала она, несколько оправившись от обиды, — как это ни возмутительно, как это ни жестоко, но приходится покориться.

— Тем более, что этого следовало ожидать, — оказал мистер Спарклер.

— Эдмунд, — возразила его жена, — если ты не находишь более приличного занятия, чем оскорблять женщину, которая сделала тебе честь, выйдя за тебя замуж, женщину, которой и без того тяжело, то, я полагаю, тебе лучше идти спать.

Мистер Спарклер был очень огорчен этим упреком и нежно просил прощения. Прощение было ему дано, но миссис Спарклер потребовала, чтобы он сел на другую сторону кушетки, у окна за занавеской, и утомился наконец.

— Слушай же, Эдмунд, — сказала она, дотрагиваясь до него веером, — вот что я хотела сказать тебе, когда ты по обыкновению перебил меня и начал молоть вздор: я не намерена оставаться в одиночестве, и так как обстоятельства не позволяют мне показываться в свет, то я желаю, чтобы гости навещали нас, так как решительно не вынесу другого такого дня, как этот.

По мнению мистера Спарклера, этот план был весьма разумен, без всяких этаких глупостей.

— Кроме того, — прибавил он, — твоя сестра скоро придет.

— Да, моя бесценная Эми! — воскликнула миссис Спарклер с сочувственным вздохом. — Милая крошка! Но, конечно, одной Эми еще недостаточно.

Мистер Спарклер хотел было спросить: «Да?» — но во-время догадался об опасности и сказал утвердительно:

— Да, конечно, одной Эми недостаточно!

— Нет, Эдмунд. Во-первых, достоинства этого бесценного ребенка, ее тихий, кроткий характер требуют контраста, требуют жизни и движения вокруг нее, только тогда они выступят ярко, и всякий оценит их. Во-вторых, ее нужно расшевелить.

— Именно, — сказал мистер Спарклер, — расшевелить.

— Пожалуйста, не перебивай, Эдмунд! Твоя привычка перебивать, когда самому решительно нечего сказать, может хоть кого вывести из терпения. Пора тебе отучиться от этого. Да, так мы начали об Эми... моя бедная Крошка была так привязана к папе, наверно плакала и жалела о нем ужасно. Я тоже горько плакала. Я была жестоко огорчена этой потерей. Но, без сомнения, Эми огорчалась еще сильнее, так как оставалась при нем до последней минуты, а я, бедняжка, даже не могла с ним проститься.

Фанни остановилась, заплакала и сказала:

— Милый, милый папа! Он был истинный джентльмен! Совсем не то, что бедный дядя!

— Мою бедную мышку нужно утешить и развлечь после таких испытаний, — продолжала она, — и после ухаживания за больным Эдуардом. Да и болезнь его, кажется, еще не кончилась и может затянуться бог знает на сколько времени. И как это неудобно для всех нас: невозможно привести в порядок дела отца. Хорошо еще, что все его бумаги запечатаны и заперты у его агентов, и дела в таком порядке, что можно подождать, пока Эдуард поправится, придет из Сицилии и утвердится в правах наследства или оформит завещание, или что там такое нужно сделать.

— Уж лучшей сиделки ему не найти, — осмелился заметить мистер Спарклер.

— К моему удивлению, я могу согласиться с тобой, — отвечала жена, лениво обращая на него глаза, — и принять твое выражение: лучшей сиделки ему не найти. Иногда моя милая девочка может показаться немного скучной для живого человека, но как сиделка она совершенство. Лучшая из всех Эми.

Мистер Спарклер, ободренный своим успехом, заметил, что «Эдуарда здорово скрутило, милочка».

— Если «скрутило» означает «заболел», Эдмунд, — возразила миссис Спарклер, — то ты прав. Если нет, то я не могу высказать своего мнения, так как не понимаю твоего варварского языка. Что он схватил где-то лихорадку во время переезда в Рим, куда спешил день и ночь, хотя, к несчастью, не застал в живых бедного папу, — или при других неблагоприятных обстоятельствах, — это несомненно, если только ты это разумеешь. Верно и то, что невоздержная, разгульная жизнь вредно отразилась на нем.

Мистер Спарклер заметил, что подобный же случай произошел с некоторыми из наших ребят, схвативших Желтого Джека¹ в Вест-Индии. Миссис Спарклер снова закрыла глаза, очевидно не признавая наших ребят, Вест-Индии и Желтого Джека.

— Да, нужно, чтобы Эми встряхнулась, — продолжала она, снова открывая глаза, — после стольких тяжелых и скучных недель. Нужно также, чтобы она встряхнулась и рассталась с унижительным чувством, которое, как я знаю, она до сих пор таит в глубине души. Не спрашивай меня, Эдмунд, что это за чувство, я не скажу.

— Я и не собираюсь спрашивать, душа моя, — сказал мистер Спарклер

— Так что мне придется-таки повозиться с моей кроткой девочкой, — продолжала миссис Спарклер, — и я жду не деждусь ее. Милая, ласковая крошка! Что же касается устройства дел папы, то я интересуюсь ими не из эгоизма. Папа отнесся ко мне очень щедро, когда я выходила замуж, так что я не жду ничего или очень немного. Лишь бы он не оставил завещания в пользу миссис Дженераль, больше мне ничего не нужно. Милый милый папа!

Она снова заплакала, но миссис Дженераль оказа-

¹ Желтый Джек — название желтой лихорадки.

лась отличным утешением. Мысль о ней живо заставила Фанни вытереть глаза.

— Одно обстоятельство утешает меня в болезни Эдуарда и заставляет думать, что бедняга не утратил здравого смысла и гордости, — по крайней мере до самой смерти бедного папы, — это то, что он тотчас же расплатился с миссис Дженераль и отправил ее восвояси. Я в восторге от этого. Я готова многое простить ему за то, что он так живо распорядился, и именно так, как распорядилась бы я сама!

Миссис Спарклер находилась еще в полном разгаре своей восторженной благодарности, когда раздался стук в дверь, — стук очень странный, тихий, чуть слышный, как будто стучавший боялся нашуметь или обратить на себя внимание, продолжительный, как будто стучавший задумался и в рассеянности забыл остановиться.

— Эй, — сказал мистер Спарклер, — кто там?

— Не Эми с Эдуардом: они не явились бы пешком и не уведомив нас, — заметила миссис Спарклер. — Посмотри, кто это.

В комнате было темно; на улице светлее благодаря фонарям. Голова мистера Спарклера, свесившаяся через перила балкона, выглядела такой грузной и неуклюжей, что, казалось, вот-вот перевесит его туловище и он шлепнется на посетителя.

— Какой-то субъект... один, — сказал мистер Спарклер. — Не разберу, кто... Постой-ка!

Он снова выглянул с балкона и, вернувшись в комнату, объявил, что, кажется, это «родительва покрывка». Он не ошибся, потому что минуту спустя явился его родитель с «покрывкой» в руке.

— Свечей! — приказала миссис Спарклер, извинившись за темноту.

— Для меня достаточно светло, — сказал мистер Мердль.

Когда свечи были поданы, мистер Мердль оказался в уголке, где стоял, кусая губы.

— Мне вздумалось навестить вас, — сказал он, — Я был довольно много занят в последнее время, и так как мне случилось выйти прогуляться, то вот я и решил завернуть к вам.

Видя его во фраке, Фанни спросила, где он обедал.

— Да я, собственно, нигде не обедал, — ответил мистер Мердль.

— То есть обедали же всё-таки? — спросила Фанни

— Да нет, собственно говоря, не обедал, — сказал мистер Мердль

Он провел рукой по своему бурому лбу, точно соображая, не ошибся ли он. Фанни предложила ему закусить.

— Нет, благодарю вас, — сказал мистер Мердль, — мне не хочется. Я должен был обедать в гостях с миссис Мердль, но мне не хотелось обедать, и я оставил миссис Мердль, когда мы садились в карету, и решил пройтись.

— Не желаете ли вы чаю или кофе?

— Нет, благодарю вас, — сказал мистер Мердль, — я заходил в клуб и выпил бутылку вина.

Тут он уселся на стул, который давно уже предлагал ему мистер Спарклер и который он тихонько толкал перед собой, точно человек, впервые надевший коньки и не решающийся разбежаться. Затем он поставил шляпу на соседний стул и, заглянув в нее, как будто в ней было футов двадцать глубины, сказал:

— Да, так вот мне и вздумалось навестить вас.

— Тем более лестно для нас, — сказала Фанни, — что вы не охотник до визитов.

— Н...нет, — отвечал мистер Мердль, успевший тем временем арестовать самого себя под обшлагами, — я не охотник до визитов.

— Вы слишком занятой человек для этого, — сказала Фанни. — Но при такой массе занятий потеря аппетита — серьезная вещь, мистер Мердль, и вы не должны пренебрегать этим. Смотрите, не заболейте.

— О, я совершенно здоров! — возразил мистер Мердль, подумав. — Я здоров, как всегда. Я почти вполне здоров. Я здоров, не могу пожаловаться.

Величайший ум нашего века, верный своей репутации человека с малым запасом слов для собственного употребления, снова умолк. Миссис Спарклер спросила себя, долго ли намерен просидеть у них величайший ум нашего века.

— Я вспоминала о бедном папе, когда вы пришли, сэр.

— Да? Удивительное совпадение, — сказал Мердль.

Фанни не видела тут никакого совпадения, но, чувствуя себя обязанной занимать гостя, продолжала:

— Я говорила, что вследствие болезни моего брата затянулось устройство дел папы

— Да, — сказал мистер Мердль, — да, затянулось.

— Но ведь это ничего не значит?

— Нет, — согласился мистер Мердль, осмотрев карниз комнаты, насколько это было возможно для него, — нет, это ничего не значит.

— Я об одном только хлопочу, — сказала Фанни, — чтобы миссис Дженераль ничего не получила.

— Она ничего не получит, — сказал мистер Мердль. Фанни была в восторге, что он так думает.

Мистер Мердль снова заглянул в шляпу, точно увидел что-нибудь на дне ее, и, почесав в затылке, медленно прибавил:

— О конечно, нет, нет, ничего не получит наверняка.

Так как эта тема, повидимому, истощила и мистер Мердль — тоже, то Фанни спросила, чтобы поддержать разговор, намерен ли он зайти за миссис Мердль и вместе с нею вернуться домой.

— Нет, — отвечал он, — я возвращусь кратчайшим путем, а миссис Мердль, — он внимательно осмотрел ладони, точно старался угадать собственную судьбу, — вернется одна. Она и одна справится

— Вероятно, — сказала Фанни.

Наступила продолжительная пауза, в течение которой миссис Спарклер полулежала на кушетке, попрежнему закрыв глаза и подняв брови с прежним выражением отречения от всего земного

— Однако я задерживаю вас и себя, — оказал мистер Мердль — Мне, знаете, вздумалось навестить вас.

— Я очень рада, — отозвалась Фанни.

— Ну, так я пойду, — сказал мистер Мердль. — Нет ли у вас перочинного ножа?

Странно, — заметила миссис Спарклер с улыбкой, — что ей, которая редко может заставить себя написать письмо, приходится ссужать перочинным ножом такого делового человека, как мистер Мердль.

— Да? — заметил мистер Мердль — Но мне понадобился перочинный ножик, а вы, я знаю, получили много свадебных подарков, разных мелких вещиц, ножниц, щипчиков и тому подобное. Он будет возвращен вам завтра.

— Эдмунд, — сказала миссис Спарклер, — открой (только, пожалуйста, осторожнее, ты такой неловкий) перламутровый ящичек на том маленьком столике и дай мистеру Мердлю перламутровый ножичек.

— Благодарю вас, — сказал мистер Мердль, — но нет ли у вас с темным черенком, я бы предпочел с темным черенком.

— С черепаховым?

— Благодарю вас, да, — сказал мистер Мердль, — позвольте с черепаховым.

Эдмунд получил приказание открыть черепаховый ящичек и передать мистеру Мердлю черепаховый ножичек. Когда он исполнил это приказание, его супруга шутиливо сказала величайшему уму нашего века.

— Можете даже запачкать его чернилами, я заранее вас прощаю.

— Постараюсь не запачкать, — оказал мистер Мердль.

Затем блистательный посетитель протянул свой обшлаг, в котором на мгновение исчезла рука миссис Спарклер со всеми кольцами и браслетами. Куда девалась его рука — осталось невыясненным, но во всяком случае миссис Спарклер даже не почувствовала ее прикосновения, точно прощалась с каким-нибудь заслуженным калеккой.

Чувствуя после его ухода, что длиннейший день, какие только когда-нибудь случались, пришел-таки к концу и что не бывало еще женщины, не лишенной привлекательности, которую бы так мучили олухи и идиоты, как ее, Фанни вышла на балкон подышать свежим воздухом. Слезы досады выступили на ее глазах, и вследствие этого знаменитый мистер Мердль завертелся на улице, выделявая такие прыжки, скачки и пируэты, точно в него вселилась дюжина чертей.

ГЛАВА XXV

Главный дворецкий слагает знака своего достоинства

Великий врач давал званый обед. К обеду явилась адвокатура в полном блеске. Явился Фердинанд Полип, и был милее чем когда-либо. Немногие из житейских путей были скрыты от доктора, и ему случалось бывать в таких мрачных закоулках, куда не заглядывал даже и



Мистер Мсрдль пришла за ножичком.

епископ. Многие блестящие лондонские леди, положительно влюбленные в этого очаровательного человека, были бы шокированы его присутствием, если бы узнали, на каких картинах останавливались эти задумчивые глаза час или два назад и в каких вертепах, около чьих кроватей стояла эта спокойная фигура. Но доктор был спокойный человек, который не любил ни трубить о себе в трубы, ни заставлять трубить других. Много удивительных вещей довелось ему видеть и слышать, вся жизнь его проходила среди непримиримых нравственных противоречий, но его беспристрастное сострадание было так же невозмутимо, как милосердие божественного врача всех недугов. Он являлся, как дождь небесный, одинаково к праведным и грешным и делал всё то добро, которое мог сделать, не возвещая об этом на всех перекрестках.

Человек с такими знаниями и опытом, как бы он ни был сдержан, не может не быть интересным. Даже изящнейшие джентльмены и леди, которые отдаленнейшего понятия не имели о его тайнах, и которые, если бы он сказал им: «Пойдемте, посмотрите то, что приходится видеть мне!», пришли бы в ужас от этого чудовищного предложения, — даже они признавали его интересным. Он приносил с собой правду жизни всюду, куда ни являлся. А крупица правды, подобно некоторым другим, не вполне естественным продуктам, придает вкус и цвет огромному количеству раствора безвкусицы.

Вследствие этого на небольших обедах доктора люди являлись всегда в наименее искусственном свете. Сознательно или инстинктивно, у гостей являлась мысль: «Вот человек, который знает нас такими, каковы мы есть, видит многих из нас ежедневно без париков и без румян, читает наши тайные мысли и замечает скрытое выражение наших лиц: нам незачем притворяться перед ним, потому что всё равно он раскусит нас». И вот с гостями доктора, когда они попадали за его круглый стол, совершалось удивительное превращение: они становились почти естественными.

Суждения адвокатуры о скоплении присяжных, называемом человечеством, были остры, как бритва; но бритва — не всегда удобный инструмент, и простой светлый скальпель доктора, хотя далеко не такой острый, годился для более широких целей. Адвокатура была хорошо знакома с преступностью и подлостью людей, но

доктор за одну неделю мог бы лучше ознакомить ее с их добрыми и нежными чувствами, чем Вестминстерская палата¹ и все судебные округа за полстолетия. Адвокатура всегда подозревала это и, может быть, радовалась этому (так как если бы мир действительно представлял огромную судебную палату, то можно было бы пожелать скорейшего наступления великого судебного дня), поэтому она любила и уважала доктора, как и все остальные.

За отсутствием мистера Мердля один стул оставался пустым, как стул Банко,² но так как его присутствие было бы равносильно присутствию призрака, то никто о нем не пожалел. Адвокатура, вечно подбиравшая обрывки и клочки новостей из Вестминстерской палаты, как делала бы ворона, если бы была на ее месте, собрала в последний раз несколько соломинок и рассыпала их перед гостями, стараясь выведать, куда дует ветер в отношении мистера Мердля. Она решила поговорить об этом с самой миссис Мердль и проскользнула к ней со своим лорнетом и поклоном присяжным.

— Некая птичка, — начала адвокатура, всем своим видом показывая, что эта птичка была сорокой, — прошебетала нам, юристам, что число титулованных особ в этом королевстве вскоре увеличится.

— В самом деле? — спросила миссис Мердль.

— Да, — сказала адвокатура. — Разве птичка не прошебетала об этом в другое ушко, совсем не похожее на наши, в прелестное ушко? — Она выразительно взглянула на серьгу миссис Мердль.

— Вы подразумеваете мое ухо? — спросила миссис Мердль.

— Говоря — прелестное, — отвечала адвокатура, — я всегда подразумеваю вас.

— Но никогда не думаете этого искренно, — возразила миссис Мердль (не без удовольствия, впрочем).

— О, какая жестокая несправедливость! — сказала адвокатура. — Так как же насчет птички?

¹ Вестминстерская палата — здание в Лондоне, где происходят заседания верховного суда.

² В трагедии Шекспира «Макбет» (1606—1607) во время пира у Макбета стул Банко, убитого Макбетом, оставался пустым, затем на нем появился призрак Банко, видимый одному Макбету.

— Я всегда последняя узнаю новости, — заметила миссис Мердль. — О ком вы говорите?

— Какая великолепная свидетельница вышла бы из вас! — воскликнула адвокатура. — Никакой состав присяжных (разве только если бы набрали слепых) не устоял бы против вас, хотя бы вы давали ложные показания, но вы всегда будете стоять за правду.

— Почему это, несносный человек? — спросила миссис Мердль, смеясь.

Адвокатура помахала лорнетом между собой и бюстом в виде шутливомго ответа и спросила самым вкрадчивым тоном:

— Как мне придется величать самую изящную, совершенную, очаровательную из женщин спустя несколько недель, а может быть несколько дней?

— Разве ваша птичка не сказала вам — как? — отвечала миссис Мердль. — Спросите ее об этом завтра и сообщите мне, что она скажет, в следующий раз, когда мы увидимся!

Они обменялись еще несколькими шутками в таком же роде, но, при всей своей тонкости, адвокатура должна была отъехать ни с чем. Со своей стороны, доктор, провожая миссис Мердль в переднюю и помогая ей одеться, сказал с обычной для него спокойной прямотой:

— Могу я спросить, справедливы ли слухи насчет Мердля.

— Милейший доктор, — отвечала она, — я, сама хотела предложить вам именно этот вопрос.

— Мне? Почему же мне?

— Право, мне кажется, что мистер Мердль доверяет вам более, чем кому бы то ни было.

— Напротив, он мне не сообщает решительно ничего, даже по моей специальности. Вам, разумеется, известны эти слухи?

— Разумеется, известны. Но вы знаете, что за человек мистер Мердль, как он молчалив и сдержан. Уверяю вас, мне неизвестно, на чем основываются эти слухи. Я буду очень рада, если они оправдаются, не стану отрицать, да вы бы и не поверили мне.

— Конечно, — сказал доктор,

— Но верны ли они, верны ли хоть отчасти или совершенно неверны — это я решительно не могу сказать.

Досадное положение, нелепое положение; но вы знаете мистера Мердля и не должны удивляться.

Доктор не удивился, а проводил ее до кареты и пожелал спокойной ночи. С минуту он постоял в подъезде, глядя на удаляющийся элегантный экипаж, затем вернулся к гостям. Вскоре они разошлись, и он остался один. Будучи любителем литературы (слабость, в которой он не считал нужным оправдываться), он уселся за книгу.

Часы на письменном столе показывали без нескольких минут двенадцать, когда у двери раздался звонок. Будучи очень простым и скромным человеком, доктор уже отослал прислугу спать, так что должен был сам спуститься и отворить двери. Там оказался человек без шляпы и пальто, с засученными до самых плеч рукавами. Сначала доктор подумал, что незнакомец участвовал в какой-нибудь драке, тем более, что он был очень взволнован и с трудом переводил дух. Но, взглядевшись внимательнее, он убедился, что одежда на нем в полном порядке, за исключением засученных рукавов.

— Я из заведения теплых ванн, сэр, в соседней улице.

— Что там случилось?

— Будьте добры пожаловать туда, сэр. Мы нашли это на столе.

Он протянул доктору клочок бумаги. Доктор взглянул на нее и прочел свое имя и адрес, написанные карандашом, ничего больше. Он взгляделся в почерк, взглянул на человека, взял свою шляпу с вешалки, затворил дверь на ключ и, положив ключ в карман, отправился вместе с посланным.

Когда они явились в заведение теплых ванн, все тамошние служащие собрались на крыльце и в коридорах, поджидая доктора.

— Пожалуйста, чтоб не было посторонних, — сказал он громко хозяину и прибавил, обращаясь к посланному: — а вы, мой друг, проводите меня прямо на место.

Посланный поспешил вперед по коридору мимо вереницы маленьких комнат и остановился в дверях одной из них, в самом конце коридора. Доктор последовал за ним.

В этой комнате находилась ванна, из которой только что наскоро выпустили воду. В ней лежало, точно в гробу или саркофаге, прикрытое второпях простыней и одеялом тело человека неуклюжего сложения, с квадратной

головой и грубыми, вульгарными чертами лица. Окно на потолке было открыто, чтобы выпустить пар; но часть пара сгустилась в водяные капли, струившиеся по стенам и выступавшие на лице покойника.

В комнате было еще жарко, мрамор ванны еще не остыл; но лицо и туловище умершего уже похолодели. Белое мраморное дно ванны было испещрено зловещими красными струйками. На закраине ванны валялись пустой пузырек от лауданума¹ и перочинный нож с черепаховым черенком, запачканный — только не чернилами.

— Разрез яремной вены, быстрая смерть, умер по крайней мере полчаса тому назад.

Эти слова доктора быстро облетели все коридоры и номера, прежде чем он успел окончить осмотр тела и вымыть руки, от которых побежали в воде такие же красные струйки, как на мраморном полу ванны.

Он взглянул на одежду, лежавшую на диване, на карманные часы, бумажник и записную книжку на столе. Ему бросился в глаза сложенный листок бумаги, торчавший из записной книжки. Он посмотрел на него, вытянул немного дальше из книжки, сказал спокойно: «Это адресовано мне», — развернул и прочел.

Ему не пришлось отдавать распоряжения насчет тела. Служащие при ваннах знали, что нужно делать; вскоре явилась полиция, завладела покойником и тем, что было прежде его собственностью, и проделала всё, что требуется, так же спокойно, как часовщик заводит часы. Доктор был рад выйти на свежий ночной воздух, — и даже, несмотря на привычку к печальным житейским сценам, посидеть на крыльце; он был расстроен и взволнован.

Адвокатура жила недалеко от него, и, подойдя к ее дому, он увидел свет в комнате, где его друг засиживался до позднего часа за работой. Так как в отсутствие адвокатуры комната всегда была темна, то доктор решил, что адвокатура дома и еще не улеглась спать. В самом деле, этой трудолюбивой пчеле предстояло завтра добиться оправдательного приговора вопреки очевидным уликам, и сейчас она плела сети для господ присяжных.

Стук доктора удивил адвокатуру, но так как ей тотчас пришло в голову, что кто-нибудь пришел к ней за-

¹ Лауданум (или опий) — снотворное средство.

явить о том, что его собираются ограбить или вообще опутать каким-нибудь способом, то она спустилась и отворила дверь, не теряя времени. Перед этим она облила себе голову холодной водой, рассчитывая, что это поможет ей завтра ошпарить присяжных, и расстегнула воротничок рубашки, чтобы свободнее было душить свидетелей противной стороны, так что явилась перед доктором в довольно растерзанном виде. Увидев доктора, которого отнюдь не ожидала, она изумилась и спросила:

— Что случилось?

— Помните, вы спрашивали меня, что за болезнь у Мердля?

— Станный вопрос. Да, помню.

— Я сказал вам, что не могу определить ее.

— Да, сказали.

— Теперь я знаю, что это за болезнь.

— Бог мой! — воскликнула адвокатура, отшатнувшись и хлопнув доктора по плечу. — И я знаю. Вижу по вашему лицу.

Они вошли в комнату, и доктор вручил адвокатуру записку. Адвокатура прочла ее раз пять подряд. Записка была коротенькая, но, очевидно, требовала серьезного и напряженного внимания. Адвокатура не находила слов, чтобы выразить свое сожаление по поводу того, что ей не удалось найти ключа к этой загадке. Самый маленький ключик, говорила она, помог бы ей овладеть этим делом, а какое дело-то, если бы за него взяться хорошенько!

Доктор взялся сообщить эту новость в Харлей-стрит. Адвокатура не могла сразу вернуться к умасливанию самых просвещенных и замечательных присяжных, каких ей когда-либо случалось видеть на этой скамье, присяжных, с которыми, она смеет уверить своего ученого друга, бесполезно прибегать к пошлой софистике и на которых не подействует злоупотребление профессиональным искусством и ловкостью (этой фразой она собиралась начать свою речь), и потому вызвалась идти с доктором, сказав, что подождет его на улице, пока он будет в доме. Они отправились туда пешком, чтобы успокоиться на свежем воздухе, и крылья рассвета уже разгоняли ночную тьму, когда доктор постучал у подъезда.

Лакей всех цветов радуги поджидал своего барина, то есть спал перед двумя свечами и газетой, опровергая

тем самым данные теории вероятности о пожарах, происшедших вследствие неосторожности. Когда он проснулся, доктору пришлось еще дожидаться главного дворецкого. Наконец эта благородная личность явилась в столовую во фланелевом халате и туфлях, но в галстуге и со всей важностью главного дворецкого. Было уже утро. Доктор отворил ставни одного из окон, чтобы осветить комнату.

— Позовите горничную миссис Мердль и велите ей разбудить миссис Мердль и сообщить ей как можно осторожнее, что я хочу ее видеть. Я принес ей ужасную новость.

Так сказал доктор главному дворецкому. Последний, явившийся со свечкой в руке, велел лакею унести ее. Затем он с достоинством подошел к окну, глядя на доктора с его новостями совершенно так, как глядел на обеды, происходившие в этой комнате.

— Мистер Мердль умер.

— Я желаю получить расчет через месяц, — сказал главный дворецкий.

— Мистер Мердль покончил с собой.

— Сэр, — сказал главный дворецкий, — это очень неприятно для человека в моем положении, так как может повредить моей репутации. Я желаю получить расчет немедленно.

— Неужели вас не только не трогает, но и не удивляет эта новость? — сказал доктор.

Главный дворецкий, невозмутимый и холодный, как всегда, ответил на это следующими достопамятными словами:

— Сэр, мистер Мердль никогда не был джентльменом, и никакой неджентльменский поступок со стороны мистера Мердля не может меня удивить. Прикажете послать вам кого-нибудь или отдать какие-нибудь распоряжения, прежде чем я оставлю этот дом?

Вернувшись к адвокату, доктор сообщил ей в двух словах, что не рассказал всего миссис Мердль, а к тому, что рассказал, она отнеслась довольно спокойно. В ожидании доктора адвокатура измыслила остроумнейшую ловушку для присяжных. Покончив с этим делом, она могла заняться недавней катастрофой, и оба тихонько пошли домой, обсуждая ее с разных точек зрения. Прощаясь у докторского подъезда, они взглянули на ясное

небо, к которому мирно поднимались струйки дыма из немногих затопленных печей и голоса немногих рано поднявшихся горожан, затем оглянулись на громадный город и подумали: «Если бы все эти сотни и тысячи спящих людей могли узнать в настоящую минуту о постигшем их разорении, какой ужасный хор проклятий негодяю поднялся бы к небесам!».

Слух о смерти великого человека распространился с изумительной быстротой. Сначала оказалось, что он скончался от всех известных доселе болезней и нескольких новых, изобретенных специально для данного случая. У него с детства была водянка, он унаследовал расположение к ней от деда, ему каждое утро в течение восемнадцати лет делали операцию, у него то и дело происходили разрывы важных сосудов, лопавшихся, как ракеты, его легкие были не в порядке, его сердце было не в порядке, его мозг был не в порядке. Пятьсот человек, которые сели за завтрак, ничего не зная об этом деле, к концу завтрака были уверены, будто сам доктор сообщил им лично в конфиденциальной беседе, как он сказал мистеру Мердлю: «Смотрите, в один прекрасный день вы погаснете разом, как свечка», — а мистер Мердль отвечал. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать!». Часам к одиннадцати гипотеза о какой-то болезни мозга одержала верх над остальными, а в полдень «какая-то болезнь» превратилась в «несомненный паралич».

Паралич мозга до того пришелся по вкусу публике, что, по всей вероятности, продержался бы весь день, если бы адвокатура не рассказала в половине десятого в суде о том, как было дело. Вследствие этого начала передаваться из уст в уста весть о самоубийстве мистера Мердля и к часу пополудни облетела весь город. Теория паралича, однако, не потеряла кредита, — напротив, утвердилась прочнее, чем когда-либо. На всех перекрестках морализировали по поводу паралича. Люди, пытавшиеся нажить деньги, но не сумевшие сделать этого, говорили: «Вот оно как! Вот что значит отдаться наживе, сейчас же схватишь паралич мозга!». Лентяи оборачивали этот случай в свою пользу: «Видите, — говорили они, — вот что значит работать, работать, работать! Заработаешься, переутомишься, хвать — паралич мозга, и был таков!». Эти соображения высказывались в самых разнообразных кругах, но главным образом среди млад-

ших клерков и пайщиков, никогда не подвергавшихся именно этого рода опасности. Они все до единого заявляли, что до конца дней своих не забудут этого предостережения и будут вести свои дела так, чтобы избежать паралича мозга и прожить долгие годы на утешение друзьям.

Но ко времени открытия биржи паралич куда-то ступшевался и зловещие слухи распространились по всем румбам компаса. Сначала они передавались вполголоса и не шли дальше сомнений, точно ли богатство мистера Мердля так велико, как говорили, не представится ли временного затруднения «реализовать» его, не приостановятся ли даже на короткое время (например, на месяц или около того) платежи удивительного банка? Чем громче раздавались слухи, — а они становились громче с минуты на минуту, — тем более грозный характер они принимали. Откуда взялся мистер Мердль, каким путем он поднялся из ничего на такую высоту — этого никто не мог объяснить. Вспомнили, что он был в сущности грубый невежда, что он никогда никому не взглянул прямо в глаза, что доверие, которым он пользовался со стороны такой массы людей, было совершенно непостижимо, что у него никогда не было собственного капитала, что предприятия его были страшно рискованны, а расходы колоссальны. Мало-помалу к концу дня слухи приняли определенный характер. Он оставил письмо доктору, доктор получил его, завтра оно будет передано следователю, и громовой удар разразится над множеством людей, им обманутых. Масса людей всевозможных профессий и занятий разорена дотла его банкротством; старики, прожившие весь свой век в довольстве, будут каяться в своем легковерии в работном доме; легионы женщин и детей осуждены на жалкую будущность по милости этого чудовищного негодяя. Каждый, кто пировал за его пышным столом, окажется его соучастником в разорении бесчисленных семейств; каждый раболепный поклонник золотого тельца, помогавший возвести его на пьедестал, должен будет сознаться, что лучше бы ему было служить дьяволу. И слухи, раздаваясь всё громче и громче, подкрепляемые все новыми и новыми данными, подтвержденные в вечерних газетах, превратились к ночи в такой страшный рев, что, казалось, наблюдатель, взобравшийся на колокольню св. Павла, мог бы видеть оттуда,

как воздух содрогается от имени Мердля и сопровождающих его проклятий.

К этому времени узнали, что болезнь покойного мистера Мердля была попросту плутовство и мошенничество. Он, предмет всеобщего и необъяснимого поклонения, почетный гость на пирах великих мира сего, феникс, украшавший собой вечера великосветских дам, победитель сословных предрассудков, укротитель аристократической гордости, патрон из патронов, торговавшийся из-за титула с главой министерства околичностей, получивший за десять-пятнадцать лет больше отличий, чем их досталось за два столетия скромным благодетелям общества — столпам науки и искусства, за которых свидетельствовали их произведения, он, восьмое чудо света, новая звезда, за которой шли с дарами новые волхвы, пока она не остановилась над трупом в мраморной ванне и не погасла, он был попросту величайший плут и величайший мошенник, какой когда-либо ускользал от виселицы.

ГЛАВА XXVI

Следы урагана

Возвещая о себе шумным дыханием и громким топотом ног, мистер Панкс ворвался в контору Артура Кленэма. Следствие было закончено, письмо опубликовано, банк лопнул, другие соломенные сооружения вспыхнули и превратились в дым. Прославленный пиратский корабль взлетел на воздух среди целого флота кораблей и шлюпок всех рангов и размеров, и на море ничего не было видно, кроме пылающих обломков корпуса, пороховых погребов, взлетающих на воздух, пушек, стреляющих без людей и разрывающих на клочки своих и чужих, утопающих пловцов, выбивающихся из сил, трупов и акул.

Обычного порядка в мастерской и в помине не было. Нераспечатанные письма, нерассортированные бумаги валялись горами на столе. Среди этих явных признаков подорванной энергии и утраченных надежд хозяин конторы сидел на своем обычном месте, скрестив руки на столе и опустив на них голову.

Мистер Панкс ворвался в контору, взглянул на Кленэма и остановился. Спустя минуту руки мистера Панкса

тоже лежали на столе, голова мистера Панкса также лежала на руках, и так они просидели несколько минут, молча и не двигаясь, разделенные пространством маленькой комнаты.

Мистер Панкс первый поднял голову и заговорил:

— Это я уговорил вас, мистер Кленнэм, я. Говорите, что хотите. Вы не можете ругать меня сильнее, чем я сам себя ругаю, не можете выругать сильнее, чем я того заслуживаю.

— О Панкс, Панкс, — возразил Кленнэм, — что вы говорите! А я чего заслуживаю?

— Лучшей участи, — сказал Панкс.

— Я, — продолжал Кленнэм, не обращая внимания на его слова, — я, который разорил своего компаньона! Панкс, Панкс, я разорил Дойса, честного, работающего, неутомимого старика, который всю жизнь пробивал себе дорогу своим трудом, человека, который испытал столько разочарований и сохранил живой и бодрый дух, человека, которому я так сочувствовал, которому надеялся быть верным и полезным помощником, — и разорил его, навлек на него стыд и позор, разорил, разорил его!

Душевная мука, изливавшаяся в этих словах, была так ужасна, что Панкс схватился за волосы и рвал их в совершенном отчаянии.

— Ругайте меня! — восклицал он. — Ругайте меня, сэр, или я что-нибудь сделаю над собой. Говорите: дурак, мерзавец! Говорите: осел, как тебя угораздило пойти на такое дело, животное, что ты затеял? Задайте мне перцу! Скажите мне что-нибудь оскорбительное!

В течение всего этого времени мистер Панкс беспощадно терзал свои жесткие волосы.

— Если бы вы не поддались этой роковой мании, Панкс, — сказал Кленнэм скорее с состраданием, чем с упреком, — было бы гораздо лучше для вас и для меня.

— Еще, сэр! — крикнул Панкс, скрипя зубами в припадке раскаяния. — Задайте мне еще!

— Если бы вы никогда не брались за эти проклятые вычисления и не выводили итогов с такой адской точностью, — простонал Кленнэм, — было бы гораздо лучше для вас, Панкс, и гораздо лучше для меня.

— Еще, сэр, — восклицал Панкс, слегка отпустив свои волосы, — еще, еще!

Кленнэм, однако, высказал все, что хотел сказать, и, увидев, что Панкс немного успокоился, стиснул ему руку и прибавил:

— Слепые ведут слепых, Панкс! Слепые ведут слепых! Но Дойс, Дойс, Дойс, мой разоренный компаньон!

Он снова упал головой на стол. Несколько времени длилось молчание, и Панкс опять первый нарушил его:

— Не ложился в постель, сэр, с тех пор как это началось. Где только не был, надеялся, нельзя ли спасти хоть крохи. Всё напрасно. Всё погибло. Всё пошло прахом!

— Знаю, — сказал Кленнэм, — слишком хорошо знаю. Мистер Панкс отвечал на это стоном, исходившим, казалось, из самых недр его души.

— Не далее как вчера, Панкс, — сказал Артур, — не далее как вчера, в понедельник, я окончательно решил продать, реализовать акции.

— Не могу сказать этого о себе, сэр, — отвечал Панкс. — Но удивительно, какая масса людей продала бы акции, по их словам, именно вчера из всех трехсот шестидесяти пяти дней в году, если бы не было поздно.

Его фырканье, обыкновенно казавшееся таким смешным, звучало теперь трагичнее всякого стога, и весь он с головы до ног был такой несчастный, растерзанный, растрепанный, что мог бы сойти за подлинный, но сильно запачканный эмблематический портрет самого горя.

— Мистер Кленнэм, вы поместили .. всё состояние? Он запнулся перед двумя последними словами и выговорил их с большим трудом.

— Всё.

Мистер Панкс снова вцепился себе в волосы и дернул их с таким ожесточением, что вырвал несколько ключев. Посмотрев на них с выражением безумной ненависти, он спрятал их в карман.

— Мой путь ясен, — сказал Кленнэм, утерев несколько слезинок, медленно катившихся по его лицу. — Я должен исправить свои грехи насколько могу. Я должен восстановить репутацию моего несчастного компаньона. Я не должен оставлять для себя ничего. Я должен уступить нашим кредиторам хозяйские права, которыми злоупотребил, и посвятить остаток дней моих исправлению моей ошибки — или моего преступления, — насколько это исправление возможно,

— Нельзя ли как-нибудь обернуться, сэръ?

— И думать нечего. Никак не обернешься, Панкс. Чем скорее я передам дело в другие руки, тем лучше. На этой неделе предстоят платежи, которые всё равно приведут к катастрофе через несколько дней, если бы даже мне удалось отсрочить их, сохранив в тайне то, что мне известно. Я всю ночь думал об этом; остается только ликвидировать дело.

— Но вы одни не справитесь, — сказал Панкс, лицо которого покрылось потом, как будто все пары, которые он выпускал, тотчас же сгущались в капли. — Возьмите в помощники какого-нибудь юриста.

— Пожалуй, это будет лучше.

— Возьмите Рогга.

— Дело это не особенно сложное. Он исполнит его не хуже всякого другого.

— Так я притащу к вам Рогга, мистер Кленнэм.

— Если вас не затруднит. Я буду вам очень обязан.

Мистер Панкс немедленно нахлобучил шляпу и запыхтел в Пентонвиль. Пока он ходил за Роггом, Артур ни разу не поднимал головы от стола и всё время оставался в той же позе. Мистер Панкс привел с собой своего друга и советника по юридическим вопросам, мистера Рогга. По пути мистер Рогг имел немало случаев убедиться, что мистер Панкс пребывает в растрепанных чувствах, и потому решительно отказался приступить к деловому совещанию, пока этот последний не уберется вон. Мистер Панкс, совершенно убитый и покорный, повинился.

— В таком же приблизительно состоянии была моя дочь, когда мы предъявили иск по делу Рогг и Баукинса о нарушении обещания жениться, в котором она была истицей, — заметил мистер Рогг. — Он слишком сильно и непосредственно заинтересован в этом деле. Он не в силах совладать со своими чувствами. В нашей профессии нельзя иметь дело с человеком, который не в силах совладать со своими чувствами. — Снимая перчатки и укладывая их в шляпу, он раза два взглянул искоса на Кленнэма и заметил сильную перемену в его наружности. — С сожалением замечаю, сэръ, — сказал он, — что вы тоже поддаетесь своим чувствам. Пожалуйста, пожалуйста, не делайте этого. Несчастье, может быть, велико, но следует смотреть ему прямо в лицо.

— Если бы я потерял только свои собственные деньги, мистер Рогг, — отвечал Кленнэм, — я был бы гораздо спокойнее.

— В самом деле, сэр? — сказал мистер Рогг, с веселым видом потирая руки. — Вы удивляете меня. Это странно, сэр. Вообще говоря, опыт показал мне, что люди особенно дорожат своими собственными деньгами. Я встречал людей, которые ухлопывали солидные суммы чужих денег — и переносили это несчастье очень мужественно, очень мужественно.

С этим утешительным замечанием мистер Рогг уселся на стул около стола и приступил к делу.

— Теперь, мистер Кленнэм, с вашего позволения займемся делом. Посмотрим, как оно обстоит. Вопрос тут очень простой. Обыкновенный, прямой, подсказанный здравым смыслом вопрос. Что мы можем сделать для себя? Что мы можем сделать для себя?

— Этот вопрос не имеет смысла для меня, мистер Рогг, — сказал Артур. — Вы с самого начала впадаете в недоразумение. Мой вопрос, что могу я сделать для моего компаньона, насколько могу я исправить нанесенный ему ущерб?

— Знаете, сэр, — возразил мистер Рогг убедительным тоном, — я боюсь, что вы до сих пор даете слишком много воли своим чувствам. Мне не нравится слово «исправить». Простите меня, но я еще раз позволю себе предостеречь вас: не давайте воли своим чувствам.

— Мистер Рогг, — сказал Кленнэм, не желая отступить от своего решения, к удивлению мистера Рогга, который не ожидал такого упорства от человека, находящегося в отчаянном положении, — насколько я могу понять, вы не одобряете принятого мной решения. Если это обстоятельство отбивает у вас охоту взяться за мое дело, очень жаль; но я буду искать другого помощника. Во всяком случае, я должен предупредить вас, что спорить со мной об этом совершенно бесполезно.

— Очень хорошо, сэр, — отвечал мистер Рогг, пожимая плечами. — Очень хорошо, сэр. Раз дело должно быть сделано кем-нибудь, то пусть оно будет сделано мной. Вот принцип, которого я держался в деле Рогг и Баукинса. Того же принципа держусь я и в других делах.

После этого Кленнэм объяснил мистеру Роггу свой

взгляд на это дело. Он сказал мистеру Роггу, что его компаньон — человек прямодушный и чистосердечный и что во всех своих действиях он, Кленнэм, руководился уважением к характеру и чувствам своего компаньона. Он сообщил, что его компаньон находится за границей по одному важному делу и что это обстоятельство тем более побуждает его, Кленнэма, принять на себя всю ответственность за необдуманый поступок и публично освободить своего компаньона от всякой ответственности, так как малейшее подозрение, набрасывающее тень на его честность и порядочность, может помешать успешному окончанию этого предприятия. Он заявил мистеру Роггу, что единственное удовлетворение, которое он может дать, — это снять со своего компаньона всякую моральную ответственность и объявить публично и без оговорок, что он, Артур Кленнэм, по собственной воле и вопреки предостережению своего компаньона, поместил оборотный капитал фирмы в дутые предприятия, которые недавно лопнули; что его компаньон, более чем кто-либо, оценит это удовлетворение; и что с этого удовлетворения и нужно начать. С этой целью он намерен напечатать объявление, уже составленное им, и не только распространить его среди тех, кто имел дела с фирмой, но и опубликовать в газетах. Одновременно с этой мерой (слушая о ней, мистер Рогг только ежился и гримасничал, переминаясь, точно у него зудели ноги) он напишет ко всем кредиторам фирмы письма, в которых торжественно снимет ответственность со своего компаньона; сообщит, что дела фирмы приостанавливаются, пока он не уяснит себе, какого удовлетворения требуют кредиторы, и не спишется со своим компаньоном; и в заключение смиренно предоставит себя в их, кредиторов, распоряжение. Если, убедившись в невинности его компаньона, кредиторы согласятся на сделку, которая даст возможность фирме продолжать свои операции, то он уступает свой пай компаньону, в виде вознаграждения за причиненные ему затруднения и убытки, а сам будет просить позволения остаться при мастерской в качестве клерка на самом маленьком жалованье.

Мистер Рогг понимал, что всякие увещевания бесполезны; но судороги в лице и зуд в ногах требовали облегчения, и он не мог удержаться от замечания.

— Я не возражаю, сэр, — сказал он, — я не спорю

с вами. Я буду сообразоваться с вашими желаниями, сэр; но сделаю одно маленькое замечание.

Затем мистер Рогг изложил, не без многословия, существенные пункты своего замечания. Они заключались в следующем: весь город, даже можно сказать — вся страна, находится под первым впечатлением катастрофы, и озлобление против ее жертв будет очень сильно: те, кто не дался в обман, без сомнения, будут страшно негодовать на них за то, что они оказались такими недогадливыми; те же, кто дался в обман, без сомнения, найдут для себя извинения и оправдания, — но только для себя, а не для других пострадавших; не говоря уже о том, что каждый отдельно пострадавший сумеет убедить себя, к своему великому негодованию, что он только следовал примеру других, и, стало быть, виноваты эти другие. Поэтому заявление Кленнэма, сделанное в такое время, без сомнения, навлечет на него целую бурю негодования и тем самым уничтожит возможность уступок со стороны кредиторов или соглашения между ними. Оно сделает его единственной мишенью ожесточенного перекрестного огня, который, конечно, погубит его.

На все эти соображения Кленнэм отвечал, что, даже признавая их справедливость, он не может и не хочет отказаться от своего решения публично оправдать своего компаньона. Ввиду этого он просил мистера Рогга приняться за дело не откладывая. Мистер Рогг принял за дело, и Кленнэм, оставив для себя только книги, платье и небольшую сумму денег на расходы, отдал в распоряжение фирмы свой маленький личный капитал, хранившийся у банкира.

Объявление было сделано, и буря разразилась. Тысячи людей искали жертвы, на которую можно было бы наброситься, а эта публикация давала искомую жертву. Если уж посторонние люди были безжалостны в своем негодовании, то от потерпевших убытки вследствие крушения фирмы — нечего было ждать снисходительности. Негодующие письма, наполненные упреками, посыпались от кредиторов, и мистер Рогг, который ежедневно заседал за столом и читал эти письма, спустя неделю заметил Кленнэму, что опасается предписания об аресте.

— Я должен принять все последствия своих поступков, — сказал Кленнэм. — Предписание найдет меня здесь.

На другое утро, когда он явился в подворье Разбитых сердец, миссис Плорниш, стоявшая у дверей «Счастливого коттеджа», с таинственным видом попросила его зайти к ним. Он исполнил ее просьбу и нашел в «Счастливом коттедже» мистера Рогга.

— Я поджидал вас. Если б я был на вашем месте, сэр, я не пошел бы в контору сегодня утром.

— Почему же, мистер Рогг?

— Их целых пять штук, насколько мне известно.

— Чем скорее, тем лучше, — сказал Кленнэм — Пусть забирают меня сейчас.

— Да, — возразил мистер Рогг, загораживая ему дорогу к двери, — но послушайте, послушайте! Они заберут вас, мистер Кленнэм, не сомневайтесь, но послушайте. В подобных случаях почти всегда лезут вперед и поднимают шум самые ничтожные кредиторы. Так и тут дело идет о ничтожном долге, простое предписание королевского суда, и я имею основание думать, что вас заберут именно из-за него. Я бы не желал, чтоб меня забрали по такому предписанию.

— Почему же нет? — спросил Кленнэм.

— Я бы предпочел, чтоб меня забрали по серьезному иску, сэр, — сказал мистер Рогг. — Надо соблюдать приличия. Как ваш поверенный, я бы предпочел, чтоб вас забрали по предписанию какой-нибудь высшей судебной инстанции, если вы ничего не имеете против этого. Это гораздо эффектнее!

— Мистер Рогг, — сказал Кленнэм унылым тоном, — я желаю одного: чтобы это поскорей кончилось. Я пойду, и пусть будет что будет.

— Послушайте, сэр, — воскликнул мистер Рогг, — я приведу основательную причину! Всё другое — дело вкуса, но это основательная причина. Если вас заберут из-за пустяка, сэр, вы попадете в Маршалъси. А вы знаете, что такое Маршалъси: теснота, духота, тогда как Королевская тюрьма...

Мистер Рогг взмахнул правой рукой, обозначая этим жестом избыток простора.

— Я бы предпочел Маршалъси всякой другой тюрьме, — сказал Кленнэм.

— В самом деле, сэр? — возразил мистер Рогг. — Ну, значит, это тоже дело вкуса, и мы можем отправиться.

Он немножко обиделся, но вскоре успокоился. Они

прошли на другой конец подворья Разбитые сердца особенно заинтересовались Артуром со времени его разорения, так как считали его теперь своим человеком. Многие глядели на него из своих дверей и с чувством говорили друг другу, что он «совсем испекся». Миссис Плорниш и ее отец следили за ним со своего крыльца, сокрушенно покачивая головами.

Подходя к конторе, они не заметили никого из посторонних. Но когда они вошли, какой-то пожилой представитель закона, напоминавший заспиртованный препарат, проскользнул вслед за ними и заглянул в стеклянную дверь конторы, прежде чем мистер Рогг успел распечатать письмо.

— О! — сказал мистер Рогг, оглянувшись. — Как поживаете? Войдите! Мистер Кленнэм, это, кажется, тот самый джентльмен, о котором я упоминал.

Джентльмен объяснил, что цель его посещения — «сущие пустяки», и затем предъявил предписание.

— Отправиться мне с вами, мистер Кленнэм? — вежливо спросил мистер Рогг, потирая руки.

— Благодарю вас, я лучше пойду один. Будьте добры, пришлите мне мое платье.

Мистер Рогг веселым тоном обещал исполнить его просьбу и пожал ему руку на прощанье. Кленнэм и его провожатый спустились с лестницы, сели в первую попавшуюся карету и вскоре подъехали к старым воротам.

«Вот уж не думал, прости меня бог, что когда-нибудь попаду сюда таким образом», — подумал Кленнэм.

Мистер Чивери был дежурным, и юный Джон находился в сторожке, только что освободившись от дежурства или, наоборот, поджидая своей очереди. Оба так изумились, увидев, кто был новый арестант, как нельзя было ожидать и от тюремщиков. Мистер Чивери старший со сконфуженным видом пожал Кленнэму руку и сказал

— Не помню, сэр, чтобы я когда-нибудь был так мало рад вас видеть.

Мистер Чивери младший, более сдержанный, вовсе не пожал ему руки; он стоял и смотрел на него с таким странным нерешительным выражением, что даже Кленнэм не мог не заметить этого, хотя ему было совсем не до того. Спустя мгновение юный Джон скрылся в тюрьме.

Зная, что придется подождать несколько времени в сторожке, Кленнэм уселся в углу, достал из кармана

письма и сделал вид, что читает их. Это не помешало ему заметить с благодарностью, как мистер Чивери вы- проводил из сторожки арестантов, как он сделал кому-то знак ключом, чтобы тот не входил, как выталкивал лок- тем других и вообще старался всячески облегчить поло- жение Кленнэма.

Артур сидел, потупив глаза в землю, вспоминая о прошлом, раздумывая о настоящем, не останавливаясь ни на том, ни на другом, когда чья-то рука дотронулась до его плеча. Это был юный Джон.

— Теперь мы можем идти, — сказал он.

Когда они вошли за внутреннюю железную решетку, юный Джон повернулся к нему и сказал:

— Вам нужна комната. Я приготовил для вас.

— Сердечно вам благодарен.

Юный Джон снова повернулся и повел его знакомым путем по знакомой лестнице в знакомую комнату. Артур протянул ему руку. Юный Джон взглянул на нее, взгля- нул на него сердито, надулся, кашлянул и сказал:

— Не знаю, могу ли я. Нет, не могу. Но я думал, что вам приятно будет поместиться в этой комнате, и приго- товил ее для вас.

Кленнэм удивился этому странному поведению, но, когда юный Джон ушел (он ушел немедленно), удивле- ние уступило место другим чувствам, которые эта пустая комната возбудила в его измученной душе, — воспоми- наниям о милом, кротком существе, когда-то освящав- шем ее своим присутствием. Ему так горько было ее отсутствие в эту тяжкую минуту, так недоставало ее ласкового любящего лица, что он отвернулся к стене и зарыдал, воскликнув: «О моя Крошка Доррит!».

ГЛАВА XXVII

Питомец Маршалъси

День выдался ясный, и Маршалъси совсем затихла под знойными лучами солнца. Артур Кленнэм опустился в кресло, такое же полинялое, как сами должники, и задумался.

Находясь в состоянии неестественного душевного спо- койствия, которое следует обыкновенно за первыми ужас- ными минутами ареста, — первая перемена настроения,

вызываемая тюрьмой, опасное спокойствие, от которого так много людей незаметно доходило до последней степени унижения, — Кленнэм вспомнил о некоторых эпизодах из своей прежней жизни как о событиях жизни какого-то постороннего, чуждого ему существа. Конечно, если иметь в виду место, где он находился, чувство, которое впервые привело его сюда, когда он был на воле, воспоминание о кротком существе, неразлучное с этими стенами и решетками и со всеми впечатлениями последнего периода его жизни, которых никакие стены или решетки не могли удержать, — понятно, что его мысли постоянно возвращались к Крошке Доррит. Но он сам удивлялся не тому, что вспоминает о ней, а тому, что эти воспоминания показывали ему, какое благотворное влияние она имела на его лучшие поступки.

Никто из нас обыкновенно не дает себе отчета, кому или чему он обязан такими влияниями, пока внезапная остановка быстро летящего вперед колеса жизни не заставит нас одуматься и оглянуться на свою прошлую жизнь. Это бывает в болезни, в горе, в случае утраты любимого существа, — вообще это почти всегдашний результат несчастья. То же случилось и с Кленнэмом в его несчастье и пробудило в нем глубокое и нежное чувство.

«Когда я впервые отнесся сознательно к своему существованию, — подумал он, — и наметил себе какое-то подобие цели, — кого я видел перед собой в неустанной работе ради чужого блага, без поддержки, в неизвестности, в борьбе с низменными препятствиями, которые обратили бы в бегство целую армию признанных героев и героинь? Слабую девушку! Когда я пытался преодолеть мою несчастную любовь и быть великодушным к человеку, который оказался счастливее меня, хотя он ничего не знал об этом великодушии и ни единым словом не выразил своей благодарности, — кто служил мне примером терпения, самоотверженности, смирения, милосердия, благороднейшей и великодушнейшей привязанности? Всё та же бедная девушка! Если бы я, мужчина, со всеми преимуществами, возможностями, энергией мужчины, заглушил голос, шептавший в моем сердце, что на мне лежит обязанность исправить несправедливость, допущенную моим отцом, — чья детская фигурка с почти босыми ногами, с худенькими, вечно занятыми работой руками, в бедной одежде, едва защищавшей ее

слабое тело от непогоды, встала бы передо мной живым упреком? Крошка Доррит!»

Так думал он, сидя в полинялом кресле. Вечно она, Крошка Доррит! Наконец ему стало казаться, что он терпит заслуженное наказание за то, что мало думал о ней последнее время и допустил, чтобы что-то постороннее встало между ним и светлым воспоминанием о ней.

Дверь приотворилась, и голова мистера Чивери просунулась в комнату.

— Мое дежурство кончилось, мистер Кленнэм, и я сейчас ухожу. Не нужно ли вам чего-нибудь?

— Благодарю вас. Ничего.

— Вы извините, что я отворил дверь, — сказал мистер Чивери, — но я не мог достучаться.

— Разве вы стучали?

— Несколько раз.

Тут только Кленнэм заметил, что тюрьма очнулась от своего полуденного забытья, что ее обитатели бродили по двору и что было уже далеко за полдень. Он просидел в задумчивости несколько часов.

— Ваши вещи присланы, — сказал мистер Чивери, — мой сын принесет их сюда. Я бы прислал их вам, но он хотел сам принести. Право, он хотел принести сам, потому я и не мог прислать. Мистер Кленнэм, могу я сказать словечко?

— Пожалуйста, войдите, — сказал Кленнэм, так как большая часть мистера Чивери до сих пор оставалась за дверью, и только ухо его смотрело на Кленнэма вместо глаз. У мистера Чивери была прирожденная деликатность — истинная вежливость, — хотя по внешности он был настоящий тюремщик, а вовсе не джентльмен.

— Благодарю вас, сэр, — сказал мистер Чивери, оставаясь на месте, — мне нет надобности входить. Мистер Кленнэм, будьте добры, не обращайтесь внимания на моего сына, если вам покажется, что он малость рехнулся. У моего сына есть сердце, и его сердце на своем месте. Я и его мать знаем, что оно на самом настоящем месте, — где ему надо быть.

Окончив эту загадочную речь, мистер Чивери убрал свое ухо и затворил дверь. Минут десять спустя явился его сын.

— Вот ваш портплед, — сказал юный Джон, осторожно опуская названную вещь на пол.

— Бы очень любезны. Мне, право, совестно, что вы так беспокоитесь.

Он ушел, не дослушав; но тотчас вернулся и сказал совершенно так же, как прежде: «Вот ваш чемодан», — и также поставил на пол.

— Я очень тронут вашим вниманием. Надеюсь, мы можем теперь пожать друг другу руки, мистер Джон.

Но юный Джон отступил немного назад и, охватив запястье правой руки большим и средним пальцами левой в виде футляра, сказал прежним тоном:

— Не знаю, могу ли я. Нет, не могу.

Затем он сурово взглянул на узника, хотя в глазах его проглядывала скорее жалость.

— За что вы сердитесь на меня, — сказал Кленнэм, — и в то же время оказываете мне всяческие услуги? Очевидно, между нами какое-то недоразумение. Мне очень жаль, если я нечаянно оскорбил вас чем-нибудь.

— Никакого недоразумения, сэр, — возразил Джон, вертя правую руку в футляре, очевидно слишком тесном для нее. — Никакого недоразумения, сэр, в чувствах, с которыми я смотрю на вас! Если бы я мог с вами справиться, мистер Кленнэм (но я не могу), и если бы вы не были в тяжелом положении (но вы в тяжелом положении), и если бы это не было против правил Маршальси (но это против правил), то эти чувства заставили бы меня скорей схватиться с вами врукопашную тут же, не сходя с места, чем взяться за что-нибудь другое.

Артур посмотрел на него с удивлением и не без досады. «Недоразумение, очевидно недоразумение!» Он отвернулся и с тяжелым вздохом снова опустился в полинялое кресло.

Юный Джон следил за ним глазами и после непродолжительной паузы воскликнул:

— Простите меня!

— Охотно, — сказал Кленнэм, махнув рукою и не поднимая головы. — Не извиняйтесь, я не стою этого!

— Эта мебель, сэр, — сказал юный Джон кротким и мягким тоном, — принадлежит мне. Я обыкновенно даю ее на время жильцам, занимающим эту комнату, если у них нет своей мебели. Она не много стоит, но она к вашим услугам. Даром, разумеется. Я ни за что не соглашусь на другие условия. Вы можете пользоваться ею даром.

Артур поднял голову, поблагодарил его и сказал, что не может принять такого одолжения. Юный Джон по-прежнему вертел правую руку и стоял в очевидной борьбе с самим собой.

— В чем же заключается наше недоразумение, сэр? — спросил Артур.

— Я не принимаю этого выражения, сэр, — возразил юный Джон, внезапно повышая голос. — Никакого недоразумения.

Артур снова посмотрел на него, тщетно стараясь понять, в чем дело. Затем он снова опустил голову. Тотчас же после этого юный Джон сказал самым кротким тоном:

— Круглый столик, сэр, который стоит около вас, принадлежал... вы знаете, кому... мне не нужно называть... он умер, настоящий джентльмен. Я купил столик у господина, которому он его подарил и который жил здесь после него. Но этот господин и в подметки ему не годился. Да и немногие господа поравняются с ним.

Артур придвинул столик поближе и облокотился на него.

— Вы, может быть, не знаете, сэр, — сказал юный Джон, — что я явился к нему без приглашения, когда он был здесь, в Лондоне. То есть это он так отнесся к моему визиту, хотя всё-таки был так добр, что усадил меня и осведомился о моем отце и других старых друзьях. То есть о прежних знакомых. На мой взгляд, он сильно изменился, и я так и сказал дома. Я спросил его, здорова ли мисс Эми...

— А она была здорова?

— Вы, кажется, и без меня должны бы были знать это, — отвечал юный Джон, помолчав минуту с таким видом, точно проглотил огромную невидимую пилюлю. — Но раз вы предлагаете этот вопрос, то я жалею, что не могу ответить. Дело в том, что он нашел этот вопрос слишком фамильярным, и спросил: «А вам какое дело?». Тут-то я совершенно ясно понял, что напрасно затесался к нему, хотя и раньше чувствовал это. Как бы то ни было, он говорил очень хорошо, очень хорошо.

Наступило молчание, прерванное на минуту только замечанием юного Джона: «И говорил и поступил очень хорошо».

Спустя несколько минут юный Джон снова прервал молчание:

— Позвольте вас спросить, сэр, если это не будет дерзостью, долго вы намерены оставаться здесь без еды и питья?

— Я не хочу ни есть, ни пить, — отвечал Кленнэм. — У меня совсем нет аппетита.

— Тем более вам следует подкрепиться, сэр, — возразил юный Джон. — Если вы просидели несколько часов без еды, потому что у вас нет аппетита, так, значит, вам следует есть и пить без аппетита. Я сейчас буду пить чай в своей комнате. Не угодно ли вам зайти ко мне; или я принесу вам сюда?

Чувствуя, что, если он откажется, юный Джон во всяком случае принесет ему чай, и желая показать, что помнит просьбу мистера Чивери старшего и принимает извинение мистера Чивери младшего, Артур встал и выразил готовность отправиться пить чай к мистеру Джону. Юный Джон запер дверь его комнаты, очень ловко засунул ключ к нему в карман и повел в свои собственные апартаменты.

Его комната находилась в верхнем этаже ближайшего от ворот здания. Это была та самая комната, куда бросился Кленнэм в день отъезда разбогатевшей семьи и где он нашел Крошку Доррит без чувств на полу. Он догадался, куда они идут, как только вступил на лестницу. Комната была заново оклеена обоями, выкрашена, уставлена удобной мебелью, но он помнил ее такой, какой она была перед ним в ту минуту, когда он поднимал с пола бесчувственное тело.

Юный Джон сурово смотрел на него, кусая пальцы.

— Я знал, что вы помните эту комнату, мистер Кленнэм.

— Помню очень хорошо, да благословит бог эту милую девушку.

Забыв о чае, юный Джон кусал свои пальцы и смотрел на гостя всё время, пока тот осматривал комнату. Наконец он встрепенулся, кинулся к чайной посуде, насыпал в чайник целую пригоршню чаю и потащил его заваривать на общую кухню.

Комната так красноречиво говорила ему о ней, несмотря на изменившиеся обстоятельства его возвращения в жалкую Маршалси, так мучительно напоминала

ему о разлуке с нею, что он не мог бы совладать с собой, если бы даже не был один. Но он был один и не пытался овладеть собой. Он дотронулся до бесчувственной стены так нежно, как будто бы прикасался к ней самой, и тихонько произнес ее имя. Он подошел к окну и взглянул на тюремную стену с ее мрачными зубцами, посылая благословение в далекую землю, где жила она в богатстве и довольстве.

Юный Джон не возвращался довольно долго. Очевидно, он уходил из тюрьмы, так как, вернувшись, принес с собой масло в капустном листе, несколько тонких ломтиков вареной ветчины в другом капустном листе и корзиночку с салатом. Когда всё это было расставлено на столе, они уселись пить чай.

Кленнэм пытался оказать честь угощению, но безуспешно. От ветчины его тошнило, а хлеб казался ватой.

Он насилу проглотил чашку чаю.

— Попробуйте зелени, — сказал юный Джон, подвигая к нему корзиночку.

Он взял веточку салата, но с этой приправой хлеб казался ему еще безвкуснее, а ветчина (хотя недурная сама по себе) внушала отвращение; ему казалось, что вся Маршалси пропитана ее запахом.

— Попробуйте еще зелени, сэр, — сказал юный Джон и снова подвинул к нему корзиночку.

Артуру так живо представилась птица в клетке, которую стараются развеселить, просовывая к ней зелень, намерение юного Джона смягчить этой зеленью впечатление раскаленных камней и кирпичей тюрьмы было так очевидно, что Кленнэм сказал с улыбкой:

— Вы очень любезны, что стараетесь развеселить птицу в клетке, но мне не хочется даже зелени.

Повидимому, это отсутствие аппетита было заразительно, так как юный Джон тоже оттолкнул свою тарелку и принялся вертеть в руках капустный лист, в котором была завернута ветчина. Сложив его несколько раз так, чтобы лист мог уместиться на его ладони, он принялся мять его между ладонями, не сводя глаз с Кленнэма.

— Я думаю, — сказал он наконец, крепко стискивая свой зеленый сверток, — что если вы не хотите позаботиться о себе ради себя самого, то должны сделать это ради кого-то другого.

— Право, не знаю, кому это нужно, — отвечал Артур с грустной улыбкой.

— Мистер Кленнэм, — горячо сказал Джон, — меня удивляет, что джентльмен, такой прямодушный, как вы, способен унизиться до такого ответа. Мистер Кленнэм, меня удивляет, что джентльмен, способный чувствовать глубоко, способен так жестоко относиться к моим чувствам. Уверяю вас честью, я изумлен!

Юный Джон поднялся на ноги, чтобы сильнее подчеркнуть эти слова, но тотчас опустился обратно на стул и принялся катать свой лист на правом колене, не спуская негодующего взгляда с Кленнэма.

— Я справился с этим чувством, сэръ, — сказал юный Джон. — Я победил его, зная, что оно должно быть побеждено, и решил не думать более об этом. И надеюсь, я не вернулся бы к нему, если б в эту тюрьму не явились вы в несчастный для меня час, сегодня!

(В своем волнении юный Джон бессознательно перешел к выразительному стилю речей своей матери.)

— Когда вы предстали передо мной, сэръ, в сторожке, скорее как анчар, попавший под арест, чем как обыкновенный должник, в груди моей снова забушевал такой поток смешанных чувств, что всё передо мной закружилось и в первые минуты я точно попал в водоворот. Я выбрался из водоворота. Я боролся и выбрался из него. Перед лицом гибели всеми силами боролся я с водоворотом и выбрался из него. Я сказал себе, что если я был груб, то должен извиниться, и это извинение я принес, не останавливаясь перед унижением. А теперь, когда я завожу с вами речь о том, что для меня священнее и важнее всего на свете, вы при первом моем намеке увертываетесь и отталкиваете меня. Да, — прибавил юный Джон, — вы должны сознаться, что хотели увернуться и оттолкнуть меня.

Совершенно ошеломленный, Артур глядел на него во все глаза, повторяя: «Что с вами? Что вы хотите сказать, Джон?». Но Джон был в таком состоянии, когда известного рода люди решительно неспособны дать короткий и прямой ответ, и неся, закусив удила.

— Никогда, — объявил он, — нет, никогда, не был я дерзок настолько, чтобы верить в успех. Я не питал, нет, не питал, — почему бы мне не сознаться, если б я питал, — надежды на такое счастье, даже раньше, чем мы

переговорили, даже раньше, чем между нами возникла непреодолимая преграда! Но разве из этого следует, что у меня нет ни воспоминаний, ни мыслей, ни священных чувств, ничего?

— Что вы хотите сказать? — воскликнул Кленнэм.

— Очень легко попирать мои чувства, сэр, — продолжал юный Джон, — если вы решились на это. Очень легко попирать их, но они всё-таки останутся. Может быть, их нельзя было бы попирать, если б их не было. Но во всяком случае неблагородно, нечестно, несправедливо отталкивать человека после того, как он столько боролся и из кожи лез, точно бабочка из куколки. Свет может издеваться над тюремщиком, но тюремщик всё-таки человек, тюремщик всё-таки мужчина, кроме тех случаев, когда он женщина, как бывает, вероятно, в женских тюрьмах.

Как ни смешна была эта бессвязная речь, но в простом чувствительном характере юного Джона было столько искренности, в его пылающем лице и взволнованном дрожащем голосе чувствовалась такая глубокая обида, что Артур не мог отнестись к ней равнодушно.

Он припомнил весь предыдущий разговор, стараясь определить источник этой обиды, а юный Джон, свернув в трубочку капустный лист, разрезал его на три части и аккуратно положил на тарелке, точно какой-нибудь редкий деликатес.

— Мне кажется, — сказал Кленнэм, припомнив весь разговор до появления корзиночки с салатом, — вы намекаете на мисс Доррит?

— Именно, сэр, — отвечал Джон Чивери.

— Я не понимаю вас. Надеюсь, вы не подумаете, что, говоря это, я хочу оскорбить вас, да я и раньше не хотел оскорбить вас.

— Сэр, — сказал юный Джон, — неужели у вас хватит вероломства утверждать, будто вы не знаете и раньше не знали о моей... не смею сказать — любви... о моем обожании и поклонении мисс Доррит?

— Право, Джон, я без вероломства могу сказать, что знаю и знал об этом. Решительно не понимаю, почему вы подозреваете меня в вероломстве? Говорила вам миссис Чивери, ваша матушка, что я был у нее однажды?

— Нет, сэр, — отвечал юный Джон. — В первый раз слышу об этом.

— Так я вам расскажу. Мне хотелось устроить счастье мисс Доррит, и если бы я мог предположить, что мисс Доррит разделяет ваши чувства...

Бедный Джон Чивери покраснел до кончиков ушей.

— Мисс Доррит никогда не разделяла моих чувств, сэр. Я хочу быть правдивым и честным, насколько это возможно такому ничтожному человеку, и я поступил бы подло, если бы вздумал утверждать, что мисс Доррит разделяла когда-нибудь мои чувства или подавала мне повод вообразить это; нет, никто в здравом уме не вообразил бы этого. Она всегда было гораздо выше меня во всех отношениях, точно так же, — прибавил Джон, — как и ее благородная семья.

Рыцарское чувство по отношению к ней так возвышало его, несмотря на малый рост, слабые ноги, жидкие волосы и поэтический темперамент, что никакой Голиаф¹ на его месте не мог бы внушить Артуру большего уважения.

— Вы говорите как мужчина, Джон, — сказал он с искренним восхищением.

— Хорошо, сэр, — отвечал юный Джон, проводя рукой по глазам, — отчего же вы не последуете моему примеру?

Этот резкий и неожиданный ответ снова заставил Артура взглянуть на него с удивлением.

— Может быть, — сказал Джон, протягивая руку через чайный поднос, — это слишком резкое замечание... беру его назад. Но почему, почему? Когда я говорю вам, мистер Кленнэм, позаботьтесь о себе ради кого-то другого, почему вы не хотите быть откровенным с тюремщиком? Почему я приготовил для вас комнату, в которой, я знал, вам приятнее будет поселиться, чем в любой другой? Почему я принес ваши вещи? Я не хочу сказать, что они были тяжелы, вовсе нет. Почему я заботился о вас с самого утра? Из-за ваших достоинств? Нет. Они велики, я не сомневаюсь, но не они побуждали меня заботиться о вас. Тут играли роль достоинства другого лица, которые имеют гораздо больше веса в моих глазах. Почему же не говорить со мной прямо?

— Поверьте, Джон, — сказал Кленнэм, — вы такой хороший малый, и я так уважаю вас, что если моя

¹ Голиаф — по библейской легенде, воин-гигант, убитый Давидом ударом камня в лоб из пращи.

недогадливость показалась вам обидной, я готов просить извинения. Действительно, я не сразу догадался, что вы любезно оказываете мне эти услуги как другу мисс Доррит.

— О, почему не говорить откровенно? — повторил Джон с прежним гневом.

— Поверьте же, — возразил Артур, — что я не понимаю вас. Взгляните на меня. вспомните, в каком я положении. Подумайте, стану ли я прибавлять ко всему, в чем уже упрекаю себя, вероломство и неблагодарность по отношению к вам. Я не понимаю вас!

Мало-помалу недоверчивое выражение на лице Джона заменилось выражением сомнения. Он встал, подошел к окну, жестом подозвал Артура и пристально посмотрел на него.

— Мистер Кленнэм, так вы действительно не знаете?

— Чего, Джон?

— Боже, — сказал юный Джон, обращаясь к зубцам на тюремной стене, — он спрашивает, чего!

Кленнэм взглянул на зубцы, потом на Джона, потом опять на зубцы и опять на Джона.

— Он спрашивает, чего! Мало того, — продолжал Джон, глядя на него со скорбным изумлением, — он, кажется, и впрямь не понимает. Видите вы это окно, сэр?

— Разумеется, вижу.

— Видите эту комнату?

— Ну да, разумеется, вижу и комнату.

— И стену напротив нас и двор внизу? Все они были свидетелями этого изо дня в день, из ночи в ночь, с недели на неделю, из месяца в месяц. Я знаю это, потому что много раз видел мисс Доррит у этого окна, не замечаемый ею.

— Свидетелями чего? — спросил Кленнэм.

— Любви мисс Доррит.

— К кому?

— К вам, — сказал Джон и, дотронувшись рукой до груди Артура, вернулся на место, бросился на стул, бледный, скрестив руки, и покачал головой, глядя на Кленнэма.

Если бы он нанес Кленнэму тяжелый удар, вместо того, чтобы слегка коснуться до него, Артур не был бы поражен сильнее. Он стоял ошеломленный, уставившись на Джона и шевеля губами, как будто хотел и не мог



Артур в гостях у Джона Чивери.

выговорить: «Меня?». Его руки опустились, всем своим видом он напоминал человека, внезапно пробудившегося от сна и ошеломленного известием, которого он не может сразу осмыслить.

— Меня! — сказал он наконец.

— Ах, — простонал юный Джон, — вас!

Кленнэм попытался улыбнуться и сказал:

— Фантазия! Вы глубоко ошибаетесь.

— Ошибаюсь, сэр! — возразил юный Джон. — Я ошибаюсь! Нет, мистер Кленнэм, не говорите этого. В чем другом — пожалуй, так как я вовсе не проницательный человек и очень хорошо знаю свои недостатки. Но мне ошибаться в том, что растерзало мое сердце так, как не растерзала бы его целая туча стрел дикарей! Мне ошибаться в том, что чуть не свело меня в могилу, которой я был бы рад, если бы только могила была совместима с табачной торговлей и чувствами отца и матери! Мне ошибаться в том, что сейчас заставляет меня достать из кармана платок и, как говорится, плакать, точно девушка, хотя я не знаю, почему слово «девушка» считается обидным, все мужчины любят девушек! Не говорите же этого, не говорите!

Попрежнему достойный уважения по своим внутренним качествам, хотя и смешной в их проявлениях, юный Джон достал из кармана платок и вытер им глаза с тем простодушным отсутствием рисовки и ложного стыда, которое свойственно только хорошим людям. Вытерев глаза и позволив себе в виде маленькой роскоши высморкаться, он снова спрятал платок.

Кленнэм до сих пор не мог оправиться от прикосновения, ошеломившего его, подобно тяжелому удару, так что с трудом собрался с мыслями, чтобы как-нибудь закончить этот разговор. Он сказал юному Джону, когда тот уложил платок обратно в карман, что отдает справедливость его великодушию и его преданности мисс Доррит. Что же касается предположения, которое он только что высказал, — тут юный Джон перебил его, сказав: «Не предположение, уверяю вас», — то они, быть может, поговорят о нем в другое время, но не теперь. Он так расстроен и утомлен, что желал бы вернуться в свою комнату и остаться один. Джон не стал спорить, и Артур под тенью тюремной стены пробрался в свою комнату.

Действие удара до сих пор было так сильно, что

когда ушла грязная женщина, поджидавшая его на лестнице, чтобы постлать ему постель, и объяснившая, что ее послал мистер Чивери, «не старьй, а молодой», он бросился в полинялое кресло и стиснул голову руками, точно она хотела лопнуть. Крошка Доррит любит его. Эта вестъ подействовала на него сильнее, чем разорение.

Вероятно ли это? Он всегда называл ее «мое дитя», «мое милое дитя» и старался вызвать ее на откровенность, указывая на разницу в годах между ним и ею и говоря о себе как о старике. Но она могла и не считать его стариком. Он вспомнил, что и сам не думал этого, пока розы не уплыли по реке.

У него были в числе других бумаг оба ее письма. Он достал их и перечел. Казалось, в них звучал ему ее ласковый голос. Он поражал его слух своей нежностью, которая, повидимому, согласовалась с тем, что он сейчас услышал. Потом он вспомнил ее слова: «Нет, нет, нет», — произнесенные со спокойствием отчаяния в этой самой комнате, в тот вечер, когда он намекнул ей на возможность перемены в ее судьбе и когда между ними было сказано много других слов, которые суждено было вспомнить ему теперь, в унижении, под арестом.

Нет, это невероятно.

Но эта невероятность становилась всё слабее по мере того, как он думал о ней. В то же время другой вопрос, относительно его собственных чувств, поднимался в его душе. В досаде, которую он испытывал при мысли, что она любит кого-то, в его желании выяснить этот вопрос, в смутном сознании, что, помогая их любви, он совершает нечто благородное, — не сказывалось ли во всем этом глухое чувство, которое он угасил, прежде чем оно успело разгореться? Не доказывал ли он самому себе, что не должен и думать о ее любви, не должен пользоваться ее благодарностью, должен видеть в своем неудачном опыте предостережение и упрек, считать подобного рода надежды угасшими для него навсегда, как угасла покойная дочь его друга, непрестанно напоминать себе, что время любви миновало для него, что он для этого слишком угрюм и стар?

Он поцеловал ее, найдя без чувств на полу, в тот день, когда о ней забыли с такой характерной для них небрежностью. А если бы она была в сознании, так ли бы он поцеловал ее, таким же поцелуем?

Вечер застал его за этими мыслями. Вечер застал также мистера и миссис Плорниш стучащимися в его дверь. Они принесли ему корзинку с самыми изысканными продуктами из запасов своей лавки, где так бойко шла торговля и так туго получались барыши. Миссис Плорниш была огорчена до слез. Мистер Плорниш ласково ворчал со свойственным ему философским, но не ясным направлением мыслей, что с людьми, извольте видеть, всегда так бывает: то очутятся наверху, то слетят вниз. Бесполезно и спрашивать, почему — наверху, почему — вниз; так бывает на свете, вот оно что. Ему говорили: как земной шар вертится (а он, разумеется, вертится), так и самый лучший джентльмен может повернуться вверх ногами, так что все его волосы будут, как говорится, трепаться в пространстве. Ну и ладно Мистер Плорниш только одно может сказать: ну и ладно. Придет время, и джентльмен снова станет на ноги, и волосы его снова пригладятся, так что приятно смотреть будет. Ну и ладно!

Как уже было замечено выше, миссис Плорниш, не отличаясь философским направлением мыслей, плакала. Далее оказалось, что миссис Плорниш, не отличаясь философским направлением мыслей, была очень сообразительна. Было ли причиной этому ее душевное настроение, или ее женская догадливость, или быстрота соображения, свойственная женщинам, или недостаток быстроты соображения, свойственный женщинам, — только в дальнейшем разговоре она очень ловко коснулась именно того, что занимало Артура.

— Вы себе представить не можете, мистер Клен-нэм, — сказала миссис Плорниш, — как горюет о вас отец. Совсем убит. Голос потерял от горя. Вы знаете, как он мило поет, а сегодня за чаем ни одной нотки не мог вытянуть.

Говоря это, миссис Плорниш качала головой, утирала глаза и осматривала комнату.

— А мистер Батист, — продолжала она, — что с ним только будет, когда он узнает об этом, я уж и не знаю и представить себе не могу. Он бы давно прибежал сюда, будьте уверены, но его нет дома: ушел по вашему делу. Уж и хлопочет же он, отдыха не знает, я и то говорю ему: подивляется на вашему падрона, — закончила миссис Плорниш по-итальянски.

Она сама почувствовала изящество этого чисто тосканского оборота, хотя вовсе не была самонадеянной, а мистер Плорниш не мог скрыть своего восхищения по поводу лингвистических способностей супруги.

— Но я вам скажу, мистер Кленнэм, — продолжала добродушная женщина, — всегда найдется за что поблагодарить судьбу, даже в несчастье, вы наверно сами согласитесь. Будучи в этой комнате, недолго сообразить, что это такое. Вот за что, по-моему, нужно благодарить бога, — за то, что мисс Доррит за границей и не знает этого.

Артуру показалось, что она взглянула на него как-то особенно.

— Слава богу, — повторила миссис Плорниш, — что мисс Доррит в чужих краях. Надо надеяться, что она и не услышит об этом. Если бы она была здесь и увидела вас, — миссис Плорниш повторила эти последние слова, — и увидела вас в несчастье и беде, это было бы слишком тяжело для ее любящего сердца. Не знаю, что бы еще могло огорчить ее так, как это!

Да, конечно, миссис Плорниш глядела на него с особенным выражением.

— Да! — продолжала она. — И какой пронизательный мой отец, несмотря на свои годы. Сегодня после обеда он говорит мне, весь «Счастливым коттедж» может засвидетельствовать, что я ничего не прибавляю: «Мэри, хорошо, что мисс Доррит нет здесь и что она не знает об этом». Я и говорю отцу: «Правда твоя, говорю, отец!». Вот, — заключила миссис Плорниш с видом беспристрастного свидетеля, — вот какой разговор у нас был с отцом.

Мистер Плорниш, более привыкший к лаконизму, воспользовался паузой и намекнул, что пора бы им предоставить мистера Кленнэма самому себе. «Потому, видишь ли, старуха, я понимаю, в чем тут дело», — сказал он важным тоном и несколько раз повторил это глубоко-мысленное замечание, очевидно заключавшее в себе какую-то важную моральную тайну. В заключение достойная чета удалилась рука об руку.

Крошка Доррит, Крошка Доррит. Снова и снова она, Крошка Доррит!

К счастью, если это и было когда-нибудь, то прошло. Предположим, что она любила его и он заметил бы ее

любовь и отвечал на нее любовью, — куда бы это привело ее? — Опять в это гнусное место! Хорошо, что всё это минуло навсегда, что она вышла или выходит замуж (смутные слухи о проектах ее отца в этом направлении достигли подворья Разбитых сердец одновременно с известием о свадьбе ее сестры) и что ворота Маршалъси навсегда замкнулись для всяких таких возможностей.

Милая Крошка Доррит!

Оглядываясь на свое бесцветное существование, он видел, что она была в нем точкой, где как бы сливаются и исчезают параллельные линии. Всё в этой перспективе вело к ее невинному облику. Он проехал тысячи миль, чтобы встретиться с нею; все эти прежние тревожные сомнения и надежды рассеялись перед нею; на ней сосредоточивались главные интересы его жизни; всё доброе и радостное в этой жизни было связано с нею; вне ее не было ничего, кроме пустынного темного неба.

Томимый тоской, как и в первую ночь, которую ему пришлось провести среди этих угрюмых стен, он не мог сомкнуть глаз, предаваясь своим мыслям. Тем временем юный Джон мирно спал, предварительно сочинив и мысленно написав на подушке следующую эпитафию:

Прохожий!
Почти могилу
Джона Чивери младшего,
Скончавшегося в преклонном возрасте,
Каком именно — не стоит упоминать.
Он встретил соперника, постигнутого бедой,
И чувствовал охоту
Расправиться с ним.
Но ради той, которую любил,
Подавил эти злобные чувства
И поступил
Великодушно.

ГЛАВА XXVIII

Враги в Маршалъси

Общественное мнение за стенами Маршалъси было против Кленнэма, да и в самой тюрьме он не приобрел друзей. Слишком удрученный своими заботами, чтобы присоединиться к обществу, собиравшемуся на дворе, слишком скромный и подавленный горем, чтобы искать развлечения в буфете, он проводил время, запершись

в своей комнате, и возбудил этим недоверие в своих коллегам. Одни называли его гордецом, другие осуждали его угрюмый и нелюдимый характер, третьи презрительно отзывались о нем как о жалком трусе, раскисшем из-за долгов. Все эти обвинения, в особенности последнее, в котором видели своего рода измену принципам Маршалси, заставляли членов общежития сторониться его; и вскоре он так освоился с одиночеством, что даже на прогулку выходил только по вечерам, когда мужское население тюрьмы собиралось в клубе за выпивкой, песнями и беседами, а на дворе оставались только женщины и дети.

Заключение начинало отзываться на нем. Он чувствовал, что становится ленивым и тупым. Знакомый с влиянием тюрьмы по тем наблюдениям, которые ему приходилось делать в этой самой комнате, он начинал не на шутку бояться за себя. Избегая других людей, стараясь спрятаться от самого себя, он заметно изменился. Каждый мог видеть, что тень тюремной стены уже омрачила его.

Однажды, спустя два с половиной или три месяца после ареста, когда он сидел над книгой, тщетно стараясь углубиться в чтение, чьи-то шаги раздались на лестнице и кто-то постучал в дверь. Он встал, отворил ее и услышал чей-то приятный голос:

— Как поживаете, мистер Кленнэм? Надеюсь, я не беспокоил вас своим посещением.

Это был жизнерадостный молодой Полип, Фердинанд. Он сиял добродушием и любезностью, хотя его веселость и непринужденность не совсем гармонировали с унылой обстановкой.

— Вы удивлены моим посещением, мистер Кленнэм, — сказал он, усаживаясь на стул, который предложил ему Артур.

— Признаюсь, даже очень удивлен.

— Не неприятно, надеюсь?

— Никоим образом.

— Благодарю вас. Право, — сказал обязательный молодой Полип, — мне было очень неприятно узнать, что вам пришлось временно уединиться в этом помещении, и я надеюсь (говоря между нами, конечно), что наше министерство тут ни при чем.

— Ваше министерство?

— Да, министерство околичностей.

— Я отнюдь не могу обвинять в моих неудачах это замечательное учреждение.

— Клянусь жизнью, — воскликнул бодрый молодой Полип, — я душевно рад это слышать! Вы очень утешили меня. Мне было бы очень грустно, если бы наше министерство оказалось виновником ваших затруднений.

Кленнэм снова подтвердил, что министерство тут ни при чем.

— Отлично! — сказал Фердинанд. — Я очень рад. Я боялся, что это мы поспособствовали вашему аресту, так как, к сожалению, это с нами иногда случается. Мы желали бы избежать таких вещей, но если люди сами лезут в петлю... ну, тогда мы не в силах помешать этому.

— Не выражая безусловного согласия с вашими словами, — угрюмо ответил Артур, — я всё-таки очень благодарен вам за ваше посещение.

— Нет, право! Ведь мы, — продолжал развязный молодой Полип, — в сущности говоря, самый безобидный народ. Вы называете нас шарлатанами. Пожалуй, но ведь шарлатанство необходимо, без него не обойдешься. Вы сами понимаете это.

— Не понимаю, — сказал Артур.

— Вы смотрите на дело с неправильной точки зрения. Точка зрения — вот самое главное. Смотрите на наше министерство с нашей точки зрения — с точки зрения людей, которые требуют одного: чтобы их оставили в покое, — и вы согласитесь, что это превосходнейшее учреждение.

— Значит, ваше министерство существует для того, чтобы оставаться в покое? — спросил Кленнэм.

— Именно, — подхватил Фердинанд. — Оставаться в покое и оставлять всё по-старому — вот наше назначение. Вот для чего мы созданы. Вот для чего мы существуем. Без сомнения, формально мы существуем для других целей, но ведь это именно только форма. Бог мой, да ведь у нас всё только форма. Вспомните, какую кучу формальностей вам самим пришлось проделать. А сделали ли вы хоть шаг вперед?

— Ни шагу! — отвечал Кленнэм.

— Взгляните на дело с правильной точки зрения, и вы увидите, что мы как нельзя лучше исполняем свою роль. Ведь это игра в крикет. Публика бросает к нам мячи, а мы их отбиваем.

Кленнэм спросил, что же делается с теми, кто бросает. Легкомысленный молодой Полип ответил, что они устают, выбиваются из сил, ломают себе спины, умирают, бросают игру, переходят к другим играм.

— Вот это-то обстоятельство и заставляет меня радоваться, — продолжал он, — что наше министерство повинно в вашем временном уединении. Легко могло бы случиться обратное, так как, по правде говоря, наше министерство не раз оказывалось весьма злополучным местом для людей, не желавших оставить нас в покое. Мистер Кленнэм, я говорю с вами вполне откровенно. Я думаю, что это вполне возможно между нами. Точно так же я говорил с вами, когда в первый раз убедился, что вы не хотите оставить нас в покое. Я тогда же заметил, что вы человек неопытный и увлекающийся и... довольно наивный, — вы не сердитесь?

— Нисколько.

— Довольно наивный. Я пожалел вас и решил дать вам понять (конечно, это не было официальным заявлением, но я всегда стараюсь избегать официальности, если это возможно), что на вашем месте не стал бы и пробовать. Как бы то ни было, вы попробовали и с тех пор не переставали пробовать. Не пробуйте еще раз.

— Вряд ли мне представится случай попробовать еще раз, — сказал Кленнэм.

— Представится, представится! Вы выйдете отсюда. Все выходят отсюда. Мало ли способов выйти отсюда. Только не возвращайтесь к нам. Эта просьба — одна из побудительных причин моего визита. Пожалуйста, не возвращайтесь к нам. Честное слово, — продолжал Фердинанд самым дружеским и доверчивым тоном, — я буду ужасно огорчен, если вы не воспользуетесь прошлым опытом и не махнете на нас рукой.

— А изобретение? — сказал Кленнэм.

— Добрейший мой, — возразил Фердинанд, — простите мне вольность выражений, но об этом изобретении никто знать не хочет и никто за него и двух пенсов не даст. Никто в нашем министерстве и вне его. Все потешаются над изобретателями. Вы себе представить не можете, какая масса людей желает оставаться в покое. Вы, я вижу, не знаете, что гений нашей нации (не смущайтесь парламентской формой выражения) желает оставаться в покое. Поверьте, мистер Кленнэм, — прибавил

игривый молодой Полип самым ласковым тоном, — наше министерство не злобный великан, на которого нужно выходить во всеоружии, а попросту ветряная мельница,¹ которая перемалывает чудовищные груды соломы и показывает вам, куда дует ветер общественного мнения.

— Если бы я мог поверить этому, — сказал Кленнэм, — я был бы очень печального мнения о нашей будущности.

— О, зачем так говорить? — возразил Фердинанд. — Всё к лучшему. Нам нужно шарлатанство, мы любим шарлатанство, мы не можем обойтись без шарлатанства. Немножко шарлатанства — и всё пойдет как по маслу, только оставьте нас в покое. — Высказав этот утешительный взгляд на вещи — символ веры бесчисленных Полипов, прикрываемый самыми разнообразными лозунгами, над которыми они сами смеются, — Фердинанд встал. Ничто не могло быть приятнее его чистосердечного и любезного обращения и истинно джентльменского умения приноровиться к обстоятельствам его посещения.

— Позвольте спросить, если это не будет нескромностью, — сказал он, когда Кленнэм пожал ему руку, с искренней благодарностью за его откровенность и добродушие, — правда ли, что наш знаменитый, всеми оплакиваемый Мердль — виновник ваших временных затруднений?

— Да, я один из многих, разоренных им людей.

— Умнейший, должно быть, малый, — заметил Фердинанд Полип.

Артур, не чувствуя охоты прославлять память покойного, промолчал.

— Отъявленный мошенник, конечно, — продолжал Фердинанд, — но умница! Нельзя не восхищаться таким молодцом. То-то, должно быть, был мастер по части шарлатанства! Такое знание людей, умение их обойти, выжать из них всё, что нужно.

Со свойственной ему непринужденностью он дошел почти до искреннего восхищения.

— Надеюсь, — сказал Кленнэм, — что этот урок послужит на пользу другим.

— Дорогой мистер Кленнэм, — возразил Фердинанд со смехом, — какие у вас лучезарные надежды! Поверь-

¹ В романе Сервантеса «Дон Кихот» (1605) герой романа сражается с ветряными мельницами, принимая их за великанов.

те, что первый аферист с такими же способностями и искусством будет иметь такой же успех. Простите меня, но вы, кажется, не знаете, что люди — те же пчелы, которые слетаются, если начать бить в пустую кастрюльку. В этом весь секрет управления людьми. Уверьте их, что кастрюля — из драгоценного металла, — и дело в шляпе: на этом и зиждется власть людей, подобных нашему оплакиваемому покойнику. Бывают, конечно, исключительные случаи, — вежливо прибавил Фердинанд, — когда люди попадают в ловушку, руководясь гораздо лучшими побуждениями; мне даже незачем ходить далеко за примером, но эти исключения не изменяют правила. Прощайте. Надеюсь, что при следующей нашей встрече эта мимолетная тучка исчезнет с вашего горизонта. Не провожайте меня; я знаю дорогу. До свидания!

С этими словами милейший и умнейший из Полипов спустился по лестнице, пробрался через сторожку, уселся на лошадь, ожидавшую его на переднем дворе, и отправился на свидание с одним благородным родичем, которого нужно было хорошенько подготовить к выступлению, так как ему предстояло разнести в громовой речи кое-каких дерзких снобов, осмелившихся находить недостатки в государственной деятельности Полипов.

Он, без сомнения, встретил на пути мистера Рогга, потому что минуту или две спустя после его ухода этот огненноволосый джентльмен появился в дверях Кленнэма, подобно пожилому Фебу.¹

— Как поживаете, сэръ? — спросил он. — Могу ли чем служить вам сегодня?

— Нет, благодарствуйте.

Мистер Рогг возился с запутанными делами с таким же наслаждением, как хозяйка — со своими вареньями и соленьями, или прачка — с грудой белья, или мусорщик — с кучей мусора, или как всякий специалист — со своей специальностью.

— Я время от времени захожу узнать, сэръ, — сказал мистер Рогг, — не появились ли новые кредиторы со взысканиями? Так и подваливают, сэръ, так и подваливают; больше и ожидать нельзя было.

Он говорил об этом так, точно поздравлял Артура по

¹ Ф е б — в древнеримской мифологии бог солнца (то же, что в древнегреческой — Аполлон).

случаю какого-то радостного события, весело потирая руки и потряхивая головой.

— Так подваливают, — повторил он, — как только можно было ожидать. Это просто какой-то ливень взысканий. Я не часто забираюсь к вам, когда бываю здесь, так как знаю, что вы предпочитаете одиночество и что если я понадобится вам, то вы пошлете за мной в сторожку. Но я захожу сюда почти ежедневно. Своевременно ли будет, сэр, — прибавил он заискивающим тоном, — обратиться к вам с одним замечанием?

— Так же своевременно, как и в любое другое время

— Хм... Общественное мнение, сэр, — сказал мистер Рогг, — очень интересуется вами.

— Не сомневаюсь в этом.

— Не находите ли вы, сэр, что было бы благоразумно, — продолжал мистер Рогг еще более заискивающим тоном, — сделать хоть теперь маленькую уступочку общественному мнению. Так или иначе мы все делаем уступки общественному мнению. Нельзя не делать.

— Я не могу примириться с общественным мнением, мистер Рогг, и не имею оснований думать, что это мне когда-нибудь удастся.

— Полноте, сэр, полноте! Переехать в Королевскую тюрьму почти ничего не стоит, и если общественное мнение находит, что вам следует переселиться туда, то почему бы.. вам.

— Ведь вы, помнится, согласились, мистер Рогг, — сказал Артур, — что это дело вкуса.

— Конечно, сэр, конечно. Но хорош ли ваш вкус, хорош ли ваш вкус? Вот в чем вопрос.

Мистер Рогг заговорил почти патетическим тоном:

— Скажу больше; хорошие ли чувства руководят вами? Ваше дело громкое, а вы сидите здесь, куда человек может попасть за ничтожный долг в один-два фунта. Это все заметили, об этом толкуют — и неодобрительно, неодобрительно. Вчера вечером толковали об этом в одном кружке, который я мог бы назвать, если бы не посещал его сам, в избранной компании юристов, и, признаюсь, мне просто обидно было слушать. Я был оскорблен за вас. Или сегодня утром моя дочь (женщина, скажете вы, — да, но женщина с большой сметкой в этих делах и с кое-каким личным опытом, как истица в деле Рогг и Баукинса) крайне удивлялась вашему решению,

крайне удивлялась. Так вот, имея в виду все эти обстоятельства и принимая в расчет, что никто из нас не может пренебрегать общественным мнением, не сделать ли маленькую уступочку общественному мнению... Право, сэр, я уж не буду много распространяться, — скажу, из простой любезности.

Мысли Артура снова унеслись к Крошке Доррит, и заявление мистера Рогга осталось без ответа.

— Что касается меня, сэр, — продолжал мистер Рогг, начиная думать, что его красноречие подействовало, — то мой принцип — подчинять свои склонности склонностям клиента. Но, зная ваш обязательный характер и всегдашнюю готовность сделать приятное другому, я замечу, что предпочел бы видеть вас в Королевской тюрьме. Ваше дело возбудило сенсацию, принимать в нем участие очень лестно для адвоката, но я чувствовал бы себя более свободно с своими товарищами, если бы вы были в Королевской тюрьме. Конечно, это не может влиять на ваше решение, я просто констатирую факт.

Одиночество и хандра до того приучили Кленнэма к задумчивости и рассеянности, он так привык видеть перед собой в этих мрачных стенах всё тот же безмолвный образ, что с трудом мог стряхнуть с себя оцепенение, взглянуть на мистера Рогга, припомнить суть его просьбы и торопливо ответить:

— Я не изменил и не изменю своего решения. Пожалуйста, довольно об этом, довольно об этом.

Мистер Рогг, не скрывая своего раздражения и обиды, ответил:

— О конечно, конечно, сэр! Я знаю, что, обратившись к вам с этим заявлением, я вышел за пределы профессиональных обязанностей. Но, слыша в различных кругах, и весьма почтенных кругах, рассуждения на тему о том, что недостойно истинного англичанина, — хотя, быть может, простительно иностранцу, — оставаться в Маршалси, когда свободные законы его родного острова дают ему право перейти в Королевскую тюрьму, — слыша подобные рассуждения, я подумал, что мне следует выйти из узких профессиональных рамок и сообщить вам об этом; лично я, — заключил мистер Рогг, — не имею мнения об этом предмете.

— Очень рад этому, — сказал Артур.

— О, никакого мнения, сэр! — продолжал мистер

Рогг. — А если бы имел, то мне неприятно было бы видеть несколько минут тому назад, что джентльмен хорошей фамилии, на породистой лошади, посещает моего клиента в таком месте. Но это не мое дело. Если бы я имел свое мнение, то мне было бы приятно заявить другому джентльмену, джентльмену военной наружности, который дожидается теперь в сторожке, что мой клиент никогда не намеревался оставаться здесь и не переезжать в более приличное убежище. Но моя роль, роль юридической машины, очень определена, и подобные вещи меня не касаются. Угодно вам видеть этого джентльмена, сэр?

— Вы, кажется, сказали, что он дожидается в сторожке?

— Я позволил себе эту вольность, сэр. Узнав, что я ваш поверенный, он настоял на том, чтобы я шел первый и исполнил свою скромную функцию. К счастью, — прибавил мистер Рогг саркастическим тоном, — я не настолько вышел за пределы своих профессиональных обязанностей, чтобы спросить его фамилию.

— Я полагаю, что мне остается только принять его, — сказал Артур усталым голосом.

— Так вам угодно, сэр? — переспросил Рогг. — Вы сделаете мне честь, поручив сообщить об этом джентльмену? Да? Благодарю вас, сэр. Имею честь кланяться.

И он откланялся с явно возмущенным видом.

Джентльмен военной наружности так мало заинтересовал Кленнэма, что он почти забыл о нем, когда чьи-то тяжелые шаги на лестнице вывели его из задумчивости. Они не были слишком громки или быстры, но их отчетливое постукивание звучало вызывающе. Когда они замолкли на площадке перед дверью, Кленнэм не мог представить себе, что напоминают ему эти шаги. Впрочем, ему недолго пришлось вспоминать. Дверь распахнулась от удара ногой, и на пороге появился без вести пропавший Бландуа, виновник стольких тревог.

— *Salve*,¹ товарищ острожник! — сказал он. — Я вам зачем-то понадобился? Так вот, я здесь.

Прежде чем Артур опомнился от негодующего изумления, в комнату вошел Кавалетто. За ним следовал мистер Панкс. Ни тот, ни другой еще не были здесь со

¹ *Salve* (лат) — привет.

времени водворения в этой комнате ее теперешнего жильца. Мистер Панкс, тяжело отдуваясь, пробрался к окну, поставил шляпу на пол, взъерошил волосы обеими руками и скрестил руки на груди, с видом человека, приготовляющегося отдохнуть после тяжелой работы. Мистер Батист, не спуская глаз со своего прежнего товарища, которого он так боялся, уселся на полу, прислонившись спиной к двери и охватив колени руками, — в той же самой позе (с той разницей, что теперь он был весь самое пристальное внимание), в какой сидел он когда-то перед этим самым человеком в еще более мрачной тюрьме, в знойное утро, в Марселе.

— Я узнал от этих сумасшедших, — сказал г-н Бландуа, он же Ланье, он же Риго, — что вы хотите меня видеть, товарищ. Вот и я.

Окинув презрительным взглядом комнату, он прислонился к кровати, которая была сложена на день, и, не снимая шляпы с головы, с вызывающим видом засунул руки в карманы.

— Вы гнусный негодяй! — сказал Артур. — Вы с умыслом набросили подозрение на дом моей матери. Зачем вы это сделали? Что побуждало вас к этой дьявольской выходке?

Г-н Риго нахмурился было, но тотчас же рассмеялся.

— Послушайте-ка этого благородного джентльмена! Послушайте это добродетельное создание! Но берегитесь, берегитесь! Ваш пыл, дружище, может привести к дурным последствиям. К дурным последствиям, чёрт побери!

— Signore,¹ — вмешался Кавалетто, обращаясь к Артуру, — послушайте меня! Вы поручили мне разыскать его, Риго, — не правда ли?

— Правда.

— Ну вот, соответствовательно с этим поручением (велико было бы смущение миссис Плорниш, если бы она могла убедиться, что это случайное удлинение наречия было его главной погрешностью против английского языка) я отправился сначала к моим соотечественникам. Я стал расспрашивать у них, не слышали ли они о каких-нибудь иностранцах, недавно прибывших в Лондра.² Затем отправляюсь к французам, затем к немцам; они

¹ Signore (итал.) — синьор, господин.

² Лондра — итальянское название Лондона.

мне рассказывают все, что знают. Большинство из нас знакомы друг с другом, и они рассказывают мне всё, что знают. Но... ни одна душа не может ничего сообщить мне о нем, о Риго. Пятнадцать раз, — продолжал Кавалетто, трижды выпрямив и сжав пальцы левой руки с такой быстротой, что глаз едва мог следить за этим жестом, — пятнадцать раз я спрашиваю о нем во всех местах, где бывают иностранцы, и пятнадцать раз, — он повторил прежний жест, — никто ничего не знает. Но...

Произнося это «но» с особенной итальянской интонацией, он слегка, но выразительно поиграл указательным пальцем правой руки.

— Но после того, как я долго не мог найти его, один человек говорит мне, что здесь, в Лондра, проживает солдат с белыми волосами... Э?... не такими, как у него теперь... белыми... и живет он уединенно, точно прячется. Но!.. — (он произнес это слово с прежней интонацией) — выходит иногда после обеда погулять и покурить. Нужно иметь терпение, как говорят у нас в Италии (нам, бедным, это известно по опыту). Я имею терпение; я спрашиваю, где он живет. Один говорит — здесь, другой говорит — там. Что же вы думаете? Он не здесь и не там! Я жду терпеливеющим образом. Наконец отыскиваю это место. Подстерегаю, прячусь, и наконец он выходит погулять и покурить. Он солдат с седыми волосами! Но... — (на этот раз он усиленно подчеркнул это слово и энергически помахал пальцем), — он вместе с тем тот самый человек, которого вы видите.

Замечательно, что привычка подчиняться этому человеку заставила его даже теперь слегка поклониться Риго.

— Ну, signore, — воскликнул он в заключение, снова обращаясь к Кленнэму, — я стал поджидать удобного случая! Я написал синьору Панкс, — мистер Панкс выразил некоторое изумление, услышав свою фамилию в такой переделке, — просил его прийти и помочь мне. Я показал его, Риго, когда он сидел у окна, синьору Панкс, и синьор Панкс согласился караулить его. Ночью я спал у дверей его дома. Наконец мы вошли к нему только сегодня, и вот он перед вами. Так как он не хотел явиться к вам вместе с знаменитым адвокатом, — так величал мистер Батист мистера Рогга, — то



Артур разоблачает преступника Риго.

мы дожидались вместе внизу, а синьор Панкс караулил выход на улицу.

Выслушав этот рассказ, Артур устремил взгляд на бесстыдную физиономию негодяя. Когда они встретились глазами, нос опустился над усами, а усы поднялись под носом. Когда усы и нос вернулись в прежнее положение, г-н Риго громко щелкнул пальцами раз десять подряд, слегка наклонившись к Кленнэму, точно эти щелчки были снарядами, которые он метал в лицо врагу.

— Ну, философ! — сказал Риго — Что вам от меня нужно?

— Мне нужно знать, — отвечал Кленнэм, не скрывая своего отвращения, — как вы осмелились набросить подозрение в убийстве на дом моей матери.

— Осмелился! — воскликнул Риго. — Хо, хо! Послушайте его! Осмелился? Как я осмелился? Ей-богу, милый мальчик, вы неблагоразумны.

— Я желаю, чтобы это подозрение было снято, — продолжал Кленнэм. — Вас отведут туда публично. Далее, мне нужно знать, зачем вы явились туда в тот день, когда я сгорал от желания спустить вас с лестницы? Нечего хмуриться, негодяй! Я знаю, что вы нахал и трус! Я не настолько опустился, живя в этом проклятом месте, чтобы не сказать вам в лицо этой простой истины, которую вы и сами знаете.

Побелев до самых губ, Риго пробормотал, покручивая усы:

— Ей-богу, милый мальчик, вы рискуете скомпрометировать миледи, вашу матушку.

С минуту он, казалось, находился в нерешительности, как поступить. Но эта нерешительность скоро прошла. Он уселся с наглой и угрожающей развязностью и сказал:

— Дайте мне бутылку вина. Здесь можно достать вина. Пошлите которого-нибудь из ваших полоумных за бутылкой вина: без вина я не стану говорить. Ну, да или нет?

— Принесите ему, Кавалетто, — сказал Артур с отвращением, доставая деньги.

— Контрабандная bestия, — прибавил Риго, — принеси портвейна. Я пью только Порто-Порто.

Контрабандная bestия дала, однако, понять движением своего выразительного пальца, что она не намерена покидать своего поста у дверей, и синьор Панкс

предложил свои услуги. Он скоро вернулся с бутылкой вина, которая, по местному обычаю, объяснявшемуся недостатком пробочников у членов общежития, была уже откупорена.

— Полоумный, большой стакан!

Синьор Панкс поставил перед ним стакан, видимо не без труда поборов желание запустить его в голову г-на Риго.

— Ха, ха! — захохотал Риго. — Теперь и всегда джентльмен! Джентльмен с самого начала, джентльмен до конца. Что за чёрт! Джентльмену должны прислуживать. Мой характер таков, что мне прислуживают.

Он наполнил до половины стакан и выпил его.

— Ха! — воскликнул он, чмокнув губами. — Оно не слишком давно в тюрьме. Я вижу по вашему лицу, мой воинственный сэр, что ваша кровь скорее перебродит в заключении, чем это славное вино. Вы уже раскисаете: побледнели, похудели. Поздравляю!

Он выпил еще полстакана, стараясь выставить свою маленькую белую руку.

— К делу, — продолжал он. — Потолкуем. Вы, однако, храбрее на словах, чем на деле, сэр.

— Не большая храбрость сказать вам, кто вы такой. Вы сами знаете, что вы гораздо хуже нахала и труса.

— Прибавьте: но всегда джентльмен, и ладно. За исключением этого мы во всем сходны. Вы, например, никогда в жизни не будете джентльменом, а я никогда не буду ничем другим. Огромная разница. Но пойдем дальше. Слова, сэр, не имеют значения ни в картах, ни в костях. Вам это известно? Известно? Я тоже веду игру, и никакие слова не помешают мне выиграть.

Теперь, встретившись с Кавалетто и зная, что его история известна, он сбросил маску и был самим собой, гнусным негодяем.

— Нет, сынок, — продолжал он, шелкнув пальцами. — Я доведу свою игру до конца, несмотря на страшные слова. Чёрт меня побери вместе с душой и телом, если не доведу! Я намерен выиграть ее. Вам желательно знать, зачем я разыграл эту маленькую комедию? Знайте же, что у меня была и есть, понимаете, есть, одна вещица, которую я рассчитываю продать миледи, вашей матушке. Я объяснил ей, что это за вещица, и назначил цену. Но, когда дело дошло до торга, ваша замечатель-

ная матушка оказалась слишком холодной, упрямой, непреклонной, непоколебимой, как статуя. Словом, ваша замечательная матушка задела меня за живое. Ради разнообразия и желая немножко позабавиться, — джентльмен может же позабавиться на чей-нибудь счет! — я вздумал исчезнуть. Ваша весьма своеобразная матушка и мой милый Флинтуинч были бы рады осуществить это на деле. А, ба, ба, ба, не смотрите на меня так высокомерно! Я готов повторить. Были бы рады, были бы в восторге, были бы в восхищении. Не выразиться ли посильнее?

Он выплеснул остаток вина из стакана на пол и чуть не забрызгал Кавалетто. Здесь, повидимому, Риго вспомнил о нем. Он поставил стакан и сказал:

— Не хочу наливать сам. Что? Я рожден для того, чтобы мне служили. Кавалетто, налей!

Маленький итальянец взглянул на Кленнэма, глаза которого были устремлены на Риго, и, не встречая с его стороны запрещения, встал и налил стакан Борьба привычной покорности с каким-то юмористическим чувством, подавленная ярость, готовая каждую минуту вспыхнуть пожаром (прирожденный джентльмен, повидимому, замечал это, так как следил за ним, не спуская глаз), и преобладающее над всем желание усесться в прежней благодушной, беззаботной позе на пол, — всё это составляло замечательную комбинацию черт его характера.

— Это была счастливая мысль, мой воинственный сэр, — продолжал Риго, — счастливая мысль во многих отношениях. Ее исполнение позабавило меня, помучило вашу милую мамашу и Флинтуинчика, помучило вас (мое возмездие за урок вежливости джентльмену) и показало всем моим друзьям, заинтересованным в этом деле, что ваш покорнейший слуга — человек, которого нужно бояться. Да, клянусь небом, человек, которого нужно бояться! Мало того, это могло заставить миледи, вашу матушку, взяться за ум и под давлением неприятного подозрения, о котором упоминала ваша премудрость, оповестить через газеты, не называя имен, что известного рода сделка может уладиться с появлением известного лица, — могло бы побудить ее к этому. Может быть — да, может быть — нет. Но вы помешали. Ну, что же вы скажете? Что вам нужно?

Никогда еще Кленнэм не чувствовал так мучительно

своего заключения, как теперь, когда видел перед собой этого человека и не мог отправиться вместе с ним к своей матери. Все его смутные тревоги и опасения готовы были оправдаться, а он не мог сделать и шагу.

— Может быть, друг мой, философ, добродетельный человек, олух или кто бы вы ни были, — сказал Риго, поглядывая на него из-за стакана с своей зловещей улыбкой, — может быть, вы бы лучше сделали, оставив меня в покое.

— Нет! По крайней мере, — сказал Кленнэм, — теперь известно, что вы живы и невредимы. По крайней мере, вы не можете улизнуть от этих двух свидетелей, и они могут передать вас властям или разоблачить перед лицом сотен людей, перед лицом народа.

— Но не передадут меня никому, — возразил Риго, с торжествующим видом щелкнув пальцами. — К чёрту ваших свидетелей! К чёрту ваши сотни людей! К чёрту вас самих! Что? А мой секрет? А вещица, которую я намерен продать? Ба, несчастный должник, вы помешали моей затее! Пусть так! Что же из этого? Что дальше? Для вас — ничего, для меня — всё. Разоблачить меня! Так вот что вам нужно! Я сам разоблачу себя скорее, чем требуют. Контрабандист, перо, чернил, бумаги!

Кавалетто встал и подал ему требуемое. Подумав и улыбнувшись своей отвратительной улыбкой, Риго написал и прочел вслух следующее:

Миссис Кленнэм

(Подождать ответа).

Тюрьма Маршалъси.

В комнате вашего сына.

Милостивая государыня! Я в отчаянии, узнав от вашего сына (который был так любезен, что разыскал меня, скрывающегося по политическим причинам, с помощью своих шпионов), что вы беспокоитесь о моей безопасности.

Успокойтесь, дорогая миссис Кленнэм. Я здоров, бодр и постоянен.

Я сгораю от нетерпения увидеть вас и давно бы прилетел в ваш дом, если бы не думал, что, вы, быть может, еще не пришли к окончательному решению насчет предложеньица, с которым я имел честь к вам обра-

тяться. Назначаю неделю, считая с настоящего дня, по истечении которой явлюсь к вам с последним и решительным визитом; тогда вы мне скажете, принимаете ли вы или отвергаете мое предложение со всеми его последствиями.

«Подавляю мое пылкое желание расцеловать ваши ручки и покончить с этим интересным дельцем, дабы вы могли на досуге обдумать вопрос во всех деталях и решить его к нашему обоюдному и совершенному удовольствию.

«Пока не считаю слишком большим требованием с моей стороны (так как наш узник расстроил мои хозяйственные дела) просить вас оплатить мой счет в гостинице: помещение и стол.

«Примите, милостивая государыня, уверение в моем глубочайшем почтении.

Риго Бландуа.

«Тысячу приветствий милому Флинтуинчу.

«Целую ручки миссис Флинтуинч».

Кончив это письмо, Риго сложил его и швырнул к ногам Кленнэма.

— Вот вам! Кстати, насчет передачи, пусть кто-нибудь доставит это письмо по назначению и даст нам ответ.

— Кавалетто, — сказал Артур, — не возьметесь ли вы отнести это письмо?

Но красноречивый палец снова дал понять, что Кавалетто, разыскавший Риго с таким трудом, считает своей обязанностью сторожить его, сидя на полу, спиной к стене, обняв колени и не спуская глаз с Риго. В виду этого синьор Панкс снова предложил свои услуги. Когда его услуги были приняты, Кавалетто приотворил дверь настолько, чтобы синьор Панкс мог пролезть в нее, и тотчас же захлопнул ее снова.

— Дотроньтесь только до меня пальцем, оскорбите меня хоть словом, попробуйте задеть меня, пока я сижу здесь, попивая винцо, — сказал Риго, — и я верну письмо и отменю недельный срок. Вам нужно меня? Вы отыскиали меня? Что ж, нравлюсь я вам?

— Вы знаете, — сказал Кленнэм с горьким сознанием своего бессилия, — что я был свободен, когда начал разыскивать вас.

— Черт бы побрал и вас и вашу тюрьму! — возразил Риго, спокойно доставая из кармана портсигар и принимаясь свертывать папиросы своими гибкими пальцами. — Мне на вас наплевать. Контрабандист, огня!

Снова Кавалетто встал и исполнил его требований. Было что-то страшное в бездушном движении его холодных белых рук с гибкими, как змеи, пальцами. Кленнэм невольно внутренне содрогнулся, точно увидел целый клубок этих гадин.

— Эй, свинья! — крикнул Риго резким пронзительным голосом, точно Кавалетто был итальянский мул или лошадь. — Что? Та проклятая старая тюрьма была всё-таки приличнее этой. В тех решетках и стенах было что-то внушительное. То была тюрьма для людей. А это, ба, заведение для идиотов!

Он выкурил папиросу, причем безобразная улыбка не покидала его лица, так что казалось, будто он втягивает дым скорее кончиком носа, чем ртом. Закурив новую папиросу об окурок первой, он сказал Кленнэму:

— Надо как-нибудь скоротать время, пока вернется этот сумасшедший. Побеседуем. Жаль, что нельзя пить целый день крепкое вино, а то бы я потребовал другую бутылку. Эта женщина прелестна, сэр. Не совсем в моем вкусе, правда, но, гром и молния, прелестна! Одобряю ваш вкус.

— Я не знаю и знать не хочу, о ком вы говорите, — сказал Кленнэм.

— *Delia bella Gowana*,¹ сэр, как говорят в Италии. О миссис Гоуэн, прекрасной миссис Гоуэн.

— Да, ведь вы, кажется, состояли при муже... прихвостнем.

— Сэр, прихвостнем? Вы дерзки. Другом!

— Так вы продаете ваших друзей?

Риго вынул папироску изо рта и посмотрел на него с некоторым удивлением. Но тотчас же вложил ее обратно и холодно ответил:

— Я продаю все, что имеет цену. А чем же вы живете, — вы, юристы, вы, политики, вы, интриганы, вы, биржевики? Чем живете вы, — вы лично? Как вы попали сюда? Вы не продали друга? Бог мой, сдается мне, что да!

¹ *Delia bella Gowana (итал)* — красавица Гоуэн.

Кленнэм отвернулся к окну и стал смотреть на тюремную ограду.

— Так-то, сэр, — продолжал Риго, — общество продается и продает меня, а я продаю общество. Вы, как я вижу, знакомы и с той и с другой леди. Тоже хороша собой. Сильный характер. Посмотрим. Как вы ее называете? Уэд?

Он не получил ответа, но ясно видел, что не ошибся.

— Да, — продолжал он, — эта прелестная леди с сильным характером обращается ко мне на улице, и я не остаюсь глухим. Я отвечаю ей. Прелестная леди с сильным характером говорит мне совершенно откровенно: «Мне нужно удовлетворить мое любопытство и мою злобу. Кажется, ваша честность не выше обыкновенной». Я отвечаю: «Сударыня, я родился джентльменом и умру джентльменом; но моя честность не выше обыкновенной. Я презираю такие глупые фантазии». Она отвечает мне на это комплиментом: «Вся разница между вами и другими людьми в том, что вы говорите об этом откровенно». Да, она знает общество. Я принимаю этот комплимент галантно и вежливо. Вежливость и галантность — неотъемлемые черты моего характера. Тогда она объясняет мне, что видела нас вместе; что я, повидимому, друг дома, любимец семьи; что ей любопытно знать их отношения, их образ жизни, любят ли прекрасную Gowana, ласкают ли прекрасную Gowana и так далее. Она не богата, но может предложить мне маленькое вознаграждение за хлопоты и труды; и вот я грациозно, — сохраняя грацию во всех поступках тоже в моем характере, — выражаю согласие. О да, таков свет! На этом мир вертится.

Хотя Кленнэм сидел спиной к нему, но Риго наблюдал за ним своими сверкающими, слишком близко сдвинутыми глазами и, очевидно, по его позе угадывал, что всё, о чем он распространялся с таким хвастливым бесстыдством, было уже известно Кленнэму.

— Ух, прекрасная Gowana, — сказал он, закуривая третью папироску так осторожно, точно она могла улететь от самого легкого дыхания, — очаровательна, но неосторожна! Не следовало прекрасной Gowana прятать письма своих прежних любовников в спальне на вершине горы, чтобы они не могли попасть на глаза мужу. Нет, нет, не следовало. Ух, Gowana немножко промахнулась!

— Надеюсь, — громко сказал Артур, — что Панкс скоро вернется; присутствие этого человека оскверняет комнату.

— А? Но он процветает здесь, как и везде, — сказал Риго, нахально прищелкивая пальцами. — Всегда процветал, всегда будет процветать.

Растянувшись на всех трех стульях, находившихся в комнате (за исключением, конечно, того, на котором сидел Кленнэм), он запел, похлопывая себя по груди, точно он и был галантный герой песни:

Кто так поздно здесь проходит?

Это спутник Мажолэн.

Кто так поздно здесь проходит?

Смел и весел он всегда!

— Подтягивай, свинья! Помнишь, ты пел в той тюрьме. Пой припев! Или, клянусь всеми святыми, которых побили камнями, я приму это за обиду и оскорбление; и тогда некоторые люди, которые еще живы, пожалеют, что их не побили камнями!

Цвет всех рыцарей придворных,

Это спутник Мажолэн.

Цвет всех рыцарей придворных,

Смел и весел он всегда!

Отчасти по старой привычке повиноваться, отчасти из опасения повредить своему благодетелю, отчасти потому, что ему было все равно — петь или не петь, Кавалетто подхватил припев. Риго засмеялся и продолжал курить, зажмурив глаза.

Прошло еще четверть часа, и на лестнице послышались шаги мистера Панкса, но Кленнэму этот промежуток времени показался нестерпимо долгим. Его шаги сопровождались чьими-то другими, и когда Кавалетто отворил дверь, в комнату вошли мистер Панкс и мистер Флинтуинч. Увидев этого последнего, Риго кинулся к нему и бурно заключил его в свои объятия.

— Как поживаете, сэр? — спросил мистер Флинтуинч, довольно бесцеремонно освобождаясь от этих объятий. — Благодарю вас, нет; с меня довольно. — Это относилось ко вторичной попытке вновь обретенного друга заключить его в объятия.

— Так-то, Артур; помните, что я говорил вам насчет спящих и сбежавших собак? Я был прав, как видите.

Он оставался невозмутимым, как всегда, и рассудительно покачивал головой, осматривая комнату.

— Так это долговая тюрьма Маршалльси! — сказал он. — Ха! Вы привели продавать своих поросят на скверный рынок, Артур!

Артур молчал, но у Риго нехватило терпения. Он схватил своего Флинтуинчика за фалды с какой-то злобной игривостью и крикнул:

— Да ну вас к чёрту с рынком и поросятами! Ответ на мое письмо. Живо!

— Если вы найдете возможным выпустить меня на минутку, — возразил мистер Флинтуинч, — то я сначала отдам мистеру Артуру записочку, адресованную лично ему.

Он так и сделал. Это был клочок бумаги, на котором миссис Кленнэм набросала следующие слова:

«Надеюсь, довольны того, что ты разорился сам. Не разоряй же других. Иеремия Флинтуинч — мой посланный и представитель. Любящая тебя М.К.»

Кленнэм молча прочел записку дважды и затем разорвал ее на клочки. Тем временем Риго вскочил на кресло и уселся на спинку, поставив ноги на сиденье.

— Ну, красавец, Флинтуинч, — сказал он, когда записка была разорвана, — ответ на мое письмо.

— Миссис Кленнэм не написала ответа, мистер Бланда, судороги в пальцах мешают ей писать. Она просила меня передать вам на словах.

Мистер Флинтуинч приостановился и с видимой неохотой вывинтил из себя следующую фразу:

— Она просила передать вам поклон и сообщить, что находит возможным согласиться на ваши условия, но не решая вперед вопроса, который должен разрешиться через неделю.

Г-н Риго расхохотался и, соскочив со своего трона, сказал:

— Ладно! Пойду искать гостиницу! — но тут он встретился глазами с Кавалетто, который не оставлял своего поста. — Идем, свинья! — прибавил он. — Ты ходил за мной против моей воли, теперь пойдешь против своей. Говорю же вам, мои маленькие козьявки, я рожден для того, чтобы мне служили. Я требую, чтобы этот контрабандист прислуживал мне до истечения недельного срока.

В ответ на вопросительный взгляд Кавалетто Кленнэм сделал ему утвердительный знак, прибавив громко: «Если только вы не боитесь его». Кавалетто замахал пальцем в знак отрицания.

— Нет, господин, — сказал он, — я не боюсь теперь, когда мне не нужно скрывать своего знакомства с ним.

Риго не отвечал на эти замечания, пока не закурил новой папиросы и не собрался уходить.

— «Не боитесь его», — сказал он, обводя взглядом всех присутствовавших. — Ух, мои детки, мои пупсики, мои куколки, вы все боитесь его. Вы угощаете его вином; вы даете ему пищу, питье, квартиру, вы не смеете тронуть его даже пальцем или оскорбить словом. Нет, в его характере — торжествовать. Ух!

Цвет всех рыцарей придворных,
Смел и весел он всегда.

С этим припевом, примененным к собственной личности, он вышел из комнаты, а за ним по пятам последовал Кавалетто, которого он, быть может, потому и потребовал к себе в слуги, что не знал, как от него отделаться. Мистер Флинтуинч почесал подбородок, кивнул Артуру и последовал за ними. Мистер Панкс, всё еще удрученный раскаянием, тоже отправился, выслушав с величайшим вниманием несколько слов, сказанных ему Кленнэмом по секрету, и шепнув в ответ, что он не упустит из виду этого дела. Узник, чувствуя себя более чем когда-либо униженным, осмеянным и оскорбленным, беспомощным, удрученным и несчастным, остался один.

ГЛАВА XXIX

Друзья в Маршалси

Беспокойство и угрызения совести — плохие товарищи для заключенного. Томиться весь день и почти не отдыхать по ночам — плохой способ борьбы с несчастьем. На следующее утро Кленнэм почувствовал, что здоровье его пошатнулось, как уже пошатнулись его душевные силы, и что бремя, тяготевшее над ним, придавило его к земле.

Каждую ночь он вставал около двенадцати или часу, садился у окна и смотрел да тусклые фонари, мерцавшие

на дворе, поджидая рассвета. В эту ночь у него даже нехватило силы раздеться.

Какое-то жгучее беспокойство, мучительное нетерпение, уверенность, что ему суждено умереть здесь в отчаянии, терзали его невыразимо. Ужас и отвращение, возбуждаемые этим проклятым местом, не давали ему дышать спокойно. По временам удушье становилось до того невыносимым, что он подходил к окну, хватался за горло и едва переводил дыхание. В то же время тоска по вольному воздуху, стремление выйти за эти глухие мрачные стены доходили до того, что он боялся сойти с ума.

Многие узники испытывали то же самое и до него, и в конце концов самая интенсивность и непрерывность страдания приводили их к успокоению. То же случилось и с ним. Две ночи и день, проведенные в этом состоянии, совершенно истожили его. Оно возвращалось к нему припадками, но с каждым разом всё слабее и с большими промежутками. Оно заменилось спокойствием отчаяния, и в середине недели он впал в оцепенение под гнетом медленной изнурительной лихорадки.

Кавалетто и Панкс были заняты, так что Кленнэму грозили посещения только со стороны мистера и миссис Плорниш. Он боялся, что эта достойная чета вздумает заглянуть к нему. В том мучительном нервном настроении, какое он испытывал, ему хотелось оставаться одному. Кроме того, он не хотел, чтобы его видели таким унылым и слабым. Он написал миссис Плорниш, что должен всецело посвятить себя делам и на время отказаться от удовольствия видеть ее милое лицо.

Юный Джон, ежедневно заходивший к Кленнэму после дежурства узнать, не нужно ли ему чего-нибудь, всегда заставлял его углубленным в бумаги и слышал один и тот же ответ, произнесенный веселым тоном. Они никогда не возвращались к предмету своего единственного продолжительного разговора. Как бы то ни было, Кленнэм никогда не забывал о нем, в каком бы настроении ни находился.

Шестой день недели, назначенный Риго, был душный, сырой и туманный. Казалось, нищета, грязь и запущенность тюрьмы росли и созревали в этой затхлой атмосфере. Терзаясь головной болью и сердцебиением, Кленнэм провел ужасную бессонную ночь, прислушиваясь к шуму дождя о мостовую и представляя себе, как мягко

звучит он, падая на деревенскую землю. Тусклый, мутно-желтый круг поднялся на небе вместо солнца, и он следил за бледной полосой света, упавшей на стену и казавшейся лоскутом тюремных лохмотьев. Он слышал, как отворились тюремные ворота, как зашлепали стоптанные сапоги людей, ожидавших на улице, как началось тюремное утро, поднялась ходьба, послышались звуки насоса, шелест метлы, подметавшей двор. Больной и ослабевший до того, что должен был несколько раз отдыхать, пока умывался, он, наконец, дотащился до кресла перед окном. Тут он дремал, пока старуха, прислуживавшая ему, убирала комнату.

Ослабев от бессонницы и истощения (у него совсем пропал аппетит и даже вкус), он раза два или три принимался бредить ночью. Ему слышались в душном воздухе обрывки арий и песен, хотя он знал, что это обман слуха. Теперь, впав от слабости в забытие, он снова услышал их; к ним присоединились голоса, обращавшиеся к нему; он отвечал на них и вздрагивал.

В дремоте и грезе он не давал себе отчета во времени: минута могла показаться ему часом и час — минутой. Мало-помалу одно смутное впечатление овладело им — впечатление сада, цветочного сада. Влажный теплый ветерок доносил до него благоухание цветов. Ему так трудно было поднять голову, чтобы проверить это впечатление, что оно уже начинало надоедать ему, когда он собрался с силами и осмотрелся кругом. Подле стакана с чаем на столе лежал чудесный букет из редких и прелестных цветов.

Ему казалось, что он никогда не видал ничего прекраснее. Он взял букет и вдыхал его благоухание, прижимал его к своему горячему лбу, прикладывал к нему свои сухие ладони. Только насладившись его красотой и благоуханием, он спросил себя, откуда же взялись эти цветы, и, отворив дверь своей комнаты, хотел позвать старуху, которая, без сомнения, принесла их. Но она ушла, и, очевидно, давно уже ушла, так как чай, оставленный ею на столе, успел остыть. Он пытался выпить стакан, но запах чая показался ему невыносимым, и он снова уселся перед открытым окном, положив букет на маленьком столике.

Оправившись от утомления, вызванного усилием, которое он сделал над собой, когда встал и отворял дверь,

он впал в прежнее состояние. Опять ему послышались в воздухе обрывки арий; потом дверь тихонько отворилась, чья-то тихая фигурка появилась в комнате, сбросила с себя плащ, и ему показалось, что это его Крошка Доррит в старом, поношенном платье. Ему показалось, что она вздрогнула, всплеснула руками, улыбнулась и залилась слезами.

Он очнулся и вскрикнул. И тут только — в этом милом, любящем личике, в этих полных сожаления и скорби глазах — он увидел, точно в зеркале, как он изменился. И она подбежала к нему, положила свои руки к нему на грудь, чтобы удержать его в кресле, опустилась на колени к его ногам, подняла свое лицо навстречу его поцелую, и ее слезы падали на него, как дождь на цветы, и он видел перед собой ее, Крошку Доррит, живую и называвшую его по имени.

— О мой лучший друг! Дорогой мистер Кленнэм, не плачьте, я не могу видеть ваших слез. Если только вы не плачете от радости, что видите меня. Надеюсь, что это так. Ваше бедное дитя опять с вами.

Такая верная, нежная, не испорченная счастьем. В каждом звуке ее голоса, в блеске ее глаз, в прикосновении ее рук — всё та же верность и ангельская доброта.

Когда он обнял ее, она сказала ему: «Я не знала, что вы больны», — и, нежно охватив рукой его шею, прижала его голову к своей груди, положила другую руку к нему на голову, прижалась к ней щекой и ласкала, и утешала его так же нежно и так же невинно, как ласкала в этой самой комнате своего отца, когда сама была еще ребенком, нуждавшимся в ласках и попечениях других.

Когда способность говорить вернулась к нему, он сказал:

— Ужели это вы? И в этом платье?

— Я думала, что вам приятнее будет видеть меня в этом платье, чем в каком-нибудь другом. Я сберегла его на память о прошлом, хотя и не нуждалась в напоминаниях. Я не одна, со мной моя старая подруга.

Он оглянулся и увидел Мэгги в ее старом огромном чепце, которого она давно уже не надевала, с корзиной в руке, как в прежние дни, и с сияющей физиономией.

— Я приехала в Лондон только вчера вечером вместе с братом. Тотчас же по приезде я послала к миссис

Плорниш, чтобы узнать о вас и сообщить вам о моем приезде. Тогда я и узнала, что вы находитесь здесь. Вспоминали вы обо мне в эту ночь? Я почти уверена, что вспоминали. Я думала о вас с таким беспокойством, что едва могла дождаться утра.

— Я вспоминал о вас. — Он остановился, не зная, как назвать ее. Она сейчас же заметила это.

— Вы еще ни разу не называли меня моим старым именем. Вы помните мое имя?

— Я вспоминал о вас, Крошка Доррит, каждый день, каждый час, каждую минуту с тех пор, как нахожусь здесь.

— Да, да?

Он видел, как ее лицо вспыхнула радостью, и ему стало стыдно. Он — разбитый, нищий, больной, опозоренный арестант.

— Я пришла сюда прежде, чем отперли ворота, но не решилась идти прямо к вам. Я боялась, что скорее расстрою вас, чем обрадую. Тюрьма показалась мне такой спокойной и в то же время такой чужой, воспоминания о моем бедном отце и о вас нахлынули на меня с такой силой, что я не могла справиться со своим волнением. Но мы зашли сначала к мистеру Чивери, и он проводил нас сюда и провел в комнату Джона, мою старую комнату, помните, и мы посидели там, пока я оправилась. Я подходила к вашей двери, когда принесла цветы, но вы не слышали.

Она выглядела более женственной, чем при их разлуке, и итальянское солнце покрыло загаром ее лицо. Но в остальном она не изменилась. Те же застенчивые, серьезные манеры, которых он никогда не мог видеть без волнения. Если они приобрели теперь новое значение, потрясшее его до глубины души, то потому, что изменился его взгляд на нее, а не она сама.

Она сияла свою старую шляпку, повесила ее на старом месте и без шума принялась с помощью Мэгги чистить и приводить в порядок комнату, обрызгивая ее душистой водой. Затем распаковали корзину, в которой оказался виноград и разные фрукты. Разложив их на столе, она что-то шепнула Мэгги, и Мэгги куда-то исчезла с корзиной, но вскоре вернулась с новыми запасами: прохладительным питьем, желе, жареными цыплятами и вином. Управившись со всем этим, она раскрыла свой

рабочий ящик и принялась шить занавеску для окна, и вот он снова спокойно сидел в кресле, а Крошка Доррит работала подле него, и ему казалось, что мир, принесенный ею, разливается по всей тюрьме.

Видеть эту скромную головку, наклонившуюся над шитьем, эти проворные пальчики, занятые работой, от которой ее сострадательные глаза часто отрывались, чтобы взглянуть на него, и всякий раз в них дрожали слезы; наслаждаться этим счастьем и утешением и сознавать, что вся самоотверженность этой великой души, все неистощимое сокровище ее доброты устремлены на него, на облегчение его горя, — всего этого было недостаточно, чтобы поднять его физические силы, уничтожить дрожь его голоса или рук. Но всё это внушало ему душевную бодрость, которая росла вместе с его любовью. А как он любил ее теперь! Слова не могли бы передать этого чувства.

Они сидели рядом в тени тюремной стены, и тень эта казалась ему теперь светом. Она не позволяла ему много говорить, и он только смотрел на нее, откинувшись на спинку кресла. Время от времени она вставала, подавала ему стакан или поправляла подушку у него под головой; затем снова садилась и наклонялась над работой.

Тень двигалась вместе с солнцем, но Крошка Доррит оставалась вместе с ним и отходила от него только в тех случаях, когда нужно было чем-нибудь услужить ему. Солнце село, а она всё еще была с ним. Она кончила работу, и ее рука лежала на ручке кресла. Он положил на нее свою руку, и она сжала ее с робкой мольбой.

— Дорогой мистер Кленнэм, мне нужно оказать вам несколько слов, прежде чем я уйду. Я откладывала это с часу на час, но теперь должна сказать.

— Я тоже, милая Крошка Доррит, я тоже откладывала то, что мне нужно вам сказать.

Она с беспокойством поднесла руку к его губам, точно желая остановить его, потом снова уронила ее на прежнее место.

— Я не поеду больше за границу. Мой брат поедет, я же останусь здесь. Он всегда любил меня, а теперь относится ко мне с такой благодарностью, только за то, что я ухаживала за ним во время его болезни, что предо-

ставил мне свободу оставаться, где хочу, и делать, что хочу. Он говорит, что хочет только одного: видеть меня счастливой.

Только одна яркая звезда светила на небе. Она глядела на нее, точно в ней светилось заветное желание ее сердца.

— Вы, я думаю, сами поймете, что мой брат вернулся в Англию только для того, чтобы узнать, оставил ли мой дорогой отец завещание, и вступить во владение наследством. Он говорит, что если завещание есть, то я, несомненно, получу большое состояние, если же нет, то он сделает меня богатой.

Он хотел было прервать ее, но она снова подняла свою дрожащую руку, и он остановился.

— Мне не нужны деньги, мне нечего с ними делать. Они не имели бы никакой цены в моих глазах, если бы не были нужны для вас. Я не могу жить в богатстве, пока вы живете здесь. Я буду чувствовать себя хуже нищей, зная, что вы несчастны. Позвольте мне отдать вам всё, что у меня есть. Позвольте мне доказать вам, что я никогда не забывала и не забуду, как вы покровительствовали мне в то время, когда эта тюрьма была моим домом. Дорогой мистер Кленнэм, сделайте меня счастливейшей девушкой на свете, скажите «да». Или, по крайней мере, сделайте меня счастливой настолько, насколько я могу быть счастливой, оставляя вас здесь: не отвечайте сегодня, позвольте мне уйти с надеждой, что вы согласитесь ради меня. Не ради вас, а ради меня, только ради меня. Вы доставите мне величайшую радость, какую я могу испытать на земле: сознание, что я была полезна для вас, что я уплатила хоть отчасти мой долг благодарности и привязанности. Я не могу высказать всё, что я хотела бы сказать. Видя вас здесь, где я жила так долго, я не могу говорить так спокойно, как бы следовало. Я не могу удержаться от слез. Но умоляю, умоляю, умоляю вас, не отворачивайтесь от вашей Крошки Доррит теперь, когда вы в несчастье. Прошу и умоляю вас от всего сердца, тоскующего сердца, мой друг. Мой милый, возьмите всё, что у меня есть, не откажите мне в этой радости.

Звезда всё время играла на ее лице, но теперь Крошка Доррит прижалась к его руке.

В комнате уже стемнело, когда он поднял ее и с нежностью сказал:

— Нет, милая Крошка Доррит, нет, дитя мое. Я и слушать не должен о такой жертве. Свобода и надежда, купленные такой ценой, обойдутся так дорого, что я не вынесу их тяжести. Совесть замучит меня. Но бог свидетель, с какой горячей благодарностью и любовью я говорю это.

— И вы всё-таки не хотите, чтобы я осталась верной вам в вашем несчастье?

— Скажите лучше, милая Крошка Доррит, что все-таки я хочу остаться верным вам. Если бы в давно минувшие дни, когда эта тюрьма была вашим домом и это платье вашим единственным платьем, я лучше понимал самого себя (я говорю только о самом себе) и яснее различал тайны своего сердца; если бы моя сдержанность и недоверие к себе не помешали мне разглядеть свет, который так ярко сияет передо мной теперь, когда он ушел от меня и мои слабые шаги не могут уж догнать его; если бы я сознавал и сказал вам тогда, что люблю и чту в вас не бедное дитя, как я называл вас, а женщину, чья верная рука возвысит меня и сделает лучше и счастливее; если бы я воспользовался случаем, который уже не вернется, — о, если бы я им воспользовался, если бы я им воспользовался! — и если бы что-нибудь разлучило нас тогда, когда у меня было небольшое состояние, а вы были бедны, то, может быть, я иначе ответил бы теперь на ваше великодушное предложение, хотя все-таки мне было бы стыдно принять его. Но теперь я не могу, я не должен принимать его.

Она молчала, но ее дрожащая рука умоляла его красноречивее слов.

— Я и так достаточно опозорен, милая Крошка Доррит. Я не хочу упасть еще ниже и увлечь за собой вас, милую, добрую, великодушную. Бог благословит вас, бог вознаградит вас. Все это прошло.

Он обнял ее, как будто она была его дочерью.

— И тогда я был гораздо старше, грубее, хуже вас, но мы оба должны забыть, чем я был тогда, и вы должны видеть меня таким, каков я теперь. Примите мой прощальный поцелуй, дитя мое, — вы, которая могли бы быть гораздо ближе мне, но не могли бы быть милее дня меня,

примите его от несчастного человека, который навеки удален от вас, навеки разлучен с вами, от человека, чей жизненный путь уже окончен, тогда как ваш только начинается. У меня нехватает духа просить вас, чтобы вы забыли обо мне, но я прошу вас помнить меня только таким, каков я теперь.

Зазвонил звонок, приглашая посетителей удалиться. Он снял со стены ее плащ и нежно укутал ее.

— Еще слово, милая Крошка Доррит, тяжелое для меня, но необходимое. Время, когда между вами и тюрьмой было что-нибудь общее, давно миновало. Вы понимаете меня?

— О, вы не хотите сказать, — воскликнула она, заливаясь слезами и с мольбой сложив руки, — что я не должна больше навещать вас! Нет, вы не хотите расстаться со мной навеки!

— Сказал бы, если бы мог, но у меня нехватает мужества отказаться от надежды видеть ваше милое личико. Но не приходите сюда слишком часто. Это зараженное место, и я уже чувствую, что зараза коснулась меня. Вы принадлежите к более светлому и счастливому миру. Ваш путь ведет не сюда, Крошка Доррит, он должен вести вас к счастью. Да благословит вас бог. Да наградит вас бог.

Тут Мэгги, совсем приунывшая, слушая этот разговор, воскликнула:

— О, отдайте его в госпиталь, отдайте его в госпиталь, мама. Он никогда не поправится, если вы не отдадите его в госпиталь. И тогда маленькая женщина, которая всегда сидела за прялкой, подойдет с принцессой к буфету и скажет: куда вы девали цыплят? И тогда достанут цыплят и дадут ему, и все будут счастливы.

Этот перерыв был весьма своевременным, так как звонок уже перестал звонить. Снова закутав ее в плащ и взяв под руку (хотя перед ее посещением он едва мог ходить от слабости), Артур проводил ее по лестнице. Она вышла после всех посетителей, и ворота захлопнулись за ней с тяжелым и безнадежным звуком.

Он прозвучал в сердце Артура похоронным звоном, и вся его слабость вернулась к нему. С большим трудом добрался он до своей комнаты и вошел в нее, чувствуя себя глубоко несчастным.

Было уже около полуночи, и тюрьма давно затихла, когда чьи-то осторожные шаги послышались на лестнице

и кто-то тихонько постучал в дверь. Это был юный Джон. Он проскользнул в комнату в одних чулках, запер за собой дверь и сказал шёпотом:

— Это против правил, но всё равно; я решил непременно зайти к вам.

— Что случилось?

— Ничего особенного, сэр. Я дожидался мисс Доррит на дворе, когда она ушла от вас. Я думал, вам приятно будет узнать, что она благополучно вернулась к себе.

— Благодарю вас, благодарю вас. Так вы ее проводили, Джон?

— Проводил до гостиницы. Той самой, где останавливался мистер Доррит. Мисс Доррит шла пешком всю дорогу и говорила со мной так ласково, что я едва выдержал. Как вы думаете, почему она пошла пешком?

— Не знаю, Джон.

— Чтобы поговорить о вас. Она сказала мне: «Джон, вы всегда были честным человеком, и если вы обещаете мне заботиться о нем и смотреть, чтобы он ни в чем не нуждался, я буду спокойна». Я обещал. И теперь я ваш навеки.

Кленнэм, тронутый, протянул руку честному юноше.

— Прежде чем я возьму ее, — сказал Джон, не отходя от двери, — угадайте, какое поручение дала мне мисс Доррит.

Кленнэм покачал головой.

— «Скажите ему, — повторил юный Джон ясным, хотя и дрожащим голосом, — что его Крошка Доррит посылает ему свою вечную любовь». Я сказал. Честно ли я поступил, сэр?

— О да, да.

— Скажете ли вы мисс Доррит, что я честно поступил?

— Непременно.

— Вот моя рука, сэр, — сказал Джон, — я ваш навеки.

Обменявшись с Кленнэмом сердечным рукопожатием, он тихонько выбрался в коридор, прокрался по двору, запер за собой ворота и вышел на передний двор, где оставил свои сапоги. Весьма возможно, что если бы этот путь был вымощен раскаленными плитами, Джон пробрался бы по нему с тем же самоотвержением ради той же цели.

ГЛАВА XXX

К развязке

Последний день недели, назначенный Риго, осветил решетки Маршалъси. Черные всю ночь, с той минуты как ворота захлопнулись за Крошкой Доррит, их железные брусья загорелись золотом в лучах солнца. Далеко, через весь город, над хаосом крыш и колоколен протянулись длинные светлые лучи — решетка тюрьмы, называемой землей.

В течение целого дня ни один посетитель не заглянул в старый дом, обнесенный оградой. Но когда солнце склонилось к западу, трое людей вошли в калитку и направились к ветхому зданию.

Впереди шел Риго, покуривая папиросу. Мистер Батист плелся за ним по пятам, не спуская с него глаз. Мистер Панкс замыкал шествие; он держал шляпу подмышкой, предоставив свободу своим непокорным волосам, так как было очень жарко. Они подошли к подъезду.

— Вы, пара сумасшедших, — сказал Риго, оглядываясь, — пока не уходите.

— Мы не собираемся уходить, — сказал мистер Панкс.

Ответив на эти слова мрачным взглядом, Риго постучал в дверь. Чтобы лучше разыграть свою игру, он хватил изрядную дозу спиртного и теперь торопился начать. Не успел замереть отголосок его удара, как он снова принялся за молоток. После второго удара мистер Флинтуинч отворил дверь, и все трое вошли в переднюю. Риго, оттолкнув мистера Флинтуинча, отправился прямо наверх. Оба его спутника последовали за ним, мистер Флинтуинч замыкал шествие, и все четверо ввалились в комнату миссис Кленнэм. В ней всё оставалось по-старому, только одно из окон было открыто, и миссис Флинтуинч сидела на подоконнике, штопая чулок. Всё те же предметы лежали на столике, тот же умирающий огонь тлел в камине; тем же покрывалом была прикрыта постель, и сама хозяйка дома сидела на том же черном, похожем на катафалк диване, опираясь на ту же черную, жесткую подушку вроде плахи.

И тем не менее в комнате чувствовалось что-то неуловимое, какие-то приготовления, как будто ее прибрали ради особенно торжественного случая. В чем заключались

эти приготовления — никто не мог бы объяснить (так как каждый предмет в комнате находился на прежнем месте), не всмотревшись в лицо хозяйки, и то если бы знал это лицо раньше. Хотя каждая складка ее черного платья оставалась неизменной, хотя она сидела в той же застывшей позе, но легкое изменение в чертах ее лица и морщина на ее суровом лбу были так выразительны, что придавали новый характер всему окружающему.

— Кто это? — спросила она с удивлением, взглянув на спутников Риго. — Что им нужно?

— Вам интересно знать, кто это, милостивая государыня? — сказал Риго. — Чёрт побери, это друзья вашего сына, арестанта. Вам интересно знать, что им нужно? Убей меня бог, если я знаю. Спросите их самих.

— Вы, однако, сами сказали нам у подъезда, чтобы мы не уходили, — заметил Панкс.

— А вы отвечали, что и не собираетесь уходить, — возразил Риго. — Одним словом, сударыня, позвольте мне представить вам шпионов нашего арестанта, сумасшедших, правда, но шпионов. Если вы желаете, чтобы они присутствовали при нашем разговоре, вам стоит только сказать слово. Мне решительно все равно

— С какой стати мне желать этого? — сказала миссис Кленнэм. — На что мне они?

— В таком случае, дражайшая миссис Кленнэм, — сказал Риго, бросаясь в кресло так грузно, что стены задрожали, — отпустите их. Это ваше дело. Это не мои шпионы, не мои негодяи.

— Слушайте вы, Панкс, — сурово сказала миссис Кленнэм, — вы приказчик Кэсби, занимайтесь делами вашего хозяина, а не моими. Ступайте, да и этого тоже заберите с собой.

— Благодарствуйте, сударыня, — ответил мистер Панкс, — с удовольствием могу сказать, что ничего не имею против этого. Мы сделали всё, что взялись сделать для мистера Кленнэма. Он постоянно беспокоился (особенно с тех пор, как попал под арест) насчет того, чтобы возвратить этого приятного джентльмена в то место, откуда он потихоньку удрал. Вот он отыскался. И я скажу этой гнусной роже, — прибавил мистер Панкс, — что, по моему мнению, мир не сделался бы хуже, если бы избавился от нее.

— Вашего мнения не спрашивают, — сказала миссис Кленнэм. — Ступайте.

— Весьма сожалею, что приходится оставить вас в такой скверной компании, — сказал Панкс, — сожалею и о том, что мистер Кленнэм не может присутствовать здесь. Это моя вина.

— То есть его собственная, — возразила она.

— Нет, моя, сударыня, — возразил Панкс, — так как, к несчастью, это я уговорил его так неудачно поместить деньги — (Мистер Панкс упорно держался за термин «помещение»). — Хотя я могу доказать цифрами, — продолжал он, оживляясь, — что имел полное право считать это помещение денег хорошим. Я каждый день со времени краха проверял расчеты, и что касается цифр, то могу сказать — они несокрушимы. Теперь не время, — продолжал мистер Панкс, любовно заглядывая в шляпу, где лежали расчеты, — входить в подробности насчет цифр; но цифры неоспоримы. Мистер Кленнэм должен был бы в настоящую минуту разъезжать в карете, запряженной парой лошадей, а у меня было бы от трех до пяти тысяч фунтов.

Мистер Панкс взъерошил волосы с таким уверенным видом, что вряд ли мог бы выглядеть победоноснее, если бы деньги лежали у него в кармане. Эти неоспоримые цифры занимали всё его свободное время с того момента, как он потерял деньги, и должны были доставлять ему утешение до конца его дней.

— Впрочем, — продолжал он, — довольно об этом. Альтро, ведь вы видели цифры, старина, и знаете, что из них получается.

Мистер Батист, который решительно не мог этого знать по совершенному отсутствию математических способностей, кивнул головой и весело оскалил свои белые зубы.

Мистер Флинтуинч, всё время всматривавшийся в него, неожиданно вмешался в разговор:

— О, это вы? То-то я смотрю, — знакомое лицо. Но никак не мог вспомнить, пока не увидел ваши зубы. Ну да, конечно. Это тот самый назойливый бродяга, — прибавил он, обращаясь к миссис Кленнэм, — который стучался в тот вечер, когда у нас были Артур и сорока, и засыпал меня вопросами насчет мистера Бландуа.

— Верно, — весело подхватил мистер Батист. — И за-

метьте, я всё-таки разыскал его, padrone.¹ Нашел его, соответствовательно поручению.

— Я бы ничуть не огорчился, — возразил мистер Флинтуинч, — если бы вы «соответствовательно» сломали себе шею.

— Теперь, — сказал мистер Панкс, взгляд которого не раз украдкой останавливался на окне и на штопавшемся чулке, — мне остается сказать только два слова, прежде чем я уйду. Если бы мистер Кленнэм был здесь, но он, к несчастью, болен и в тюрьме, болен и в тюрьме, бедняга, хоть и сумел доставить сюда этого превосходного джентльмена против его воли, — да, так если бы он был здесь, — заключил мистер Панкс, сделав шаг к окну и дотронувшись правой рукой до чулка, — он сказал бы: «Эффри, расскажите ваши сны».

Мистер Панкс поднял указательный палец между своим носом и чулком в знак предостережения и запыхтел прочь, потащив за собой на буксире мистера Батиста. Наружная дверь захлопнулась за ними, их шаги глухо прозвучали по двору, а в комнате никто еще не нарушал молчания. Миссис Кленнэм и Иеремия обменялись взглядом; затем оба уставились на Эффри, которая с великим усердием штопала чулок.

— Ну, — сказал наконец мистер Флинтуинч, подвигаясь зигзагами к окну и вытирая ладони рук о фалды сюртука, точно приготавливаясь к какой-то работе, — на чем бы мы ни порешили, чем скорей порешим, тем лучше. Итак, Эффри, жена моя, убирайся.

В одно мгновение Эффри бросила на пол чулок, вскочила, ухватилась правой рукой за косяк, оперлась правым коленом о подоконник и принялась отмахиваться левой рукой, точно ожидая атаки.

— Нет, я не пойду, Иеремия, не пойду, не пойду. Не пойду, останусь здесь. Я услышу всё, чего не знаю, и расскажу всё, что знаю. Я хочу, наконец, знать всё, или я умру. Хочу, хочу, хочу, хочу.

Мистер Флинтуинч, задыхаясь от негодования и изумления, послюнил пальцы одной руки, тихонько обвел ими круг на ладони другой, с угрозой оскалив зубы, и продолжал подвигаться зигзагами к своей супруге, бор-

¹ Padrone (итал.) — хозяин, господин

моча какую-то неясную угрозу, в которой можно было разобрать только: «Та-а-кую порцию...».

— Не подходи, Иеремия, — визжала Эффри, не переставая отмахиваться, — не подходи, или я подыму всех соседей. Выскочу из окна, закричу караул, мертвых разбужу. Остановись, или я так завизжу, что мертвые встанут.

— Стойте! — произнес твердый голос миссис Кленнэм. Иеремия остановился.

— Дело близится к развязке, Иеремия. Оставьте ее Эффри, так вы пойдете против меня, — теперь, после стольких лет?

— Да, если узнать то, чего я не знаю, и рассказать то, что я знаю, — значит идти против вас. Теперь у меня вырвалось это наружу, и я не могу остановиться. Я решила на это. Я так хочу, хочу, хочу, хочу. Если это значит идти против вас — пускай. Я иду против вас обоих, хитрецов. Я говорила Артуру, когда он приехал, чтобы он пошел против вас. Я говорила, что если меня запугали на смерть, так ему-то нет причин быть запуганным. С тех пор тут творятся разные темные дела, и я больше не позволю Иеремии мучить меня, не хочу, чтобы меня дурачили и запугивали, не хочу быть участницей в бог знает каких делах. Не хочу, не хочу, не хочу! Я буду стоять за Артура, когда он разорен, болен, и в тюрьме, и не может сам постоять за себя. Буду, буду, буду, буду.

— Почем вы знаете, нелепая вы женщина, — сурово спросила миссис Кленнэм, — что, поступая таким образом, вы оказываете услугу Артуру?

— Я ничего не знаю толком, — отвечала Эффри, — и если когда-нибудь вы сказали правдивое слово, так именно теперь, когда назвали меня нелепой женщиной, потому что вы оба, хитрецы, сделали меня такой. Вы обвенчали меня насильно, и с тех пор я жила среди таких страхов и снов наяву, что поневоле превратилась в нелепую женщину. Вы этого и добивались, но я больше не стану вам покоряться, — не стану, не стану, не стану, не стану.

Она попрежнему отбивалась от невидимых врагов.

Посмотрев на нее некоторое время молча, миссис Кленнэм обратилась к Риго:

— Вы видите и слышите эту полоумную. Имеете вы

что-нибудь против ее желаний остаться здесь и мешать нам?

— Я, сударыня? — отвечал он. — С какой стати? Об этом нужно спросить вас.

— Я не возражаю, — отвечала она угрюмо — Теперь всё равно. Флинтуинч, дело близится к развязке.

Мистер Флинтуинч бросил свирепый взгляд на свою супругу и, как бы удерживая себя от нападения на нее, засунул руки под жилет и, почти упираясь подбородком в локти, остановился в углу, пристально наблюдая за Риго. Последний уселся на стол, болтая ногами. Приняв эту удобную позу, он устремил взгляд на твердое лицо миссис Кленнэм, и усы его поднялись, а нос опустился.

— Сударыня, я джентльмен...

— Который, — перебила она своим суровым тоном, — как я слышала, сидел во французской тюрьме по обвинению в убийстве.

Он отвечал ей воздушным поцелуем, с преувеличенной любезностью.

— Совершенно верно. Именно. И притом — в убийстве дамы. Какая нелепость! Как неправдоподобно! Я одержал тогда полную победу; надеюсь одержать и теперь. Целую ваши ручки. Сударыня, я джентльмен (как я только что заметил), который, сказав: «Я покопчу с таким-то делом в такой-то день», — исполняет свои слова. Объявляю вам, что это — наше последнее совещание о нашем дельце. Вы изволите следить за моими словами и понимать меня?

Она пристально смотрела на него, нахмутив брови.

— Да.

— Далее, я джентльмен, для которого денежные торговые сделки сами по себе не существуют, хотя он принимает деньги как средство жить в свое удовольствие. Вы изволите следить за мной и понимать меня?

— К чему спрашивать? Да.

— Далее, я джентльмен самого мягкого и кроткого нрава, но способен дойти до бешенства, если меня заденут. Благородные натуры всегда способны дойти до бешенства при таких обстоятельствах. Я обладаю благородной натурой. Когда лев проснулся — то есть, когда я взбешен, — удовлетворение моего бешенства становится для меня дороже денег. Вы попрежнему изволите следить за мной и понимать меня?

— Да, — отвечала она, несколько повысив голос.

— Я сказал, что это — наше последнее совещание. Позвольте мне напомнить вам два предыдущие.

— В этом нет надобности.

— Чёрт побери, сударыня, — разгорячился он, — это моя прихоть. Кроме того, это проясняет положение. Первое совещание ограничивалось формальностями. Я имел честь познакомиться с вами, представить рекомендательное письмо. Я авантюрист, сударыня, к вашим услугам, но мои изящные манеры доставили мне популярность в качестве преподавателя языков среди ваших соотечественников, которые хоть и выглядят такими же накрахмаленными, как их воротнички, в отношениях друг к другу, но всегда готовы растаять перед иностранным джентльменом с изящными манерами. Тогда же мне удалось подметить в этом почтенном доме, — он с улыбкой огляделся, — кое-какие мелочи, убедившие меня в том, что я имел 'высокое удовольствие познакомиться с той самой леди, которую искал. Этим я и удовольствовался. Я дал честное слово нашему милому Флинтуинчу, что еще возвращусь. Затем я милостиво удалился.

Лицо миссис Кленнэм не выражало ни спокойствия, ни тревоги. Молчал ли он или говорил, она смотрела на него всё тем же спокойным, суровым взором, с тем же выражением готовности к чему-то необычайному.

— Я говорю — милостиво удалился, так как, конечно, с моей стороны было очень милостиво уйти, не беспокоив леди. Милосердие — в характере Риго-Бландуа. Это было вместе с тем весьма тонко сделано, так как оставляло вас в неопределенном положении, в ожидании визита, возбуждавшего в вас смутные опасения. Но ваш покорнейший слуга дипломат. Клянусь небом, сударыня, он дипломат. Вернемся к делу. Не назначив заранее дня, я являюсь к вам вторично. Я сообщаю вам, что у меня есть вещица, которую я могу продать, если же она останется не проданной, то жестоко скомпрометирует высокоуважаемую мной леди. Я излагаю дело в общих чертах. Я требую... кажется, тысячу фунтов. Может быть, вы поправите меня?

Принужденная отвечать, она неохотно сказала:

— Вы требовали тысячу фунтов.

— Теперь я требую две. Таковы невыгоды отсрочки. Но будем продолжать по порядку. Вы не соглашаетесь;

мы расходимся. Я подшучиваю, шутливость — в моем характере. Шутя я пропадаю без вести. Да уж только за то, чтобы избавиться от подозрений, возбужденных моим исчезновением, стоило заплатить половину назначенной мной суммы. Случай и шпионы расстраивают мою шутку и срывают плод, быть может (кто знает? — только вы да Флинтуинч) уже созревший. И вот, сударыня, я снова появляюсь здесь, уже в последний раз. Слышите, в последний раз.

Постучав каблуками о ножку стула и встретив нахальным взглядом ее суровые глаза, он заговорил более грубым тоном:

— Ба! Пойдите. Будем действовать по порядку. Не угодно ли уплатить по счету из гостиницы, согласно условию. Через пять минут мы, чего доброго, будем на ножках. Я не стану ждать, а то вы меня надуете. Платите. Отсчитывайте мне деньги.

— Возьмите у него счет и заплатите, Флинтуинч,— сказала миссис Кленнэм.

Он швырнул счет в физиономию мистеру Флинтуинчу и, протянув руку, крикнул:

— Платите! Раскошеливайтесь! Чистоганом!

Иеремия взял счет, бросил бешеный взгляд на итог, достал из кармана маленький полотняный кошелек и положил деньги в протянутую руку.

Риго побренчал деньгами, взвесил их на ладони, слегка подбросил кверху, поймал и снова побренчал.

— Этот звук для храброго Риго-Бландуа — точно запах свежего мяса для тигра. Так как же, сударыня? Сколько дадите?

Он неожиданно повернулся к ней с угрожающим жестом руки, в которой зажал деньги, точно собирался нанести ей удар.

— Я вам скажу то же, что говорила раньше: мы не так богаты, как вы думаете, и ваше требование является чрезмерным. В настоящую минуту я не имею возможности исполнить такое требование, если даже соглашусь на него.

— Если! — воскликнул Бландуа. — Послушайте эту леди с ее «если». Так вы, пожалуй, скажете, что несогласны?

— Я скажу то, что сама хочу сказать, а не то, что вы хотите сказать за меня.

— Говорите же, согласны или нет? Живо. Говорите, а не то я знаю, что мне нужно делать.

Она отвечала прежним тоном, не ускоряя и не замедляя своей речи:

— Кажется, вы завладели какой-то бумагой или бумагами, которые мне, конечно, желательно было бы получить обратно.

Риго с хохотом забарабанил каблуками о пол и побренчал деньгами.

— Я думаю! В этом-то я вам верю!

— Быть может, эта бумага стоит того, чтобы я за нее заплатила, но сколько именно — я не могу сказать.

— Что за чёрт! — сказал он злобно. — Это после недельной-то отсрочки?

— Да. Я не стану при моих скудных средствах, так как повторяю — мы скорей бедны, чем богаты, платить за то, что мне доподлинно неизвестно. Вот уже третий раз вы являетесь с какими-то намеками и угрозами. Говорите толком, в чем дело, или убирайтесь, куда хотите, и делайте, что хотите. Пусть лучше меня сразу растерзают на куски, но я не хочу, чтобы со мной играла, как с мышью, такая кошка.

Он так пристально посмотрел на нее своими сдвинутыми глазами, что его зловещие взгляды, казалось, скрещивались над крючковатым носом. После продолжительной паузы он сказал со своей адской усмешкой:

— Вы смелая женщина, сударыня.

— Я решительная женщина.

— И всегда были такой... Что, она всегда была такой, — не правда ли, Флинтуинч?

— Флинтуинч, не отвечайте ему. Теперь его очередь говорить все, что он может сказать, или убираться и делать всё, что он может сделать. Вы помните наше решение? Пусть сам выбирает.

Она не опустила глаз перед его зловещим взглядом и не избегала его. Он снова устался на нее, но она не шелохнулась. Он соскочил со стола, пододвинул стул к дивану, уселся и, облокотившись на диван, дотронулся до ее руки. Лицо ее оставалось попрежнему суровым, внимательным и спокойным.

— Итак, вам угодно, сударыня, чтобы я рассказал вам эпизод из одной семейной истории в этом малень-

ком семейном кружке, — сказал Риго. — Я немножко знаком с медициной. Позвольте-ка ваш пульс.

Она позволила ему взять себя за руку. Отыскав пульс, он продолжал:

— История одного странного брака, одной странной матери, история мести и тайного гнета. Э-ге-ге! Как странно бьется пульс. Вдвое скорее, чем раньше. Это один из симптомов вашей болезни, сударыня?

Ее рука судорожно дрогнула, но лицо оставалось неподвижным. Она вырвала руку. Он продолжал со своей всегдашней улыбкой:

— Я вел жизнь, полную приключений. Я люблю приключения, это в моем характере. Я знал многих авантюристов; интересный народ, приятное общество! Одному из них я обязан сведениями и доказательствами, — доказательствами, почтенная леди, относительно интереснейшей семейной истории, к которой я и приступаю. Она позабавит вас. Но... постойте, я и забыл. Надо же дать заглавие истории. Назовем ее историей одного дома. Нет... постойте. Домов много. Назовем ее историей этого дома.

Опираясь на диван левым локтем, раскачиваясь на стуле, дотрагиваясь время от времени до ее руки, чтобы сильнее подчеркнуть свои слова, скрестив ноги, то поглаживая волосы, то покручивая усы, то потирая нос, всегда с угрозой, грубый, наглый, хищный, жестокий, сознающий свою силу, он рассказывал, не торопясь:

— Итак, я намерен рассказать историю этого дома. Начинаю. Жили здесь, скажем, дядя и племянник. Дядя — суровый, старый джентльмен с железным характером, племянник — робкий, смиренный и забитый.

Тут миссис Эффри, внимательно следившая за рассказом, сидя на подоконнике, кусая скрученный конец передника и дрожа всем телом, внезапно вскрикнула:

— Не трогай меня, Иеремия! Я слышала в своих снах об отце Артура и его дяде. Он о них говорит. Это было еще до меня, но я слышала в своих снах, что отец Артура был жалкий, нерешительный, запуганный малый, что его, сироту, еще с детства запугали до полусмерти, что и жену ему выбрал дядя, не спрашивая о его желании. Вот она сама сидит здесь. Я слышала это в своих снах, а вы рассказываете это ей самой.

Мистер Флинтуинч погрозил ей кулаком, миссис Клен-

нэм сурово взглянула на нее, а Риго послал ей воздушный поцелуй.

— Совершенно верно, дорогая миссис Флинтуинч. Вы истинный гений по части снов.

— Я не нуждаюсь в ваших похвалах, — возразила Эффри. — Я не для вас говорю. Но Иеремия уверял, будто это были сны, и я расскажу их.

Тут она снова засунула в рот конец передника, точно хотела заткнуть кому-нибудь глотку, может быть Иеремии, который трясся от злости, точно от холода.

— Наша милейшая миссис Флинтуинч, — сказал Риго, — обнаруживает поистине чудесную наблюдательность и остроумие. Да. Итак, история продолжается. Дядя приказывает племяннику жениться. Дядя говорит ему: «Племянник, я намерен женить тебя на леди с железным характером, таким же, как у меня, решительной, суровой, с непреклонной волей, на женщине, которая сотрет в порошок более слабого, безжалостной, не способной любить, неумолимой, мстительной, холодной, как камень, и бешеной, как пламя». Ах, какая сила воли! Какая высокая энергия! Какой гордый и благородный характер! Я описываю его предполагаемыми словами дядюшки. Ха-ха-ха! Чёрт побери, я в восторге от этой милой леди.

Лицо миссис Кленнэм изменилось. Оно как-то потемнело, и лоб нахмурился еще сильнее.

— Сударыня, сударыня, — сказал Риго, похлопывая ее по руке, точно его жесткие пальцы играли на каком-нибудь музыкальном инструменте, — я замечаю, что мой рассказ начинает интересовать вас. Я замечаю, что он возбуждает ваше сочувствие. Будем продолжать.

Но прежде чем продолжать, он прикрыл на минуту своей белой рукой ястребиный нос над вздернутыми усами, наслаждаясь эффектом, который он произвел.

— Так как племянник, по справедливому замечанию миссис Флинтуинч, — жалкий малый, которого запугали до полусмерти, то он только опускает голову и отвечает: «Дядюшка, воля ваша. Как вам угодно». Дядюшка делает как ему угодно. Он всегда так делал. Счастливый союз заключен, молодые поселяются в этом очаровательном замке, молодую принимает, скажем, Флинтуинч. А, старый интриган?

Иеремия, смотревший на свою госпожу, не отвечал.

Риго взглянул на него, потом на нее, потеревил свой безобразный нос и шелкнул языком.

— Вскоре молодая делает страшное и поразительное открытие. Обуреваемая гневом, ревностью, жаждой мести, она придумывает, слышите, сударыня, план возмездия, остроумно взвалив его исполнение на своего мужа, которому приходится уничтожить ее соперницу и самому быть раздавленным под тяжестью мести. Каково остроумие!

— Не тронь, Иеремия! — крикнула трепещущая Эффри, снова выдергивая изо рта передник. — Но он рассказывает мой сон, когда вы ссорились однажды зимой, вечером; она сидела вон там, а ты смотрел на нее. Ты говорил ей, что она не должна допускать, чтобы Артур подозревал только своего отца, что сила и власть были всегда на ее стороне и что она должна вступить за отца перед Артуром. В этом самом сне ты сказал ей, что она не... Но тут она страшно вспылила и заставила тебя замолчать. Ты знаешь этот сон не хуже меня. Когда ты пришел в кухню со свечкой и сдернул с моей головы передник. Когда я сказала тебе, что видела сон. Когда ты не хотел верить, что тут слышны шорохи.

После этого взрыва Эффри снова засунула конец передника в рот, попрежнему держась рукой за косяк и упираясь коленом в подоконник, готовая закричать или выскочить, если ее владыка и повелитель вздумает подойти к ней.

Риго слушал, не пропустив ни слова.

— Ха-ха! — крикнул он, поднимая брови, скрестив руки и откидываясь на спинку стула. — Миссис Флинт-уинч — настоящий оракул. Как же мы разъясним изречение этого оракула — вы, я и старый плут? Он сказал, что вы не...? А вы вспылили и заставили его замолчать. Вы не... что не? Говорите, сударыня.

Она тяжело дышала и лицо ее исказилось. Губы дрожали и открывались, несмотря на страшное усилие сохранить спокойствие.

— Ну же, сударыня, говорите. Наш старый плут сказал, что вы не.. а вы перебили его. Он хотел сказать, что вы не... что? Я уже знаю это, но желал бы, чтобы вы отнеслись ко мне доверчивее. Так как же? Вы нечто?

Она хотела овладеть собой, но дико вскрикнула:

— Не мать Артуру!

— Очень хорошо, — сказал Риго, — с вами можно столковаться.

Маска хладнокровия слетела с ее лица от этого взрыва страсти, в каждой черте ее прорывался наружу огонь, так долго тлевший внутри.

— Я сама расскажу! — крикнула она. — Я не хочу слышать эту историю из ваших мерзких уст. Если уж всё выходит наружу, то пусть она явится в настоящем свете. Ни слова более. Слушайте меня.

— Если бы вы не были самой упрямой и самовластной женщиной, какую я только знаю, — перебил мистер Флинтуинч, — вы бы предоставили этому мистеру Риго, мистеру Бландуа, мистеру Вельзевулу¹ рассказывать по-своему. Не всё ли равно, раз он всё знает.

— Он не всё знает.

— Он знает всё, что ему нужно, — сердито настаивал мистер Флинтуинч.

— Он не знает меня.

— Какое ему дело до вас, тщеславная женщина? — сказал мистер Флинтуинч.

— Говорят вам, Флинтуинч, я сама расскажу. Если уж дело дошло до этого, то я хочу сама рассказать то, что было. Как — после того, что я вытерпела в этой комнате, после всех моих страданий я должна видеть себя в таком зеркале, как это! Видите вы его? Слышите вы его? Если бы ваша жена была во сто раз неблагодарнее, чем она есть, и если бы я имела в тысячу раз меньше надежды заставить ее молчать, когда куплю молчание этого человека, и тогда я скорее рассказала бы эту историю сама, чем терпеть такую пытку: выслушать ее от него.

Риго немного отодвинул свой стул от дивана, вытянул ноги и, скрестив руки на груди, сидел молча.

— Вы не знаете, — начала она, обращаясь к нему, — что значит быть воспитанной в строгих и твердых правилах. Я была воспитана в строгих правилах. В детстве я не знала легкомысленного веселья и грешных забав. На мою долю достались только спасительная строгость, наказания и страх. Развращенность наших сердец, греховность наших путей, проклятие, которое тяготеет над нами, ужасы, которые окружают нас, — вот на что обращали

¹ Вельзевул — одно из названий дьявола.

мое внимание в детстве. Эти впечатления сформировали мой характер и исполнили меня отвращением к грешникам. Когда старый мистер Джильберг Кленнэм предложил моему отцу своего племянника мне в мужа, отец сообщил мне, что этот молодой человек был, подобно мне, воспитан в правилах строгой дисциплины. Он сказал мне, что, независимо от дисциплины, ему приходилось жить в одиночестве, вдали от пиров и веселья, в непрестанном труде и испытаниях. Он сказал мне, что это уже взрослый человек и что от школьных дней до настоящей минуты дом его дяди был для него святилищем, сохранявшим его от заразы греха и разврата. И когда, спустя год после нашей свадьбы, я узнала, что мой муж в то самое время, когда мой отец говорил о нем, согрешил против бога и оскорбил меня, изменив мне ради распутной женщины, — могла ли я сомневаться, что мне предназначено было сделать это открытие и что мне предназначено было наложить карающую руку на это погибшее создание, могла ли я забыть хоть на минуту... не мои обиды, — что я такое? — но гнусность греха и войну с грехом, к которой я готовилась с детства?

Она накрыла рукой часы, лежавшие на столе.

— Нет. «Не забудь!» Начальные буквы этих слов здесь, они и тогда были здесь. Мне было предназначено найти старое письмо, которое относилось к этим буквам и объясняло мне, что они значили, кем и для чего были вышиты и почему лежали в этих часах, в потайном ящике. Не будь этого, я бы ничего не открыла. «Не забудь». Эти слова звучали в моих ушах, как гром небесный. Я не забыла. Но мои ли обиды я помнила? Мои! Я была только слугой и орудием. Какую власть могла бы я иметь над ними, если бы они не были скованы цепями своего греха и переданы мне?

Более сорока лет пронеслось с тех пор над поседевшей головой этой решительной женщины, более сорока лет борьбы с тайным голосом, который шептал, что какими бы именами она ни называла свою мстительную гордость и бешенство, но вся вечность не изменит их истинной природы. Но теперь, когда эти сорок лет прошли, когда Немезида смотрела ей в лицо, она упорствовала в своей нечестивости, извращала закон творения и пыталась создать творца по своему подобию и вдохнуть в него свой дух. Истиной является то, что путешественники

видели много чудовищных идолов во многих странах, но никогда глаза человеческие не видали таких дерзких, грубых и возмутительных образов божества, какие мы, дети праха, создаем по своему подобию, руководясь своими страстями.

— Когда я заставила его открыть мне ее имя и убежище, — продолжала она свое бурное оправдание, — когда я предстала перед ней и она кинулась к моим ногам, пряча свое лицо, — разве о моих обидах я говорила, разве за себя я осыпала ее упреками? Те, кому в древние времена было предназначено обличать порочных царей, — разве не были они только слугами и орудиями? И разве я, недостойная, не изобличала грех? Где она умоляла меня, ссылаясь на свою молодость, на его жалкую тяжелую жизнь (так называла она воспитание в правилах добродетели, которое он получил), на оскверненное таинство брака, так как они были обвенчаны тайно, на ужасы лишений и позора, грозивших им обоим, когда я впервые явилась орудием их наказания, на любовь (да, она произнесла это слово, ползая у моих ног), которая заставила ее отказаться от него и уступить его мне, — разве моего врага я попирала, разве слова моего гнева заставили ее дрожать и корчиться? Нет, не своей силой добилась я искупления.

Много лет прошло с тех пор, как миссис Кленнэм перестала владеть даже пальцами, но в течение своей речи она несколько раз ударила кулаком по столу, а при последних словах даже подняла руку вверх, как будто это было самым обыкновенным жестом для нее.

— И в чем состояло искупление, которое я вырвала из ее черствого сердца, из ее черной души? Я мстительна и неумолима? Это может показаться таким, как вы, не знающим справедливости, служителям сатаны. Смейтесь, но я хочу, чтобы меня знали такой, какой я знаю себя сама, какой знает меня Флинтуинч, хотя бы дело шло только о вас и об этой полоумной женщине.

— Добавьте, — и о вас самой, сударыня, — сказал Риго. — Сдается мне, что вам очень хочется оправдаться в своих собственных глазах.

— Это ложь. Это неправда. Я не нуждаюсь в этом, — отвечала она со страшной энергией и гневом.

— В самом деле? — возразил Риго. — Ха!

— Я говорю, какого искупления я потребовала от

нее? «У вас есть ребенок, у меня нет. Вы любите вашего ребенка. Отдайте его мне. Он будет считать себя моим сыном, и все будут считать его моим сыном. Чтобы избавить вас от позора, его отец даст клятву никогда не видаться и не иметь никаких отношений с вами, а чтобы дядя не лишил его наследства и ваш ребенок не остался нищим, вы поклянетесь мне никогда не видаться и не иметь никаких отношений ни с тем, ни с другим. Если вы сделаете это и откажетесь от денег, которые даст вам мой муж, я сама позабочусь о вас. Вы можете даже, поселившись где-нибудь подальше, сохранить доброе имя в глазах других людей». Вот и всё. Она должна была пожертвовать своими грешными и позорными привязанностями, и только. Затем она могла нести бремя своего позора в уединении, наедине предаваться своему горю и этими временными страданиями (не особенно тяжелыми для нее, я полагаю) обрести для себя вечное спасение. Если, таким образом, я наказывала ее здесь, то не открывала ли я ей пути к блаженству в той жизни? Она знала, что ей грозит месть неутолимая и огонь неугасимый, но разве от меня они шли? Если я угрожала ей тогда и после всеми карами, которые нависли над ней, то разве я держала их в своей руке?

Она открыла часы и с тем же неумолимым выражением взглянула на вышитые буквы.

— Они не забыли. Так предопределено свыше: виновные в таких проступках не забывают их. Если присутствие Артура было непрерывным упреком для его отца, если отсутствие Артура было непрерывной мукой для его матери, то это было справедливым возмездием Иеговы. Меня ли упрекать в том, что упреки пробудившейся совести свели ее с ума и что волей всевышнего она прожила много лет в таком состоянии? Я решила спасти ребенка, обреченного на гибель, дать ему честное имя, воспитать его в страхе и трепете, приучить его к борьбе с грехом, который тяготел над его головой раньше, чем он явился в этот проклятый мир. Где же моя жестокость? Разве я сама не страдала от последствий греха, не мной совершенного? Когда я и отец Артура жили на противоположных концах света, нас отделяло не большее расстояние, чем тогда, когда мы жили в этом доме. Он умер и прислал мне эти часы с их надписью: «Не забудь». Я не забыла, хотя читаю в них не то, что читал он.

Я читаю в них то, что мне предназначено было сделать, — всё, о чем я говорила. Так я читаю их теперь, когда они лежат передо мной на столе, так я читала их, когда они были за тысячи миль от меня.

Когда она взяла часы, свободно владея своей рукой и, повидимому, сама не сознавая этого, устремила взор на буквы, Риго воскликнул, громко и презрительно шелкнув пальцами:

— К делу, сударыня, время не ждет. К делу, благочестивая женщина, пора кончить. Вы не сказали мне ничего нового. Рассказывайте об украденных деньгах, или я сам расскажу. Чёрт побери, довольно с меня вашей болтовни. Переходите к украденным деньгам.

— Негодяй, — отвечала она, сжав ладонями голову, — какая роковая ошибка Флинтуинча, моего единственного помощника и доверенного в этом деле, помогла вам овладеть сгоревшей и возродившейся из пепла бумагой — я не знаю, как не знаю, откуда возникает ваша власть надо мной ..

— Тем не менее, — возразил Риго, — таково уж мое случайное счастье. Да-с, у меня сохраняется в укромном месте эта самая бумага; коротенькая приписка к завещанию господина Джильберта Кленнэма, написанная рукой леди и подписанная той же самой леди и нашим старым пройдохой. А, что, старый пройдоха, скрюченная кукла! Сударыня, будем продолжать, время не терпит. Кто доскажет историю: вы или я?

— Я, — отвечала она с еще большей энергией — Я не хочу являться перед кем бы то ни было в вашем гнусном искаженном изображении. Вы, подлый выкидыш иностранных тюрем и галер, объяснили бы мой поступок жадностью к деньгам. Деньги не имели значения для меня.

— Ба, ба, ба! Забываю на минуту свою вежливость и говорю прямо: ложь, ложь, ложь. Вы сами знаете, что скрыли завещание и прикарманили деньги.

— Не ради денег, негодяй! — Она сделала судорожное усилие, как будто хотела встать, и даже почти поднялась на своих бессильных ногах. — Если Джильберт Кленнэм, впавший в детство перед смертью и вообразивший, будто на нем лежит обязанность вознаградить девушку, которую любил его племянник, — вознаградить за то, что он раздавил эту любовь, за то, что девушка

помешалась от отчаяния и жила, всеми покинутая, — если, говорю я, в этом жалком состоянии он продиктовал мне, чья жизнь была омрачена ее грехом, — мне, вырвавшейся из ее собственных уст признание в грехе, — приписку к завещанию, цель которой была вознаградить ее за якобы незаслуженные страдания, то неужели, исправив эту несправедливость, я сделала то же самое, что делаете вы и ваши товарищи каторжники, воруя друг у друга деньги?

— Время не терпит, сударыня. Берегитесь.

— Если бы дом был объят пламенем от основания до крыши, — возразила она, — я бы не вышла из него, пока не опровергла бы вас, который не видит разницы между моими справедливыми побуждениями и побуждениями убийц и воров.

Риго презрительно щелкнул пальцами почти у самого ее лица.

— Тысячу гиней красотке, которую вы уморили медленной смертью. Тысячу гиней младшей дочери ее покровителя, если бы у пятидесятилетнего старика родилась дочь, или (если бы не родилась) — младшей дочери его брата, когда она достигнет совершеннолетия, «в память о его бескорыстном покровительстве бедной покинутой девушке». Две тысячи гиней. Что? Вы никак не доберетесь до денег.

— Этот покровитель.. — продолжала она с бешенством.

— Имя! Назовите его Фредериком Дорритом. Без уверток!

— Этот Фредерик Доррит был началом всего. Если бы он не занимался музыкой, если бы в дни его молодости и богатства в его доме не собирались певцы, музыканты и тому подобные дети сатаны, которые поворачиваются спиной к свету и лицом к тьме, она могла бы остаться в своем низком состоянии и не поднялась бы над ним, чтобы быть низвергнутой. Но нет, сатана вселился в этого Фредерика Доррита и убедил его, что ему представляется случай помочь бедной девушке, обладающей хорошим голосом. Он взялся ее учить. Тогда отец Артура, наскучив идти суровым путем добродетели и втайне стремившийся к проклятым сетям, называемым искусством, познакомился с нею. И эта осужденная на гибель сирота, будущая певица, благодаря Фредерику Дорриту,

овладевает им, и я обманута и унижена... То есть не я, — прибавила она, вспыхнув, — а кто-то больший, чем я. Что я такое!

Иеремия Флинтуинч, который мало-помалу подбирался к ней и теперь стоял у нее под боком, не замеченный ею, скорчил особенно кислую гримасу и поправил свои гетры, как будто от этих слов у него забегали мурашки в ногах.

— Наконец, — продолжала она, — так как я кончаю и больше не буду говорить об этом, да и вы не будете, нам остается только решить, сделается ли эта тайна известной кому-нибудь, кроме нас четверых, — наконец, когда я скрыла завещание с ведома отца Артура...

— Но не с согласия, как вам известно, — заметил мистер Флинтуинч:

— Кто говорит о его согласии? — Она вздрогнула, увидев Иеремию так близко от себя, и окинула его недоверчивым взглядом. — Вы так часто служили посредником между нами, когда он хотел предъявить эту бумагу, а я отказывалась, что, конечно, могли бы уличить меня, если б я сказала: с его согласия. Скрыв эту бумагу, я не уничтожила ее, но сохраняла у себя, в этом доме, в течение многих лет. Так как остальное состояние Джильберта перешло к отцу Артура, то я всегда могла сделать вид, что нашла это новое завещание, изменив таким образом назначение этих двух сумм. Но помимо того, что мне пришлось бы при этом решиться на прямую ложь (великий грех), я не видела поводов к такому поступку. Это было возмездие за грех. Я сделала то, что мне предназначено было сделать, и вытерпела в этих четырех стенах то, что мне предназначено было вытерпеть. Когда бумага была, наконец, уничтожена (так я думала, по крайней мере) на моих глазах, эта девушка давно умерла, а ее покровитель, Фредерик Доррит, потерпел заслуженную кару: разорился и впал в идиотизм. У него не было дочери. Я отыскала его племянницу, и то, что я сделала для нее, принесло ей больше пользы, чем деньги.

Помолчав с минуту, она прибавила, как бы обращаясь к часам: «Она была невинна, и, может быть, я не забыла бы ее в своем завещании».

— Позвольте вам напомнить одну вещь, почтеннейшая, — сказал Риго. — Этот документик находился еще

в вашем доме в тот день, когда наш друг арестант, мой товарищ по тюрьме, вернулся на родину из дальних стран. Напомнить вам еще кое-что? Певчая птичка, которую никогда не выпускали на волю, сидела в клетке под надзором нарочно приставленного стража, хорошо известного нашему старому пройдохе. Не расскажет ли наш старый плут, когда он видел его в последний раз?

— Я расскажу вам! — воскликнула Эффри, открывая свой рот. — Я видела это во сне, в первом из всех моих снов.. Иеремия, если ты подойдешь ко мне, я завизжу так, что у собора святого Павла услышат... Сторож, о котором говорит этот человек, был родной брат, близнец Иеремии, и он приходил сюда в тот ужасный вечер, в тот вечер, когда вернулся Артур, и Иеремия своими руками отдал ему эту бумагу и что-то еще, а он унес ее в железном сундуке... Помогите! Режут! Спасите меня от Иеремии!

Мистер Флинтуинч бросился на нее, но Риго перехватил его по дороге. После минутной борьбы Иеремия отступил и засунул руки в карманы.

— Как, — воскликнул Риго с хохотом, отпихивая локтями Иеремию на прежнее место, — нападать на леди с такими гениальными снами! Ха-ха-ха! Да ведь ее за деньги можно показывать и пажить состояние. Все ее сны оказываются правдой. Ха-ха-ха! Как вы похожи на него, Флинтуинчик. Как две капли воды он, каким я знал его в Антверпене, в кабачке «Трех миллиардов» (я объяснялся за него по-английски с хозяином). Но какой пьянчуга! Да и курильщик! Он жил в уютной квартирке, меблированной, в пятом этаже, над угольным и дровяным складом, модисткой, столяром и бондарем, тут я и познакомился с ним, и тут он утешался коньяком и табаком, напиваясь до положения риз каждый день, пока один раз не напился до смерти. Ха-ха-ха! Какое вам дело до того, как я овладел документом в железном сундучке? Может быть, он поручил его мне для передачи вам, может быть, сундучок возбудил мое любопытство, и я стянул его. Ха-ха-ха! Не всё ли равно, раз он в моих руках? Мы не щепетильны, — а, Флинтуинч? Мы не щепетильны, — правда, сударыня?

Отступая перед ним и злобно отбиваясь локтями, мистер Флинтуинч был приперт в угол, на прежнее место, где и остановился, засунув руки в карманы, отдуваясь и

не опуская глаз перед пристальным взглядом миссис Кленнэм.

— Ха-ха-ха! Вот оно что! — воскликнул Риго. — Вы, я вижу, еще не знаете друг друга. Позвольте мне, миссис Кленнэм, уничтожающая документы, представить вам мистера Флинтуинча, сберегающего их.

Мистер Флинтуинч, вынув одну руку из кармана, чтобы почесать подбородок, сделал шаг или два вперед, попрежнему выдерживая взгляд миссис Кленнэм, и обратился к ней со следующими словами:

— Ну-с, я знаю, почему вы так тарашите на меня глаза, но это совершенно ни к чему, меня этим не испугаешь. Сколько лет я твердил вам, что вы одна из самых упрямых и своенравных женщин. Такая вы и есть. Вы называете себя смиренной и грешной, а на деле вы самая тщеславная из всего вашего пола. Вот вы какая. Сколько раз я вам говорил, когда, бывало, у нас начиналась размолвка, что вы можете гнуть в дугу других, а меня не согнете, можете глотать живьем других, а меня не проглотите. Почему вы не уничтожили бумагу, как только она попала вам в руки? Я вам советовал; так нет, вы не любите слушать советы. Вам-де нужно сохранить эту бумагу. Может быть, вы еще предъявите ее. Точно я не знал, что этого никогда не будет, что ваша гордость не позволит вам предъявить бумагу, рискуя быть заподозренной в утайке. Но это ваша обычная манера обманывать самоё себя. Вот точно так вы и теперь обманываете себя, стараясь доказать, будто устроили всю эту штуку не потому, что вы жестокая женщина, воплощенное упрямство, самовластие, злопамятность, а потому, что вы слуга и орудие, которому было предназначено свыше сделать это. И кто вы такая, что вам предназначено сделать это? По-вашему — это религия, а по-моему — бахвальство. И сказать вам правду, — продолжал мистер Флинтуинч, скрестив руки и всей своей фигурой изображая ворчливую злость, — вы меня доконали, доконали за эти сорок лет своим высокомерием даже передо мной, который знает всё, как свои пять пальцев. Вы всегда старались дать мне понять, что я перед вами ничто. Я вам отдаю должное; вы женщина с головой и с талантом, но будь у вас сильнейшая голова и крупнейший талант, нельзя сорок лет донимать человека. Не пяльте же на меня глаза, меня этим не проймешь. Перехожу к документу.

Вы запрятали его и никому не сказали, куда. В то время вы еще могли двигаться и достать бумагу в случае надобности. Но что же вышло? Вы очутились в том положении, в каком теперь находитесь, и уже не могли бы достать бумагу, если бы она вам понадобилась. И вот она лежит целые годы в потаенном месте. Наконец, когда вы со дня на день ожидали Артура, когда он каждый день мог явиться, и неизвестно было, не вздумает ли он шарить по всему дому, я говорил вам и повторял тысячу раз не можете сами достать бумагу, — скажите мне, где она лежит; я ее достану, и мы бросим ее в огонь. Так нет же... никто, кроме вас, не знает, где она лежит, а это всё-таки дает вам известную власть, а насчет властолюбия, как бы вы там ни называли себя, вы настоящий Люцифер¹ в юбке. Однажды вечером в воскресенье является Артур. Не пробыл он в этой комнате и десяти минут, как заводит речь об отцовских часах. Вы очень хорошо знаете, что «Не забудь» в то время, когда его отец поручил передать вам часы и когда вся история была уже покончена, значило только одно: не забудь об утайке завещания, возврати деньги. Поведение Артура напугало вас, и вы всё-таки решились сжечь бумагу. Итак, перед тем, как эта дикая кляча и Иезавель,² — мистер Флинтуинч злобно покосился на свою супругу, — уложила вас спать, вы сказали мне, где лежит бумага: в старой счетной книге, в кладовой, куда Артур забрался на следующее же утро. Но ее нельзя сжечь в воскресенье. Нет, вы строго соблюдаете предписания религии. Да, вы должны подождать до двенадцати часов ночи и сжечь бумагу в понедельник. И всё это, чтобы донять меня. Ну-с, будучи немножко не в духе и не отличаясь благочестием, я заглянул до двенадцати часов в бумагу, чтобы освежить в своей памяти ее наружный вид, отыскал в погребке другую такую же старую пожелтевшую бумажонку, сложил ее совершенно так же, как ту, и в понедельник утром, когда вы лежали на этом диване, а я с лампой в руке отправился к камину жечь бумагу, подменил потихонечку документ и сжег ненужную бумажонку. Мой брат Эфраим, содержатель сума-

¹ Люцифер — одно из названий дьявола.

² Иезавель — царица древнего государства Израиль, упоминаемая в библейской легенде. Она отличалась своей гордостью и порочностью.

сшедшего дома (самого бы его посадить на цепь), имел большую практику, с тех пор как вы поручили ему свою пациентку, но дела его шли плохо. Жена его умерла (это, положим, не большая беда, я был бы рад, если бы умерла моя), спекуляции с сумасшедшими не удавались; одного пациента он чуть не зажарил живьем, приводя его в разум, и этим навлек на себя неприятности; да к тому же, он влез в долги. Он решил удрать, забрав сколько мог денег и прихватив небольшую сумму у меня. В понедельник утром он был здесь, перед отъездом. Отсюда отправился в Антверпен, где (хоть это и возмутит ваше благочестие, а все-таки скажу будь он проклят!) познакомился с этим джентльменом. Он тогда много прошел пешком и показался мне сонным. Теперь я думаю, что он попросту был пьян. Когда мать Артура находилась под надзором его и его жены, она то и дело писала, беспрестанно писала, все больше покаянные письма к вам с просьбами о прощении. Мой брат передавал мне время от времени эти письма целыми пригоршнями. Я полагал, что могу оставить их у себя, потому что вы проглотили бы их, как ни в чем не бывало, и вот я складывал их в шкатулку и время от времени перечитывал, когда приходила охота. Решив, что документ следует отправить куда-нибудь подальше, пока Артур бывает у нас, я уложил его в ту же шкатулку, запер ее двойным замком и поручил брату увезти и беречь ее пока я не напишу ему. Я писал ему и не получил ответа. Я не знал, что думать, пока этот джентльмен не осчастливил нас своим первым визитом. Тогда я, конечно, начал подозревать, в чем дело, и теперь вовсе не нуждался в рассказе этого джентльмена, чтобы объяснить себе, как он получил свои сведения из моих писем, вашего документа и болтовни моего брата за трубкой и коньяком (чтоб ему подавиться). Теперь мне остается сказать только одно, жестокая вы женщина: я и сам не знаю, воспользовался ли бы я этим документом против вас или нет. Думаю, что нет: с меня было довольно сознания, что я держу вас в руках. При настоящих обстоятельствах я не дам вам больше никаких объяснений до завтрашнего вечера. Так вы и знайте, — прибавил мистер Флинтуинч, скрючившись в заключение своей речи, — и пяльте-ка лучше свои глаза на кого-нибудь другого, на меня их пялить нечего.

Она медленно отвела взгляд от его лица и опустила голову на руку. Ее другая рука крепко уцепилась за стол, и снова судорога пробежала по ее телу, точно она собиралась встать.

— За эту шкатулку вам нигде не заплатят столько, сколько здесь. Вы никому не продадите ваши сведения так выгодно, как мне. Но я не могу сейчас собрать всю сумму, которую вы требуете. Я не богата. Сколько вы хотите получить сейчас и сколько в следующий раз и чем гарантируете мне ваше молчание?

— Ангел мой, — возразил Риго, — я уже сказал, сколько я хочу получить, я прибавил, что время не терпит. Перед тем, как идти сюда, я оставил копии важнейших из этих бумаг в других руках. Пропустите только то время, когда ворота Маршалъси запираются на ночь, и будет поздно. Арестант прочтет бумаги.

Она схватилась обеими руками за голову, вскрикнула и выпрямилась во весь рост. С минуту она шаталась, но потом встала и стояла твердо.

— Что вы хотите сказать? Что вы хотите сказать, несчастный?

Перед этой зловещей фигурой даже Риго отступил и понизил голос. Всем троем показалось, будто мертвая встала из гроба.

— Мисс Доррит, — отвечал Риго, — младшая племянница господина Фредерика, с которой я познакомился за границей, очень привязана к узнику. Мисс Доррит, младшая племянница господина Фредерика, ухаживает в настоящую минуту за узником, который заболел. Для нее-то я по пути сюда оставил в тюрьме пакет с записочкой, в которой прошу ее ради него, — она сделает все ради него, — не распечатывать пакета и возвратить его, если за ним зайдут до закрытия тюрьмы. Если же никто не потребует его до тех пор, пока позвонит звонок, — отдать его узнику: в пакете вложена вторая копия для него, которую он и передаст мисс Доррит. Что? Я не настолько доверяю вам, чтоб не принять своих мер, раз дело зашло так далеко. А насчет того, будто нигде не заплатят за мои документы столько, сколько здесь, почему вы знаете, сударыня, сколько заплатит младшая племянница господина Фредерика ради него, чтоб я только молчал о них? Еще раз повторяю, время не терпит. Если

я не потребую пакета обратно до звонка, вы его не купите. Тогда я продаю его девушке.

Снова судорога прошла по телу миссис Кленнэм, и вдруг она бросилась в чулан, отворила дверь, сорвала с вешалки платок и накинула его на голову. Эффри, смотревшая на нее в ужасе, кинулась к ней, схватила ее за платье и упала на колени.

— Стойте, стойте, стойте! Что вы делаете? Куда вы идете? Вы страшная женщина, но теперь я не желаю вам зла. Я вижу, что не могу помочь Артуру, и вам нечего бояться меня. Я сохраню вашу тайну. Не уходите, вы упадете мертвой на улице. Только обещайте, что если бедняжку прячут в этом доме, вы позаботитесь о ней. Только обещайте это, и вам нечего меня бояться.

Миссис Кленнэм остановилась на мгновение и сказала с гневным изумлением:

— Прячут! Она умерла больше двадцати лет тому назад. Спросите Флинтуинча, спросите его. Они оба вам скажут, что она умерла, когда Артур был за границей.

— Тем хуже, — сказала Эффри, дрожа, — значит, это ее душа бродит по дому. Кто же другой шуршит здесь, ходит по ночам, делает знаки на пыльном полу, проводит кривые линии на стенках, придерживает двери, когда хочешь их отворить? Не уходите, не уходите, вы умрете на улице.

Миссис Кленнэм вырвала свое платье из ее рук, сказала Риго: «Подождите меня здесь!» — и выбежала из комнаты. Они видели из окна, как она опрометью пробежала по двору и исчезла за калиткой.

В течение нескольких минут они не двигались с места. Первая опомнилась Эффри и, ломая руки, кинулась за своей госпожой. Затем Иеремия, засунув одну руку в карман, а другой почесывая подбородок, стал тихонько пятиться к двери и исчез, не сказав ни слова. Риго, оставшись один, уселся на подоконник открытого окна в той же позе, в какой сидел когда-то в старой марсельской тюрьме. Положив подле себя папиросы и спички, он принялся курить, рассуждая сам с собой:

— Ух, почти такое же мрачное место, как проклятая старая тюрьма. Теплее, но такое же унылое. Подождать, пока она вернется? Да, конечно, только куда она побежала и скоро ли вернется? Всё равно. Риго-Ланье-Бландуа, голубчик, ты получишь свои денежки. Ты разбо-

гатеешь. Ты жил джентльменом и умрешь джентльменом. Ты восторжествуешь, милый мой, в твоём характере — торжествовать. Ух!

И в этот час торжества усы его поднялись, а нос опустился, когда он с особенными удовольствиям взглянул на огромную балку над своей головой.

ГЛАВА XXXI

Развязка

Солнце уже село, тусклый полумрак стоял над пыльными улицами, когда на них показалась женщина, так давно отвыкшая от городского шума. Поблизости от дома она не возбудила особенного внимания, так как здесь ее могли заметить только немногочисленные прохожие, но когда она по извилистым переулкам, ведущим от реки к Лондонскому мосту, выбралась на большую улицу, ее странная фигура возбудила общее удивление.

С решительным и диким взглядом, в бросавшемся в глаза траурном платье и небрежно наброшенном на голову платке, худая, бледная, как смерть, она стремилась вперед быстрыми, но неверными шагами, не замечая ничего окружающего, точно лунатик. Она так резко отличалась от окружающей толпы, что не могла бы сильнее броситься в глаза, если бы стояла на пьедестале. Зеваки останавливались и с любопытством осматривали ее; занятые люди, встречаясь с нею, замедляли шаги и оглядывались на ее странную фигуру; в группах людей, мимо которых она проходила, перешептывались при виде этого живого призрака; и, двигаясь среди толпы, она точно создавала водоворот, увлекавший за ней и самых равнодушных и самых любопытных.

Ошеломленная суматохой и шумом множества людей, так внезапно нарушивших ее многолетнюю отшельническую жизнь, непривычным впечатлением чистого воздуха и еще более непривычным впечатлением ходьбы, неожиданными переменами в полузабытых сценах и предметах, разницей между оглушающим впечатлением действительной жизни и смутными картинками, которые рисовало ее воображение в затворничестве, — ошеломленная всем этим, она стремилась вперед, и ей казалось, будто она движется среди духов и призраков, а не живых людей и

реальных предметов. Перейдя мост, она вспомнила, что ей нужно узнать дорогу, и тут только, остановившись и оглянувшись кругом, заметила, что ее окружает толпа любопытных.

— Зачем вы обступили меня? — спросила она, дрожа.

Никто из ближайших к ней людей не ответил, но из дальних рядов послышался резкий голос:

— Потому что вы сумасшедшая.

— Я в таком же здравом уме, как и вы все. Я не знаю, как пройти в тюрьму Маршалъси.

Тот же резкий голос ответил:

— Ну, разумеется, сумасшедшая. Ведь Маршалъси у вас перед носом.

Толпа захохотала, но в эту минуту молодой человек, небольшого роста, с кротким и спокойным лицом, протиснулся к ней и сказал:

— Вам нужно в Маршалъси? Я туда иду. Пойдемте.

Он взял ее под руку и повел через улицу. Толпа, недовольная тем, что у нее отнимают зрелище, теснилась со всех сторон, советуя отправиться лучше в Бедлам. После минутной толкотни на наружном дворе ворота отворились и захлопнулись за вошедшими. В сторожке, которая казалась убежищем покоя и тишины в сравнении с уличным шумом, желтый свет лампы уже боролся с тюремным мраком.

— А, Джон, — сказал впусивший их тюремщик. — Что это значит?

— Ничего, отец; только эта леди не знала дороги, и к ней пристали уличные зеваки. Вам кого угодно, сударыня?

— Мисс Доррит. Она здесь?

Молодой человек, видимо, заинтересовался.

— Да, она здесь. Как же о вас сказать?

— Миссис Кленнэм.

— Мать мистера Кленнэма? — спросил молодой человек.

Она стиснула губы и ответила не сразу:

— Да. Пожалуйста, скажите, что пришла его мать.

— Изволите видеть, сударыня, — сказал молодой человек, — семейство нашего директора на даче, и он предоставил свою квартиру в распоряжение мисс Доррит. Не угодно ли, я вас проведу туда, а затем схожу за мисс Доррит.

Она согласилась, и он проводил ее по боковой лестнице наверх, в полутемную квартиру, где оставил одну. Комната, в которой она очутилась, выходила окнами на потемневший двор, где бродили арестанты; другие выглядывали из окон, прощались с уходящими друзьями и вообще коротали, как умели, летний вечер. Воздух был тяжелый, знойный, спертый; снаружи доносились нестройные звуки вольной жизни, подобные тем неотвязным звукам и голосам, которые преследуют иногда больного. Она стояла у окна, ошеломленная, глядя вниз на тюремный двор, точно из своей прежней темницы, как вдруг тихий и удивленный голос заставил ее вздрогнуть. Перед ней стояла Крошка Доррит.

— Возможно ли, миссис Кленнэм, вы выздоровели? Как счастливо...

Крошка Доррит остановилась, не замечая ни счастья, ни здоровья на лице, обращенном к ней.

— Это не выздоровление, не сила; я не знаю, что это такое.— Миссис Кленнэм сделала жест, как бы давая понять, что дело не в этом. — Вам оставили пакет, с тем чтобы вы передали его Артуру, если никто не потребует его у вас?

— Да.

— Я его требую.

Крошка Доррит достала его и положила в протянутую руку, которая, приняв пакет, осталась в том же положении.

— Имеете вы понятие о его содержимом?

Испуганная ее появлением, странной свободой движений, которая, по ее собственным словам, не была силой, всем ее видом — видом ожившей картины или статуи, Крошка Доррит отвечала:

— Нет.

— Прочтите.

Крошка Доррит взяла пакет из протянутой руки и сломала печать. Миссис Кленнэм отдала ей пакет, лежавший внутри, а другой оставила у себя. Тень от тюремной стены и построек и в полдень не пропускала яркого света в эту комнату, теперь же в ней так стемнело, что читать можно было только у окна. Крошка Доррит подошла к окну, откуда виднелась полоска яркого летнего неба, и принялась читать. После двух-трех восклицаний удивления и ужаса она замолчала и дочи-

тала молча. Когда она кончила и обернулась, ее бывшая госпожа стояла перед ней на коленях.

— Теперь вы знаете, что я сделала?

— Да, кажется. Боюсь, что — да, хотя всё это возбудило во мне такой ужас, жалость и горечь, что я не могу дать себе вполне ясного отчета, — сказала Крошка Доррит, дрожа от волнения.

— Я возвращу вам всё, что удержала у вас. Простите меня. Можете ли вы простить меня?

— Могу и, видит бог, прощаю. Не целуйте мне платье, не стойте передо мной на коленях, вы слишком стары для этого, я и так, и без этого, прощаю вас.

— У меня есть еще просьба к вам.

— Хорошо, только встаньте, — сказала Крошка Доррит. — Нельзя смотреть равнодушно, как ваша седая голова склоняется передо мной. Встаньте, ради бога; позвольте, я помогу вам.

Она подняла ее и стояла, слегка отшатнувшись, но глядя на нее с жалостью.

— Моя великая просьба (из нее вытекает и другая), великая мольба, с которой я обращаюсь к вашему сострадательному и кроткому сердцу: не говорите Артуру ничего, пока я жива. Если, обдумав всё это, вы найдете, что для его пользы следует рассказать ему об этом, пока я жива, — тогда расскажите. Но если вы не найдете этого — обещайте мне пощадить меня до моей смерти.

— Я так огорчена, и мои мысли так путаются от всего, что я прочла, — ответила Крошка Доррит, — что мне трудно дать определенный ответ. Если я буду уверена, что мистер Кленнэм не получит никакой пользы от того, что узнает об этом...

— Я знаю, что вы привязаны к нему и прежде всего подумаете о нем. Пусть так, я этого и хочу. Но если, принимая в расчет его интересы, вы найдете возможным предоставить мне прожить в мире остаток моей жизни, сделаете ли вы это?

— Сделаю.

— Да благословит вас бог.

Она стояла в тени, так что Крошка Доррит не видела ее лица, но в ее голосе, когда она произнесла эти четыре слова, звучало глубокое волнение. В нем чувствовались слезы, столь же странные в ее холодных глазах, как движение в ее окоченевших членах.

— Быть может, вы удивляетесь, — сказала она более твердым голосом, — что мне легче признаться во всем этом вам, которую я обидела, чем сыну той, которая обидела меня. Потому что она обидела меня. Она не только совершила смертный грех перед господом, но и обидела меня. Из-за нее отец Артура был для меня чужим. С первого дня нашей совместной жизни я была для него ненавистна, — в этом виновата она. Я сделалась бичом для них обоих, — в этом виновата она. Вы любите Артура (я вижу краску на вашем лице, пусть это будет зарей счастливых дней для вас обоих), и вы, вероятно, думаете, почему я не доверилась ему, хотя он так же сострадателен и добр, как вы? Вы думаете об этом?

— Моему сердцу не может быть чужда никакая мысль, — отвечала Крошка Доррит, — которая проистекает из уверенности в доброте, великодушии и сострадательности мистера Кленнэма.

— Я не сомневаюсь в этом. И всё-таки Артур — единственный человек в мире, от которого я желала бы скрыть это, пока живу. С детства, с тех пор, как он начал помнить себя, он помнит мою суровую и карающую руку. Я была строга с ним, зная, что пороки родителей передаются детям и что он отмечен грехом уже со дня рождения. Я следила за ним и его отцом, зная, что слабость отца всегда готова проявиться в нежности к ребенку, и не допуская того, чтобы ребенок мог найти путь к спасению, не воспитавшись в труде и страданиях. Я видела, как он, живой портрет своей матери, с ужасом поглядывает на меня из-за своих книжек и пытается смягчить меня так же, как его мать, только ожесточая меня.

Заметив, что ее слушательница отшатнулась в ужасе, она остановилась на минуту среди этого потока слов, произносимых глухим монотонным голосом.

— Для его же пользы, не ради отмщения за мою обиду. Что значила я и моя обида в сравнении с проклятием неба? Я видела, что ребенок вырастает не избранныком неба по благочестию (грех матери слишком тяготел над ним), но всё-таки правдивым, честным и послушным. Он никогда не любил меня, а я смутно надеялась на это, — плотские привязанности одолевают нас, вступая в борьбу с нашим долгом и обязанностями, — но он всегда относился ко мне почтительно и исполнял свой

долг относительно меня. Так поступает он до сего дня. Чувствуя в своем сердце пустоту, значения которой он никогда не мог понять, он отвернулся от меня и пошел своим путем, но сделал это почтительно и с уважением. Таковы были его отношения ко мне. С вами у меня более поверхностные и кратковременные отношения. Когда вы сидели подле меня с шитьем, вы боялись меня, но думали, что я оказываю вам услугу; теперь вы знаете всё, знаете, что я обидела вас. Но пусть вы не поймете и осудите цель и мотивы, руководившие мною, — мне легче вынести это от вас, чем от него. Ни за какую награду в мире я не соглашусь быть низвергнутой с высоты, на которой он видел меня всю жизнь, и превратиться в его глазах в не достойное уважения, презренное существо. Пусть это случится, если уж суждено этому случиться, когда меня не станет. Но, пока я жива, избавьте меня от этого, не дайте мне почувствовать, что я умерла и погибла для него, точно испепеленная молнией и поглощенная землетрясением.

Ее гордость жестоко страдала, когда она говорила эти слова, и не менее жестоко, когда она прибавила:

— Я вижу, что вы отворачиваетесь от меня даже теперь, точно считаете меня жестокой.

Крошка Доррит не могла скрыть этого. Она пыталась не показывать своего чувства, но невольно отступила в ужасе перед этой ненавистью, пылавшей так яростно и так долго. Никакая софистика не могла скрыть перед ней истинную природу этой женщины.

— Я сделала то, — сказала миссис Кленнэм, — что мне предназначено было сделать. Я восстала против зла, а не против добра. Я была орудием, покаравшим грех. Разве такие же грешники, как я, не являлись подобным же орудием во все времена?

— Во все времена? — повторила Крошка Доррит.

— Если даже моя личная обида влияла на меня, если личная месть руководила мной, то неужели мне нет оправдания? Вспомните старые дни, когда невинные погибали вместе с виновными, когда тысячи гибли за одного, когда ненависть к несправедливым не утолялась даже кровью и всё-таки находила милость перед лицом господина.

— О миссис Кленнэм, миссис Кленнэм, — воскликнула Крошка Доррит, — злобные чувства и беспощадные дела — не утешение и не пример для нас. Моя жизнь

протекла в этой жалкой тюрьме, я мало чему училась, но позвольте мне напомнить вам позднейшие и лучшие дни. Будем руководиться только словами того, кто исцелял больных, воскрешал мертвых, помогал удрученным и гибнущим, — терпеливого учителя, скорбевшего о наших слабостях. Мы не собьемся с пути, если пойдем за ним и не будем искать никакого другого пути.

В мягком свете вечернего неба, озарявшего место ее испытаний в детстве и юности, она представляла резкий контраст с черной фигурой старухи, стоявшей в тени; но контраст жизни и учения, о которых она говорила, с мрачной историей старухи был еще резче. Эта последняя опустила голову и не отвечала ни слова. Так стояла она, пока не зазвонил первый звонок

— Слушайте, — воскликнула она, вздрогнув. — Я сказала, что у меня есть еще просьба к вам. Эта просьба не допускает отсрочки. Человек, который оставил вам этот пакет и у которого в руках подлинные документы, дожидается у меня в доме. У него нужно купить документы, иначе Артур узнает обо всем. Он требует большую сумму, которой я сейчас не могу собрать. Но он не соглашается на отсрочку, угрожая сообщить обо всем вам. Пойдете ли вы со мной сказать ему, что вы уже знаете? Пойдете ли вы со мной помочь мне уговорить его? Не отказывайте мне. Я прошу вас именем Артура, хотя не смею сказать — ради Артура.

Крошка Доррит охотно согласилась. Она на минуту отлучилась в тюрьму и, вернувшись, сказала, что готова идти. Они спустились по другой лестнице, минуя сторожку, и, пройдя через наружный двор, теперь спокойный и безлюдный, вышли на улицу.

Был один из тех летних вечеров, когда вместо ночи наступают длинные сумерки. Небо было чисто и ясно, улица и мост видны далеко вперед. Люди сидели и стояли в воротах, играя с детьми и наслаждаясь летним вечером. Иные прогуливались на воздухе, дневная суета кончилась, и кроме них двоих никто не торопился. Когда они переходили через мост, колокольни и шпили бесчисленных церквей точно выступали из мглы, обычно окружающей их, и подступали ближе. Дым, поднимавшийся к небу, потерял свой грязный оттенок и казался светлым и ярким. Красота солнечного заката ничего не теряла от длинного, светлого, пушистого облака, протянувшегося

вдоль горизонта. Из лучезарного центра расходились по всей длине и ширине спокойного небосклона снопы света, точно благодатные вестники мира и надежды, превратившие терновый венец в пышную корону.

Миссис Кленнэм, не так бросавшаяся в глаза в сумерках и когда шла не одна, не возбуждала теперь назойливого любопытства. Они оставили большую улицу и свернули в лабиринт глухих, безлюдных переулков. Калитка была уже близка, когда раздался шум, подобный удару грома.

— Что это? Поспешим! — воскликнула миссис Кленнэм.

На одно мимолетное мгновение перед ними мелькнул старый дом, окно, человек, покуривавший папиросу, лежа на подоконнике; новый раскат грома — и весь дом как-то осел, зазмеился трещинами разом в пятидесяти местах, зашатался и рухнул. Оглушенные грохотом, ослепленные пылью, ошеломленные и задыхающиеся, они стояли, закрыв руками лица. Пыльный вихрь, заслонивший от них ясное небо, рассеялся, и снова мелькнули звезды. Когда, опомнившись, они стали звать на помощь, громадная труба, которая одна стояла неподвижно, как башня среди урагана, покачнулась, треснула и рухнула на кучу обломков, как будто каждый ее осколок стремился похоронить поглубже раздавленного негодяя.

Почерневшие от пыли до неузнаваемости, они с криком и плачем выбежали на улицу. Тут миссис Кленнэм упала на камни мостовой и с этой минуты уже ни разу не могла пошевелить рукой или произнести хоть слово. Три года еще провела она в кресле на колесах, следя внимательным взглядом за окружающими и, повидимому, понимая тех, кто обращался к ней; но суровое молчание, которое она так долго хранила, снова сковало ее, и только сознательный взгляд и слабые утвердительные или отрицательные движения головы показывали, что она жива.

Эффри прибежала за ней в тюрьму и заметила их на мосту. Она подбежала как раз во-время, чтобы принять свою госпожу на руки, отнести ее в соседний дом и начать ухаживать за ней. Таинственные шорохи объяснились; Эффри, как мнение великие умы, верно подметила факты, но вывела из них ложную теорию.

Когда пыльный вихрь улегся, толпы народа собрались

вокруг развалин, и сформировались партии охотников, принявшихся за раскопку. Говорили, что в доме было сто человек в момент падения, что их было пятьдесят, что их было пятнадцать, что их было двое. В конце концов остановились на двоих: иностранце и мистере Флинтуинче.

Рыли всю короткую летнюю ночь при свете газовых рожков, рыли, когда солнце показалось на горизонте, рыли, когда оно поднялось к зениту, рыли, когда оно склонилось к закату и скрылось, наконец, за горизонтом. Ночью и днем раскопки шли без перерыва; рыли, увозили и уносили землю, мусор и осколки в тачках, телегах, корзинах; но наступила уже вторая ночь, когда нашли грязную кучу тряпья, которая была иностранцем до тех пор, пока голова его не разлетелась, как стеклянный шар, от удара громадной балки.

Флинтуинча не нашли, и раскопки продолжались ночью и днем. Говорили, что в доме были крепкие погребя, что Флинтуинч находился в одном из них в момент катастрофы и уцелел под его крепкими сводами, что рабочие даже слышали его глухой, задыхающийся голос: «Я здесь». На другом конце города рассказывали даже, будто рабочим удалось установить сообщение с ним по трубе и доставить ему суп и водку, и будто он ободрял их с удивительной твердостью духа, говоря: «Ничего, ребята, всё хорошо, только ключица сломана». Но разрыли и убрали всю грудку обломков до основания, открыли и погребя, а ни один заступ, ни одна кирка не наткнулись на Флинтуинча, живого или мертвого, целого или раздавленного.

Тут только начали соображать, что Флинтуинча не было в доме в момент катастрофы, что его видели в банковской конторе, где он разменивал векселя на звонкую монету, стараясь набрать столько денег, сколько было возможно в такой короткий срок, и употребляя исключительно в свою пользу свои полномочия в качестве представителя фирмы. Эффри вспомнила, что хитрец говорил об объяснении, которое он даст ее госпоже завтра вечером. По ее мнению, он просто намеревался удрать и в этом, собственно, заключалось всё объяснение; но она умолчала об этом, искренно радуясь, что отделалась от него. Так как казалось весьма правдоподобным, что человек, который не был погребен, не может быть и откопан,



Последние минуты жизни Риго.

то раскопки были прекращены, и рыться дальше в недрах земли сочли излишним.

Значительная часть людей отнеслась к этому решению с большим неудовольствием и осталась при убеждении, что Флинтуинч лежит где-нибудь в недрах геологических формаций Лондона. Убеждение это осталось непоколебимым, хотя с течением времени было получено известие, что в Голландии, на старинных набережных Гааги и в кабаках Амстердама, видели какого-то старика, с торчащими под ухом концами галстука, несомненно англичанина, известного среди голландцев под именем минтера ван Флинтевинге.

ГЛАВА XXXII

Скоро конец

Перемены в состоянии горячного больного медленны а мистер Рогг не видел на юридическом горизонте ни малейшего просвета, сулящего надежду на освобождение, так что мистер Панкс жестоко терзался угрызениями совести. Не будь у него несокрушимых цифр, из которых вытекало как нельзя яснее, что Артур должен бы был разъезжать в карете, запряженной парой лошадей, вместо того чтобы томиться в заключении, а мистер Панкс — располагать суммой от трех до пяти тысяч фунтов, вместо того чтобы сидеть на жалованье клерка — не будь этих несокрушимых цифр, злополучный математик наверно слег бы в постель и увеличил собой число жертв, погибших в виде гекатомбы¹ величию покойного мистера Мердля. Находя утешение только в своих непогрешимых расчетах, мистер Панкс вел печальную и беспокойную жизнь, постоянно таская с собой в шляпе свои цифры и не только проверяя их сам при каждом удобном случае, но и заставляя всякого, кого мог поймать, проверить их вместе с ним и убедиться, как очевидны и верны его расчеты. В подворье Разбитых сердец не осталось ни одного сколько-нибудь солидного жильца, которому мистер Панкс не показал бы своих вычислений, и так как цифры заразительны, то по всему подворью распространился род

¹ Гекатомба — у древних греков грандиозное жертвоприношение. В переносном смысле — бесполезная гибель огромного количества людей.

математический кори, окончательно сбивший с толку его обитателей.

Чем беспокойнее становился мистер Панкс, тем труднее было ему переносить присутствие патриарха. В их беседах за последнее время, в его фыркanye прорывались раздражительные ноты, не предвещавшие патриарху ничего доброго; кроме того, мистер Панкс поглядывал на патриаршую лысину с выражением совершенно необъяснимым, если иметь в виду, что он не занимался живописью или изготовлением париков и, следовательно, не нуждался в модели. Как бы то ни было, он появлялся в своем маленьком доке и уплывал из него, смотря по тому, нужно или не нужно было его присутствие патриарху, и дело шло своим порядком. Подворье Разбитых сердец регулярно подвергалось нашествиям со стороны мистера Панкса и посещениям со стороны мистера Кэсби; на долю мистера Панкса доставались неприятности и черная работа, на долю патриарха — барыши и ореол благодущия; словом, как выражался этот светильник добродетели, просмотрев в субботу вечером отчет своего помощника и вертя своими жирными пальцами: «Всё устраивалось к удовольствию всех заинтересованных в деле, сэр».

Док, в котором помещался буксирный пароходик Панкс, был снабжен свинцовой кровлей, которая, раскалившись на солнце, быть может разогрела и пароходик. Как бы то ни было, в один знойный субботний вечер пароходик в ответ на призыв неуклюжей бутылочно-зеленой барки моментально выплыл из дока в самом разгоряченном состоянии.

— Мистер Панкс, — сказал патриарх, — я нахожу у вас упущения, нахожу у вас упущения, сэр.

— Что вы хотите сказать? — был короткий ответ.

Патриарх, всегда спокойный и ясный, в этот вечер сиял невыносимым благодущием. Люди изнывали от жары — патриарх наслаждался прохладой. Люди томилась жаждой — патриарх пил. Благоухание лимонов окружало его; он потягивал золотистый херес, искрившийся в большом стакане, с таким видом, точно пил солнечное сияние. Это было плохо, но это не было самое худшее. Самое худшее было то, что со своими огромными голубыми глазами, отполированной лысиной, серебристыми кудрями, бутылочно-зелеными ногами в мягких туфлях, он имел такой лучезарный вид, словно в своем неизре-

ченном милосердии поил весь род человеческий, сам же пробавлялся только млеком своей добродетели.

Итак, мистер Панкс спросил: «Что вы хотите сказать?» — и взъерошил волосы обеими руками с видом грозным и вызывающим.

— Я хочу сказать, мистер Панкс, что вам следует быть строже с этим народом, строже с этим народом, гораздо строже с этим народом, сэр. Вы не выжимаете их, вы не выжимаете их. Вы должны выжимать их, или наши отношения перестанут быть удовлетворительными для всех сторон, для всех сторон.

— Не выжимаю их? — возразил мистер Панкс. — Для чего же я еще существую?

— Ни для чего другого, мистер Панкс. Вы существуете для того, чтобы исполнять свой долг, но вы не исполняете своего долга. Вам платят, чтобы вы выжимали, а вы должны выжимать, чтобы вам платили.

Патриарх так удивился этому остроумному обороту в стиле доктора Джонсона,¹ сказанному совершенно неумышленно, что громко засмеялся и повторил с великим удовольствием, вертя палец вокруг пальца и поглядывая на свой детский портрет:

— Вам платят, чтобы вы выжимали, а вы должны выжимать, чтобы вам платили.

— О! — сказал Панкс. — Еще есть что-нибудь?

— Да, сэр, да, есть еще кое-что. Потрудитесь, мистер Панкс, выжать подворье еще раз в понедельник утром.

— О, — сказал Панкс, — не слишком ли скоро? Я выжал их досуха сегодня.

— Вздор, сэр. Сбор неполон, сбор неполон.

— О! — сказал Панкс, глядя, как благодушно он прихлебывал свое питье. — Еще что-нибудь?

— Да, сэр, да, кое-что еще. Я, мистер Панкс, не совсем доволен моей дочерью, не совсем доволен. Мало того, что она в последнее время слишком часто наведывается к миссис Кленнэм, — обстоятельства которой отнюдь нельзя считать... благоприятными для всех сторон, — она еще наведывается, если меня не обманули, мистер Панкс, к мистеру Кленнэму в тюрьму.. в тюрьму.

— Он арестован за долги, как вам известно, — сказал Панкс. — Может быть, это только доказывает ее доброту.

¹ См. примечание на стр. 144.

— Чушь, чушь, мистер Панкс. Ей там нечего делать, нечего делать. Я не могу допустить этого. Пусть заплатит долги и выйдет из тюрьмы... выйдет из тюрьмы; заплатит долги и выйдет из тюрьмы.

Хотя волосы мистера Панкса и без того стояли ежом, но он еще раз двинул их кверху обеими руками и улыбнулся своему хозяину самым страшным образом.

— Потрудитесь сообщить моей дочери, мистер Панкс, что я не могу дозволить этого, не могу дозволить этого, — ласково сказал патриарх.

— О! — сказал Панкс. — А вы сами не можете сообщить ей об этом?

— Нет, сэр, нет; вам платят, чтобы вы сообщали, — старый шут не мог устоять против искушения повторить свою остроу, — а вы должны сообщать, чтобы вам платили, сообщать, чтобы вам платили.

— О! — сказал Панкс. — Еще что-нибудь?

— Да, сэр. Мне кажется, мистер Панкс, что и вы слишком часто ходите в этом направлении, в этом направлении. Я советую вам, мистер Панкс, позабыть о своих и чужих потерях, а помнить о своем деле, помнить о своем деле.

Мистер Панкс ответил на этот совет таким необычайным, резким и громким «О!», что даже невозмутимый патриарх повернул к нему свои голубые глаза с некоторой тревогой. Мистер Панкс фыркнул в соответственном ему стиле и прибавил:

— Еще что-нибудь?

— Пока нет, сэр, пока нет. Я намерен, — сказал патриарх, допивая свою смесь и вставая с дружелюбным вedom, — немножко пройтись, немножко пройтись. Может быть, я застану вас здесь, когда вернусь. Если нет, сэр, помните вашу обязанность, вашу обязанность: выжимать, выжимать... в понедельник, в понедельник.

Мистер Панкс еще раз провел обеими руками по волосам и посмотрел на патриарха, надевавшего свою широкополую шляпу, с выражением, в котором нерешительность боролась с обидой. Он разгорячился еще сильнее во время этого разговора и тяжело дышал. Тем не менее он не сказал ни слова и, когда мистер Кэсби ушел, проводил его взглядом, выглянув в окно из-за зеленой шторы.

— Так я и думал, — сказал он, — Я узнал, куда ты поплетешься. Ладно.

Затем он снова вплыл в свой док, привел там всё в порядок, снял шляпу, окинул комнатку взглядом, сказал: «Прощай», — и запыхтел прочь. Он направился прямым путем в подворье Разбитых сердец с той стороны, где находилась лавочка миссис Плорниш, и прибыл туда на всех парах.

Остановившись на ступеньках и упорно отказываясь от приглашений миссис Плорниш зайти посидеть с отцом в «Счастливый коттедж», которые на его счастье не были так настоятельны, как в другие дни, потому что в субботу вечером обитатели подворья, так великодушно поддерживавшие торговлю миссис Плорниш всем, кроме денег, буквально осаждали лавочку, — остановившись на ступеньках, мистер Панкс поджидал патриарха, который всегда входил в подворье с противоположной стороны. Наконец он показался, сияющий и окруженный зрителями. Мистер Панкс спустился с лестницы и понесся к нему.

Патриарх, подвигавшийся вперед с обычной благосклонностью, удивился при виде мистера Панкса, но решил, что внушение заставило его приняться за выжимку немедленно, не дожидаясь понедельника. Население подворья было поражено неожиданным зрелищем, так как две эти державы в памяти старейших обывателей никогда не бывали в подворье вместе. Но удивление их превратилось в несказанное изумление, когда мистер Панкс, подлетев к почтеннейшему из людей и становившись перед его бутылочно-зеленым жилетом, сложил большой и указательный пальцы, приложил их к широкополой шляпе и с удивительной ловкостью сбил ее одним щелчком с полированной головы, точно это был мячик.

Позволив себе эту маленькую вольность с патриаршей особой, мистер Панкс еще более изумил Разбитые сердца, сказав громким голосом:

— Ну, медоточивый плуг, теперь побеседуем.

Мистер Панкс и патриарх мгновенно оказались в центре толпы, превратившейся в слух и зрение; все окна распахнулись, всюду на лестницах толпился народ.

— Что вы из себя корчите? — начал мистер Панкс. — На какой дудке играете? Какую добродетель изображаете? Благодушие, да? Вы — благодушный!

Тут мистер Панкс, очевидно без всякого серьезного намерения, а единственно для того, чтобы облегчить душу и дать исход избытку своей энергии в здоровом упраж-

нении, нацелился кулаком в лучезарную голову, и лучезарная голова нырнула, избегая удара. Этот странный маневр повторялся, к возрастающему восхищению зрителей, после каждого периода речи мистера Панкса.

— Я отказался от службы у вас, — продолжал Панкс, — собственно для того, чтобы сказать вам, что вы за птица. Вы мошенник худшего сорта из всех существующих мошенников. Мне досталось и от вас и от Мердля, но я не знаю, какой сорт мошенников хуже. Вы переодетый грабитель, кулак, живодер, пиявка, акула ненасытная, филантропический удав, низкий обманщик.

(Повторение прежнего маневра в этом месте было встречено взрывом хохота.)

— Спросите у этих добрых людей, кто здесь самый страшный человек. Они скажут: Панкс!

Эти слова были встречены возгласами: «Конечно!» и «Слушайте!».

— А я вам отвечу, добрые люди, — Кэсби. Эта ходячая кротость, это воплощенное милосердие, этот бутылочный-зеленый улыбчивый человек, — он-то вас и давит. Если вы хотите видеть человека, который готов проглотить вас живьем, так вот он перед вами. Смотрите не на меня, который получает тридцать шиллингов в неделю, а на него, который загребает не знаю уж сколько в год.

— Верно! — раздался голоса. — Слушайте мистера Панкса.

— Слушайте мистера Панкса, — подхватил этот последний (снова проделав свой занятный маневр). — Да, я то же думаю. Пора вам послушать мистера Панкса. Мистер Панкс для того и явился сегодня в подворье, чтобы вы его послушали. Панкс — только ножницы, а стрижет вас вот кто.

Слушатели давно бы уж перешли на сторону мистера Панкса, — все, до последнего мужчины или ребенка, — если бы не длинные, седые, серебристые кудри и широкополая шляпа.

— Это ключ, который заводит шарманку, — сказал Панкс, — а песня одна и та же: жми, жми, жми. Вот хозяин, и вот его батрак. Да, добрые люди, когда эта благодущная кукла прохаживается вечером по подворью, а вы пристаёте к ней с жалобами на батрака, вы не знаете, каков хозяин. Ведь он сегодня вечером распек меня за то, что я не выжимаю вас как следует, — как вам это

понравится? Сейчас только он строго-настрого приказал мне выжать вас досуха в понедельник, — как вам это понравится?

Послышался ропот: «Стыдно», «Какая подлость».

— Подлость? — фыркнул Панкс. — Да, я то же думаю. Сорт мошенников, к которому принадлежит Кэсби, — самый худший из всех сортов. Завести себе батрака за грошовую плату и навалить на него всё, что сам стыдишься и не смеешь делать иначе, как чужими руками, а затем тянуть. Да самый последний мошенник в этом городе честнее этой вывески, этой «Головы Кэсби».

Послышались возгласы: «Верно!», «Так оно и есть!».

— И посмотрите, как вам втирают очки эти молодцы, — продолжал Панкс, — эти драгоценные волчки, которые вертятся среди вас так ловко, что вы не можете рассмотреть ни их настоящего узора, ни пустоты внутри. Скажу два слова о себе самом. Я ведь не из приятных людей, — так ли?

Мнения слушателей разделились: более прямодушные закричали: «Да, вовсе не из приятных», более вежливые: «Нет, ничего».

— Я, — продолжал мистер Панкс, — сухой, жестокий, черствый, придиричивый батрак. Таков ваш покорнейший слуга. Это его портрет во весь рост, нарисованный им самим и предлагаемый вам с ручательством за сходство. Но чего же и ожидать от человека, у которого на шее сидит такой хозяин. Чего ожидать от него? Ожидает ли кто-нибудь, что баранина под каперсовым соусом вырастет из кокосового ореха?

Никто из Разбитых сердец ничего подобного не ожидал: это было очевидно по живости их ответа.

— Отлично, — сказал мистер Панкс, — точно так же вы не можете ожидать приятных качеств от такого батрака, как я, состоящего под командой такого хозяина, как он. Я ведь с детства тяну эту лямку. Чем была моя жизнь? Тяни да потягивай, тяни да потягивай, знай верти колесо. Я самому себе был неприятен, а другим и по-давно. Если бы раз в десять лет я принес хозяину шиллингом меньше в неделю, он заплатил бы мне шиллингом меньше за эту неделю, и если бы он нашел другого батрака на шесть пенсов дешевле, то взял бы его на мое место без всяких церемоний. Купля-продажа, вот оно что. Незыблемые принципы. Чудесная вывеска эта «Го-

лова Кэсби», — прибавил мистер Панкс, оглядывая ее с чувством, далеко не похожим на восхищение, — только настоящее-то название дома «Вертеп лицемерия», а его девиз: «Выжимай всё, что можно, из батрака»... Есть тут кто-нибудь, — спросил мистер Панкс, прерывая свою речь и оглядывая публику, — знакомый с английской грамматикой?

Разбитые сердца были слишком скромны, чтобы заявить притязание на такое знакомство.

— Впрочем, это неважно, — сказал мистер Панкс. — Я хотел заметить, что вся задача, которую возложил на меня этот хозяин, состояла в том, чтобы вечно, без передышки спрягать в повелительном наклонении: выжимай как можно больше. Выжимай как можно больше. Пусть он выжимает как можно больше. Будем выжимать как можно больше. Выжимайте как можно больше. Пусть они выжимают как можно больше. Вот вам благодушный патриарх Кэсби, а вот его золотое правило. Вон он какой представительный, — не то, что я. Он сладок, как мед, а я — кислый, как уксус. Он заваривает кашу, а я ее расхлебываю, и она прилипает ко мне. Ну-с, — прибавил мистер Панкс, снова подходя вплотную к патриарху, от которого отступил немного, чтобы лучше показать его фигуру подворью, — я не привык говорить публично, и речь моя порядком-таки затянулась; прибавлю одно: пора нам с вами разделаться.

Последний из патриархов был так ошеломлен этой атакой, ему требовалось столько времени, чтобы обдумать всё это, что он не нашел ни слова в ответ. Повидимому, он обдумывал, каким бы патриархальным способом выпутаться из этого затруднительного положения, когда мистер Панкс снова приложил пальцы к его шляпе и обил ее одним щелчком с такой же ловкостью. В первый раз кто-то из Разбитых сердец поднял шляпу и почтительно подал ее владельцу; но речь мистера Панкса произвела такое впечатление на слушателей, что на этот раз патриарху пришлось нагнуться за ней самому.

С быстротой молнии мистер Панкс, за минуту перед тем опустивший руку в карман, вытащил ножницы, накинулся на патриарха сзади и единым взмахом отрезал священные кудри, ниспадавшие на его плечи. Затем, в пароксизме ярости, мистер Панкс выхватил из рук ошеломленного патриарха шляпу, разом отхватил у нее поля

и, превратив ее в настоящую кастрюльку, нахлобучил на патриаршую голову.

Ужасные результаты этого отчаянного поступка заставили самого мистера Панкса отступить в смятении. Перед ним стояло лысое, пучеглазое, неуклюжее чучело, ничуть не представительное, ничуть не почтенное, точно выскокшее из-под земли, чтобы узнать, что случилось с Кэсби. Посмотрев на это привидение с безмолвным ужасом, мистер Панкс бросил ножницы и пустился наутек, думая только о том, куда бы укрыться от последствий своего преступления. Мистер Панкс мчался как угорелый, хотя его преследовали только раскаты хохота, от которых дрожало и гудело всё подворье Разбитых сердец.

ГЛАВА XXXIII

Близок конец!

Перемены в состоянии горячечного больного медленны и неверны, перемены в состоянии этого горячечного мира быстры и бесповоротны.

Крошке Доррит суждено было следить за переменами того и другого рода. Стены Маршалси принимали ее под свою тень, как свое дитя, в те часы дня, когда она заботилась о Кленнэме, ухаживала за ним, смотрела за ним и, даже расставшись с ним, посвящала ему свою любовь и заботы. Жизнь по ту сторону тюремных ворот тоже предъявляла к ней свои требования, и она удовлетворяла им с неистощимым терпением. Тут была Фанни, гордая, капризная, раздражительная, далеко подвинувшаяся в том неприятном положении, которое мешало ей являться в обществе и так бесило ее в тот вечер, когда мистер Мердль явился за ножичком в черепаховой оправе, носившаяся со своими обидами и оскорблявшаяся, если кто-нибудь пробовал ее утешать. Тут был ее брат, расслабленный, тщеславный, пьяный, юноша-старик, с дрожью в теле, с заплетающимся языком, — точно деньги, так неожиданно доставшиеся на его долю, застряли у него во рту, — не способный и шагу ступить без посторонней помощи и покровительствовавший сестре, которую всегда любил эгоистической любовью (эта отрицательная заслуга всегда оставалась за злополучным Типом), позволяя ей ухаживать за ним. Тут была миссис Мердль в кружевном

трауре (возможно, что первый образчик этого траура был изорван на клочки в припадке горя — и заменен наилучшим парижским изделием), боровшаяся с Фанни лицом к лицу, ежечасно вздымая перед ней свой безутешный бюст. Тут был злополучный мистер Спарклер, не знавший, как ему быть между двух огней, и робко советовавший им признать, что обе они чертовски славные женщины, без всяких этаких глупостей, за каковой проект обе с яростью накидывались на него. Тут была и миссис Дженераль, вернувшаяся на родину из дальних стран и присылавшая по персику и призме с каждой почтой, требуя новых рекомендаций, которые помогли бы ей занять то или иное вакантное место. Кстати, чтобы покончить с этой замечательной дамой, — вряд ли можно было найти на свете другую даму, столь пригодную для всяких вакантных мест, судя по множеству теплых и убедительных рекомендаций, и вряд ли была другая дама, от которой бы так шарахались прочь ее пылкие и благородные поклонники.

В первую минуту суматохи, вызванной смертью мистера Мердля, многие высокопоставленные лица не знали, как им быть с его супругой, утешать ли ее или закрыть перед ней двери. Но так как, по здравом обсуждении дела, казалось выгоднее, для оправдания собственного легковерия, признать, что она была жестоко обманута, то они милостиво допустили это и продолжали принимать ее. Словом, миссис Мердль, как женщина светская и благовоспитанная, несчастная жертва грубого варвара (ибо мистер Мердль был признан таковым от головы до пят, с той минуты, когда оказалось, что он нищий), была принята под защиту своим кругом, ради выгод этого самого круга. В обмен за эту любезность она давала понять, что относится к вероломной тени покойного с большим негодованием, чем кто бы то ни было; и таким образом вышла из горнила испытаний целой и невредимой, как и можно было ожидать от такой умной женщины.

К счастью для мистера Спарклера, его должность оказалась одной из тех полочек, куда джентльмена помещают на всю жизнь, если только не найдут нужным переставить его повыше. Таким образом этот патриот своего отечества мог крепко ухватиться за свое знамя (знамя дня получения жалованья) и держал его твердо, как

настоящий Нельсон.¹ Пользуясь плодами его неустрашимости, миссис Спарклер и миссис Мердль, водворившись в различных этажах изящного маленького храма неудобств, с вечным запахом третьегоднешнего супа и конюшни, выступали на общественной арене в качестве заклятых соперниц. Глядя на всю эту чепуху, Крошка Доррит невольно спрашивала себя, в каком закоулке изящных апартаментов Фанни поместятся ее будущие дети и кто будет заботиться об этих еще не родившихся жертвах?

Артур был слишком серьезно болен, чтобы можно было говорить с ним о каких-либо тревожных и волнующих вещах, и его выздоровление так существенно зависело от покоя, что единственной поддержкой Крошки Доррит в это тяжелое время был мистер Мигльс. Он еще не вернулся в Англию, но она писала ему, при посредстве его дочери, тотчас после своего свидания с Артуром в Маршалси и позднее, сообщая ему о всех своих тревогах, в особенности об одной. Это последнее обстоятельство и заставляло его странствовать за границей вместо того, чтобы явиться в Маршалси.

Не рассказывая содержания документов, попавших в руки Риго, Крошка Доррит в общих чертах сообщила мистеру Мигльсу их историю, упомянув также об участии, постигшей негодая Старая деловая опытность, приобретенная во времена лопаточки и весов, сразу подсказала мистеру Мигльсу, как важно найти подлинные документы, ввиду этого он написал Крошке Доррит, что ее беспокойство вполне основательно и что он не вернется в Англию, «не сделав попытки разыскать их».

Тем временем мистер Генри Гоуэн пришел к убеждению, что ему лучше не знаться с этими Мигльсами. По свойственной ему деликатности он не сказал об этом жене, а заявил лично мистеру Мигльсу, что они, очевидно, не подходят друг к другу и что поэтому самое лучшее для них — вежливо, без всяких ссор или неприятных сцен — разойтись и остаться наилучшими друзьями

¹ Нельсон, Орэйс (1758—1805) — английский адмирал, представитель интересов реакционных кругов английской буржуазии, стремившейся в своей политике к колониальным захватам и подавлению национально освободительного движения европейских народов. Нельсон был убит во время морского боя с французским флотом при Трафальгаре.

в мире, не поддерживая, однако, личных отношений Бедный мистер Мигльс, который и сам чувствовал, что его присутствие не способствует семейному счастью дочери, ответил. «Хорошо, Генри, вы муж Милочки, вы заменили ей меня, если вы этого желаете, будь по вашему» Этот разрыв повлек за собой весьма существенную выгоду, которой Генри Гоуэн, быть может, и не предвидел мистер и миссис Мигльс стали еще щедрее к своей дочери с тех пор, как поддерживали отношения только с ней и с ее ребенком; таким образом денег у Гоуэна было вволю, но его благородный дух был избавлен от унижительной необходимости знать, откуда они берутся

При таких обстоятельствах мистер Мигльс, естественно, с жаром ухватился за представлявшееся ему занятие. Он узнал от дочери, в каких городах и гостиницах останавливался Риго во время их путешествия, и решил, не теряя времени и не поднимая шума, посетить эти города и гостиницы, и если окажется, что Риго оставил где-нибудь неоплаченный счет и забыл шкатулку или ящик, уплатить по счету и взять эту шкатулку или ящик.

Не имея другого спутника, кроме своей жены, мистер Мигльс начал свое паломничество и испытал много приключений. Немаловажным затруднением для него было то, что он совершенно не понимал людей, с которыми ему приходилось беседовать, а они не понимали его. Тем не менее мистер Мигльс с непоколебимой уверенностью, что английский язык — родной язык для всего мира и не понимать его можно только по глупости, пускался в длинные разглагольствования с содержателями гостиниц, входил в подробные и запутанные объяснения и решительно отказывался принимать ответы на местном языке, на том основании, что всё это ерунда. Иногда приглашались переводчики, но мистер Мигльс обращался к ним на таком специфическом жаргоне, что они моментально стушевывались, и выходило еще хуже. Вряд ли, впрочем, он много потерял от этого, потому что, не найдя никаких оставленных вещей, он нашел такую кучу долгов и различных неблагоприятных воспоминаний, связанных с фамилией, которая была единственным словом в его речи, понятным для окружающих, что почти всюду его осыпали оскорбительными обвинениями. Не менее четырех раз о мистере Мигльсе давали знать в полицию как об авантюристе, бродяге и мошеннике, но он с величайшим благодушием

выслушивал обидные речи (значения которых не понимал) и, направляясь к пароходу или дилижансу под конвоем местных жителей, желавших выпроводить его как бродягу, весело болтал с ними на английском языке.

Впрочем, в пределах этого языка мистер Мигльс был неглупый, смысленный и настойчивый человек. Добравшись, наконец, до Парижа после неудачных поисков, он отнюдь не упал духом. «Чем более мы приближаемся к Англии, — рассуждал он, — тем больше шансов найти эти бумаги, — вот что я скажу тебе, мать. По всей вероятности, он припрятал их где-нибудь, в таком месте, чтобы они всегда были под рукой, а вместе с тем в безопасности от всяких покушений со стороны заинтересованных лиц в Англии».

В Париже мистер Мигльс нашел письмо Крошки Доррит, адресованное к нему до востребования. Она сообщала, что, по словам мистера Кленнэма, с которым она разговаривала о погибшем иностранце, — причем упомянула, что мистеру Мигльсу необходимо разузнать о его прошлом, — Риго был знаком с мисс Уэд, которая живет в Кале, на такой-то улице, о чем мистер Кленнэм просил сообщить мистеру Мигльсу.

— Ого, — сказал мистер Мигльс.

Вскоре после этого (насколько скорость была достижима в эпоху дилижансов) мистер Мигльс позвонил в надтреснутый колокольчик у надтреснутой калитки, и она отворилась, и в темном проходе появилась крестьянка с вопросом:

— Что такое, сэръ? Кого надо?

Услышав родную речь, мистер Мигльс пробормотал себе под нос, что у обитателей Кале всё-таки есть кое-какой смысл в голове, и ответил:

— Мисс Уэд, моя милая.

Затем его провели к мисс Уэд.

— Давненько мы не видались, — сказал мистер Мигльс, откашливаясь, — надеюсь, что вы в добром здорвье, мисс Уэд?

Не выразив со своей стороны надежды, что он, или кто бы то ни было, тоже обретается в добром здорвье, мисс Уэд спросила, чему она обязана честью видеть его еще раз? Тем временем мистер Мигльс окинул взглядом комнату, но не заметил ничего, похожего на ящик.

— Дело вот в чем, мисс Уэд, — отвечал он дружелюб-

ным, ласковым, чтоб не сказать — заискивающим тоном, — весьма возможно, что вы в состоянии разъяснить одно темное для меня обстоятельство. Надеюсь, что все недоразумения между нами покончены. Теперь уж ничего не поделаешь. Вы помните мою дочь? Как время-то летит. Она уже мать.

При всей своей невинности мистер Мигльс не мог бы выбрать более неудачной темы. Он подождал, ожидая какого-нибудь сочувственного замечания со стороны мисс Уэд, но ожидания его остались тщетными.

— Вы для того и явились, чтобы побеседовать со мной об этом? — спросила она после непродолжительного холодного молчания.

— Нет, нет, — возразил мистер Мигльс. — Нет. Я думал, что ваша добрая натура...

— Вам, кажется, известно, — перебила она с улыбкой, — что на мою добрую натуру нечего рассчитывать.

— Не говорите этого, — сказал мистер Мигльс, — вы несправедливы к себе. Как бы то ни было, перейдем к делу.

(Он сам почувствовал, что его попытки не привели ни к чему доброму.)

— Я слышал от моего друга, мистера Кленнэма, который опасно заболел и до сих пор болен, о чем вам, конечно, неприятно будет услышать...

Он остановился, но она попрежнему отвечала только молчанием.

— ...что вы были знакомы с неким Бландуа, недавно погибшим в Лондоне вследствие несчастного случая. Нет, нет, не истолкуйте моих слов превратно. Я знаю, что это было очень поверхностное знакомство, — сказал мистер Мигльс, ловко предупреждая гневное замечание, с которым, как он видел, она готова была к нему обратиться. — Мне это очень хорошо известно. Самое поверхностное знакомство. Но я бы желал знать, — тут голос мистера Мигльса снова сделался заискивающим, — не оставил ли он у вас, когда в последний раз возвращался в Англию, ящик с бумагами, или пачку бумаг, или вообще бумаги... так не оставил ли он их у вас на время, с просьбой вернуть ему при первом требовании, — вот в чем вопрос.

— Вот в чем вопрос, — повторила она, — чей вопрос?

— Мой, — отвечал мистер Мигльс, — и не только мой, но и Кленнэма и некоторых других лиц. Я уверен, — про-

должал мистер Мигльс, сердце которого вечно возвращалось к Милочке, — что вы не можете питать неприязненного чувства к моей дочери; это невозможно. Так вот, между прочим, это и ее вопрос, так как дело касается одного из ее друзей, к которому она особенно расположена. Потому-то я и явился к вам и говорю прямо: вот в чем вопрос, и спрашиваю: что же, оставил он?

— Честное слово, — возразила она, — я превратилась в какую-то мишень для вопросов со стороны всех, кто знал человека, которого я наняла однажды в жизни для своей надобности и затем, расплатившись, отпустила на все четыре стороны.

— Полноте, — сказал мистер Мигльс, — полноте. Не обижайтесь, ведь это самый простой вопрос в мире. Документы, о которых я говорю, не принадлежали ему, были им присвоены незаконно, могут причинить неприятности людям ни в чем неповинным, и потому-то законные владельцы разыскивают их. Он приехал в Англию через Кале, и есть основание думать, что не взял с собой документов, а вместе с тем желал иметь их под рукой и не решался доверить какому-нибудь субъекту одного с ним пошиба. Не оставил ли он их здесь? Уверяю, что я ни за что в мире не желал бы обидеть вас. Я предлагаю вопрос вам лично, но вовсе не потому, чтобы я относился как-нибудь особенно именно к вам. Я мог бы предложить его всякому другому, да и предлагал уже многим. Оставил он здесь что-нибудь?

— Нет.

— И вы ничего не знаете о них, мисс Уэд?

— Я ничего не знаю. Теперь я ответила на ваш странный вопрос. Он не оставлял здесь бумаг, и я ничего не знаю о них.

— Так, — сказал мистер Мигльс, вставая. — Очень жаль. Надеюсь, я не слишком беспокоил вас? Тэттикорэм здорова, мисс Уэд?

— Гарриэт? О да.

— Я опять обмолвился, — сказал мистер Мигльс. — Ну, от этой привычки я вряд ли отделаюсь. Может быть, если бы я хорошенько подумал об этом, то и не дал бы ей шуточного имени. Но когда любишь молодежь, то и шутишь с нею, не подумав. Если вас не затруднит это, мисс Уэд, передайте ей, что ее старый друг желает ей всего хорошего.

Она ничего не отвечала на это, и мистер Мигльс оставил мрачную комнату, которую его добродушное лицо озаряло точно солнце, и, вернувшись в гостиницу к миссис Мигльс, сообщил ей кратко: «Мы разбиты, мать; ничего не вышло». Затем они отправились на лондонский пароход, отплывавший ночью, а затем в Маршалси.

Верный Джон был на дежурстве, когда папа и мама Мигльс явились под вечер в сторожку. Он объявил, что мисс Доррит нет в тюрьме; но что она всегда бывает утром и вечером. Мистер Кленнэм поправляется медленно, и Мэгги, миссис Плорниш и мистер Батист ухаживают за ним поочередно. Мисс Доррит, наверно, придет вечером до звонка. Директор предоставил ей комнату наверху, где они могут подождать ее, если угодно. Считая неосторожным являться к Артуру без предупреждения, мистер Мигльс принял предложение, и они стали ожидать в комнате Крошки Доррит, поглядывая сквозь решетку на тюремный двор.

Вид этого жилища так подействовал на них, что миссис Мигльс начала плакать, а мистер Мигльс задыхаться. Он ходил взад и вперед по комнате, отдуваясь и тщетно стараясь освежить себя носовым платком, как вдруг дверь отворилась.

— Э, боже милостивый! — воскликнул мистер Мигльс. — Это не мисс Доррит. Смотри-ка, мать! Тэттикорэм!

Она самая. И в руках у нее был железный сундучок. Точно такой же сундучок Эффри видела в своем первом сне подмышкой двойника, который унес его из дому. Тэттикорэм поставила его на пол у ног своего старого господина, и Тэттикорэм бросилась на колени и восклицала не то в восторге, не то в отчаянии, полуплача, полусмеясь:

— Простите, мой добрый господин; возьмите меня опять, моя добрая госпожа; вот я пришла к вам.

— Тэтти! — воскликнул мистер Мигльс.

— Вы его искали, — сказала Тэттикорэм. — Вот он. Я сидела в соседней комнате и видела вас. Я слышала, как вы спрашивали о нем, слышала, как она отвечала, что у нее ничего нет. Но я была там, когда он оставил этот ящик, и вот взяла его ночью и унесла. Вот он.

— Но, дитя мое, — воскликнул мистер Мигльс, задыхаясь сильнее прежнего, — как же ты добралась сюда?

— Я приехала на пароходе вместе с вами. Я сидела, закрывшись платком, на другом конце. Когда вы взяли на пристани карету, я взяла другую и поехала за вами. Она бы ни за что не отдала его, раз вы сказали, что он вам нужен; она бы скорее бросила его в море или сожгла. Но вот он здесь.

Это «вот он здесь» звучало невыразимым восторгом.

— Она не хотела, чтобы он оставлял его, это я должна сказать; но он оставил, и я знаю, что раз вы спросили о нем и она отрицала это, то уж ни за что бы не отдала его вам. Но вот он здесь. Дорогой господин, дорогая госпожа, возьмите меня опять к себе и называйте прежним именем. Возьмите меня хоть ради этого ящика. Вот он здесь.

Папа и мама Мигльс никогда так не заслуживали этих названий, как принимая под свое покровительство заблудшую овечку.

— О, я была так несчастна, — воскликнула Тэттикорэм, заливаясь слезами, — так несчастна и так раскаивалась. Я боялась ее с первой нашей встречи. Я знала, что она приобрела власть надо мной только потому, что понимала мои недостатки. Во мне гнездились безумие, и она всегда умела его вызвать. Когда я приходила в такое состояние, мне казалось, что все против меня за мое рождение, и чем ласковее ко мне относились, тем сильнее я злилась. Мне казалось, что они торжествуют надо мной и нарочно делают так, чтобы я завидовала им, хотя я знаю и даже тогда знала, что у них ничего подобного и в мыслях не было, и моя милая барышня не так счастлива, как бы ей следовало быть, а я ушла от нее. Какой грубой и неблагодарной она должна считать меня! Но вы замолвите ей за меня словечко и попросите ее простить меня, как и вы простили? Потому что теперь я не так дурна, как была прежде, — доказывала Тэттикорэм, — я и теперь дурна, но, право, не так, как прежде. Я видела мисс Уэд всё это время — точно мой портрет постарше. Она всё перетолковывает навыворот и в самом лучшем видит только дурное. Она была передо мной всё время, и всё время она старалась только об одном: сделать меня такой же несчастной, подозрительной и злобной, как она сама. Я не говорю, что ей нужно было много хлопотать об этом, — воскликнула Тэттикорэм в сильнейшем порыве отчаяния, — потому что я и без того зла.

Я хочу только сказать, что после всего, что я испытала, я надеюсь уже быть не такой дурной, как раньше, а сделаться понемногу лучше. Я буду стараться. Я не остановлюсь на двадцати пяти. Я буду считать до двух тысяч пятисот, до двадцати пяти тысяч.

Снова отворилась дверь, и Тэттикорэм замолчала; вошла Крошка Доррит, и мистер Мигльс с гордым удовольствием вручил ей сундучок, и ее кроткое лицо озарилось радостной улыбкой. Теперь тайна была обеспечена. Она сохранит про себя всё, что касалось ее самой; он никогда не узнает об ее потере со временем он узнает всё то важное, что касается его самого, но никогда не узнает о том, что касается только ее. Всё это прошло, всё прощено, всё забыто.

— Ну-с, дорогая мисс Доррит, — сказал мистер Мигльс, — я деловой человек или, по крайней мере, был деловым человеком, и в качестве такового намерен, не теряя времени, принять меры. Заходить ли мне к Артуру сегодня?

— Я думаю, лучше не сегодня. Я схожу к нему и узнаю, как он себя чувствует. Но я думаю, что лучше отложить ваше посещение до завтра.

— Я думаю так же, дорогая моя, — сказал мистер Мигльс — Значит, сегодня я не пойду дальше этой неприятной комнаты. В таком случае, мы увидимся через несколько дней, не раньше. Но я вам объясню свои планы, когда вы вернетесь.

Она ушла. Мистер Мигльс, выглянув за решетку, увидел, как она выходила из сторожки на тюремный двор. Он ласково сказал:

— Тэттикорэм, поди ко мне на минутку, моя добрая девочка

Она подошла к окну.

— Видишь ты эту молодую девушку, что была сейчас здесь, эту маленькую, хрупкую, тихую фигурку, Тэтти? Посмотри, люди расступаются перед ней, мужчины, бедные, оборванные, снимают перед ней шляпы. Ты ее видишь, Тэттикорэм?

— Да, сэр.

— Я слышал, Тэтти, что ее называли прежде дочерью тюрьмы. Она родилась здесь и жила здесь много лет, а я здесь дышать не могу. Печальная участь родиться и воспитываться в таком месте, Тэттикорэм.

— Да, конечно, сэр.

— Если бы она постоянно думала о самой себе и воображала, что каждый, кто приходит сюда, смотрит на нее с презрением и насмешкой, она вела бы жалкое и, вероятно, бесполезное существование. А между тем я слышал, Тэттикорэм, что ее жизнь была подвигом милосердия, доброты и великодушия. Сказать тебе, что, по моему мнению, видели перед собой эти глаза и что придало им такое выражение?

— Скажите, сэр

— Долг, Тэттикорэм. Исполняй свои долг с ранних лет, и в жизни твоей не будет ничего, что уронило бы тебя в глазах господина или твоих собственных.

Они остались у окна; мать присоединилась к ним, с жалостью посматривая на узников. Наконец они увидели Крошку Доррит.

Вскоре она была в комнате и сообщила, что Артур спокоен и чувствует себя хорошо, но лучше не тревожить его сегодня.

— Хорошо, — весело оказал мистер Мигльс. — Я не сомневаюсь, что это будет лучше. Итак, я поручаю вам, моя милая сиделка, передать ему мой привет, зная, что никто не исполнит этого лучше вас. Я опять уезжаю завтра утром.

Крошка Доррит с удивлением спросила, куда.

— Дорогая моя, — сказал мистер Мигльс, — я не могу жить не дыша, а здесь я совсем утратил способность дышать и не верну ее, пока Артур не освободится.

— Какое же отношение это имеет к вашей поездке?

— Сейчас вы поймете, — сказал мистер Мигльс. — Сегодня мы все втроем отправимся в гостиницу. Завтра утром мать и Тэттикорэм вернутся в Туикнэм, где миссис Тиккит, которая поджидает нас у окна с доктором Буханом, примет их за привидения, а я отправлюсь за границу за Дойсом. Надо привезти сюда Дойса. Я решил отправиться завтра на рассвете и привезти сюда Дойса. Мне ничего не стоит разыскать его. Я опытный путешественник, все иностранные языки и обычаи для меня одинаковы: я не знаю ни одного. Стало быть, никакие затруднения мне не страшны. Откладывать поездку невозможно; я не могу жить не дыша и не могу дышать свободно, пока Артур сидит в Маршалси. Я и сейчас задыхаюсь; у меня осталось ровно настолько дыхания, чтобы

сказать это и снести для вас вниз этот драгоценный сундучок.

Они вышли на улицу в ту минуту, когда зазвонил звонок. Мистер Мигльс нес сундучок. К его удивлению, у Крошки Доррит не оказалось экипажа. Он подождал карету, усадил ее и поставил сундучок у ее ног. В порыве радостной благодарности она поцеловала его руку.

— Нет, нет, дорогая моя, — сказал мистер Мигльс. — Мое чувство справедливости возмущается при виде того, как вы целуете руку мне у ворот Маршалси,

Она наклонилась к нему, и он поцеловал ее в щеку.

— Вы напоминаете мне о минувших днях, — сказал мистер Мигльс, внезапно приуныв. — Впрочем, она любит его, скрывает его недостатки, думает, что никто не видит их... ну, и, конечно, он хорошей фамилии, с большими связями.

Только этим и мог он утешаться в потере дочери, и кто же осудит его за то, что он находил спокойствие в этом утешении?

ГЛАВА XXXIV

Конец

В ясный осенний день узник Маршалси, еще слабый, но уже выздоровевший, сидел в своей комнате, прислушиваясь к тихому голосу, читавшему вслух, в ясный осенний день, когда золотые поля уже сжаты, летние плоды созрели, зеленые плети хмеля пригнуты к земле и обобранные, румяные яблоки пестреют в садах и гроздья рябины краснеют среди желтеющей листвы. Уже в лесах заметны были признаки наступающей зимы: просветы среди обнаженных сучьев, сквозь которые открывались далекие перспективы полей, резко и отчетливо рисовавшихся в осеннем воздухе, не так, как летом, когда они подернуты мглой, напоминающей пушок на сливах. И океан уже не покоился в дремоте, усыпленный летним зноем, а сверкал тысячами глаз, в радостном оживлении, от холодного песка на берегу до парусов, исчезавших на горизонте, как листья, гонимые осенним ветром.

Неизменная в своей угрюмой нищете и заботе, равнодушная ко всем временам года, тюрьма не принимала участия в этих красотах. Пусть распускаются и увядают

цветы, — ее камни и решетки всегда подернуты одинаковой плесенью и ржавчиной. Но Кленнэм, прислушиваясь к тихому голосу, читавшему вслух, слышал в нем всё, о чем говорит мать-природа, все утешительные песни, которые она напевает человеку. С первых дней детства он не знал другой матери; она одна пробуждала в нем безотчетные и радостные надежды, светлые мечты, сокровища нежности и смирения, скрытые в тайниках человеческой фантазии; она пробудила к жизни семена, таившиеся в первых детских впечатлениях и разросшиеся в цветущие дубравы, укрывавшие его от иссушающих ветров. И в звуках нежного голоса, читавшего вслух, ему слышались отголоски всех этих впечатлений, нашептывавших о любви и милосердии.

Когда голос умолк, он закрыл рукой лицо, сказав вполголоса, что свет режет ему глаза.

Крошка Доррит отложила в сторону книгу и тихонько задернула занавеску. Мэгги сидела за шитьем на своем старом месте. В комнате стало темнее, и Крошка Доррит пододвинула свой стул поближе к нему.

— Скоро всё это кончится, дорогой мистер Кленнэм. Мистер Дойс пишет самые утешительные письма, и, по словам мистера Рогга, эти письма принесли большую пользу; теперь (когда первое возбуждение улеглось) все отзываются о вас так хорошо, с таким уважением, что, наверно, скоро всё уладится.

— Милая девушка, милое сердце, мой добрый ангел!

— Вы совсем захвалите меня; хотя мне так отрадно слышать, когда вы говорите обо мне так ласково и так искренно, — сказала Крошка Доррит, поднимая на него глаза, — что я не в силах просить вас перестать.

Он прижал ее руку к своим губам.

— Вы были здесь много, много раз, когда я не видал вас, Крошка Доррит?

— Да, я заходила сюда иногда, хотя не входила в комнату.

— Очень часто?

— Довольно часто, — робко сказала Крошка Доррит.

— Каждый день?

— Кажется, — отвечала Крошка Доррит после некоторого колебания, — я заходила сюда по два раза в день.

Он мог бы выпустить ее руку после того, как еще раз с жаром поцеловал ее, но рука, слегка дрожавшая в его

руке, как будто просила, чтобы ее удержали. Он взял ее обеими руками, и она нежно прижалась к его груди.

— Милая Крошка Доррит, не только мое заключение скоро кончится, вашему самопожертвованию тоже должен прийти конец. Мы должны расстаться и пойти каждый своим путем. — Вы помните наш разговор сразу же после вашего приезда из-за границы?

— О да, помню. Но с того времени многое... Вы совсем здоровы?

— Совсем здоров.

Рука, которую он держал, подвинулась ближе к его лицу.

— Вы чувствуете себя достаточно крепким, чтобы выслушать, какое огромное состояние досталось на мою долю?

— О да, я с радостью выслушаю вас. Никакое состояние не может быть слишком велико или хорошо для Крошки Доррит.

— Мне давно хочется рассказать вам. Мне ужасно хочется, ужасно хочется рассказать вам. Вы решительно отказываетесь взять его?

— Никогда.

— Ни даже половины его?

— Никогда, милая Крошка Доррит.

Она молча взглянула на него, и он заметил в ее любящем взгляде выражение, которого не мог понять; казалось, она готова была залиться слезами, и вместе с тем глаза ее светились гордостью и счастьем.

— Вас огорчит то, что я расскажу о Фанни. Бедняжка Фанни потеряла всё свое состояние. Теперь у них остается только жалованье ее мужа. Всё, что папа дал ей в приданое, погибло так же, как и ваши деньги. Ее состояние попало в те же руки и погибло всё.

Артур был скорее раздосадован, чем удивлен.

— Я не думал, что дело так плохо, — сказал он, — хотя подозревал, что потери должны быть велики, имея в виду родство ее мужа с банкиром.

— Да. Всё погибло. Мне очень жаль бедняжку Фанни, очень, очень, очень жаль бедняжку Фанни и моего бедного брата тоже.

— Разве и он доверил свое состояние в те же руки?

— Да. И оно всё погибло... Как вы думаете, велико ли теперь мое состояние?

Он взглянул на нее с тревогой, и она отняла руку и прижалась лицом к его груди.

— У меня ничего нет. Я так же бедна, как в то время, когда жила здесь Папа для того и приезжал в Англию, чтобы поместить всё свое состояние в те же руки, и всё оно пропало. О мой дорогой и лучший друг, уверены ли вы теперь, что не захотите разделить со мной мое состояние?

Он обнял ее, прижал к своему сердцу, и, чувствуя его слезы на своей щеке, она обвила его шею своими нежными руками.

— Никогда не разлучаться, Артур, никогда более, до последнего часа. Я никогда не была богата, никогда не была горда, никогда не была счастлива. Теперь я богата, потому что стану вашей женой, теперь я горда, потому что вы любите меня, теперь я счастлива, потому что нахожусь в этой тюрьме вместе с вами, как была бы счастлива, если бы бог судил мне вернуться сюда с вами, чтобы поддерживать и утешать вас моей любовью и верностью. Я ваша везде, везде. Я люблю вас глубоко. Я бы хотела лучше остаться здесь с вами и добывать свой хлеб насущный поденной работой, чем получить величайшее состояние и сделаться самой знатной дамой в мире. О, если бы бедный папа мог знать, как ликует мое сердце в той самой комнате, где он страдал столько лет!

Разумеется, Мэгги прежде всего вытаращила на них глаза, а потом залилась горячими слезами. Но теперь она была вне себя от восторга, чуть не задушила маленькую маму в своих объятиях и кубарем скатилась с лестницы, чтобы поделиться с кем-нибудь своей радостью. Кого же она могла встретить, кроме Флоры и тетки мистера Финчинга? И кто, кроме них, мог поджидать Крошку Доррит, когда она добрых два или три часа спустя сошла с лестницы?

Глаза Флоры были слегка красны, она казалась расстроенной. Тетка мистера Финчинга до того окоченела, что вряд ли какие-нибудь машины могли бы ее согнуть. Шляпка ее грозно торчала на затылке, а ридикюль точно превратился в камень, увидав голову Горгоны,¹ которой почему-либо вздумалось поместиться в нем. С этими вну-

¹ Горгона — мифологическое существо, превращавшее в камень всех, на кого оно бросало свой взгляд.

шительными атрибутами тетка мистера Финчинга торжественно восседала на ступеньках официальной квартиры директора, возбуждая глубокое любопытство в младших представителях местного населения, юмористические выходы которых отражала концом зонтика с молчаливой, но яростной злобой.

— С горечью сознаю, мисс Доррит, — сказала Флора, — что предлагать особе, занимающей такое высокое положение в свете и пользующейся уважением и почетом со стороны лучшего общества, отправиться со мной, может показаться фамильярным, если бы даже пирожная лавка не была слишком низкое место для вашего теперешнего круга, тем более что придется сидеть в задней комнате, хотя хозяин — любезный человек, но ради Артура, — не могу избавиться от старой привычки, теперь еще неприличнее — ради бывшего Дойса и Кленнэма, — я желала бы сделать последнее замечание, дать последнее объяснение, и если выбрала слишком скромное место для беседы, то, может быть, ваше доброе сердце извинит меня ввиду трех паштетов с почками.

Правильно поняв эту довольно темную речь, Крошка Доррит оказалась, что она к услугам Флоры. Ввиду этого Флора повела ее через улицу в пирожную лавку, причем тетка мистера Финчинга замыкала шествие, прилагая все старания, чтобы попасть под экипажи с упорством, достойным лучшего применения.

Когда три паштета с почками, долженствовавшие облегчить беседу, были поставлены перед ними на трех оловянных тарелочках и любезный хозяин налил в дырочки, оказавшиеся на верхушке каждого паштета, горячей подливки из соусника с носиком, точно подливал масла в лампы, Флора достала из кармана носовой платок.

— Если прекрасные грезы фантазии, — начала она, — рисовали мне когда-нибудь, что Артур, — непобедимая привычка, простите, — получив свободу, не отвергнет даже такой сухой паштет почти без почек, точно он начинен мускатным орехом, предложенный верной рукой, то эти видения навеки отлетели, и всё забыто; но, узнав, что имеются в виду более нежные узы, я от души желаю вам счастья, и, конечно, не питаю никаких дурных чувств к вам обоим, хотя и грустно сознавать, что если бы рука времени не сделала меня такой толстой и красной после

малейшего усилия, особенно после еды, когда мое лицо точно покрывается пылью, и если бы не жестокость родителей и душевное оцепенение, длившееся, пока мистер Финчинг не явился с таинственным ключом, то могло бы быть иначе, но всё-таки я не хочу быть невеликодушной, и я от души желаю вам обоим счастья.

Крошка Доррит взяла ее за руки и поблагодарила за прежнюю доброту.

— Не говорите о моей доброте, — возразила Флора, отвечая ей сердечным поцелуем, — потому что вы всегда были милейшая и добрейшая крошка в мире, если я могу позволить себе такую вольность, а в денежном отношении — воплощенная совесть, конечно гораздо более кроткая, чем моя, потому что моя совесть всегда доставляла мне больше мучений, чем радости, хотя я, кажется, не более грешна, чем большинство людей, но не в этом дело; одну надежду я позволю себе выразить, прежде чем наступит развязка, надеюсь, что ради давно минувших времен и многих искренних чувств. Артур узнает, что я не забывала о нем в его несчастье, а то и дело приходила сюда узнать, не могу ли я что-нибудь сделать для него, и проводила целые часы в этой пирожной лавочке, — куда мне любезно приносили стаканчик чего-нибудь согревающего из соседней гостиницы, — мысленно беседуя с ним через улицу, хотя он не знал об этом.

Неподдельные слезы выступили на глаза Флоры и очень ее красили.

— А главное и самое важное, — продолжала Флора, — я убедительно прошу вас, как милейшую крошку в мире, если вы позволите такую фамильярность женщине совершенно другого круга, передать Артуру, что я и сама начинаю подозревать, не была ли наша любовь безумием, хотя, конечно, приятным в свое время и вместе с тем мучительным, но во всяком случае со времени мистера Финчинга всё изменилось, и волшебные чары рассеялись, и ничего нельзя было ожидать, не начав сызнова, чему мешали различные обстоятельства, а главным образом, быть может, то, что и не следовало начинать, я, впрочем, не хочу сказать, что если бы это было приятно Артуру и сделалось само собой, то я не была бы рада, ведь я веселого характера и умираю от тоски дома, потому что папа, без сомнения, самый несносный представитель своего пола и ничуть не стал интереснее после

того, как этот Поджигатель остриг его и превратил в нечто невообразимое, чего я за всю жизнь свою не видала, но ревность и зависть не в моем характере, хотя в нем много недостатков.

Не поспевая за миссис Финчинг в лабиринте ее бессвязных фраз, Крошка Доррит поняла, однако, общий смысл ее речи и обещала исполнить поручение.

— Увядший веночек истлел, дорогая моя, — сказала Флора с величайшим наслаждением, — колонна рухнула, пирамида перевернулась вверх ногами и стоит на своем, — как его? — не называйте это безумием, не называйте это слабостью, не называйте это сумасбродством. Я должна теперь удалиться под сень уединения и плакать над пеплом минувшей радости, позволив себе только одну вольность — заплатить за паштеты, послужившие скромным предлогом для нашего разговора, и сказав вам навеки...

Тетка мистера Финчинга, уписывавшая свой паштет в торжественном молчании и обдумывавшая план жестокой мести, с тех пор как уселась на ступеньки лестницы директора, воспользовалась наступившим перерывом и обратилась к вдове покойного мистера Финчинга со следующим сакраментальным изречением:

— Давай его сюда, и я вышвырну его за окно.

Тщетно Флора пыталась успокоить эту превосходную женщину, стараясь втолковать ей, что им пора идти домой обедать. Тетка мистера Финчинга упорно повторяла: «Давай его сюда, и я вышвырну его за окно!». Повторив это требование бесчисленное множество раз и не спуская вызывающего взгляда с Крошки Доррит, тетка мистера Финчинга скрестила руки на груди, забилась в угол и решительно отказалась двинуться с места, пока не получит «его» и не исполнит над ним своего мстительного замысла.

При таких обстоятельствах Флора шепнула Крошке Доррит, что она давно уже не видала тетки мистера Финчинга в таком оживленном и бодром настроении, что ей придется посидеть здесь «быть может, несколько часов», пока неумолимая старушка не смягчится, и что поэтому им лучше остаться одним. Итак, они дружески расстались, сохранив наилучшие отношения.

Тетка мистера Финчинга выдерживала все атаки, как какая-то мрачная крепость, и Флора вскоре почувство-

вала потребность освежиться; ввиду этого слуга был отправлен в соседнюю гостиницу за стаканчиком, о котором она уже упоминала в своей речи. С помощью стаканчика, газеты и кое-каких припасов, оказавшихся в пирожной лавке, Флора провела остаток дня в совершенном благополучии, если не считать неудобных последствий нелепого слуха, распространившегося среди легковверных соседних ребятишек, будто старая леди продала себя в пирожную лавку на начинку для пирогов и сидит теперь в задней комнате, отказываясь исполнить условие. Это привлекло такую массу молодых людей обоего пола и до того мешало торговле, оживившейся с наступлением вечера, что хозяин потребовал удаления тетки мистера Финчинга. Была вызвана карета, в которую и удалось, наконец, погрузить эту замечательную женщину соединенными усилиями хозяина и Флоры, хотя и тут она не переставала требовать, чтобы ей «подали его» для упомянутых уже целей. Так как всё это время она бросала мрачные взгляды на Маршалси, то явилось предположение, что эта удивительно настойчивая женщина подразумевала под «ним» Артура Кленнэма. Впрочем, это была только гипотеза; кто именно был тот человек, которого следовало «подать» тетке мистера Финчинга и которого так и не подали ей, — осталось навеки неразгаданной тайной.

Шли осенние дни, и теперь Крошка Доррит уже ни разу не уходила из Маршалси, не повидавшись с Кленнэмом. Нет, нет, нет.

Однажды утром, когда Артур прислушивался, не раздадутся ли легкие шаги, которые каждое утро окрыляли радостью его сердце, принося блаженство новой любви в эту комнату, где так жестоко страдала старая любовь, — однажды утром он услышал ее шаги и чьи-то еще.

— Милый Артур, — раздался за дверью ее радостный голос, — со мной кто-то пришел. Можно ему войти?

Ему казалось, что с ней были двое. Он отвечал «да», и она вошла с мистером Мигльсом. Мистер Мигльс, сияющий и загорелый, горячо обнял Артура.

— Ну, теперь всё в порядке, — сказал он минуту спустя, — всё устроилось. Артур, милый мой, сознайтесь, что вы ожидали меня раньше?

— Да, — отвечал Артур, — но Эми сказала мне...

— Крошка Доррит. Зачем другое имя? — (Это она шепнула ему.)

— Но Крошка Доррит сказала мне, не давая никаких других объяснений, что я не должен ожидать вас, пока вы не явитесь.

— И вот я явился, милый мой, — сказал мистер Мигльс, крепко пожимая ему руку, — и теперь вы получите все, какие нужно, объяснения. Дело в том, что я был здесь, — явился прямо к вам, вернувшись от... и... иначе мне стыдно было бы теперь глядеть вам в глаза, — но вам было не до гостей в ту минуту, а мне необходимо было ехать немедленно отыскивать Дойса.

— Бедный Дойс! — вздохнул Артур.

— Не называйте его именами, которых он вовсе не заслуживает, — возразил мистер Мигльс. — Он вовсе не бедный: его дела очень недурны. Дойс делает чудеса в тех краях. Уверяю вас, что его дела хоть куда. Он стал на ноги, наш Дэн. Там, где хотят, чтоб дело не делалось, и приглашают человека, который делает дело, там этот человек, конечно, не держится на ногах; но там где хотят, чтоб дело делалось, и приглашают человека, который делает дело, там этот человек всегда станет на ноги. Вам нет больше надобности смущать министерство околичностей. Могу вам сообщить, что Дэн и без него обойдется.

— Какую тяжесть вы снимаете с моей души! — воскликнул Артур — Какую радость вы мне приносите!

— Радость? — возразил мистер Мигльс. — Не толкуйте о радости, пока не увидите Дэна. Уверяю вас. Дэн наделал таких дел, что у вас голова пошла бы кругом. Он уже больше не государственный преступник. У него медали, и ленты, и звезды, и кресты. Он теперь почетная особа. Но не нужно рассказывать об этом здесь.

— Почему же?

— Да так, — отвечал мистер Мигльс, серьезно покачав головой: — здесь все эти вещи нужно запрягать в сундук и запереть на ключ. Тут они придутся не по вкусу. На этот счет Британия строга; сама не дает своим детям таких знаков отличия и не желает их видеть, если они получены в других странах. Нет, нет, Артур, — прибавил мистер Мигльс, снова покачав головой, — здесь это не подходит.

— Если бы вы привезли мне вдвое больше денег, чем я потерял (исключая, конечно, потерю Дойса), — воскликнул Артур, — вы бы не так обрадовали меня, как этой новостью!

— Ну да, конечно, — согласился мистер Мигльс. — Я знаю это, дружище, и потому-то прежде всего явился к вам. Ну-с, вернемся к делу. Итак, я поехал разыскивать Дойса. Я разыскал Дойса. Я нашел его в толпе грязных темнокожих чертей в женских покрывалах, арабов или как их там зовут, — совершенно нелепые народы. Вы знаете их. Ладно. Он кинулся ко мне, я кинулся к нему, и мы вернулись вместе.

— Дойс в Англии? — воскликнул Артур.

— Эх, — отвечал мистер Мигльс, разводя руками, — решительно не умею устраивать толком эти дела. Не знаю, что бы из меня вышло, если бы я пошел по дипломатической части. Ну, говоря попросту, Артур, мы оба вернулись в Англию две недели тому назад. А если вы спросите, где он находится в настоящую минуту, я отвечу прямо: здесь. Ну, теперь я могу, наконец, дышать свободно.

Дойс вбежал в комнату, протянул Артуру обе руки и досказал остальное сам.

— Я вам скажу только три вещи, дорогой мой Кленэм, — объявил Дойс, отмечая их на ладони своими гибкими пальцами, — и скажу кратко. Во-первых, ни слова более о прошлом. В ваши расчеты вкралась ошибка. Я знаю, что это такое. Одна ошибка портит весь механизм, и в результате — неудача. Вы воспользуетесь своей неудачей и не повторите ошибки. Со мной часто случались подобные вещи при постройке машин. Каждая ошибка учит чему-нибудь человека, если он хочет учиться, а вы слишком толковый человек, чтобы не научиться. Это во-первых. Во-вторых, я жалею, что вы приняли всё это так близко к сердцу и так жестоко упрекали себя; я спешил домой, чтобы поправить дело с помощью нашего друга, когда наш друг встретился со мной. В-третьих, мы оба согласились, что после всего, что вы испытали, после вашего отчаяния и болезни, для вас будет приятным сюрпризом, если мы приведем в порядок дела без вашего ведома и явимся вам сообщить, что всё уладилось, всё обстоит благополучно, дело нуждается в вас сильнее, чем когда-либо, и перед нами, компаньонами,

открывается новый и многообещающий путь. Это в-третьих. Но вы знаете, что мы, механики, всегда принимаем в расчет трение: так и я оставил себе место для особого заключения. Дорогой Кленнэм, я безусловно доверяю вам; вы можете быть столь же полезным мне, как и я могу быть полезен вам; ваше старое место ожидает вас и нуждается в вас, и нет ничего, что бы могло задержать вас здесь хотя бы на полчаса.

Наступило молчание, которое не прерывалось, пока Артур стоял, повернувшись лицом к окну. Наконец его будущая жена подошла к нему, и Дойс сказал:

— Я сейчас сделал замечание, которое, кажется, нужно взять назад. Я сказал, что нет ничего, что могло бы задержать вас здесь хоть на полчаса. Если не ошибаюсь, вы предпочли бы остаться здесь до завтрашнего утра. Догадался ли я, не будучи предсказателем будущего, куда бы вы хотели отправиться прямо из этой комнатки?

— Догадались, — сказал Артур. — Это наше заветное желание.

— Отлично, — сказал Дойс. — Итак, если эта молодая девица сделает мне честь, избрав меня на сутки своим отцом, и согласится ехать со мной в собор святого Павла, я, кажется, знаю, зачем мы туда отправимся.

Вскоре после этого он ушел с Крошкой Доррит, а мистер Мигльс остался сказать несколько слов своему другу:

— Я думаю, Артур, что вы обойдетесь без меня и матери завтра. Весьма возможно, что мать вспомнит о Милочке, она у меня такая чувствительная. Лучше ей остаться в коттедже, а я составлю ей компанию.

На этом они расстались. И прошел день, и прошла ночь, и наступило утро, и Крошка Доррит явилась вместе с рассветом, как всегда в простом платье, в сопровождении одной только Мэгги. Бедная комнатка была счастливой комнаткой в это утро. Была ли в мире другая комната, полная такой тихой радости?

— Радость моя, — сказал Артур. — Зачем Мэгги вздумала топить печь? Ведь мы не вернемся сюда.

— Это я ее попросила. У меня явилась одна фантазия. Мне нужно сжечь кое-что.

— Что именно?

— Только эту сложенную бумагу. Если ты бросишь

ее в огонь своими руками, не разворачивая, моя мечта исполнится.

— Да ты суеверна, милая Крошка Доррит. Уж не колдовство ли это?

— Всё, что ты хочешь, милый, — отвечала она, смеясь, с блестящими глазами, поднимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать его, — лишь бы только ты сделал по-моему, когда огонь разгорится.

Они стояли перед огнем; Кленнэм обнял рукой талию Крошки Доррит, и огонь отражался в ее глазах, как он нередко отражался в этой самой комнате.

— Теперь он достаточно разгорелся? — спросил Артур.

— Совершенно достаточно, — отвечала Крошка Доррит.

— Не нужно ли произнести какое-нибудь заклинание для успеха колдовства? — спросил Артур Кленнэм, бросая в огонь бумагу.

— Можешь сказать или подумать: я люблю тебя! — отвечала Крошка Доррит. И он сказал это, и бумага сгорела.

Они спокойно прошли по двору, где никого не было, хотя из многих окон выглядывали головы. Только одно знакомое лицо увидели они в сторожке. Когда они поздоровались с ним и обменялись ласковыми словами, Крошка Доррит в последний раз протянула ему руку, сказав:

— Прощайте, дорогой Джон, надеюсь, что вы будете счастливы, голубчик.

Затем они поднялись по ступенькам соседней церкви св. Георга и подошли к алтарю, где Даниэль Дойс ожидал их как посаженный отец. Здесь же был старый приятель Крошки Доррит, — тот самый, что приютил ее в ризнице и дал ей книгу умерших вместо подушки; он был в полном восторге, что она явилась сюда же венчаться.

И они обвенчались, а солнце озаряло их сквозь образ спасителя, написанный на стекле. Затем они отправились в ту самую комнатку, где когда-то ночевала Крошка Доррит, чтобы подписать брачное свидетельство. В дверях стоял мистер Панкс (которому предназначено было сделаться старшим клерком, а впоследствии компаньоном фирмы Дойс и Кленнэм), превратившийся из Поджигателя в мирного гражданина и галантно поддерживавший



Венчание Артура и Крошки Доррин.

под руки Флору и Мэгги, а за ним виднелись Джон Чивери, его отец и другие тюремщики, покинувшие Маршалси, чтобы взглянуть на свадьбу ее счастливой дочери. Флора, казалось, не обнаруживала ни малейших признаков отречения от жизни, о котором недавно заявляла, — напротив, она была удивительно весела и как нельзя более наслаждалась церемонией, хотя и казалась несколько взволнованной.

Старый приятель Крошки Доррит подал ей чернильницу, когда она подписывала свое имя, и служка, снимавший облачение с доброго пастора, приостановился, и все свидетели смотрели на нее с особенным интересом.

— Потому что, изволите видеть, — сказал старый приятель Крошки Доррит, — эта молодая леди — одна из наших редкостей и добралась теперь до третьего тома наших списков. Ее рождение записано в первом томе, она спала в ризнице, положив свою хорошенькую головку на второй том, а теперь она подписывает свое имя в качестве новобрачной в третьем томе.

Все расступились, когда имена были вписаны, и Крошка Доррит с мужем вышли из церкви. С минуту они постояли на паперти, глядя на веселую перспективу улицы, озаренную яркими лучами утреннего осеннего солнца, а потом пошли вниз.

Пошли навстречу скромной и полезной жизни, исполненной труда и счастья; навстречу заботам о заброшенных детях Фанни, за которыми ухаживали так же внимательно, как и за своими, предоставив этой леди проводить время в обществе; навстречу попечениям о бедном Типе, который прожил еще несколько лет, ни разу не утруждая себя мыслью о том, как много он требовал от сестры в обмен за богатство, которым наделил бы ее, если б оно у него было. Они шли спокойно по шумным улицам, неразлучные и счастливые, в солнечном свете и в тени, меж тем как буйные и дерзкие, наглые и угрюмые, тщеславные, спесивые и злобные люди стремились мимо них вперед своим обычным шумным путем.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга вторая. — Богатство

	Стр.
Глава I. Попутчики.....	
Глава II. Миссис Джeneralь.....	
Глава III. На дороге.....	
Глава IV. Письмо Крошки Доррит.....	
Глава V. Где-то что-то не клеится.....	
Глава VI. Что-то где-то наладилось.....	
Глава VII. Главным образом о персиках и призмах.....	
Глава VIII. Вдовствующая миссис Гоуэн приходит к убеждению, что эти людишки ей не пара.....	
Глава IX. Появление и исчезновение.....	
Глава X. Сны миссис Флинтуинч запутываются.....	
Глава XI. Письмо Крошки Доррит.....	
Глава XII. В которой происходит важное патриотическое со- вещание.....	
Глава XIII. Эпидемия распространяется.....	
Глава XIV. Совецание.....	
Глава XV. Нет никаких препятствий к браку этих двух лиц.....	
Глава XVI. Успехи.....	
Глава XVII. Исчез.....	
Глава XVIII. Воздушный замок.....	
Глава XIX. Крушение воздушного замка.....	
Глава XX. Служит введением к следующей.....	
Глава XXI. История самоистязания.....	
Глава XXII. Кто проходит здесь так поздно?.....	
Глава XXIII. Миссис Эффри дает условное обещание относи- тельно своих снов.....	
Глава XXIV. Вечер долгого дня.....	

	Стр.
<i>Глава XXV.</i> Главный дворецкий слагает знаки своего достоинства.....	300
<i>Глава XXVI.</i> Следы урагана.....	311
<i>Глава XXVII.</i> Питомец Маршалysi.....	320
<i>Глава XXVIII.</i> Враги в Маршалysi.....	336
<i>Глава XXIX.</i> Друзья в Маршалysi.....	357
<i>Глава XXX.</i> К развязке.....	367
<i>Глава XXXI.</i> Развязка.....	392
<i>Глава XXXII.</i> Скоро конец.....	402
<i>Глава XXXIII.</i> Близок конец.....	410
<i>Глава XXXIV.</i> Конец.....	421
<i>Б. Томашевский.</i> Чарльз Диккенс и его роман "Крошка Доррит".....	435
